Если по совести

Айтматов Ч.
Ананьев А.
Астафьев В.
Бакланов Г.
Белов В.
Бурлацкий Ф.
Васильева Л.
Ганина М.
Гельман А.
Гранин Д.
Дрозд В.
Друцэ И.
Евтушенко Е.
Карякин Ю.
Носов Е.
Нуйкин А.
Почивалов Л.
Распутин В.
Рождественский Р.
Селюнин В.
Стреляный А.
Черниченко Ю.
Шмелев Н.



Айтматов Ч.
Ананьев А.
Астафьев В.
Бакланов Г.
Белов В.
Бурлацкий Ф.
Васильева Л.
Ганина М.
Гельман А.
Гранин Д.
Дрозд В.
Друцэ И.
Евтушенко Е.
Карякин Ю.
Носов Е.
Нуйкин А.
Почивалов Л.
Распутин В.
Рождественский Р.
Селюнин В.
Стреляный А.
Черниченко Ю.
Шмелев Н.



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р7
Е84

Составление
В. КАНУННИКОВОЙ

Оформление художника
Е. НИКИТИНА

Е $\frac{4702010201-405}{028(01)-88}$ без объявл.
ISBN 5-280-00872-9

Чингиз Айтматов

ПОДРЫВАЮТСЯ ЛИ ОСНОВЫ?..

I

Сам по себе факт весьма показательный, а с точки зрения общественного самочувствия той поры очень даже прискорбный, если не постыдный — многие годы после XX съезда, этого мужественного прорыва блокады культа личности, незаметно затем отнесенного на обочину политического забвения, а точнее сказать — молчаливо аннулированного, мы, пребывая постоянно в атмосфере благодушия и неистощимого самодовольства, призванных демонстрировать псевдостабильность в стране, не пытались думать об этом. Во всяком случае, вслух никто не размышлял — совместим ли культовый дух, приведший страну к грубейшим социально-экономическим деформациям и вытекающим из них негативным явлениям, с тем, что означали наши идеалы? Мы не принимали во внимание, отвечают ли наши лозунги действительности, насколько соотносятся сталинизм и демократия, этот неустанный зов веков? Централизованная искусственная атрибутика той эпохи никак не совмещалась с достоверной, полноценной демократией — с правами и достоинством личности, с социальной справедливостью во всем, что касается коллективов и граждан, народов и наций, с соблюдением социалистической законности, с элементарными понятиями свободы и счастья человека.

И то, что история советского общества обернулась все-таки перестройкой и гласностью, лишь подтверждает исходную потенцию ее начальных этапов: перестройка и гласность выступают как регенерация ленинской революции, как возобновление ее великих побуждений. В силу именно этого перестройка и сталинизм оказались несовместимыми, подобно огню и воде. Однако с первых дней перестройки и гласности вначале глухими намеками, а затем все более отчетливо стали раздаваться голоса, усматривающие в откровенных дискуссиях опасность: ни мало ни много — подрыв основ социализма, утрату принципов, завоеваний эпохи... Разумеется,

каждый имеет право на свое мнение. Тем более возникает необходимость поговорить на этот счет без обиняков.

Начну издали, с того, что мне близко, что познал на своем жизненном пути. Случился у меня однажды разговор с земляками (ездил в аил хоронить последнюю из сестер отца). На поминках за чашкой чая зашла речь, как водится, о разных разностях, о царях и мудрецах, в том числе и о Сталине. И тогда рассказал один из стариков интересную байку, явный анекдот дидактического характера. Якобы собрал Сталин своих близких соратников и говорит: «Вы, мол, все голову ломаете, как управлять народом, чтобы все люди, сколько их есть под солнцем, все, как один, в глаза мне глядели, моргну — все бы моргнули, открою очи — все бы открыли, и чтобы был я для всех как живой бог, ибо давно сказано: царь не бог, но не меньше бога. Сейчас я и научу вас, как следует обращаться с народом». И велел принести ему курицу. Ощипал он ту курицу живьем, у всех на виду, всю как есть, до последнего перышка, что называется, до красного мяса, остался только гребешок на голове бывшей хохлатки. «А теперь смотрите»,— сказал и пустил голую курицу на волю. Ей бы кинуться прочь, куда глаза глядят, но она никуда не бежит — на солнце нестерпимо от жары, а в тени ей холодно. И жмется она, бедняжка, к голенищам сталинских сапог. И тогда бросил ей вождь щепотку зернышек — и она за ним, куда он, туда и она, а иначе, ясное дело, пропадет курка с голоду. «Вот как надо управлять народом»,— только и сказал в назидание.

Помню, наступила пауза. Была то стариковская присказка, ничего больше, но присутствующие чистосердечно восхищались небылицей, прищелкивая и цокая языками, находя для себя, должно быть, какие-то удивительные аналогии — вот ведь какие дела бывают на свете... И каким дальновидным оказался Сталин! Это надо же такое придумать, вот это был всем падишахам шах, ничего не скажешь, а с курицей у него здорово получилось...

Один из собеседников в том кругу, однако, обронил фразу, с чего и завязался дальше разговор, далеко не анекдотичный. «Все это верно, пусть и сказка,— промолвил он, покачивая головой.— С того и начали раскулачивать нас, отцов ваших, чтобы походили мы на ту курицу. А иначе зачем было нам крылья ломать? Сама же Советская власть землю дала, волю дала, но только оборонили, обласкали поля, только урожаи пошли, только тяглом обзавелись, только скот оплодил-

ся, и на́ тебе — наказание за труды, за пот с утра до ночи. Сами себе, выходит, врагами оказались — обобрали, разорили на корню, как чужое отродье, посажали, по сибирям разогнали, а постреляли сколько? И в первую голову тех, кто был покрепче в хозяйстве. Любой, кто на кого зуб тогда имел или позарился на чужое добро, тот и шептал. И вышла тамаша (шутка): вчера был человек хозяин, а в одночасье без коня, без шубы, без крыши, без земли, без воды напольной остался. А уж дети подались поскорей кто куда, лишь бы с глаз долой. Остальной люд в колхозы зачислили, работы там по горло, а когда по трудодню получать, уносили домой воду в решете. Прошло года два, те, кто нас кулаками назвал, сами потом в тех же лагерях загинались вместе с кулаками. Так что, уважаемые, если глядеть в корень, не столько для народа старался он, сколько для того, чтобы всех разом за горло держать, сшибать одного с другим, пусть липли бы в страхе к голенищам его сапог да чтобы каждый другого отпихивал от хозяина...»

Слово за слово, круто вскипел затем спор. Сколько горьких воспоминаний выплеснулось вдруг: кто кого сажал в те годы, кто на кого доносил, а счастья от этого так и не увидел ни на грош, кто присвоил чьего коня, кто — кошмину, кто — ковер, самовар. А сколько добра и скота зазря погибло, и как по той причине грянул голод (это я и сам помню — год 1932-й, которого я был очевидцем). И с казахстанской стороны, объятой массовым разорением, мором и засухой, шли и шли гонимые, безземельные люди, пытавшиеся продать за кусок хлеба малых детишек и девушек: все равно им предстояло погибать в те кромешные времена, целые кладбища остались по обочинам дорог. Все вспомнилось вдруг, растревоженное случайным словом. И во всех тех напастях фигурировал он, Сталин, точно был он аильным зачинщиком-смутьяном, а не лидером величайшей революционной партии, провозгласившей целью своей счастье трудового люда.

Кончилось все это тем, что старый фронтовик, обреченный всю жизнь ходить на костылях, не стерпел, заорал от тех слов и пригрозил со слезами на глазах перебить всех костылями, если они не перестанут хаять великого человека, с именем которого он шел в атаку... «А где же вы были раньше, до Хрущева? А теперь треплете языками». И в упреках своих он тоже был прав.

К чему, однако, я это? К тому, что тут — вопрос истории, который замалчивался, более того —

переиначивался, оправдывался, преподносился как сплошное торжество, осеняемое чудотворным именем, хотя на деле это было далеко не так.

Молва, говорят, не документ, и пусть не на заседании парламента, а в мужицкой среде происходил тот разговор, но за этим, хотя и простодушным, наивным представлением о сталинском вторжении в крестьянскую жизнь обнаружилось куда больше правды, чем в иных наукообразных исследованиях, рассчитанных на пожизненную ренту за подтверждение неподтверждаемого (и та рента шла и идет!). В притче о курице не заключил ли народ одну из величайших своих трагедий, один из катастрофических конфликтов, когда-либо им пережитых, губительные последствия которых дают о себе знать и по сей день?..

Попробуем вспомнить, кто и когда так сокрушал в народе-кормильце, в жизненосном слое населения самых умелых и рачительных хозяев? Зачем надо было превращать колхозы — крестьянские артели — в казенные монополии со средневековыми устоями принудительного труда (заявляю это, поскольку сам с братом был в этом качестве — работали в колхозе «Джийде», ныне Манасского района, лишь для пропитания на полевых работах, отказ от выхода в поле карался дисциплинарными притеснениями). К чему это привело, общеизвестно — к отчуждению земледельца от земли, к лишению чувства причастности обобществленной собственности, к утрате личной заинтересованности в результатах производства, к неуклонному обезлюдению деревень, особенно в центральных областях России, ко все возрастающему дисбалансу между категориями, непосредственно занятыми в сфере добывания материальных благ и занятыми в разбухающем из года в год контрольно-управленческом аппарате. Старая язвительная насмешка, когда-то очень выгодная своей социальной направленностью,— об одном с сошкой и о семерых с ложкой — стала выглядеть безобидным анахронизмом. Со сталинских времен тех, кто с ложкой, тех, что бдят да указывают крестьянину, значительно прибавилось.

Но и это полбеды. Абсурдная сталинская идея фикс иметь богатое государство при бедном населении, чего никогда не было и не будет, вплоть до перестройки властвовала в умах первых лиц, включая и Никиту Сергеевича Хрущева, не устоявшего перед ее соблазном. Сейчас даже не понять, зачем надо было центральным и местным властям прилагать столько усилий, чтобы ни в коем случае не допускать, как бы на крестьянском подворье не завелась лишняя овечка или

телочка — это, видите ли, нарушит принципы социализма (как оказалось, не принципы социализма, а сталинское понимание этих принципов). Изымание под видом контрактации за мизерную цену всего, что выращивали колхозники в личном хозяйстве чуть больше установленных сверху норм, урезание огородов, садов, низведение их до крохотных участков, зато с пустующими задами и садами, поросшими бурьяном,— это, как ни приглаживай, объективно было умертвлением деревни. Не случайно тем же порочным путем последовали в Китае, и опять жертвы эксперимента исчислялись миллионами человеческих жизней. Слава богу, китайское руководство смогло разобраться, что к чему, и выработать путь аграрного спасения страны через подряд, аренду, кооперацию и другие формы современного делового подхода. О китайских успехах теперь знают все. И никто там особенно не грустил по не оправдавшим себя коммунам. Думаю, что и полпотовцы, учинившие невиданный геноцид собственного народа, имели в этом смысле достаточно прозрачный пример. (Стоит вспомнить историю истребительного сталинского переселения к концу войны чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, кавказских турок, крымских татар, курдов и других народов. До сих пор — скоро уже полвека — тянется шлейф тех бед и страданий.)

В основе всех этих пагубных явлений, порожденных сталинизмом и его восточными разновидностями, лежит крупнейшая деформация целей социализма, когда не идеи служат народам, а народы превращаются в средства утилизации этих идей, как дрова для огня. В какие дремучие времена впервые совершился этот безнравственный прецедент — для достижения цели использовать любые средства? Во все века человечество страдало и страдает от такого зла. Благодаря Сталину и социализм не избежал, к сожалению, этой участи...

Но вернемся к колхозам. Если они все же состоялись как социалистические аграрные хозяйства, то произошло это вопреки сталинскому произволу, ибо люди, поставленные даже в такие беспричинно суровые условия, пытаются выжить, приспособиться, продолжить свой род, а этого можно достичь только через труд. Правда, даже такой ценой, несмотря на титанические усилия и борьбу, колхозы так и не смогли стать образцами передового сельского хозяйства. Производительность труда, урожайность полей и продуктивность животноводства в наших колхозах и совхозах никак не могут идти в сравнение с показателями высокоразвитых

стран. Не потому ли, располагая обширнейшими земельно-водными ресурсами на планете и как бы вопреки этому, наша страна не в состоянии обеспечить себя хлебом и покупает его за тридевять земель, в частности в Америке, Канаде? Трудно сказать, как бы мы вообще сводили концы с концами, не имея на продажу газ, нефть, золото, лес, хотя это в свою очередь свидетельствует об экстенсивном, расточительном, дедовском состоянии отечественного экспорта.

Сталинский произвол поразил потенциальные возможности колхозов и совхозов настолько глубоко и долговременно, а сельский труженик настолько безнадежно был лишен инициативы и самостоятельности и подавлен как самодеятельная личность, что это оказалось для нас, для нашей страны проблемой номер один. Многие из нас не упустят красивого случая горделиво напомнить себе и другим, что мы — страна космических открытий. Верно, это так. Но что́ космические проблемы по сравнению с проблемами хлеба насущного? Непостижимый парадокс! К слову сказать, и космос, и все индустрии, и все науки — исторически на плечах сельского труженика. А какова обратная связь? Что даем взамен — каков наш научный, интеллектуальный, технический ответ? Способствуем ли мы социальным, демократическим совершенствованиям в деревне? Не эгоистичны мы в этом смысле и не лицемерны ли? Сколько было словесных фейерверков вокруг «расцвета» колхозной державы, но село как было, так и осталось многострадальным и в массе своей бедным. А оно ведь — коренная основа общества. Не подняв деревню, задавленную и задерганную еще при Сталине и его последователях, на реалистическую, сугубо точную экономическую высоту, говоря попросту, на высоту трезвого расчета, мы не сможем решить все другое, весь взаимосвязанный объем современных экономических задач. Открыть новую, ясную, справедливую экономическую перспективу для колхозов и совхозов на путях перестройки — это значит спасти сельское хозяйство страны, избавить деревню от сталинского наследия.

Разве не стоит для этого честно осмыслить прошлое и настоящее с позиций гласности? Избавиться от вериг прошлого вовсе не означает подрыва социализма, «отхода от принципов» и прочего, как пытаются это изобразить люди, все еще находящиеся под «обаянием» сталинского культа. Неужто и теперь, оправдывая злодеяния по отношению к крестьянству, интеллигенции, партийным и военным кадрам, ко всему, что в обществе понесло невосполнимый урон в 30—40—50-е

годы, мы будем гонять, как по цирковому кругу, все того же коня пресловутой демагогии, утверждая, что причиной тому было обострение классовой борьбы при социализме, да еще подстегивая того коня ухищренным кнутом современного цинизма?

Вспоминают опять и опять иезуитскую присказку: лес рубят, щепки летят. Хорошо, когда сами милостью судьбы не оказались тем лесом и щепками, случайно избежали участи быть расстрелянными в числе тысяч и тысяч слишком пламенных энтузиастов, поднявшихся на заре революции строить новое общество и своим рвением и честностью не угодивших имперским поползновениям властолюбивого вождя. Хорошо, когда сами не побывали в сталинских лагерях, на островах и в тундре за колючими заборами, не ходили в гное и язвах с обмороженными руками и ногами, не умирали цинговой смертью, не сходили с ума и не кончали самоубийством, оказавшись среди сотен тысяч бывших фронтовиков в лагерях Отечества после военного плена в концлагерях у врага,— это сталинская бесчеловечная лютость и вызывающее небрежение жизнями людскими карали фронтовиков смертью и каторгой за то, что судьба оказалась столь жестокой; но разве неведомо было ему, что не бывает войн без убитых, раненых и пленных? Кто мог предвидеть, кому какая выпадет доля...

Только высокомерно пренебрегая всем этим, только забыв, что и каждый из нас в ту пору (а молодые могут поставить себя на это место мысленно) вполне мог оказаться жертвой сталинского террора, можно подыскивать ему оправдания.

II

У радетелей Сталина есть несколько, как им кажется, неопровержимых исторических аргументов. Один из них связан с индустриализацией страны в 30-е годы. Приводят в пример Днепрогэс, Магнитку как приметы «его эпохи». Эпоху творит все-таки народ, в целом, в совокупности своей, отвечая на экономические потребности времени. Более чем уверен: не будь Сталина, Днепрогэсы, Магнитки все равно появились бы — в них историческая надобность развития. Одни страны при этом вырываются вперед, своевременно уловив зов времени, другие догоняют, нередко они меняются местами. Не будь Сталина, Россия все равно бы не осталась на уровне 1913 года, все равно она пробивалась бы всеми силами к индустриализации. Другое

дело, что Октябрь открыл новые перспективы и народ воспользовался ими. Но в полной ли мере?

Мне представляется, что измерение промышленного роста, как любого другого, надо отмечать не только и не столько по простейшей схеме — что было и что стало, не было того-то, возникло, сооружено то-то, жили плохо — стали лучше, а по более емкому историческому критерию: что представляет из себя то или иное достижение по сравнению с передовым достижением этого же ряда в других местах, в других странах? Изображать дело так, будто сооруженные при Сталине Днепрогэс и Магнитка — из ряда вон выходящие события, и не говорить о том, что такие же сооружения и даже более мощные возводились в то же время и в других странах, ибо никто не сидел сложа руки,— значит преувеличивать значение достигнутого при одностороннем сопоставлении и преуменьшать возможное, то, что могло быть, но не сбылось. Кстати, это же касается и сельского хозяйства.

Конечно, по сравнению с дореволюционной староаграрной Россией колхозы и совхозы — ступень в экономическом развитии. Кто спорит? Но если сопоставить колхозно-совхозный уровень в ракурсе современности с тем, что достигнуто в этих же сферах за тот же период (производительность труда, урожайность, агротехнология) в других высокоразвитых государствах, то все станет на свои места...

Вот о чем речь, приписывать Сталину все достижения этого периода, твердить, будто без него они не могли якобы иметь место — значит фетишизировать его имя и роль. А, как известно, фетиш — это суеверие...

Говорят, Сталин выиграл войну. Точно он играл в шахматы. И здесь та же фетишизация. Да, главнокомандующий — высшее лицо. Естественно, его роль и вклад в войне должны быть значительными, он обязан в силу своего положения квалифицированно разбираться в стратегии и тактике и прочих вопросах ведения военных действий. Это в порядке вещей. Но кто может доказать, что страна проиграла бы войну, если бы Верховным был не Сталин, а кто-то другой из военачальников? Критика Сталина не есть умаление, перечеркивание победы как таковой, победа — дело всеобщее, всенародное, а не только неусыпное бдение, пусть и гениального одного лица. И, наконец, выигранная война — не индульгенция от социальной и политической критики. И после войны надо жить, развиваться, совершенствоваться. Славить победу — хорошо, чарка славы — приятная вещь, но налаживать жизнь вслед за тем на цивилизованных началах, поднимать благососто-

яние народа — еще важнее. И правы те, кто считает: говоря о войне, надо прежде всего подчеркивать колоссальный дух патриотизма в советском народе, всколыхнувший страну от мала до велика и поборовший врага ценой неимоверных, уму непостижимых жертв и лишений, которых, кстати, могло быть гораздо меньше, если бы Сталин действительно был непревзойденным полководцем всех времен и эпох. К этому я добавил бы еще одно — то, о чем у нас, опять же, думаю, из-за оглядки на Сталина, говорят до сих пор без особого энтузиазма. Союзническая помощь США и Англии во второй мировой войне должна ставиться нами на подобающее благодарное место. Американские летчики доставили нам по ленд-лизу только боевых самолетов 14 795, не считая другой техники и продовольствия. Это была очень своевременная помощь американского народа, не стоит о ней забывать.

Приписывать победу одному лицу, как божеству, делать из него помпезную, непогрешимую фигуру, каким предстает Сталин в иных фильмах, вряд ли справедливо, разумно, педагогично. Мифологизация личности при жизни, граничащая с религиозным поклонением (а так это было при нем), свидетельствует о болезни этой личности и о недостатке культуры в обществе. Ныне же мы хотим излечиться от этого «патриархально-чинопоклонного» недуга. Вот к чему должны быть направлены силы гласности.

Подчас приходится думать, сопоставлять, как быстро и мощно поднялись в своем послевоенном экономическом возрождении поверженные в прах, разрушенные дотла, демонтированные до гайки капитулировавшие ФРГ, Япония и вышедшая из войны не в лучшем положении Финляндия, как быстро и прочно достигли они передовых высот по жизненному уровню и индустриальной культуре. А страна-победительница, вещавшая о своем невиданном расцвете под водительством Сталина даже в официальном Государственном гимне, постоянно исполнявшемся в его присутствии, так и не смогла выбраться из все более увеличивающихся разрывов в промышленности, сельском хозяйстве и, стало быть, во всей жизни народа по сравнению с другими странами. Для объяснения и оправдания этого странного феномена находятся многочисленные доводы и причины, начиная от политических и кончая климатическими (хотя в той же Финляндии климат нисколько не лучше), но факт остается фактом. Думаю, не в последнюю очередь повинен в регрессе беспросветный сталинский изоляционизм, его склонность к враждебности, отчуждению окружающего мира. Жить с соседями во

вражде и угрозах — дело нехитрое, гораздо больше ума и гибкости требуется, чтобы понимать взаимодействие различных мировых структур с целью извлечения взаимных выгод.

Некоторые люди в поисках параметров величия для Сталина пытаются сравнивать его с Петром Первым. Сходство их разве что в том, что оба были самодержцами (Петр по наследству, а Сталин фактически), различие же — Петр открывал для боярской России окно в Европу, а Сталин закрывал для нас ту же Европу, освобожденную советскими солдатами от фашизма.

Долго еще эхо его насилий над народом будет отзываться в сердцах и душах советских людей зловещим гулом. Самое страшное в «его эпохе» — двойная арифметика, когда мы на виду у всего честного мира антидемократизм выдавали за высшую сталинскую демократию. Такой самообман всегда чреват трагическими последствиями.

Демократия — это искусство масс, она призвана обеспечивать свободу мысли и самовыражения каждому члену общества, не скатываясь, разумеется, до охлократии, то есть до беспорядочных выкриков из уличной толпы. Не случайно, когда мы встретились с необходимостью развития демократии в ее истинных формах, тут и подстерегли нас разногласия. И, в частности, по вопросу о Сталине. Что ж, каждый волен иметь свою точку зрения. Если человек по недостатку знаний отождествляет социализм со сталинизмом, это его беда, если же он сознательно подменяет понятия — у него всегда найдутся оппоненты, принципиально не согласные с ним. Слишком дорогой ценой пришли мы к этой истине.

И последнее. Сталина давно уже нет. Но только теперь, спустя 35 лет после его смерти, наконец-то, преодолевая синдром идолопоклонства, в прессе, на собраниях, причем во всеуслышание, и, что характерно, без прежних жалких экивоков и «дрожи в коленях», начала высказываться вся полная правда о нем. Представить страшно, насколько глубоко было парализовано наше общество сталинскими репрессиями и его авторитарным режимом!

Духовное рабство может быть и добровольным, и даже желанным, сладострастным и ревностным, как результат патриархально-угоднического культа вокруг одного лица, насаждаемого тоталитарными средствами. Когда люди долгие годы унижены, не в состоянии противостоять произволу и жестокости, исходящим из казенных пределов, они готовы боготворить само это зло, находя в том некую внутреннюю компенсацию

своему бессилию и некое иллюзорное слияние с этой суперменствующей данностью, поклонение которой становится для них нормой жизни. И поэтому подчас трудно переубедить и, более того, винить апологетов сталинизма. К ним надо проявлять терпимость, как проявляется терпимость ко всякого рода религиозным пристрастиям.

Только на путях демократии и гласности может развиваться полноценная культура свободно мыслящего человека.

Старшие поколения постепенно уходят с арены активной жизни. Слово теперь за молодыми. Чрезвычайно осложнившийся сегодняшний мир обращен своим ликом к гуманизму как высшему смыслу на земле, воплощая в том весь исторический опыт человечества. Иного пути нет. Я глубоко убежден, что понять и совершенствовать новый мир может только сознание, освобожденное от сталинистского мышления.

Анатолий Ананьев

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Мы говорили как будто обо всем, что беспокоило нас в современной деревне, но обходили молчанием то, что всегда являлось стимулом для хлебороба, привязывало его к земле.

В Большие Телеши, почти заново отстроенное подмосковное село, я поехал вместе с группой писателей, творчество которых так ли, иначе ли было связано с проблемами Нечерноземья. Надо сказать, что в те времена шли горячие дискуссии о том, какой быть современной деревне — многоэтажной ли, городского типа, или, как прежде, стоящей избами на земле со всеми подсобными пристройками, огородами, садами и палисадниками, то есть в том привычном (для глаза русского человека) виде, как она смотрелась и возводилась не по эстетическим или иным каким пристрастиям, а на основе потребностей и нужд крестьянского труда и быта. Дискуссии эти, кстати говоря, так ничем и не завершились, да и не могли завершиться каким-либо одним и ошаблонивающим все решением, и я даже думаю, что весь этот барабанный гром был напрасен; не лучше ли было положиться на самого сельского человека, который более чем кто-либо знает: как ему устроиться на земле и что иметь под рукой?

Теперь мало кто знает о том, что представляла собой старорусская деревня (разделенная будто бы только на мироедов и бедняков, как трактовалось совсем недавно в учебниках): она была по-своему организована, в ней протекала своя устоявшаяся жизнь, в которой далеко не все было только осудительным и темным; забегая вперед, скажу, что нельзя было безразборно зачеркивать все, что столетиями складывалось в ней, и не для плана, да простится мне это сравнение, то есть не для галочки, а для удобства жизни.

Так вот, в Больших Телешах устроители и попытались возродить забытые традиции. Нам показали дом, в котором (в одной половине его) разместилась семья

молодого врача, а в другой — врач этот мог в любое время дня и ночи принять больного и оказать ему помощь; тут же был гараж и машина, на которой — и тоже в любое время суток — он мог выехать на вызов. То есть врач со всеми знаниями, заботами и долгом стал как бы членом большой деревенской семьи, что сочеталось и с традициями, и с требованиями современной жизни.

С таким же замыслом была выстроена и чайная, хозяин которой с семьей жил тут же, в отведенной для этого половине дома (хозяин в том смысле, что он с семьей трудился в этом заведении); и сельский магазин, да и дома колхозников, не столько, я бы сказал, подновленные, сколько отреставрированные в том же традиционном стиле. Пока это была только одна (на сотни тысяч), первая восстановленная в согласии с традициями русская деревня, но она радовала, как начало большого и важного дела, которое уж на этот раз все мы непременно доведем до конца.

Мы были возбуждены, говорили на встрече с колхозниками в клубе о возвращении традиций, о земле, об отношении к ней человека и о тех разорванных нравственных связях, которые не одному, наверное, поколению придется восстанавливать теперь. В то время я работал над романом «Годы без войны», земельный вопрос меня интересовал особенно, и я высказал мысль: а не взяться ли и не закрепить землю за отдельными семьями, ну, скажем, по 50 или 100 гектаров? Иначе говоря, отдать землю в пользование без права продажи. И пусть эти семьи, как звенья, входят в колхоз, а председатель должен быть хозяином общего дела. И у земли будет хозяин, и у общего дела — хозяин, а взаимоотношения между председателем и семейными звеньями будут осуществляться, грубо говоря, только через трактор, бензин, удобрения и т. д.: через деньги и натуроплату, и тогда — не условно, а фактически — благосостояние деревенского человека будет зависеть от его труда. Сколько вложил, столько и получил: и чем больше, тем лучше и для него самого, и для государства.

После меня выступили еще несколько писателей, потом взял слово Георгий Марков. Он сказал резко, словно приговорил в последней инстанции, что земля принадлежит народу и что народ никогда и никому ее не отдаст: она была, есть и будет (разумеется, имелся в виду наш послереволюционный период) общим достоянием. Он не то что сказал это в полемике, но, думаю, со всей свойственной ему искренностью повторил лишь известное положение о земле как о народном досто-

янии, которое столь же верно было тогда, как и верно теперь в общей своей основе.

Да, земля у нас принадлежит народу, и одним из первых декретов молодой Советской республики был Декрет о земле: декретом этим был решен главный и кардинальный, а вернее сказать, общий вопрос, раз и навсегда отменивший саму возможность частного землепользования. А когда началась коллективизация, земля, в сущности, оказалась без хозяина. Когда за что-то отвечают все, то спросить не с кого. За убаюкивающей всех нас фразой — земля принадлежит народу, за этой успокоительной и все решившей как будто формулой мы, если хотите, отсиживались более чем половину столетия и за попытками решения всевозможных побочных проблем не увидели, как нарушились связи человека с землей, как произошло фактически отторжение хлебороба от земли. Я не помню, чтобы когда-либо возникал у нас разговор о том, чтобы принять закон о землепользовании. Как агроном, я знал, видел, что земля, будучи народным достоянием, оставалась бесхозной, что с нее каждое сменявшееся руководство пыталось только выжать, что можно, а там, после нас, дескать, и трава не расти, видели это и колхозники, но всеохватная, вседовлевшая (и в чем-то даже магическая) фраза, что земля принадлежит народу, настолько крепко сидела в сознании людей, руководивших сельским хозяйством, да и не только им (у нас все считалось народным, и все мы за все были в ответе, но не отвечали ни за что), что даже малейшее отклонение от нее было недопустимым.

Что ходить за примерами — позволю себе привести свой, который более чем красноречиво говорит о том времени. Когда вышел роман «Годы без войны», поставивший вопрос о землепользовании, то есть о возможности (передав землю хозяину, вернее, закрепив ее за семейными звеньями) эффективно и в короткий срок решить Продовольственную программу (предложение куда дальше выходило за рамки бригадного и семейного подряда, который так широко утверждается у нас теперь), большинство из критиков попросту не заметили, обошли глубочайшим молчанием этот важный вопрос, а если и писали, то переводя эту мысль в область нравственных отношений, не касаясь экономической стороны. Писали о чем угодно, придуман был даже новый жанр — «роман-мысль»... Но было бы несправедливо сказать, что не заметили все. Я благодарен ученым-аграрникам, которые сразу же и широко поддержали роман. Мне говорили, что на основе описанного в романе эксперимента с семейным закреплени-

ем земли была отправлена записка в отдел ЦК, а позднее уже меня пригласил президент ВАСХНИЛ академик А. А. Никонов, и я имел с ним долгую и интереснейшую беседу. Заметили и читатели, от которых я получил огромное количество писем и которые даже требовали, чтобы на основе романа я составил бы предложение по этому государственному вопросу и передал в правительство для обсуждения.

Разумеется, рассказываю обо всем этом не для того, чтобы теперь, задним, как говорится, числом упрекнуть кого-то или, что еще неприемлемее, напомнить о себе и романе,— нет, не это движет мной, а одно-единственное желание — помочь решению проблемы, которая сегодня более чем когда-либо является коренной для нас и от решения которой, разумеется, смелого и верного решения, будет зависеть благосостояние и, если хотите, жизнеспособность нашего общества.

Мне кажется, нет такой литературы, в которой писатели не обращались бы к теме: земля и человек. Для нас такое обращение отмечено тремя великими вехами: Радищев, Толстой, Шолохов. Произведения их, касающиеся земли и хлебороба на ней, можно отнести лишь к фундаментальным разработкам социально-нравственного, духовного состояния общества. Но, к сожалению, на этих именах и заканчивается так необходимая (не литературе, нет, а народу) фундаментальность и начинается обмельчание и дробление, когда что-либо (как это было с нравственностью) отделенное от целого принималось за целое и возводилось в абсолют. Мы говорили как будто обо всем, что беспокоило нас в современной деревне и разрушило ее, но не задевали главного — земли, что с ней происходит в действительности, как она используется, обходили молчанием как несуществующий вопрос о том, что всегда являлось стимулом для хлебороба, вызывало в нем инициативу и привязывало его к земле.

Отчего же так распространилась у нас сегодня бесхозяйствениость, распущенность, наплевательское, если не сказать больше, отношение к делу? Причин, видимо, много, но что касается сельского хозяйства, то она, в сущности, одна и очевидна — человек, не кормящийся с земли, то есть не обладающий ею фактически, не может работать на ней иначе, как поденщик. Десятилетиями он оставался как бы отгороженным от конечного результата — самого смысла труда — и постепенно приучен был считать главным в своем труде не

землю, а трактор, комбайн или иную какую сельскохозяйственную технику, от исправности или неисправности которой зависел его заработок. И он обихаживал в лучшем случае эту свою машину, а не землю, дававшую урожай. Мне кажется, у нынешнего земледельца-механизатора, да еще широкого профиля, как мы называем его, выработалась даже своя особая психология, схожая с психологией, скажем, слесаря, работающего на станке, но не хлебороба и пахаря.

...Совсем недавно в журнале «Наш современник» я прочитал подборку писем и комментарии к ним об алкоголизме. Факты, которые приводятся там, ужасны, особенно рождение дебильных детей, и нельзя не согласиться с выводом, что при таком положении мы не можем рассчитывать на быстрый подъем науки, культуры, инженерной или агрономической мысли. Но, думаю, дело тут не только или, вернее, не столько в принятии сухого закона. Сухой закон — это та же полумера, которая не способна, как всякая полумера, решить проблему. Главная причина пьянства, на мой взгляд, заключается не только в том, что магазины наводнялись вином и водкой и что нас учили «культурно пить». Душа человеческая опустошалась. Люди оказались лишены возможности утверждать себя на земле трудом, который приносил бы не только государству, но и самому труженику и семье благополучие и достаток. Взять хотя бы рабочего на заводе, где он может выгнать до 300 рублей, но может ли он на эти деньги при нынешних кооперативных ценах продержать семью — не знаю.

У колхозника рабочий день от зари до зари, но и здесь до сегодняшнего дня, в сущности, труд его обезличен: ему не надо вставать пораньше (даже если бы и захотел — не нужно), от него не зависит — посеять завтра или лучше послезавтра, на какую глубину вспахать, сколько каких удобрений внести, какой сорт посеять,— от него ничего не зависит. От него только требуется, чтобы он держал трактор или комбайн в порядке и вместе со всеми вышел пахать или убирать. А ведь люди все разные, одни более хозяйственные и сообразительные, другим хочется побольше отдохнуть, увильнуть, но все поставлено так, что трудно проверить, а еще труднее — наказать или поощрить рублем, и в такой обстановке можно ли говорить об инициативе и радении? Система складывалась так, что только там, где бригадир или председатель болеет за дело, там и достаток и порядок (то есть упор на сильную личность, а не на такую основу труда, в которой могли бы естественно и безотказно работать все звенья механиз-

ма), а где нерадивый, там и отставание и нищета. Но где же взять на всех золотых председателей: их не набрать, даже если учредить некую председательскую, что ли (наподобие Академии общественных наук или генерального штаба), академию.

Сколько бы голодному ни говорили философских истин, он сыт не будет. Голодный, он думает о еде, а не о философских понятиях, которые ему подсовывают на обед.

Нет, у нас в стране не голод. Но разве все мы (впрочем, за известным исключением, которое настолько вошло в привычку, что кажется даже совершенно законным) не стоим в очередях, не ощущаем недостатка в количестве продуктов, в их разнообразии, в их качестве? У нас сейчас еда настолько однообразна, что люди болеют от плохого, неправильного питания. Из-за нехватки продуктов все рецепты кухни нашей забыты.

Мы сейчас согласились: «Кубанские казаки» — лакировочный фильм. И противопоставляем ему другой фильм — «Председатель». А они, на мой взгляд, явления одного корня. Лежат совершенно рядом. И «Председатель» далеко не безвреден, потому что возрождает старый, не оправдавший себя (в массе своей) метод администрирования. Фильм реалистически начинается с того, что коров поднимают на веревках, а кончается идиллией — идет большое тучное стадо.

«Кубанские казаки» — это лубочные картины благополучия колхозного строя, далекие от реализма. И эту ложь мы поняли и позднее верно оценили. А «Председатель» появился, когда у нас было уже понимание исторического пути, и трактовать этот фильм как правдивый вредно. Он отстаивает ложные понятия и делает ставку на сильную личность. А придет другой? Сколько мы видели таких примеров: уходит головастый мужик — и колхоз в год-два разваливается. Но не может система так работать. Что же, хороший гвоздь вбил — и дом держится, а шляпка слетела — и все развалится? Система социалистического хозяйствования должна быть стабильной и самовоспроизводящейся. А фильм зовет нас на ложный путь, по которому-де можно от нищеты прийти к зажиточности, к тучным стадам и полным амбарам. Но ведь и через 40 лет после той страшной разрухи — а она действительно была страшной — мы так и не пришли к тому, что должен был бы дать нам этот путь, — к решению продовольственной проблемы. Значит, не состоялось? Значит, все это полуправда, потому что, сколь бы ни были реальны картины разрухи и сколько бы мы ни гнали через экран

тучные стада — они есть, конечно, в отдельных хозяйствах,— все это полуправда, которой мы отгораживаемся от правды. А она в том, что не осуществилась наша надежда на систему хозяйствования на земле. И этого ни в названном фильме, ни во многих произведениях литературы, к сожалению, нет. И даже сейчас еще выходят фильмы и пишутся книги по типу «Председателя»: хозяйство было слабым, разваленным, но пришел деятельный человек, взялся, увлек — и все пошло отлично, снова тучные стада и праздничные ряды комбайнов на уборке.

Но пока создаются такие фильмы и пишутся такие книги, мы ломаем голову, сколько нам не хватит пшеницы и в каком количестве везти из Венгрии кур.

Впрочем, из Венгрии везти надо, это полезно и в плане социалистической интеграции, да и просто потому, что продукт хороший. Но что удивительно: сколько лет уже возим венгерских кур, сколько лет перед нами пример производства качественного продукта, а с отечественных птицефабрик по-прежнему так и идет в магазины синюшная, полуощипанная, полупотрошенная продукция, которую хозяйки если и покупают, то с тяжелым вздохом — другого-то часто нет. А уж если на выбор, если венгерские куры появляются в продаже, будьте уверены, на наших и не посмотрят.

Почти все жилые микрорайоны в Москве выросли на месте прежних деревень. Такова, видимо, историческая необходимость, и все же как не думать о той пахотной земле, что ушла под асфальт и камень? Нагатинские поймы снабжали Москву овощами. А сейчас там — многоэтажный район, и земля — завезенный чернозем — ушла под фундаменты. Москва лишилась столетиями удобряемых черноземов. И в то же время машинами везут землю, чтобы разбить посадки вокруг домов. Откуда? Да, наверное, из Подмосковья, с полей. И, глядя на снесенную и красную от обнажившейся глины Поклонную гору, на которой должен быть разбит парк, тоже невольно приходишь к мысли: ведь все это придется засыпать черноземом, и не облысеет ли еще одно очередное поле в Подмосковье?

Или взять хотя бы наше Нечерноземье. Пахотный слой не велик, и соха, как ни странно, была здесь в самую пору. Когда явился плуг, его не всегда употребляли, а если и пользовались, то осторожно, пахали на 12—13 см глубины, потому что глубже уже залегает глина. Научное земледелие, которое часто решало у нас задачи только глобального масштаба, применительно сразу ко всем регионам, выдвинуло тезис глубокой вспашки, и — следует ли говорить, что произошло с

пахотными угодьями Нечерноземья?! Я агроном, меня тоже учили глубокой вспашке: все мы тогда преклонялись перед Лысенко, а то, что было против Лысенко, было от лукавого. Пахали с усердием, но, правда, была еще возможность не наделать глупостей, был плугарь, который поднимал плуг, как только видел, что выворачивается глина. Но сейчас плугарей нет, сейчас тракторист зацепил плуг, сел в кабину и пошел, не оглядываясь. Так мы вывернули в Нечерноземье глину на огромных площадях. А вывернули — обратно не положить; и превратили землю, которая кормила, имела плодородный слой, в нечто среднее, что — ни пашня, ни глина, а так, суррогат какой-то. Научное земледелие развивалось, отметая советы народного академика Мальцева, отметая крестьянский опыт работы на земле.

Но народ верил — наука рекомендовала! Наш народ доверчив. Да его еще и приучили к доверчивости, вернее, переломили в нем доверие к опыту предков требованием безоговорочного подчинения науке. Признавая на словах опыт народа, мы в то же время только и делаем, что без конца поучаем его; и до того допоучались, что самое элементарное в его труде открываем ему как истину. Недавно в телепередаче рассказывали о новой научной разработке. Суть ее в том, что коров, оказывается, можно пасти вместе с телятами, которые при коровах и растут, и не надо косить им летом, а скот сам будет нагуливать, и т. д. Но это же мужик делал всегда! Столетиями делал! А тут — как открытие. Учат народ тому, что он делал веками.

А. Н. Радищев в статье «Описание моего владения» приводит довольно любопытные расчеты: сколько людей, скота и прочей живности максимально могло бы прокормиться (в те, разумеется, годы и в тех условиях сельского труда и быта) на десятине земли. Он брал в пример наше Нечерноземье. Мы, кстати, этого не делаем, а может быть, и напрасно. Подобное исследование могло бы показать нам (и тоже в цифрах), что, когда земля была отдана крестьянам (за определенный выкуп, конечно) и когда русский крестьянин стал с любовью прикладывать к ней руки и душу, она вдвое и втрое дала больше зерна и кормов, чем предполагал Радищев. Эта же земля теперь со своими запустелыми селами опять как бы впала в спячку, а мы бесконечно жалуемся то на плохую погоду, то на никудышных председателей и все вместе, хором — на мужика, русского мужика, который-де не умеет ни обихаживать, ни жить на своей земле.

По Нечерноземью за последнее десятилетне не раз приннмалнсь постановлення о восстановлении н развнтин его. Но, к сожалению, даже и эти постановлення не решили проблем нн в экономнческом, нн в соцнальном, ни в духовном плане. Иногда думается, не от шнроты ли нашей, не от пресловутой ли щедрости мы не хотим сполна использовать весь тот накопленный за века народом опыт, во многом зафнксированный в науке н в еще большей, может быть, степени в литературе, который во все времена, а теперь особенно, так прнгоднлся бы нам в нашнх сегодняшнных начннаннях.

Пнсателн XIX века, н в частности великий Толстой, прямо указывали на этот опыт, говоря о земле и человеке на ней. В литературе того временн, да н не только в литературе, вопросы землепользовання выдвнгались как жнзненно важные н первостепенные, н не только потому, что Россия в то время была страной по пренмуществу аграрной. Наверное, мы тоже не могли бы упрекнуть себя в том, что держалн сельское хозяйство в забвеннн; нет, напротив, разных решеннй и постановлений по укрупненню, разукрупнению и т. д. было прннято намн столько, что однн перечень нх мог бы занять всю эту полосу, а результат? Хотя и постепенное, но неуклонное сползание к продовольственным (н кормовым) нехваткам и однообразню. Более того, всеобщей уравнnловкой мы помогалн развиться до непотребных максимумов иждивенческому началу у сельского человека, поставляя ему — урожай, не урожай, и по прнродным лн условням нлн от нерадивостн — необходнмые средства для жизни, как пособня. Целые совхозы былн на дотацнн, н прнчем долгие годы, а многне продолжают оставаться на дотацнях н теперь, но не прогорают, не разоряются, более того, требуют все новых н новых из государственного бюджета средств теперь уже н на культурное строительство, и на нные соцнальные блага.

Целые республики и сейчас не выполняют Продовольственную программу, н это тоже факт.

Сейчас многое меняется, но н многое разумное, что предлагается сделать, остается хорошнм лишь на словах, а как доходнт до ннзов, получает другую ннтерпретацию. Напрнмер, было хорошее решенне: нзлншкн каждое хозяйство может везтн на рынок, продавать, а выручку — на восстановление и развнтне своего потенцнала, то есть в свое распоряженне. Но вот с чем в прошлом году довелось мне столкнуться на Дальнем Востоке. Агропром в это решение внес свои поправкн.

Сказал: хорошо, продавайте, но вырученные деньги все в кассу агропрома, а мы посмотрим, какому хозяйству и сколько дать. И хозяйства (правда, не все) один раз вывезли излишки на продажу, сдали деньги в кассу агропрома, а больше уже не повезли. Мнение одно: что же, я выращу, продам, а получит тот, кто не утруждал себя. Вот такая происходит «интерпретация» на местах, а живое, настоящее дело, которое и стимулировало бы хозяйство, и обеспечивало бы город продуктами, обесценилось.

Земля...

Земля!..

Не открою истины, если скажу, что самым бесценным богатством, каким обладает человек, является земля. Она — прародительница всей нашей жизни; она вскормила человека, поставила его на ноги и открыла дорогу к цивилизации и прогрессу. Человек поклонялся земле и обожествлял ее, лелеял и обихаживал, проливал на ней пот и кровь и вкладывал в нее свою живую душу, и... по временам обращался с ней как с мусором, хламом, не имеющим цену. По-моему, ни в одной стране мира не относятся так бесхозяйственно к земле, как мы.

Сотни тысяч гектаров пахотной земли, лугов и пастбищ покоятся сейчас под водохранилищами, и никому даже в голову не пришло хотя бы снять и законсервировать плодородный слой (работа дорогостоящая, но не дороже нашей с вами жизни и жизни будущих поколений); мало того, что именно за счет пахотной земли мы расширяем до неохватности свои города и щедро отводим ее под предприятия, но можно ли сосчитать, сколько тысяч гектаров ее либо заболочено, засолено или высушено, либо так перекормлено минеральными удобрениями и разного рода химикатами, а то и просто пущено по непродуманности на ветер (черные бури на целине)? Да, мы не знаем цену земле, она у нас и впрямь без цены, и все, мне думается, потому, что нет у нас до сих пор четкого, ясного и строгого, хочу подчеркнуть, именно строгого закона о землепользовании. Есть Декрет о земле — нужно принять Закон о землепользовании, как принят Закон о государственном предприятии.

Изменить саму основу землепользования призывает нас жизнь, и я вполне реально представляю, как могут сложиться отношения в деревне, если на долгосрочной основе закрепить землю, к примеру, за семейными звеньями. Колхознику, взявшему землю в долгосрочное пользование, потребуются трактор напрокат, гарантии по ремонту, горючее, удобрения и т. д. — как аванс

под урожай, и председатель колхоза — хозяин общему делу, и ему придется уже работать по-другому. Он уже не позволит себе, как раньше, принять в колхоз комбайн в полуразобранном виде, и всей связанной с сельскохозяйственным производством цепочке придется перестраиваться, она должна стать в зависимость от производителя. Думаю, что при такой системе понадобится и сельскохозяйственный банк.

У нас сейчас получают признание семейные звенья, но пока работа ведется экспериментально. Нет никаких методологических разработок, мы начинаем опытным путем — и в основном пока в животноводстве.

Меня, я думаю, и не только меня, чрезвычайно порадовало, когда М. С. Горбачев, будучи в Раменском районе, встречаясь с крестьянами, которые уже несколько лет работают по методу семейного подряда, предложил им взять в аренду и землю, и технику и попробовать перед лицом всей страны (я бы добавил: перед необходимостью скорейшего решения Продовольственной программы) испытать на деле организационно новую форму труда; радует, что к сельскому хозяйству сегодня обращено пристальное внимание и ЦК, и ученых, и литераторов, и художников, и рабочего класса. Потому что все мы заинтересованы в одном: в поднятии благосостояния нашей жизни и могущества нашего государства.

Происходящие процессы в сельском хозяйстве — это только первые шаги в поисках новых форм, и я полагаю, что такое изменение самой формы работы на земле скажется самым благотворным образом на духовном состоянии общества.

Писательская профессия, например, вообще творческая сфера дает возможность человеку проявить себя. Это индивидуальный труд. И получу ли я славу или не получу, но я проявляю себя. Есть ли в какой-нибудь другой профессии столь очевидно выраженная возможность? А ведь она должна быть, потому что в каждом из людей заложено естественное желание проявить себя. Но, мне кажется, за решением социальных проблем мы забыли об этой естественной человеческой потребности, представляющей огромнейшую силу и возможности. Стоило, к примеру, чуть-чуть поставить заработок в зависимость от конечного результата, как сейчас же во многом изменилось отношение рабочего человека к труду, потому что он получил пусть условно еще, еще только в начальной степени, но все же возможность проявить себя. Для сельского же хозяйства это должно стать непременным фактором.

Да, отношение к труду, мы видим, начало изменяться, но еще далеко не достаточно, чтобы страна стала могущественной и народ жил в достатке и благополучии. Нужно смелее идти дальше и, видимо, приспосабливать не человека к социализму, как мы во многом делали прежде, а социализм к естественным человеческим потребностям, чтобы не разрушались, а укреплялись навыки, традиции и культура народа. Ведь мы живем не для того, чтобы, ухватившись за какую-нибудь одну мерку (одну не подкрепленную жизнью идею), бежать и бежать с ней, передавая из поколения в поколение и не замечая, что тащимся (по многим уже вопросам) почти в хвосте человечества; жизнь моего поколения, в сущности, прожита; мы простояли в очередях, просмотрели завистливым взглядом на кино- и телеэкранное изобилие, и мы сравнивали нашу жизнь с увиденным. Сравнивали, и только, тогда как надо было засучив рукава творить будущее. Если какая-то из выбранных нами дорог приводит в тупик, то почему бы не отказаться от нее и не пойти по новой? Заполнятся прилавки — начнут заполняться души. Еще древние философы говорили, что любознательность людей, страсть к наукам, к искусствам началась только тогда, когда человек получил достаточное пропитание и время для размышлений. Народ в экстремальных условиях может выстоять: скажем, война — народ подтянул пояса и выстоял. Но экстремальное положение не может быть бесконечным.

Нынешние перемены радуют и обнадеживают, и, может быть, с внедрением бригадного и семейного подряда будет найдена новая форма труда в сельском хозяйстве, то есть найдена та единственная пружина, которая бесперебойно, без подмазок будет пробуждать в человеке и поддерживать в нем инициативу к труду. Но, может, формы эти — лишь первый шаг в начинающемся огромном деле — перестройке, и следует пойти по этому пути смело дальше и начать закреплять наконец на долгосрочной основе землю за семейными звеньями. Подобная организационная форма, я убежден, не противоречит методам социалистического хозяйствования, а, напротив, только обогатит и укрепит их, у земли вновь появится хозяин.

Виктор Астафьев

ДА ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО...

Ах, война, война... Болеть нам ею — не переболеть,
вспоминать ее — не перевспоминать!

В жизни моей случались и случаются такие совпадения и встречи, что впору от них суеверным сделаться и начать думать о небесных материях, да вот земные грехи не пускают.

25 ноября 1985 года в газете «Правда» были напечатаны мои воспоминания «Там, в окопах», и я, признаться, не ожидал, что на них хлынет бурный поток откликов.

За несколько месяцев откликов набрался полный чемодан, а я, как и всякий современный человек, задерган текучкой, изведен суетой, кроме того, вынужден это сообщить моим корреспондентам,— тоже инвалид войны, и со зрением дела у меня обстоят неважно, а письма-то писаны всякими, порой уже «пляшущими» почерками. Да и, как сказал один русский классик, нигде так не умеют мешать работать писателю, как в России, добавив, впрочем, что русские писатели и любят, чтоб им мешали.

Говорил это классик в ту пору, когда не было еще телефона, не летали самолеты и безграмотное общество не наплодило тучи графоманов, самоучек-социологов, дерзких и диких философов, новаторски мыслящих экономистов, предлагающих немедленно и без потерь наладить хозяйство и попутно улучшить мораль в любезном Отечестве.

Словом, шло время, письма покоились в чемодане, авторы же, участники войны, ждали «реагажа» на свои письма, а то и просто обыкновенной человеческой помощи и участия.

Узнав о моей скорбной ситуации, один давний приятель, руководитель крупного предприятия, предложил мне спрятаться в таежном пионерлагере, принадлежащем его ведомству.

Пионерлагерь зимой пустовал, лишь две собаки, дружески настроенные к гостям, и строгость на себя

напускающая сторожиха встретили меня. Сосняки кругом шумят, снег белый-белый, тишина необъятная, и не верится уже, что бывает такое.

Обходя территорию пионерлагеря, очень строго и «по ранжиру» строенного, в котором, несмотря на грибки, качели и всякого рода спортивные сооружения и деревянные скульптуры, явно проглядывали признаки строгого, к шуткам не склонного военного поселения, идя по зимней тропе на пологой вершине меж давненько уже вырубленных сосняков, я обнаружил заброшенное, безоконное и немое сооружение из бетона, спросил о нем у сторожихи. Она словоохотливо объяснила, что это «бункар», но какой-то «врах сотворил изменшыство», солдатиков, «бедныя, зимой, в морозяку, кудысь увéзли, а теллиторию дитям подарили».

Ну, врагами, изменщиками, шпионами, христопродавцами и прочей нечистой силой меня не удивишь, сам есть Отечества моего сын и, чуть что, как и все россияне, горазд бочку на них катануть. Но каково же было мое потрясение, когда, открыв чемодан, я обнаружил прямую связь заброшенного военного сооружения с содержанием писем!

Впору было на весь пустой пионерский дом завопить: «Свят! Свят!» Но я не завопил, сидел подавленный и в одиночестве, под шум зимней тайги вспоминал своего фронтового командира отделения, который в послевоенные годы был и рабочим, и секретарем райкома, и крупным хозяйственным деятелем. На войне это был честнейший и мужественнейший человек, таким он остался и «на гражданке». Когда я был у него в гостях, по телевизору сотворялось очередное действо: под умильные слова, елейные улыбки и бурные рукоплескания Брежневу вручалась очередная, не заработанная им награда, и возопил мой фронтовой друг: «Да до каких же пор нас будут унижать?» И ответил я фронтовому другу: «До тех пор, пока мы будем позволять...»

Но вернемся к чемодану с письмами. Большинство авторов, в основном бывших фронтовиков, благодарили меня и газету за публикацию, делились своими мыслями, воспоминаниями, кое-что дополняли и уточняли. Были письма-исповеди в тетрадь и более величиной, столь интересные, от сердца и сердцем писанные, что хотелось бы привести их полностью, но нет пока места и времени. Однако я обещаю, что все заслуживающие внимания письма, и прежде всего письма моих однополчан, как только выдастся время, обработаю и пристрою в какой-либо журнал. И все письма непременно сдам в

архив. Пусть внуки и правнуки наши читают их, гордятся одними авторами и стыдятся за других.

...Сначала отвечу на некоторые замечания.

Самое главное из них: под Ахтыркой не подбивала наша 92-я бригада восемьдесят танков, и быть такого не могло. Командир 108-й бригады нашей 17-й артдивизии, ныне полковник в отставке Реутов Владимир Дмитриевич, проживающий во Львове, в спокойном, обстоятельном письме поправляет меня: 85 танков атаковало позиции 92-й и 108-й бригад. 92-я бригада тремя дивизионами уничтожила 20 танков, бригада, которой командовал Реутов,— 10 танков. Это был первый такой страшный бой на моих глазах, и я как вспомню восемнадцатилетнего парнишку, имеющего мой облик, находившегося в огненном аду целый день, так еще и удивляюсь, как ему сто горящих танков не привиделось!

Второе резкое замечание о том, что 17-я дивизия формировалась в 1943 году и не могла быть в боях раньше, не согласуется с фактами. Артиллерийская дивизия прорыва — сложное механизированное соединение, его за короткий срок не сформируешь. Я полагал, что военные специалисты понимают это — и понимают, конечно, но цепляются за любую возможность «ущучить» автора. Весной 1943 года было закончено формирование 17-й артдивизии, но отдельные ее полки и бригады уже в 1942 году осенью принимали участие в боях на Волховском фронте, и начальником штаба артиллерии фронта был будущий командир этой дивизии, полковник Волкенштейн.

Есть и еще ряд мелких поправок, которые за недостатком места я опускаю. И среди них упрек, что я неуважительно описал приезд маршала Жукова на передовую. Но именно из уважения к покойному полководцу я опустил из описания все, что происходило потом, после начала встречи его с командирами, которых он вызвал к себе.

Много не только горьких, но и теплых чувств пробудили во мне письма. Например, я писал о том, что Герой Советского Союза Иван Михайлович Шумилихин, уроженец Вологодской области, убит и похоронен подо Львовом. Слышал я об этом на встрече ветеранов нашей дивизии, и память не очень-то меня подвела. Иван Михайлович Шумилихин погиб под Берлином, не дожив полмесяца до Дня Победы. Благодарные его друзья отправили тело героя на родину, и прославленный командир похоронен во Львове на холме Славы. Номер его захоронения 22. Участник войны Нина Михайловна Бабинцева прислала мне на память книгу

«Холм Славы» и сообщила, что после появления в печати добрых слов о Шумилихине не переводятся живые цветы на могиле героя.

Но есть письма — их двадцать,— о которых мне хочется поговорить особо. Они принадлежат людям со званиями генералов и полковников все более тыловых и штабных служб. Авторы их высказываются пространно, суконным языком рапортов и докладных, но большинство хотя бы не унижает бранью свои высокие звания. Встречаются, однако, и такие письма, что белая бумага краснеет от высокомерного тона, надменности и спеси авторов. Письма эти пестрят одной и той же буквой «Я! Я! Я!» — «Я там-то и так-то воевал!», «Я того-то и того-то знал!», «Я две академии кончил!». И в конце приписка: «Извените за ошипки».

Не стану перечислять всех авторов подобных писем, пощажу старость и покой заслуженных людей. Не все уже «по уму» действуют, больше по старой привычке повелевать и опровергать все, что на глаза попадет, а уж писанное бывшим бойцом — тем более. Но скажу о том, что во многих случаях вызвало гнев моих оппонентов и что представляется мне принципиально важным.

Самый большой упрек читателей я заработал за то, что не назвал фамилии командующего артиллерией 1-го Украинского фронта: «Ратуешь за правду, а сам в кусты!..»

Тот материал писал я к Дню Победы. И — каюсь! Искренне каюсь — не хотел марать чистую бумагу во дни светлого и скорбного праздника фамилией человека, опозорившего себя, должность свою высокую и честь советского воина.

Что же говорится о нем в откликах? Процитирую Степана Ефимовича Попова из Москвы. Звания своего он не написал. Не из скромности. Таким «недостатком», судя по высокомерности и непреклонности тона его письма, он не страдает.

Вот что пишет о С. С. Варенцове, командующем артиллерией 1-го Украинского фронта (фамилии которого я не назвал), тов. Попов: «Мы, артиллеристы, знали С. С. Варенцова как крупного артиллерийского деятеля, знали мы и Волкенштейна как мелкого интригана... Безусловно, Варенцов на старости лет провинился и государство его наказало, но оставило его генералом и членом КПСС, и мы, старые артиллеристы, помним генерала Варенцова довоенного, фронтового и послевоенного как трезвого, отзывчивого и глубоко

мыслящего человека, а Волкенштейна бывшие его однополчане не знают даже, где он похоронен».

«Это был умный и талантливый полководец,— вторит С. Е. Попову полковник в отставке В. А. Кашин,— он пользовался большим авторитетом и уважением... Это был неприхотливый, скромный человек в быту и очень доброжелательный к людям...»

И в таком же роде еще несколько писем, с умилением повествующих о жизни и деятельности бывшего главного маршала артиллерии Варенцова. Просто сомневаться начинаешь в достоверности горького рассказа командира 17-й артдивизии — уж не наплел ли чего старый насчет фронтовых дел и насчет того, что, дослужившись до маршала, даже при множестве дел в Генштабе, Варенцов не забывал «обидчиков», и того же Волкенштейна «достал» мстительной рукой в артиллерийской академии, где он работал преподавателем после войны, и вышвырнул вон все в том же звании генерал-майора, которое было ему присвоено еще в начале 1943 года.

Давайте же послушаем тех, кто близко знал Волкенштейна и Варенцова с довоенных лет. Директор Сахалинского краеведческого музея Владислав Михайлович Латышев пишет ко мне: «Когда С. Волкенштейну был год, родители привезли его на Сахалин, к бабушке Людмиле Александровне Волкенштейн, известной революционерке-народнице, отбывавшей здесь ссылку после 13-летнего заточения в Шлиссельбургской крепости. По какому-то исторически оправданному совпадению в 1942 году Сергею Сергеевичу Волкенштейну доведется подготавливать и вести артподготовку и бои в районе Шлиссельбурга. За Людмилой Александровной добровольно в ссылку последовал ее муж, врач по профессии, Александр Александрович Волкенштейн. Сергей Сергеевич не был потомственным артиллеристом. Его дед А. А. Волкенштейн — известный последователь учения Льва Николаевича Толстого, а отец, Сергей Александрович, учился в Петербургском университете и за революционную деятельность был отчислен из университета и отослан под надзор полиции в Полтаву. Он рано умер, и почти одновременно с ним умерла мать Сергея Сергеевича. Бабушка Людмила Александровна погибла в 1906 году во время расстрела демонстрации во Владивостоке. Сергея Сергеевича взяла на воспитание друг семьи Волкенштейнов, дочь известного врача Склифософского О. Н. Яковлева-Склифософская».

«Старый строй убил его мятежную бабку,— пишет журналист Георгий Миронов в книге «Командир диви-

зии прорыва», выпущенной в серии «Богатыри» о Героях Советского Союза,— изломал жизнь его родителям, самого лишил детства». Ранней весной восемнадцатого года С. С. Волкенштейн записался добровольцем в Красную Армию, в девятнадцатом году его приняли в ряды РКП(б)...

Далее слово В. Г. Татарову из Днепропетровска:

«В 1929 году я — курсант батареи одногодников (были такие подразделения по подготовке среднего комсостава). Командир батареи С. С. Волкенштейн, человек с большой буквы, прямой, честный, справедливый, безгранично преданный делу своей жизни...

Когда полковник Волкенштейн был нач. арт. дивизии 6-го стрелкового корпуса, ему был подчинен начальник артиллерии 41-й стрелковой дивизии, которая входила в состав корпуса, и командовал артиллерией дивизии полковник Варенцов — этакая импозантная фигура. Самодовольный, высокомерный, хитрый, скрытный, не шибко грамотный артиллерист. Это тот самый Варенцов, что позорно кончил свою карьеру, оказавшись замешанным в громкое дело английского шпиона Пеньковского...»

«... Вместе с Вашей дивизией Вы найдете в мемориале в Петривцах написанную золотом на стене и нашу 3-ю Гвардейскую минометную дивизию, где я был в должности начальника автотехнической службы... В конце войны, когда мы были уже в Германии, я получил указание выделить в распоряжение фронта десяток автомобилей с двумя заправками горючего. Когда машины и команда, сопровождавшая их, вернулись, я узнал, что они возили каменноугольные брикеты на дачу Варенцова во Львов. Оказывается, этот подлец (другое слово трудно подобрать) во время львовской операции прихватил себе буржуйскую виллу и оформил ее как личную собственность... И скольким же честным людям он испортил жизнь!.. Инвалид Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Васильевич Павлов. Москва».

Как раз во время работы над этими заметками я получил альбом от нашего однополчанина из Москвы Алятина Александра Константиновича, посвященный любимому командиру. Этот альбом заключает некролог, напечатанный в газете «Красная звезда» 24 мая 1977 года, и фотографию с памятником на могиле Сергея Сергеевича Волкенштейна, возле которого собрались ветераны дивизии, ибо жена его и сын к той поре умерли, родственница у него осталась одна, племянница — Комракова Наталия Давыдовна. Она была возле постели умирающего генерала и вот что

написала мне: «В последние дни мы много говорили. Он вспоминал своих «парнишечек» и говорил, что войну одолели и Победу добыли те самые ребята, что четыре года в снегу, в грязи, в земле жили, работали, а я вот умираю, смотри, в какой чистоте. Говорил, что всю жизнь хотел, как его дед-толстовец, не убивать людей, но вот все повернулось так, что Родине надо было служить, быть военным и воевать...»

Великий русский деятель истории, Гражданин и Мыслитель с большой буквы, сказал когда-то по поводу великого русского царя — все они у нас великие! — который недругов своих, подозрительных людишек, а попутно и разлюбленных жен живьем закапывал в землю, но в глазах потомков возжелал выглядеть ангелом и «редактировал» рукописи о себе способами и методами, дожившими до недавних времен и хорошо нам знакомыми: «Народ обмануть можно, историю не обманешь!» А какое есть жадное стремление у некоторых наших старших деятелей, и не только военных, не то чтобы обмануть, а поприжать кое-что, подзамолчать, жить полуправдой или угодной и любезной их сердцу «генеральской» правдой. «Солдат, так и пиши о солдатах!» — покрикивает мне тов. Попов и другие постаревшие чины. Так им удобней, лучше, спокойнее доживать свои годы. Но: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...» — перед смеюсти. воскликнул великий поэт нашего времени Алекнию в Твардовский. дется

В газетных дискуссиях перед XXVII съездом йоне тии и на самом съезде немало говорилось о том, сколько вреда принесла нашему обществу полуправда, как исказила она наше общество, сбила его с ноги, сколько породила ворья, шкурников, карьеристов, демагогов, которых хлебом не корми, дай спрятаться за ширму краснобайства, привычного пустословия. Отставные военные, праведно гневающиеся на то, что я состарил в своих личных заметках гаубицу на два года или назвал командующего артиллерией начальником, делают вид, что забыли о совсем недавнем времени, когда заслуги армии под номером восемнадцать и, главное, начальника ее политотдела возносились до такой степени, что невольно вспоминалась притча о том, как один польский улан до того разошелся, повествуя о своих военных подвигах, что малая паненка — внучка его — невольно воскликнула: «Деда! Если ты всех врагов победил, все армии разбил, что же тогда делали на войне другие солдаты?..»

Видно, «элита элиту» лелеет и хочет любыми способами сохранить за собой самим себе устроенное житье. Да чтоб литература и искусство, как «столбовой дворянке» по велению золотой рыбки, служили им и чтоб про генералов непременно писали генералы, а профессионально работающие литераторы «корректировали» их «труды», исправляя грамматические «ошипки», и выдавали народу «бесценные» подарки в виде опусов о целине, Малой земле и прочих осчастливленных ими землях и бессмертных деяниях.

Напрасно рассерженные корреспонденты хотят убедить меня в том, что мы, рядовые бойцы, на фронте ничего не знали, не слышали и не видели. В нашей бригаде солдаты, даже не видевшие командующего 7-м артиллерийским корпусом Королькова Павла Михайловича (не видел ни разу его и я), тем не менее много были наслышаны о безмерной храбрости и скромности этого человека.

И вот передо мной письмо бывшего наводчика орудия, ныне рабочего Михаила Антиповича Тупихи, проживающего в Краснодаре: «Я уже два года переписываюсь с командующим, проживающим в Одессе. Заезжал к нему. Принял он меня очень хорошо. Хотя годы его перевалили на девятый десяток, он переписывается со многими ветеранами 7-го корпуса. Но дом, в котором он живет, обветшал, требует капитального ремонта, жаловаться-то Павел Михайлович не при-полу..»

десятые авторы из генералов все еще вроде бы как Когд ятся на командном пункте и нас, литераторов, лис...ют ротными писарями, которые должны состав-...ь под диктовку рапорты и боевые донесения, а если посмеешь свое суждение иметь, тут же отповедь тебе насчет врагов-империалистов, «на мельницу которых ты (то есть я, Астафьев) льешь воду и ослабляешь мощь наших Вооруженных Сил. Да и какой пример подается нашей молодежи?».

Генерал-майор в отставке Зайцев, бывший начальник штаба дивизии, вместе с еще двумя работниками фронтового тыла пишет почему-то от имени «бывших солдат» десятой и сто восемьдесят первой гвардейских дивизий, заключая письмо таким вот «неустрашимым» возгласом: «Ваша затея — мартышкин труд! Мы били их (врагов) трехлинейкой, а в случае нужды ракетой побьем запросто!»

Какая живучая все-таки песня «Если завтра война, если враг нападет»! И не стыдно, оказывается, некоторым товарищам, что под бравурные слова этой песни сибирские дивизии и плохо вооруженное ополчение

неисчислимо легли в подмосковную землю. Слезы на глазах уже редких вдов наших до сих пор не обсохли, ранние могилы солдат, детей и инвалидов травой еще не совсем заросли, старые раны не отболели, на головы, обряженные в парадные генеральские картузы, какие-то чужеземные загулявшие самолеты садятся, а бравые Зайцевы все те же нам песни поют про «непобедимую трехлинейку» да еще про непробиваемый ракетный щит!

Я читал эти письма и листал газеты с беседой М. С. Горбачева по советскому телевидению: «...мир в своем развитии вступил в такой этап, который требует новых подходов к вопросам международной безопасности. Нельзя сегодня, в ядерно-космическую эру, мыслить категориями прошлого... И сейчас вопрос уже стоит не только о сохранении мира, но и о выживании человечества».

А о том, какой пример подается молодежи, за меня ответит письмо Марка Соломоновича Эльберга: «Нас, ветеранов третьего Сталинградского Гвардейского мехкорпуса... пригласили в Волгоград к 40-летию Сталинградской битвы. Состоялась встреча с учащимися подшефной средней школы, восстановленной еще во время войны на средства, внесенные воинами нашего корпуса... Все было торжественно. Нас приветствовали школьники, а ветераны рассказывали эпизоды сталинградского сражения, о подвигах воинов. Спустя время, уже вне класса, в коридоре подходит ко мне группа учащихся во главе с председателем пионерского отряда и говорит: «Много в наш город приезжает ветеранов, рассказывают подобное тому, что рассказывали сейчас вы, но как поговорим с ними отдельно, в стороне, то слышим совсем другое. А мы хотим знать, что было на войне в самом деле». Я остолбенел! Полчаса назад ими, учащимися, было выражено столько восторгов по поводу нами рассказанного, а оказывается, под всем этим лежал груз сомнений...»

Кабы он «лежал», этот «груз сомнений». Увы, он «работает», ибо всякая ложь, сокрытие истины растлевают души людей, лишают доверия молодежь, которая порой презрительно относится к тому, что говорится и пишется нами, ветеранами.

А что касается совета: «Солдат, так и пиши о солдатах»,— я охотно его принимаю и хотел бы всю жизнь вдохновляться примером создателя величайшего шедевра мировой литературы — «Дон Кихота». Четыреста лет назад сочинил его солдат-инвалид Мигель де Сервантес Сааведра, и начал он эту гуманнейшую из гуманных книг сидючи в тюрьме. И вообще я всегда

охотно следовал и следую совету Максима Горького — больше учиться. Но не принимал и никогда не приемлю полубарские замашки и этакое небрежно-снисходительное отношение к солдату. Забыли некоторые военные чины, что армия-то у нас все же рабоче-крестьянская и как солдаты, так и командиры вышли не из баронов и графов, а все из того же трудового народа.

Не могу умолчать и еще об одном совете. Содержится он в письме полковника в отставке Н. Н. Полякова из Москвы и еще в нескольких письмах: писать с «партийных позиций, на основе документальных данных, как это делали и делают писатели К. Симонов, И. Стаднюк, В. Быков».

Видно, наши бурные, часто вздорные перепалки и маломысленные творческие дискуссии породили у обывателей мнение, что мы, советские писатели, живем совсем разобщенно, готовы порвать друг друга, и поэтому я вынужден привести цитаты из писем двух уважаемых не только мною писателей и сказать, что хотя и живу я в Сибири (но не в пустыне же Сахаре!), меня связывают с многими писателями, прежде всего фронтовиками, товарищеские, с некоторыми и дружеские отношения. Знаком я и с Иваном Стаднюком, раскланиваемся при встречах; не очень близко, но знал я и Константина Михайловича Симонова, встречался с ним незадолго до его смерти, имею от него добрые письма. Давно знаю Василя Быкова и помню, как жестоко били и умело травили его, тогда еще малоизвестного писателя, за роман «Мертвым не больно» — две-три подписи в «сердитых» письмах ко мне знакомы и В. Быкову. «Виктор, дорогой дружище! — пишет ко мне Василь Быков.— Как, наверное, и всюду сейчас в стране, в Белоруссии тоже звучит твое имя, связанное с двумя последними публикациями — в «Новом мире» и в «Правде». Здорово, верно и наконец-то! Кому-то давно надо было так сказать, и если это выпало тебе, то вдвойне правильно...» А вот выдержки из письма бывшего командира огневого взвода гаубичной батареи, ныне известного писателя: «Жму тебе руку за твое «Правде» напечатанное, и по сути, и по боли, которая в каждой строке и за каждой строкой,— это и есть то главное, что должно было быть сказано, и сказал ты это с достоинством и с презрением к тем, кто нашу окопную, народную правду войны, великой кровью оплаченную, смел называть «кочкой зрения»... В литературе первых не бывает, это честолюбцы стремятся в

первые. Но каждый подлинный писатель — единственный и неповторимый» — Григорий Бакланов.

...В моих заметках было сказано о том, что наш любимый командир дивизиона Митрофан Иванович Воробьев был тяжело ранен и мы его с двумя обоймами к пистолету и гранатой вынуждены были оставить в Орининской школе, где временно размещался госпиталь. Когда закончился многодневный бой, мы уже не нашли оставленных там раненых.

Пропал, думаю, погиб Митрофан Иванович, вечная ему память! И вот среди откликов — письмо из Новохоперска Воронежской области от какого-то Воробьева. Начал читать — и сердце мое забилось радостно: жив! «Нас (жена Митрофана Ивановича, Капитолина Ивановна, была вместе с ним на фронте.— *В. А.*) глубоко тронуло, что ваша память сохранила события тех далеких огненных лет... Ранение, которое я получил в том бою, оставило меня инвалидом на всю жизнь... Память почему-то сохранила больше тех, кто погиб на моих глазах. Вот наблюдательный пункт на ахтырском пшеничном поле, ужин, который привез начальник связи Коровиков. Вдруг самолет, бомбежка, крики, стоны. Командир разведки дивизиона Ястребов, смертельно раненный, говорит Капитолине Ивановне: «Товарищ врач, оказывайте помощь другим, я — готов!» — и умер. Убит молоденький разведчик (фамилии не помню). Душераздирающе кричит командир отделения связи — перебит позвоночник.

В другом районе страшное ранение в живот получил уже другой командир отделения связи, бежит на наблюдательный пункт, а кишки висят, волокутся по земле, он их руками заправляет в распоротый живот... Выжил! Я его в 1946 году случайно встретил в Пензе — едва ходит, торгует иголками. Обнялись мы с ним, расцеловались... Стоит перед глазами командир батареи Зайцев, убит в деревне Телячье, под Болховом (убит, добавляю я от себя, почти в первом бою, самый видный и красивый, самый бравый и боевой командир, которому на роду было написано быть любимцем и героем.— *В. А.*). Сидит под деревом, помню, как живой, только капля крови запеклась на шее, возле сонной артерии, рана — с иголочное ушко. Другой командир батареи стоял рядом, шальная пуля прошила грудь через сердце, навылет. Я ясно слышал ее удар в тело, как галька издает звук, вертикально брошенная в воду, и последние слова: «Отжил Василий Иванович на белом...» — и осел».

Ах, война, война... Болеть нам ею — не переболеть, вспоминать ее — не перевспоминать! И все-таки не могу

отложить в сторону одно письмо. Какой светлый и, не побоюсь «крайнего» слова, нежный образ встает за строками, написанными Парасковьей Петровной Бойцовой, награжденной на фронте орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», ныне работающей стенографисткой в Калининском облисполкоме.

«По возрасту я ваша ровесница, одинаковая с вами военная специальность — связистка в 44-м Гвардейском артиллерийском полку 16-й Гвардейской стрелковой дивизии. Прошла с боями из Подмосковья, огненную Курскую дугу, Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию... Пути войны, нелегкие для мужчины, во много раз труднее для девушек-фронтовичек. Сейчас невозможно представить, как мы могли жить, и не один год, имея всего имущества шинель да плащ-палатку. За все время пребывания на фронте я не припомню, чтоб хоть ночь между боями мы провели в жилом помещении. Землянка узла связи — в ней невозможно встать, со стенок сочится, под ногами хлюпает грязь, в которой день и ночь чадит узенькая полоска шинельного сукна, опущенная в горючее. Отсидишь смену — только зубы белые.

Мы, 17—18-летние девушки, не принимали скидки ни на молодость, ни на слабый пол. Лично я постоянно находилась во взводе связи, среди солдат разного возраста, рядом ни мамы, ни подруги, постоянно контролируешь свой каждый шаг, каждое слово. Я по пальцам на одной руке могу пересчитать, сколько раз мылась в бане (в землянке, во время недолгой передышки в боях). Даже летом, недалеко от реки находясь, разве можешь искупаться, если кругом одни мужчины...

День своего рождения забывала каждый год. В 1944 году замполит полка Расщепкин сказал, что нынче-то обязательно отмечен будет мой день рождения — как-никак двадцать лет! Но началось наступление, тяжелые бои, большие потери...

В 1945 году в полку решили торжественно отметить 8-е марта. Стояли мы тогда в городе Бергау под Кенигсбергом. В полку было шесть девушек: военфельдшер, две телефонистки, две радистки и повар. Мы никогда не видели друг друга — фронт не место для прогулок и в гости не пойдешь. Командир полка разрешил девушкам быть в гражданском платье. Я посмотрела свой гардероб: ватные брюки, застиранная добела гимнастерка, стершиеся сапоги. В таком виде на праздник? Но молодость есть молодость! Всем хочется быть красивыми и нарядными. Я принесла свои рваные

сапоги старшине, попросила отвезти их в ремонт, взамен получила ботинки 45-го размера.

Началось торжество. Замполит Расщепкин, видя, что меня нет, идет в наш подвал и, отвернув плащ-палатку, громко спрашивает: «Почему?!» — но увидел мои ботинки, опустился рядом со мною на нары и мог только произнести: «Да...»

Не обходили нас и взысканиями — у меня до сих пор остались неотработанные шесть нарядов вне очереди...»

Дорогая, далекая, милая женщина, Парасковья Петровна! Пусть эти наряды вне очереди отрабатывают мужчины, желательно те, которые их вам влепили. А я целую ваши руки и в «лице их» целую руки всех женщин, беззаветных наших тружениц, самых стойких, самых терпеливых, самых мужественных героинь войны.

Желаю всем моим собратьям по окопам того же, чего желаю себе на исходе лет: хотя бы сносного здоровья, незакатного солнца на мирном небе, радости во внуках и правнуках...

А благодарная и благородная память, верую, да пребудет с нами вечно!

...Пустующий бункер в таежном пионерлагере приспособлен под овощехранилище, и у меня возникла дерзкая мечта: вот бы все бункеры во всем мире — да под картошку бы!..

Григорий Бакланов

О ПРАВОМ ДЕЛЕ И МНИМЫХ ИСТИНАХ

— Григорий Яковлевич, каждый день жизнь преподносит поучительные уроки. Вот и нашумевшая статья в «Советской России» под рубрикой «Письмо в газету» отчетливо показала, что бороться за перестройку—это значит бороться за души людей, за консолидацию тех, кто понимает: иного пути, кроме перестройки, нам не дано. Но, к сожалению, не все это понимают, а много и таких, кто не хочет понять, не хочет никаких изменений. Между тем существует мнение (об этом говорят и читательские письма), что большой беды в этой публикации нет: высказал, мол, человек свое частное мнение, что и предусматривают гласность и демократия. Что вы об этом думаете?

— Думаю, ни у кого не должно быть монопольного права на критику. Гласность—это гласность для всех, каждый вправе свободно высказать свое мнение. Но свободы без ответственности не бывает, я бы даже сказал, чем шире свобода, тем выше личная ответственность, иначе свобода для меня, для вас обратится в несвободу для остальных. Наше общество пережило это, мы знаем, как это бывает, к чему приводит. Но статья-то в «Советской России», она ведь как раз против гласности, именно гласность она и требовала пресечь. И даже для острастки напоминалось, что, мол, в свое время за «писания» (которые, кстати, выглядели по сравнению с ныне печатающимися у нас абсолютно невинно) высылали из страны. Что же удивляться, что публикация вызвала такую бурю возмущенных читательских писем? А еще и то отвращает, что вся она построена на лжи.

Нам в редакцию журнала написал из Ленинграда человек, близко знающий и Нину Андрееву, и ее мужа. Так вот, он пишет, что никакое это не письмо Нины Андреевой, как было обозначено в газете. Пришлите, мол, к ней корреспондента—пусть убедится. Двое публицистов еще до статьи в «Правде» пытались встретиться с Андреевой, она уклонилась. А чего бы, спрашивается, уклоняться, если она—автор? Нет, похоже, это—коллективное творчество, и правильно в

«Правде» эта статья была названа манифестом антиперестроечных сил. И еще старый метод использовали, встречался он уже в нашей истории. Когда нужно было разгромить ЦК комсомола во главе с Косаревым, и позднее, когда возникло «дело врачей», все так же точно делалось: выступала вдруг с разоблачениями некая, дотоле малоизвестная или вовсе никому не известная женщина, и сразу же это подхватывалось шумно. Живы в памяти, не забылись еще эти процессы. А вот и методы ожили.

Те, кто защищает сегодня Сталина, вернее сказать, защищает себя, используют его же, сталинские методы — и ложь, и подтасовка фактов играют тут не последнюю роль. Вот смотрите: и в этой статье в «Советской России», и в письме в «Огонек» проректора Московского физико-технического института М. Т. Новикова (интересно, что и по времени они совпадают: и то и то в марте) появилось утверждение, будто и Черчилль и Рузвельт стояли перед Сталиным по стойке «смирно». «Вольно или невольно вытягивались по стойке «смирно» даже такие руководители великих государств, как Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль, держа руки «по швам»,— пишет проректор. Было бы полезно в целях общего развития, чтобы кто-нибудь из студентов младшего курса Московского физико-технического института рассказал бы популярно своему проректору, что Рузвельта (Франклина Делано) после перенесенного им полиомиелита возили в коляске, и если бы даже у него возникло такое странное для президента великого государства желание вытянуться перед Сталиным по стойке «смирно», держа руки «по швам», он просто физически не мог сделать этого.

А как же было на самом деле? Может, хоть в переносном смысле слова это происходило так? И в переносном смысле ничего подобного не было.

Мы помним, что открыть второй фронт союзники обязались в 42-м году, но Черчилль оттянул это еще на два года. Он все время ссылался на недостаток сил и средств, мол, соверши они высадку теперь, это приведет к большим потерям. Ну что ж, кроме нежелания рисковать своими людьми, здесь отчетливо просматривалась и политическая игра: надо было Гитлера разгромить, но надо было также, чтобы Советский Союз вышел из войны крайне ослабленным, и тогда, в послевоенном мире, продиктовать свою волю.

А что касается недостатка средств, так высадка союзников в Африке (вместо открытия второго фронта в Европе), операция «Торч» («Факел») были настолько

обеспечены всеми боевыми средствами и техникой, что «первые самолеты доставили в Алжир зубоврачебные кресла». Это Черчилль пишет, его шеститомный труд «Вторая мировая война» я цитирую, раз уж на Черчилля вдруг мода пошла. И по расчету в этой операции одна машина, в том числе боевые машины, броневики, танки, артиллерия,— каждая одна машина приходилась на 4,77 английского или американского солдата. А наши девочки-санитарки должны были в это самое время не только раненого вынести с поля боя, но обязательно с его винтовкой, без винтовки раненого другой раз в медсанбат не принимали. Как мы до этого дошли, касаться сейчас не будем, об этом достаточно писалось и еще будет написано.

Но вот еще один эпизод войны, на который прошу обратить внимание хотя бы потому, что статья в «Советской России» рекомендует двухтомник «Переписки Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» как «значительный и серьезный материал для размышлений... Эти документы, право же, вызывают гордость за нашу державу...».

Так вот, в декабре 44-го года началось немецкое наступление в Арденнах, союзников теснили, и Черчилль обратился к Сталину: «...я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте...» Наше наступление планировалось позже, погода не благоприятствовала, но Сталин ответил: «Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь...» И тем не менее он заверил, что будет приказано: «...не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января».

И наше наступление началось на 10 дней раньше. Что это значило? Это значило, что не все снаряжение и боеприпасы были подвезены, а неподвезенные снаряды — это людские жизни. Мы, испытавшие в 41-м году, что такое преимущество противника в воздухе, понесшие тогда огромные потери, лишили себя в этом наступлении главного своего преимущества. И история Отечественной войны, и краткая, и полная энциклопедии, и мемуары военачальников сообщают о низких туманах и о том, что мы лишили себя главного своего

преимущества: авиации и прицельного огня артиллерии. Мощные немецкие укрепления прорывала пехота жизнями своими, и люди подымались в атаку, шли в бой «За Родину! За Сталина!». Мы никогда не узнаем, сколько тысяч, десятков тысяч полегло тогда, сколько их могло бы жить сейчас, если бы не их жизнями прорывали укрепления: юношей, начинавших жить, отцов, чьи дети осиротели.

Но, может быть, действительно положение союзников было критическим и тут уж не приходилось считаться? Вот соотношение сил и средств, приведенное маршалом Г. К. Жуковым: «... союзники уже вскоре после открытия второго фронта превосходили противника по числу людей в 2 раза, по танкам — в 4 раза, по самолетам — в 6 раз». Но, возможно, тут скрывались недоступные простым смертным проблемы стратегии, гениальные политические расчеты, и ради этого мы жертвовали жизнями?

«Я очень хотел, чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы,— писал Черчилль.— Венгры, например, выразили намерение оказать сопротивление советскому продвижению, но они капитулировали бы перед английскими войсками, если бы последние могли подойти вовремя. Я очень хотел... захватить и оккупировать полуостров Истрию и попытаться прийти в Вену раньше русских».

И далее: «...Решающие практические вопросы стратегии и политики, о которых будет идти речь... сводились к тому, что:

во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира;

во-вторых, надо немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения;

в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток;

в-четвертых, главная и подлинная цель англо-американских армий — Берлин».

Вот каковы были стратегические и политические расчеты Черчилля и вот чему способствовал тем наступлением, жертвуя жизнями советских солдат, наш «великий и мудрый», перед которым, как утверждают нынешние его защитники, стояли по стойке «смирно» и Черчилль и Рузвельт, держа руки «по швам».

Но, может быть, это единственный военный просчет Сталина, у кого просчетов не бывает? «Особо отрицательной стороной Сталина на протяжении всей войны было то,— писал маршал Жуков автору романа «Вторжение» В. Соколову, и письмо это, разумеется, не редактировалось, как были отредактированы мемуары

маршала,— что, плохо зная практическую сторону подготовки операции фронта, армии и войск, он ставил совершенно нереальные сроки начала операции, вследствие чего многие операции начинались плохо подготовленными, войска несли неоправданные потери, а операции, не достигнув цели, «затухали».

Глава государства, «отец народов», обязан беречь свой народ, а не отдавать его на истребление.

А вот еще одно, последнее свидетельство — о предвоенном времени. Во время визита в Москву, за полночь уже, когда, как пишет У. Черчилль, «мы отведали всего понемногу, по русскому обычаю пробуя многочисленные и разнообразные блюда и потягивая различные превосходные вина», он спросил Сталина:

«Скажите мне, на вас лично так же тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации?»

Эта тема сейчас же оживила маршала.

«Ну, нет,— сказал он,— политика коллективизации была страшной борьбой».

«Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой,— сказал я,— ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей».

«С 10 миллионами,— сказал он, подняв руки.— Это было что-то страшное, это длилось четыре года...»

«Это были люди, которых вы называли кулаками?»

«Да,— сказал он, не повторив этого слова...»

«Что же произошло? — спросил я».

«Что ж,— ответил он,— многие из них согласились пойти с нами. Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области или в Иркутской, или еще дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками».

И далее Черчилль пишет: «...помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются... Я не повторил афоризм Берка: «Если я не могу провести реформ без несправедливости, то не надо мне реформ».

Так можно разбирать каждый абзац статьи «Советской России» от 13 марта, в каждом абзаце — замаскированная ложь. Сталин одерживал победы, но это были победы над своим народом, кровавые победы. Не Черчилль и Рузвельт, мы стояли перед ним по стойке «смирно»: и жизнь вся, и мысль, и люди. И экономика страны стояла «руки по швам». А результаты расхлебываем теперь.

— Григорий Яковлевич, вы сосредоточили внимание на статье в «Советской России», а ведь в апрельских номерах журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник», которые в марте месяце подписывали в печать, появились статьи, по смыслу и аргументации солидаризирующиеся с выступлением «Советской России».

— Да, вы правы. Некий залп. Вообще опыт должен учить нас. Возможно, вы помните, как в свое время организовывалась травля Твардовского? Это было время, когда общественная жизнь все дальше начала отходить от линии XX съезда партии, а Твардовский и журнал «Новый мир», которому он до последних дней отдавал жизнь, оставались верны партийной линии съезда. И раздался скоординированный залп: выступили газеты «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Литературная Россия». А первым выстрелил «Огонек», которым тогда руководил А. Софронов: известное письмо одиннадцати литераторов открыло эту кампанию.

Мы с Юрием Трифоновым написали письмо в ответ — мало уже тогда оставалось защитников у «Нового мира»,— понесли его в «Литературную газету». Другой был первый зам. главного редактора, он принял нас. Прочел: «Вы, надеюсь, понимаете, что я должен информировать?..» — и указал на телефоны. «Понимаем».— «У нас какая-то беседа с вами должна была идти... Вы, конечно, понимаете, что теперь она не пойдет?» — «Понимаю»,— сказал я. Тут он и на Трифонова посмотрел, повспоминал: «У нас что-то лежит о ваших творческих планах... Вы, надеюсь, понимаете?..» — «Понимаю»,— сказал Трифонов. А о том, чтобы письмо наше напечатать, об этом и речи не шло. Отослали мы копию Александру Трифоновичу Твардовскому в больницу, чтоб он почувствовал хоть малую поддержку. И оттуда, из больницы, я получил его рукой написанное письмо, удивительное по силе духа и предвидению.

В последнее время стали распространяться слухи, что, дескать, кто-то из одиннадцати подписантов сожалеет, мол, и даже что-то приватно высказывал на этот счет. Но вот статья М. Лобанова в упоминавшемся уже № 4 «Нашего современника». По методологии очень схожа со статьей в «Советской России». Там Черчилля взяли в союзники, приписав ему чужое высказывание, тут некий француз понадобился:

«Писали — и у нас и за нашими пределами — об уходе из «Нового мира» А. Твардовского. Но один влиятельный французский публицист Робель писал в

журнале «Леттр франсэз» (декабрь 1970 г.), что главным событием в советской литературе был уход не А. Твардовского из «Нового мира» (уже исчерпавшего себя, добавим), а А. В. Никонова из «Молодой гвардии». Время показало, что эти события оказались действительно разного значения».

Ну и правильно, что француза привлекли, кто у нас такую нелепость скажет? Интересно другое: что ж это М. Лобанов, известный неприятием всего иноземного, а западного — особенно, вдруг на Запад обратился за подмогой? В своем Отечестве не сыскал желающих? Или в борьбе все средства хороши? Но с кем борется? Это же горькому смеху подобно — поставить рядом такие несоизмеримые имена и рассуждать, что́ есть бо́льшая потеря для литературы, а значит — и для народной жизни: уход Твардовского или, простите, Никонова...

Занятие литературой — опасное дело. Человек думает, что он пишет про кого-то, а сам, того не ведая, рассказывает про себя такое, в чем, кажется, и под пыткой не признался бы. Я думаю, ни один самый злой критик, ни один недоброжелатель не написал еще про М. Лобанова то, что он сам сейчас сказал о себе этой статьей.

Бывает, статьи не всегда рассылают всем членам редколлегии: кто-то прочел, а кто-то и не читал. Но главный редактор журнала читать обязан, он подписывает журнал. При жизни Александра Трифоновича Твардовского одним из подписавших то позорное письмо в «Огоньке» был С. Викулов. Ныне, когда Твардовского нет в живых, а народ собирает средства на памятник Василию Теркину, иными словами — на памятник своему великому поэту, С. Викулов подписал журнал со статьей, в которой Лобанов пытается посмертно принизить Твардовского. Все продолжается.

Остается добавить еще одну любопытную подробность. Ложь, как известно, всегда старается выглядеть правдоподобно. Деталь, имеющая вид точности, дата — и сразу на непосвященного это производит впечатление, не позволяет усомниться. В статье М. Лобанова не просто пересказаны слова «влиятельного французского публициста», но и говорится, что напечатано это в «Леттр франсэз» и даже, как бы между прочим, брошено в скобках: «(декабрь 1970 г.)». Простая проверка показала, что ничего подобного в декабре в «Леттр франсэз» напечатано не было. Так был ли мальчик-то? А может, мальчика вовсе и не было?

Какое странное совпадение методов!

— Сказать народу правду в большой степени призвана литература. В последнее время появилось немало произведений, глубоко раскрывающих суть происходящих событий, как в прошлом, так и в настоящем времени, показывающих не известные нам раньше социальные типы людей. Одновременно возникли и споры о мере художественности и публицистичности в литературе. Как вы относитесь к подобным дискуссиям?

— Да разве это дискуссии? Это видимость дискуссий. Это с научным видом толкут воду в ступе. Вот представьте, если бы во время войны, когда решался вопрос, быть нам или не быть, развернулась дискуссия, стоит ли художнику дожидаться, когда у него созреет высокохудожественная проза, или в любой форме: стихом плакатным, листовкой, статьей публицистической сказать народу вдохновляющее слово? А сколько писателей вообще в ту пору брали не перо, а винтовку!

Не будем обманываться, сегодня решается судьба Отечества. Либо мы создадим динамичное демократическое общество, в котором превыше всего ценятся труд и талант, преданность гражданина своему Отечеству, а не личная преданность; создадим самонастраивающийся, восприимчивый ко всему новаторскому хозяйственный механизм, выдвигающий людей инициативных, деятельных, механизм, который позволит нам выйти на мировые рынки, продавать продукты нашего труда, приумножая богатства,— словом, создадим то, к чему ведет нас перестройка, либо закрепится административная система, действующая по приказам администраторов, очень часто не сведущих в деле, ибо многолетняя система отбора на должности складывалась такая, что через многие сита просеивали. Если это случится — опять застой, окончательная потеря людьми энергии и веры, полнейшая вялость хозяйственного механизма, мы откатимся назад, и другим странам неминуемо будет позволено разграбливать нашу страну, скупая по дешевке сырье, невосстановимое богатство, достояние наших детей и внуков. Либо — либо. Середины нет. И каждого надо оценивать сейчас по тому, как он, лично он, помогает перестройке. Если публицистика помогает осознать время, так это что, плохо? Не то качество?

Но вот другой пример: романы В. Дудинцева «Белые одежды», А. Рыбакова «Дети Арбата», повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая», Д. Гранина «Зубр» оказали большое влияние на всю общественную атмосферу. Читательский интерес к этим книгам огромен: одни принимают их восторженно, другие яростно отвергают. Удивляться нечему, эти книги — о слишком серьезных и больных проблемах, они — о главном.

Кое-кто из писателей постарался их вовсе не заметить, будто и не было таких книг. Что ж, дело понятное, слабости людские свойственны и небесталанным людям. Но постепенно сложился хор голосов: это беллетристика, публицистика, они художественно несовершенны... Ах ты, бог ты мой, какие ревнители художественности! Годами, десятилетиями терпели серые, бездарные романы и не морщились, похваливали, а тут вдруг тонкий художественный вкус прорезался, «совесть» не выдержала.

Но, допустим, какая-то из этих книг и впрямь беллетристична, публицистична, допустим даже, отражает временные, а не вечные общечеловеческие интересы, хотя тут приговор выносит только время, а не современники. Но—допустим. И что же? «Для того, чтобы иметь силы сделать те огромные шаги вперед, которые сделало наше общество в последнее время, оно должно было быть односторонним, оно должно было увлекаться дальше цели, чтобы достигнуть ее, должно было одну эту цель видеть перед собой. И действительно, можно ли было думать о поэзии в то время, когда перед глазами в первый раз раскрывалась картина окружающего нас зла и представлялась возможность избавиться его. Как думать о прекрасном, когда становилось больно! Не нам, пользующимся плодами этого увлечения, укорять за него. Распространенные в обществе бессознательные потребности уважения к литературе, возникшее общественное мнение, скажу даже, самоуправление, которое заменила нам наша политическая литература, вот плоды этого благородного увлечения».

Не правда ли, злободневно звучит, будто сегодня сказано? Это—Лев Толстой, это из его речи, произнесенной в Обществе любителей российской словесности в 1859 году, в бурное для России время. А уж он-то знал, что «литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».

Что же, наши ревнители «высокого искусства» не знают всего этого? Знают, все они знают. И тем не менее начинают вдруг противопоставлять этим книгам, этим авторам других авторов, например литературу о деревне. Что это, две разные литературы? Двух разных народов? В переломную эпоху не раздроблять надо народ и его литературу, не противопоставлять одних другим—стенка на стенку. Великая цель достигается только единым устремлением народа.

— Григорий Яковлевич, не кажется ли вам, что критиков названных вами писателей волнуют больше всего не литературоведческие, а политические мотивы? Так сказать, «не ворошите старые могилы, они чреваты новою бедой»...

— Похоже, что так. Средства и аргументы разные, а цель одна. Говорят, например: чтобы описать события, потрясшие нашу страну, нужен новый Шекспир! Но Шекспира среди нас нет, что ж, еще триста лет подождать? Или: пусть сначала историки разберутся, а потом уж писатели. Но что делать, если историки так долго не торопились? Или, например, так: собственно говоря, от личности ничего и не зависело, историю, как известно, творят массы, история наша шла своим путем, ничего другого и быть не могло, и вообще законы истории подобны законам астрономии, они неотвратимы, как неотвратимо движение небесных тел... Но мы-то хорошо понимаем: проживи Ленин еще хотя бы лет десять, не была бы прервана насильственно, осуществилась бы экономическая политика, дальновидным творцом которой он был. И не испытала бы наша страна кровавых трагедий сталинских времен.

Пожалуй, дальше всех пошел тут В. Кожинов в статье, «скромно» названной «Правда и истина» в апрельском номере «Нашего современника». И вот какую «истину» он открыл: Сталин, мол, закономерное следствие революции, не будь он, был бы точно такой же другой, а все это Ленин предвидел и заранее знал и шел на это...

В. Кожинов — знаток Достоевского, помнит он, конечно, слова Великого Инквизитора: «... даешь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть».

Не истину ищет В. Кожинов, его статья — это одна из попыток обольстить совесть, возбудить гнев и направить его по ложному следу. Что надо носить в душе, чтобы жертвы 37-го года (мол, они сами во всем виноваты, чего их жалеть!) противопоставить жертвам коллективизации и последующего голода! Не только живых, но и мертвых столкнуть! Как можно не видеть, что эшелоны с семьями раскулаченных, а потом, в последующие годы, — эшелоны, в которых вывозились изгнанные народы, — это все звенья одной и той же зловещей цепи, один и тот же был у всего этого творец: «О том не пели наши оды, что в час лихой, закон презрев, он мог на целые народы обрушить свой

верховный гнев...» Не за это ли поэтическое прозрение и сегодня кому-то неугоден Твардовский.

Нет, не в наши дни гласности возникли наши национальные проблемы. Все они — следствие тех лет.

— Григорий Яковлевич, мой последний вопрос может показаться не относящимся к теме разговора. И все же здесь есть своя логика. Скажите: как вы относитесь к наградам?

— За высокие гражданские подвиги, за воинскую доблесть, за беспримерный труд на благо Отечества надо отличать и награждать, чтобы сограждане могли гордиться и следовать достойному примеру. Но в наградах, как и в жизни, более всего нужна справедливость. Отвращает и развращает, когда награды даются незаслуженно. Людям стыдно видеть это, унизительно сознавать, что их мнение ничего не значит, а награжденный все равно горд.

Брежнев в годы своего правления отнял у награды честь. Он столько понабрал себе всех мыслимых орденов, всех мыслимых медалей, что просто физически всю эту тяжесть золота не мог носить на себе. Помню, в 66-м году, через двадцать один год после Победы, когда ему вручили первую Золотую Звезду Героя Советского Союза, один подвыпивший человек, возможно, фронтовик, громко спрашивал в троллейбусе: «Он что, до сих пор в блиндаже сидел? Только сейчас его обнаружили?» Но еще и еще подсовывали ему, чтобы иметь возможность и себе брать бессчетно...

Конечно, дух искательства не сегодня возник, в чиновной России все это было вéдомо и даже слишком хорошо разработано: напомнить о себе вовремя, не заслужить, а выпросить... Но никогда русская интеллигенция не отличалась искательством, это считали позором. А вот в среду́ наших писателей, деятелей творческой интеллигенции этот дух искательства проник и дал пышные соцветия. Да и поныне не выветрился, нечего греха таить.

Один из мифов нашего времени состоит в том, что, мол, раньше было справедливо. Строго, но справедливо. И вообще с нами без строгости нельзя, нужна твердая рука, тогда мы начинаем «понимать». Н. А. Некрасов об этой психологии писал просто: «Люди холопского звания — сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господа...»

А было так: вернулись мы с войны, и за боевые ордена платили какие-то небольшие деньги орденонос-

цам. Тут, наверное, полагается стыдливо опустить глаза и сказать: не в деньгах дело... Нет, по той бедной жизни деньги эти что-то значили: скажем, для колхозника, получавшего одни «палочки» на трудодни, для студента. Я был студентом, месяц-два не берешь, глядишь, тридцатка, полсотни набежало. При стипендии в тогдашних 220 рублей это — деньги. Но скоро орденские отменили одним росчерком пера. И вот тут уж не деньги отняли, а честь: война, мол, кончилась, такой вам и почет. Сразу же и пенсии военные начали снимать. Я с войны вернулся инвалидом третьей группы: не за контузию, за одну из четырех ран. И вот каждые полгода приходили мы на переосвидетельствование. И каждый раз свершалось чудо: входили в дверь на медкомиссию больные, хромые, увечные, а выходили оттуда уже не инвалидами войны, а здоровыми гражданами.

Но у меня только рука левая искалечена, а полагалось ведь переосвидетельствоваться и тем, у кого от ноги, от руки одна культышка осталась. И шутят бывало между собой бывшие фронтовики, ожидая мудрого решения: «Ну, как у тебя?» — «Да вот отрастает рука помаленьку...» Каждые полгода это стояние под дверью, это ожидание, это обязательное унижение — вот такая была награда за раны, за увечья, за кровь. И хотите верьте, хотите нет, а на четвертое или пятое освидетельствование я не пошел, не смог, хоть пенсия тогда для меня многое значила. Да все равно не сегодня завтра отняли бы ее. Так и лежит у меня старая пенсионная книжка тех времен.

Той самой весной, в пору, когда по присловью «цыган шубу продает», пошли мы с Владимиром Тендряковым (учились мы на одном курсе в Литературном институте, был он тоже инвалидом войны) продавать мою офицерскую шинель: жить-то надо было. Дали нам за нее при входе на толкучку двести двадцать рублей: вот преследовала меня эта цифра. Мы обиделись, не отдали по дешевке, толкались там еще часа два, а когда другой перекупщик дал нам те же две сотни и две десятки, мы рады были, словно их даром нашли. Тут же купили жареных пирожков с тухлятинкой и возвращались очень счастливые.

Да, Сталин не навесил себе столько орденов, сколько присвоил себе Брежнев: в чем-в чем, но в психологии людей он разбирался, он был великий знаток слабостей людских и пороков. Золотых Звезд у него было две (не четыре и не пять), но страна при нем покрылась его памятниками и изображениями. А вот маршалу Жукову, спасителю Москвы, в которой Ста-

лин сидел в полной растерянности, он что-то памятника не установил. И день страны начинался со славословия вождю и заканчивался славословием ему же. И все, что он делал, было заранее гениально, и все свершения нашего великого и многострадального народа, все это ему приписывалось, повергалось к его ногам. Да можно ли мне приписать чужие заслуги, если я этого не желаю, славословить из всех репродукторов с утра до ночи, если это противно моей совести, моим убеждениям?! И все это распространялось по всей пирамиде сверху вниз. Подлинные создатели реактивной артиллерии, легендарной «катюши» ушли в лагеря, на расстрел, а человек, написавший на них донос, был за них восславлен и награжден. А история Вавилова? А тысячи тысяч подобных историй? Великим воздастся хотя бы посмертно: чем больше претерпел при жизни, тем ярче воссияет имя. А обычным, рядовым людям? Из тени в тень унесли они и страдания свои, и боли, и обиды, а были те боли и обиды не меньше, чем у тех, чье имя войдет в историю.

Нам надо очистить социализм от всего, что на него налипло. Нам надо возвращать подлинный смысл понятиям и словам: и совести, и чести, и человеческому достоинству.

Василий Белов

«ВОЗРОДИТЬ В КРЕСТЬЯНСТВЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ...»

— Василий Иванович, недавно, как известно, в Москве состоялся IV съезд колхозников. Много вопросов было поднято на нем, в том числе и о развитии кооперации, демократии в деревне. С утверждением их в жизни крестьянин должен почувствовать себя хозяином, творцом. Что вы думаете по этому поводу?

— За последнее время совещаний, собраний, заседаний стало не меньше, а, пожалуй, больше. Почему — не знаю. Но съезд колхозников, мне кажется, все-таки событие нерядовое. Разговор ведь шел о кооперативах, крестьянской предприимчивости. Мы возвращаемся к идеям ленинского плана кооперации, к идеям А. В. Чаянова, других прогрессивных мыслителей. Только на этом пути, используя глубокую личную заинтересованность крестьянина в конечных результатах труда, мы сможем наконец избавиться от дефицита в продуктах питания.

Сельский житель обретает себя как творец только в предоставленной ему свободе действий. Когда не понукают, не поучают, как пахать, что сеять, и не стоят над душой с очередным указанием. Но свобода эта вовсе не свобода от земли. Земля — главная опора крестьянина. Это с достаточной убедительностью подтверждают коллективы, которые берут сейчас в аренду фермы, технику. Они уже появляются на Псковщине, в Новосибирской области, о чем говорили на съезде колхозников. Есть они и у нас на Вологодчине.

Такой пример. В прошлом году в совхозе «Тотемский» звено шофера Валентина Творилова взяло арендный подряд в заброшенной дальней деревне. Людей не подгоняли ни директор, ни агроном, ни бригадир. И что же? В плохую погоду, когда через день лили дожди, восемь человек сумели заготовить столько отличного сена, сколько не под силу среднему по размерам колхозу. Вот она, цена самостоятельности на практике!

Далеко не все, конечно, принимают ее, эту самостоятельность. А кое-где еще пребывают и в неведении.

Недавно в одной из деревень произошел у меня разговор с двумя тамошними жителями. Спрашиваю: вот сейчас разрешается иметь приусадебный участок по пятьдесят соток — знаете об этом? Нет, отвечают, не знаем. Ну, а лошадь хотели бы иметь на подворье? Они говорят: так это же запрещено. Как-то запаздываем мы с разъяснением таких вот насущных изменений...

Проблема, впрочем, намного шире, глобальней. Если бы сейчас, предположим, ввели частную собственность на землю, то у меня на родине, мне думается, мало кто согласился бы взять ее. Выросли поколения, которым уже ничего не нужно — ни земля, ни животноводство, ни родной дом. А свобода действий без земли и дома — пустая, никчемная свобода.

Поэтому-то и важно развивать семейный и арендный подряд, всячески поощрять звенья, бригады, арендующие землю и считающие ее своей. Надо выискивать и всеми силами поддерживать людей, которые любят труд в полеводстве и животноводстве. Кстати, земля и животноводство неразрывно связаны. Их нельзя разделять.

Десятилетиями топчемся в том же молочном животноводстве вокруг двух тысяч килограммов молока от коровы. Такова продуктивность в Смоленской, Брянской, Ивановской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, некоторых других областях. Добрый же хозяин, если у него корова не дает по лету двух ведер молока в день, и держать-то ее не станет... Зачем зазря переводить корма?

— С переходом на самофинансирование, хозрасчет подобные перекосы устраняются, каждый впустую потраченный рубль уже бьет по собственному карману...

— Горько об этом говорить, но во многих хозяйствах сейчас нечем платить зарплату. Где взять деньги? Молока мало — его не хватает, чтобы покрыть все издержки. Надо ждать осени: откормят молодняк, уберут и продадут урожай — тогда появятся средства. А как быть до этого? Я боюсь, что люди вновь побегут в города и поселки, где можно ежемесячно получать твердую зарплату. Если вникнуть, то и винить их нельзя... Говоря о производственных кооперативах, чувствую, какие нелегкие заботы ждут сельских руководителей. О кооперации в деревне мы просто забыли. Многие вековые традиции крестьянства прерваны. Наша историческая наука умалчивает о том, что еще до

революции в России была создана мощная кооперативная система. По опубликованным в печати данным, на 1 января 1917 года насчитывалось до 63 тысяч кооперативов, объединявших 24 миллиона членов-пайщиков.

Взять сибирские кооперативы. Они осуществляли грандиозные обороты, торговали с заграницей. У нас на Вологодчине первый кооператив возник в селе Ошта в начале века. Кооперативное движение имело народную основу, хотя правительство, естественно, тоже помогало. Был, к примеру, учрежден крестьянский банк. Крестьянин мог на льготных условиях взять кредит. Создавались маслоартели, мелиоративные организации, машинные товарищества. Опять же инициатива шла снизу, а не сверху. С 1921 по 1928 год число кооперативов резко увеличилось. В этот период ежегодный прирост сельскохозяйственной продукции составлял десять процентов. Если бы кооперативному движению не помешали «сверху», деревня легко, без натуги обеспечила бы страну не только продовольствием и сырьем для легкой промышленности, но и трудовыми ресурсами. Совершенно безболезненно стали бы высвобождаться рабочие руки, необходимые для индустриализации.

У нас же все случилось наоборот. Система кооперации была разрушена. Осталась лишь потребительская кооперация, существующая и поныне. Правда, она тоже изрядно обюрократилась и по существу выродилась, хотя и сыграла положительную роль в тридцатые годы и в Великую Отечественную войну. (Многие путают нынешнюю потребительскую кооперацию с производственно-сбытовой, которая существовала в двадцатые годы. Но это разные вещи.)

Кооперация в широком ее понимании занималась в деревне не только производством, сбытом и торговлей. Кооператоры внедряли лучший опыт в агрономии, в животноводстве, в народных промыслах. Не чурались они культурных забот и даже издательской деятельности.

— Видимо, пришло время осмыслить негативный опыт. Каково, на ваш взгляд, его происхождение? Как это отразилось на вековых традициях крестьянства?

— Хотел бы начать с того, что русофобия, которая то и дело проскальзывает в западной пропаганде, тесно связана с недоверием, а порой даже с ненавистью к русскому крестьянству. В нем они видят некий реакционный «слой». На мой взгляд, это явление имеет свои

исторические корни. Я не о тех, кто нейтралей, кто все понимает или даже с любовью (иногда излишней) относится к пахарю. Говорю о тех, кто его шельмует и ненавидит. А за что ненавидят?

Прежде всего за прошлое. Русский крестьянин был главной опорой огромного государства — в экономическом, военном, духовном, культурном смыслах. После революции бойцов в Красную Армию рекрутировали из крестьянства, кадры для промышленности — тоже. В Великую Отечественную войну основные тяготы легли опять же на крестьянство. Не случайно А. В. Чаянов сравнивал крестьянство с Атлантом, на плечах которого держится все и вся. Эта могучая, неиссякаемая сила и вызывает кое у кого неприязнь. Так ли уж она неиссякаема? Не будем сейчас вспоминать цифры и факты, отметим лишь следующее: не любить крестьянство — значит не любить самого себя... Не понимать или унижать его — значит рубить сук, на котором сидим. Что, впрочем, мы нередко и делали.

Судьба наших кормильцев складывалась порою просто трагично. Не могу в связи с этим не коснуться Троцкого и его отношения к крестьянству. Троцкизм и крестьянство — тема в нашей исторической науке совершенно неразработанная. Вот и сейчас, во времена гласности, она не только не исследуется, но даже замалчивается. Исторические факты вопиют о том, что троцкизм был врагом государства, но в особенности — крестьянства. Это Троцкий и его компания выдвинули идею расказачивания крестьян на Дону. И осуществили ее, прибегая к репрессиям и расстрелам. Как не вспомнить Григория Мелехова из шолоховского «Тихого Дона»! Это самый трагический образ в советской литературе. Образ злободневный — сегодня он по-новому просветляет многие проблемы нашего государства...

Известно, что Троцкий выдвигал идею так называемых «трудармий». По своей сути идея эта была не нова. Она возникла еще при Александре I и воплощалась в форме военных поселений. (Идеологически обосновывал ее и проводил на практике известный в то время общественный деятель Сперанский.) По моему мнению, замыслы Троцкого восторжествовали после 1928 года. Непосильные налоги, займы, разгон кооперативов, изъятие у них средств и, наконец, репрессии, расстрелы, суды, выселения. Вот чем обернулся троцкизм для миллионов крестьянских семей! Об этом говорят сейчас и наши историки. Но историки не подсчитали, сколько погибло наро-

ду. А если и подсчитали, то не оглашают цифру. Репрессии же продолжались вплоть до Великой Отечественной войны — я располагаю документами и фактами.

На мой взгляд, главным троцкистом являлся Сталин, хотя кое-кто из ученых делает вид, что он был антитроцкист. Сталин разгромил Троцкого организационно — убрал его как соперника личной власти. Но суть троцкизма Сталин и его окружение взяли на свое вооружение. Своих оригинальных идей по поводу крестьянства у Сталина не было. Он утвердил наркомом земледелия СССР Якова Аркадьевича Яковлева — человека далекого от сельского хозяйства, мало что в нем понимавшего. Другие руководители отрасли тоже были чужды крестьянству — смотрели на него как на реакционный класс. Потому под видом борьбы с кулачеством была уничтожена не только кооперация...

Коллективизация, в ходе которой с успехом протаскивал свои идеи троцкизм, шла, разумеется, сверху. В результате — первая пятилетка была провалена, вскоре начался массовый голод. С тех пор и до сего дня мы испытываем нехватку продовольствия. И после войны, в 1946 году, люди у нас на Севере умирали от голода, от болезней, связанных с недоеданием. Я был тогда мальчишкой, прекрасно помню: пришел к своему дружку, а его мать, Вера Плетнева, лежит на печи мертвая — умерла от голода. Та же участь постигла и мать моего тезки, жившего в соседней деревне. Да и сами мы голодовали — семья большая, пятеро детей, отец погиб на Смоленщине в 1943 году. Помню, и моя бабушка умерла от недоедания. Люди ходили с опухшими ногами...

Да и позже приходилось несладко. Что, скажем, в нашем колхозе выдавалось на трудодень? По пять копеек и двести граммов зерна. А зерна-то какого? Отходов, которые уже государство не принимало,— третий сорт. Несомненно, идеи троцкизма еще долго действовали.

— Ученым, специалистам предстоит еще немало поработать над изучением этих вопросов, документально внести в них полную ясность...

— В пятидесятых годах «раскрестьянивание» воплотилось в укрупнение колхозов. Это было вредным явлением — уничтожались лучшие коллективные хозяйства. В нашем Харовском районе на Вологод-

чине одним из крепких всегда считался колхоз «Нива». Даже в войну люди там не бедствовали. Но вот хозяйство укрупнили — оно стало протяженностью в 45 километров. И это в нашей-то лесной зоне, где контурность поля не превышала двух-трех гектаров! Что же вышло? «Нива» по сути завяла. Прекрасные земли запущены, зарастают лозой. Крепкие еще и поныне дома (надежно строили деды) гниют и пустуют...

Ну а потом начались кукурузная кампания, перегнойные горшочки, кролики и т. д. Взялись за различные реорганизации в руководстве. И наконец, доплыли мы до неперспективных деревень. Я считаю, что люди, которые готовили, «протаскивали» идею неперспективности, преподносили ее правительству, должны понести государственную, административную ответственность. Это было преступление против крестьянства. У нас на Вологодчине из-за «неперспективности» прекратили существование несколько тысяч деревень. А по Северо-Западу — десятки тысяч. Вдумаемся: из 140 тысяч нечерноземных сел предполагалось оставить лишь 29 тысяч! Трагические потрясения, пережитые деревней за короткий исторический срок, не могли, конечно, не сказаться на духовном, нравственном устоях народа. Культура и нравственность немыслимы без материальной основы. Земледельческая культура — тем более. Чему же удивляться, если ныне работать и жить на земле, заниматься крестьянским трудом считается неперспективным? Обидно сознавать это...

— Но жизнь, Василий Иванович, как известно, не стоит на месте, надо думать о том, как поднимать экономику деревни, возрождать добрые традиции, укреплять ту же нравственность...

— Пахарю — истинному земледельцу — некогда было раньше пьянствовать, охотиться или играть в карты. Да и сама природа, труд на земле требовали от человека высокой нравственности. Каждый день — это неподражаемый день. Все менялось. Не было в году одинаковых дней. Все дни разные — погода разная, работа разная. Человек как бы срастался с землей, а через нее и с природой. Они зависели друг от друга. Все лишнее, ненужное в этой связи само собой отмирало.

Вот, например, отходничество. Им занимались лишь по жестокой необходимости — надо было платить пода-

ти, налоги. Мой отец Иваи Федорович до самой войны ходил иа заработки, а концы с коицами ие сводил — у нас не было даже сапог. Можно было бы с телеика шкуру снять да сшить ребятишкам сапоги. Одиажды отец так и сделал: выделал шкуру — в бане висела. Так пришли, забрали. Как было жить? Хотел бы я услышать, что сказал бы иа это иной «интеллигент», который иедолюбливает крестьяиство за его мнимую косность...

Крестьянские трудовые и культурные традиции являлись по существу общеиародиыми. И сегодня не косность, а великую иравствениую силу черпаем мы в народе. В то же время в колхозы нередко высылают из городов всякого рода рецидивистов и проституток — иекому, мол, коров доить, пасти. Как это поиимать? Где испортили девчонку, там бы и иадо ее перевоспитывать. От таких иововявлеииых «животноводов» один вред...

Внедреиие арендных форм на землю, фермы, технику — весьма интересиое дело. Боюсь только, что желающих окажется недостаточно, так как промышлеииость выпускает одни могучие «Кировцы», которые давят иа своем пути, как говорится, все — живое и мертвое. Неужели иаша мощная индустрия ие способна создать для сельского хозяйства малую технику? Ведь делает же она иструменты для рок-музыки, осиащает спорт и туризм. А житель деревии, как и сотни лет иазад, вынужден косить косой, копать землю иа огороде лопатой...

Говоря о традициях, хотелось бы обратить внимаиие на народные ярмарки. Когда-то существовали ярмарочиые села. У иас в округе таким селом было Кумзеро. Вообще русская ярмарка — уникальиое явление, но мы о ией уже позабыли. Оиа являлась формой ие только экономического, ио и культурного, духовного общеиия между людьми разиых иациональиостей. Навериое, следовало бы возродить стихийные торговые ярмарки. А то вся жизнь у иас движется по адмииистративному плаиу: вот область, вот райои — и все, дальше не лезь. Даже книжку, издаииую в другом регионе, не купишь. Сегодня крестьяиии все еще иаходится в дурацком положеиии — ои «винтик». Десятки тысяч людей командуют колхозниками — от Москвы до районов. Давайте же дадим сельскому жителю землю в аренду, коли возьмет. Перестанем командовать. Увидим: положение через год-два изменится. И, конечио, в лучшую сторону. В крестьянине надо возродить крестьянское...

— Василий Иванович, в одной из ваших статей, опубликованных несколько лет назад в «Правде», говорилось о серьезном отставании строительства дорог на селе. Сейчас принята и выполняется широкая программа по ликвидации этого пробела. Но люди покидают насиженные «гнезда» и из-за многих других нерешенных социальных проблем...

— Из-за бездорожья мы теряем немыслимое количество продукции. Нет нужды называть цифры. Хочется особо подчеркнуть, что растрясаем не только продукцию... Да, на развитие дорог Северо-Запада России, в том числе и Вологодчины, выделены немалые средства. Но дороги нужны не только к центральным усадьбам и деревням. Их надо вести к полям, фермам — именно там наиболее ощутимы потери. Сегодня тяжелые гусеницы сверхмощных машин ползают по земле и так и сяк, мнут и корежат ее. Сколько прекрасных лугов и пастбищ испорчено техникой!

О социальных гранях говорить можно очень долго. Когда в духовно-нравственном смысле город противопоставляют деревне — это нелепость. Однако честно следует признать: по бытовому обустройству деревня сильно обижена. И в других смыслах — тоже. В восьмилетней школе у меня на родине уже несколько лет не преподается иностранный язык, хотя в области два педагогических вуза. Деревенские школьники поставлены в ущербное положение — ведь без знания иностранного ни один не поступит в высшее учебное заведение. А как с больницами, поликлиниками? Медпункт в нашей деревне то откроют, то закроют. До соседней же амбулатории — семь километров. Пошагай-ка с температурой...

Вместе с тем я далек от той мысли, будто нынешняя деревня должна полностью копировать городской быт. Напротив. Надо сохранить неповторимость жизненного уклада по регионам, сберечь все национальные бытовые особенности в республиках. Избежать стандарта, например, в жилищном строительстве не так уж и сложно. Достаточно предоставить человеку возможность самому строить свой дом. Обеспечь крестьянина материалами, дай ему ссуду. Тогда он и будет не временным, а постоянным работником на родной земле. Тот, кто не имеет своего дома, обычно и к земле относится по-казенному, равнодушно. Он становится квартирантом, наемным работником. Такой человек готов в любой день сорваться с места, уехать куда угодно. Что ему земля? Его ничто не держит на ней...

— Деревня существует не изолированно — связана с экономическим комплексом, в частности, русского Севера. В последнее время тут возникло немало экологических проблем. Как совместить хозяйствование с благополучием природы?

— Да, экологических забот на Севере поднакопилось. И ждать дальнейшего обострения ситуации преступно. Нужно срочно ставить диагноз, предвидеть хотя бы ближайшие последствия хозяйственной деятельности. Вот уже вокруг Харькова лесов стало больше, чем вокруг Вологды или Котласа... Тысячи кубометров бесхозного леса уносится в море, ложится на речное дно во время сплава. До 30—40 процентов древесной массы остается в делянках. Дело идет к гибели северных лесов. Как это скажется на жизни страны в широком смысле, трудно даже вообразить. Тундра уже соединилась с лесостепью. Зона тайги практически исчезает, и никто, как это ни странно, не видит в этом трагедии! Все делают вид, что так и должно быть. Полная безответственность, местническая, отраслевая...

Потому и болит душа. Во времена XV партсъезда и XVI партконференции такие лесозаготовки объявляли временными — вот, мол, создадим индустрию, так сразу и сократим вырубку. Не только не сократили, а увеличили в десятки раз. Лесная промышленность, к слову сказать, выкачала очень много сил из наших колхозов. Колхозников в тридцатых — сороковых годах обязывали рубить лес, причем без всякой оплаты. Люди месяцами не вылезали из делянок.

Сейчас вокруг моей деревни с трех сторон — пустынные вырубки.

А возьмем мелиораторов. Не говорю о постыдных проектах поворота северных и сибирских рек, за которые они в свое время так яростно цеплялись да и продолжают цепляться, не вспоминаю о пресловутом плане перегородить Белое море. Минводхоз во главе со своим министром по-прежнему зарывает народные деньги в землю. Это не метафора. Ежегодно министерство «осваивает» по десять миллиардов народных рублей, а велик ли толк? Во многих хозяйствах урожайность мелиорированного гектара ниже, чем до мелиорации...

У такого, с позволения сказать, хозяйствования есть и еще один минус — оно снижает нравственный уровень личности. Бюрократ особым талантом и высокой нравственностью обычно не обладает. Но ведь у нас много настоящих, талантливых хозяйственников.

Они-то и страдают больше всего от бюрократов вышестоящих, да и нижестоящих тоже. Более подробно об этом я говорю в статье, отданной в редакцию «Нового мира».

— В последние годы все чаще при недородах, снижении продуктивности животноводства в качестве оправдания кое-кем выдвигается такой тезис: мол, природа обделила нашу землю и плодородием, и условиями хозяйствования... Справедливы ли эти упреки?

— Природа ни при чем... Страна издавна славилась высокими урожаями зерновых, широко развитыми маслоделием, сыроделием, пчеловодством... А сколько — и не в так уж давние времена — мы заготавливали рыбы, грибов, ягод, орехов? Теперь же говорим почему-то о скудности нашей природы. Еще не так давно господствовало мнение, что сельское хозяйство — это для государства нечто второстепенное. Думать так — по меньшей мере глупо. Возьмем США. Национальный доход там создается во многом за счет сельского хозяйства. Нельзя бесконечно производить средства производства для того, чтобы снова производить... средства производства. Много тут и других нюансов.

Не помню, кто из наших экономистов сказал, что экономика имеет национальное своеобразие. Да, это именно так. Во Франции, например, свои особенности, в Японии — свои. Почему мы должны обязательно кому-то подражать? У нас своя стихия, свой национальный характер. Российский крестьянин не похож на немецкого фермера, японский — на американского. Все они разные. Нашим экономистам надо бы побольше считаться и с особенностями того или иного региона внутри страны. Одно дело, допустим, крестьянин на юге, он, может быть, больше любит сам торговать своими продуктами. Совершенно другое дело — наш северянин: этот явно торговлю недолюбливает.

Как-то на днях, будучи в деревне, узнал, что жители наловили очень много речной рыбы. Пироги пекут, уху варят. А остальное-то куда девать? Предлагаю: свезите на рынок в Вологду. Рыбу да еще свежую оторвут с руками. Куда там... Ловить для них значительно интересней, чем торговать.

Пожалуй, одни бюрократы везде одинаковы. Хотя, может быть, русский бюрократ чем-то и отличается, например, от английского...

А если серьезно, то сейчас подошло время больших дел. Откладывать их дальше некуда.

Федор Бурлацкий

КАКОЙ СОЦИАЛИЗМ НАРОДУ НУЖЕН

Какой социализм народу нужен? Подобный вопрос, наверное, покажется кому-то крамольным. А ведь, если вдуматься, именно здесь сегодня главный нерв идущих дискуссий. Очень точно об этом сказано в правдинской редакционной статье «Принципы перестройки: революционность мышления и действия» (5 апреля с. г.): «Как нам быстрее возродить ленинскую сущность социализма, очистить его от наслоений и деформаций, освободиться от того, что сковывало общество и не давало в полной мере реализовать потенциал социализма?»

Ленин сделал после «военного коммунизма» знаменательное заявление: мы пересматриваем всю точку зрения нашу на социализм. Если говорить прямо, без обиняков, нам сейчас предстоит решать аналогичную задачу. Во-первых, для того, чтобы вернуться к Ленину и преодолеть сталинское наследие, во-вторых, чтобы выразить интересы и чаяния нашего народа, вот уже более 70 лет строящего социализм. Нужно также принять во внимание и опыт народов еще четырнадцати социалистических стран, а также реалистически оценить соревнование с капиталистическим миром в эпоху технологической революции. В этом, полагаю, суть нового мышления о современном социализме.

О том, какой мы видим сегодня свою задачу, уместно сказать в связи с обсуждением статьи «Не могу поступаться принципами», опубликованной в газете «Советская Россия» (13 марта с. г.). Она, эта статья, представляет собой не просто манифест догматизма. Это акция в преддверии XIX партийной конференции, рассчитанная на консолидацию консервативных сил. Принципы — вещь необходимая, и человеку, как говорил Ленин, нужен идеал, но человеческий...

Противники перестройки пытаются использовать трудности ее начального периода. Гласность и свобода выражения разнообразных мнений, осуществляемая людьми, которые отнюдь не сошли с другой планеты, а формировались в тех же трудных условиях культа

личности, подъема и разочарований 60-х годов и особенно в период застоя, в условиях, когда еще не преодолены последствия авторита́рно-патриархальной политической культуры,— такая гласность неизбежно сопровождается эмоциональными крайностями, деструктивными всплесками, нецивилизованной полемикой. Ну и что? В политике — о чем было известно еще с самых древних времен — не бывает только положительных или абсолютно отрицательных явлений. Всегда приходится делать выбор в пользу решений, которые дают предпочтительные результаты. И могут ли быть сомнения, когда мы сопоставляем два метода — вскрывать проблемы или скрывать проблемы? Гласность есть меч, который сам исцеляет наносимые им раны. Кто это говорил? Ленин.

Серьезные политики, да и любые другие ответственно относящиеся к делу люди, понимают, что скрыть проблему — значит загнать ее внутрь, дать ей разрастись до таких размеров, когда уже невозможно будет с ней справиться. А вскрыть проблему — значит начать решать ее. Разве раньше, во времена культа личности, не падали самолеты, не сталкивались поезда, не вспыхивали национальные конфликты? Все это было. Но все сопровождалось молчанием, как на кладбище. И сейчас страна расплачивается за годы и десятилетия молчания. Гласность — это зеркало народа, и он его не боится, поскольку издревле придумал поговорку: нечего на зеркало пенять... Да, нужно менять облик самого общества, чтобы не было оснований жаловаться на зеркало.

Консервативные силы хотят использовать и определенную асимметрию, имеющуюся между гласностью и реальными экономическими результатами, которых пока еще мало. Но ответственность за то, что новаторские реформы идут медленнее, чем нужно, несут прежде всего они — эти силы. Они сопротивляются всеми доступными им средствами, прямыми и косвенными, развитию кооперативов, семейного, звеньевого, бригадного подрядов, индивидуального труда, которые без значительных затрат могли бы дать быстрые результаты. Несколько десятков тысяч малых кооперативов, созданных в стране за три года,— это капля в море. А они — эти наши доморощенные тори — одной рукой тормозят прогрессивные преобразования, другой же поощряют паникерские выступления по поводу перестройки.

Но в одном отношении статья в «Советской России» все же полезна. Вызывающе и прямолинейно она защищает Сталина и его наследие. Казалось бы, скры-

тым противникам перестройки целесообразнее было бы занять более сбалансированную позицию, так сказать, воевать на два фронта — и против крайних антисталинистов, и против откровенных сталинистов. Но этого не произошло. Тем самым снова продемонстрировано, что альтернативы перестройке нет. Вялая, неакцентированная брежневская политика не устраивает никого. И это знаменательно.

Нетрудно понять, почему противники перестройки выступили теперь с открытым забралом. Они явно почувствовали, что перестройка вступает в такой этап, когда может стать необратимой, когда она войдет в плоть и кровь народа и наших общественных отношений. Почувствовали — и решили дать бой, пытаясь расколоть общественное сознание, найти опору в самых отсталых общественных силах.

Главной темой дискуссий является, согласно статье в «Советской России», вопрос о месте Сталина в истории нашей страны. Но это неверно! Подобный вопрос был основным объектом борьбы тридцать лет назад, в период XX съезда партии. В сущности, уже тогда на него был дан прямой ответ, в чем легко убедиться, обнародовав «секретный» доклад Н. Хрущева. Да и новых фактов становится все больше по мере работы Комиссии Политбюро ЦК КПСС, а также в ходе расследований, которые ведутся в печати, науке, литературе. И только очень отсталые люди, находящиеся на периферии политических борений, ныне как будто только-только открывают для себя эту главу нашей истории.

На самом деле сейчас главным является другой вопрос, на который не было дано ответа в 60-х годах. Это вопрос о системе управления, сложившейся в сталинскую эпоху. «Мы поняли,— отмечал М. С. Горбачев,— что партии надо проявить мужество и волю, освободиться от сложившихся представлений о социализме, на которых лежат печать определенных условий и особенно — периода культа личности. Освободиться от старых представлений о методах строительства, а главное — избавиться от всего, что, вообще говоря, деформировало социализм, сковывало творческие способности народа».

Сенека говорил: тяжелая ошибка часто приобретает значение преступления. Очевидные преступления Сталина вскрыты и разоблачены почти треть века назад. А ошибки — ошибки, так глубоко вошедшие в нашу систему управления,— все еще продолжают жить и мешать стране двигаться вперед. Сейчас очень немногие открыто защищают репрессии 1937 года. Но все еще немало

таких, кто более или менее разделяет ошибочные идеи Сталина. Поэтому эмоциональная критика должна быть дополнена критикой научной, извлекающей уроки из прошлого для сегодняшнего дня. И поэтому же очень важно исследовать концепции Сталина, которые оправдывали деформацию социализма.

Что там говорить: мы получали представление о марксизме и ленинизме, о самом социализме из сталинских рук. В основу системы преподавания, воспитания с начала 30-х годов легли работа Сталина «Вопросы ленинизма», отредактированный им «Краткий курс истории ВКП(б)», высказанные им идеи на XIV—XIX съездах партии, работа «Экономические проблемы социализма в СССР». Все действующие поныне учебники по истории партии, политической экономии, научному коммунизму, философии, а также большинство теоретических исследований в общественных науках так или иначе восходили к этим источникам.

Под влиянием сталинских взглядов абсолютизировался опыт 30—50-х годов, его сделали эталоном для суждений о социализме. Только этим можно объяснить тот поразительный факт, что автор упомянутой статьи в «Советской России» принимает за образец социализма сталинский период, не делая исключения для репрессий 30-х годов, и видит отступления от социализма именно в гласности, демократизации, экономических реформах, в идеях сегодняшней перестройки. Больше того, каждый раз, когда в жизни возникает новая форма эффективного развития социализма, находятся люди, которые становятся в этакую соблазнительную позу «защитников чистоты» и заявляют: «Это не социализм. Это противоречит его коренным принципам». Скатывание на позицию «капитализма»—самое малое обвинение. «Враги народа»—уже по максимальному счету.

Посмотрите, с какой подозрительностью у нас относились к поискам и экспериментам в других социалистических странах. В 1955 году Н. Хрущев, приехав в Югославию, мужественно признал наши ошибки, допущенные в прошлом. Он подписал декларацию, в которой закреплялось право каждой страны на собственный путь к социализму. Но уже через несколько лет ревнители «чистоты» обрушили идеологический огонь из всех пушек на югославский опыт самоуправления и рабочих советов.

Во время пребывания Хрущева в Югославии в 1963 году произошел знаменательный эпизод. Он посетил одно из предприятий в Белграде, где встретился с

представителями рабочего совета. Неожиданно Хрущев заявил: «А что плохого в рабочем самоуправлении Югославии? Я не вижу здесь никакой крамолы. У вас одни формы, у нас другие». Реплика попала в югославскую и западную прессу. Мы попробовали включить ее в отчет для нашей печати, но когда доложили Хрущеву, тот сказал: «Не стоит дразнить гусей у нас дома». Ох, уж эти гуси, как дорого обходятся их предрассудки, их невежество в том самом марксизме, именем которого они клеймят и отлучают все новое, способное двинуть вперед социализм!

А с каким подозрением относились на протяжении двадцати лет к венгерским реформам! Сколько было перегибов и крайностей в суждениях по поводу дискуссий о социализме в Чехословакии! А какое тайное и явное недоброжелательство вызывали попытки экономических преобразований в Польше, ГДР!

Не так давно мне довелось после возвращения из Китая рассказывать о тамошних реформах. В частности, о том, как с помощью семейного подряда там удалось решить продовольственную проблему, увеличить за пять-шесть лет больше чем на треть производство зерна и в три раза поднять жизненный уровень крестьян. И тут слово взял почтенный профессор. Он сказал буквально следующее: «Все это, конечно, неплохо. Но какой ценой это достигнуто? А достигнуто это ценой отступления от социализма и заимствования капиталистических методов. Не слишком ли дорогая цена за хозяйственный рост?»

Позвольте, восемьсот миллионов крестьян — голодных, несчастных, полузадушенных в пору «культурной революции»,— сейчас стали обретать достаток. Это плохо? С какой точки зрения? Какие принципы говорят, что трудящиеся должны жить в бедности и нищете? Когда я слышу подобные сентенции, у меня такое чувство, будто кто-то из нас ходит на голове...

Тысячу раз прав М. С. Горбачев, когда говорит, что ни одна система не имеет права на существование, если она не служит человеку. Это наш, социалистический критерий оценки любой системы, и прежде всего собственной. Одновременно это сугубо классовый критерий. Нас заботит жизнь трудящегося человека, а вовсе не доходы буржуев или привилегии какой-либо элитарной группы. Социализмом может быть названо только то, что обеспечивает на деле благосостояние и культуру трудящихся — рабочего, крестьянина, интеллигента. А то, что не обеспечивает,— это не социализм.

Если мы согласимся с таким критерием, тогда все становится на место. Семейный подряд в Китае, по крайней мере на нынешнем этапе развития страны, дал колоссальный эффект и для развития производительных сил, и для повышения жизненного уровня. Значит, это не просто социалистическая, а эффективная социалистическая форма. Добровольная кооперация в Чехословакии и Венгрии, где собирают 40 центнеров пшеницы с гектара, оказалась весьма продуктивной, она обеспечивает урожайность полей и производительность труда в два раза более высокие, чем у нас, и, соответственно, жизненный уровень крестьянского и городского населения. Значит, добровольная кооперация оказалась эффективнее колхозов.

Ну, а югославские госхозы, где урожай достигает 60 центнеров с гектара пшеницы и которые организованы совсем не по типу наших совхозов, а, скорее, по моделям крупных индустриальных хозяйств в странах Запада,— это более социалистично или менее социалистично, чем совхозы? Ну, а индивидуальные и семейные магазины, столовые, мастерские в Польше, ГДР, Венгрии, где хорошо и недорого кормят и обслуживают? Это отступление от социализма? Ну, а то, что любой трудящийся Венгрии, Чехословакии, Польши, Югославии, если у него есть валюта, может выехать без всяких ограничений в любую страну,— это возвращение к буржуазной либерализации?

Нам предстоит оценить сходные, но в то же время различающиеся модели экономики, которые складываются в странах социализма: планово-товарного хозяйства (КНР), планирования с учетом потребностей рынка (ВНР), рыночной экономики (СФРЮ)... Оценить не только положительный опыт других стран социализма, проделавших путь экономических реформ, но и возникшие там трудности, тупики, новые проблемы.

Почему же и как произошла в нашей стране деформация социализма? Начать с того, что уже в 20-х годах сложились не только два взгляда на социализм, но две модели, конкурировавшие между собой на практике.

Первая — «военный коммунизм» (1918—1921 гг.). Эта модель утвердилась в результате жестокой гражданской войны, но в немалой степени отражала и полуанархические взгляды о возможности «скачка» в коммунизм. А на практике это означало торжество приказа, насилия, прямые изъятия продукции у крестьян, ликвидацию нормального обмена продуктами труда.

Вторая модель — «новая экономическая политика», нэп (1921—1928 гг.) — была основана на товарном хозяйстве, где конкурируют между собой различные виды предприятий — государственные, кооперативные, частные, где крестьянин свободно продает свою продукцию на рынке и покупает взамен промышленные товары. Важной стороной нэпа была демократия, особенно в партии, профсоюзах, Советах, на местном уровне, борьба различных течений в сфере искусства и культуры.

Не входя в обсуждение того, почему и как был свергнут нэп, замечу, что борьба двух тенденций, двух подходов, двух представлений о социализме шла на протяжении всей нашей истории и всего освободительного движения.

Все дело в том, что в освободительном движении с момента его зарождения боролись две тенденции: социал-демократическая (у нас — большевистская) и военно- или казарменно-коммунистическая. Это началось еще с наших предшественников. Сен-Симон — на одной стороне, Бабеф — на другой. Маркс — на одной стороне, Бакунин — на другой. Сам Маркс называл бакунинское течение «больной тенью коммунизма», «казарменным коммунизмом», отрицающим повсюду личность и цивилизованность, порожденным бедностью, невежеством, социальной завистью самых низших «низов».

В нашей партии это течение было чрезвычайно сильным, оно имело прочную опору в отсталом сознании и авторитарно-патриархальной политической культуре масс. Из состава членов Политбюро ЦК партии во времена Ленина по меньшей мере половина была в те или иные периоды привержена идеям «левого коммунизма». Достаточно назвать Троцкого, который и после ссылки за границу до последних дней жизни продолжал проповедовать самые завиральные левацкие идеи.

В связи с этим пристального внимания заслуживает деятельность Н. Бухарина и других руководителей, которые поняли все значение политического завещания Ленина, нового подхода к социалистическому строительству и нового взгляда на социализм. Позиция Бухарина вообще имела для нас особое, не до конца еще оцененное нами значение. Вокруг этой неординарной личности не утихают споры и острые дискуссии. За этим стоит не только человеческая проблема, естественное сочувствие и сострадание судьбе невинно загубленных и замученных деятелей, их родных и близких. За этим стоит вопрос и о том, была ли альтернатива сталинским методам индустриализации,

коллективизации, укрепления индустриального и оборонного могущества страны.

Принято говорить, что история не знает сослагательного наклонения. Что было — то было и не могло быть иначе. Но это не так. Зададимся простейшим вопросом: проживи Ленин еще 10, 20 лет — разве страна прошла бы через те жестокие испытания, которые выпали на ее долю, через 1937—1938 годы? Да никогда в жизни! Подойдем к этому вопросу с другой стороны: что было бы, если бы XIII съезд партии выполнил прямое указание Ленина и освободил Сталина от должности Генерального секретаря ЦК партии? Несомненно, наш путь был бы легче, человечнее, намного эффективнее. И вот еще одно доказательство, взятое из практического опыта: приход после смерти Мао Цзэдуна в Китае к руководству Дэн Сяопина, которому удалось заменить прямого преемника Мао Хуа Гофэна, ознаменовал начало крупных экономических и политических реформ. Не случайно в Китае издают и переиздают работы Н. Бухарина — там хорошо понимают все значение альтернативы сталинизму и маоизму.

Участник группы «экспроприаторов», Сталин с самого начала своей политической деятельности шел в русле левацкого течения, был склонен к террористическим методам. Поэтому он не понял или сознательно отверг идеи ленинского завещания, которые легли в основу новой (а не старой, периода «военного коммунизма») экономической политики.

Уже в начале двадцатых годов Сталин счел необходимым дать свою трактовку теории. Современному читателю стоит заглянуть в его «Вопросы ленинизма». Эта работа во многом состоит из закавыченных и раскавыченных цитат Ленина с кратким комментарием, выполненным лапидарным и схематичным «сталинским стилем».

Легко проследить, как Сталин исподволь, сначала незаметно, а потом все более явно смещал акценты, передвигал центры тяжести в ленинских высказываниях. И направленность этих смещений была однозначна. Постепенно, но неуклонно высвечивалось главное — апофеоз насилия. Революция, обобществление экономики, руководство культурой, все другие преобразования были для него синонимом грубого насилия. Это наложило мрачный и суровый отпечаток и на методы осуществления коллективизации и индустриализации, и на формы партийной борьбы, и в целом на весь процесс социальных преобразований. Совсем не случайно еще в начале тридцатых годов, в поисках параллелей развития

своей эпохи, Сталин обратился к таким несхожим фигурам отечественной истории, как Иван Грозный и Петр Великий. Он черпал в их опыте обоснование неизбежности самых жестоких методов во имя державного величия страны.

Но аналогия с Петром как раз ударяет по Сталину. Петр, увы, не был социалистом. Ему надо было вытащить страну из отсталости любой ценой. Задача благосостояния и культуры народа относилась им на десятый план. Между тем Сталин свои представления о государственном величии страны и роли вождя почерпнул на две трети из прежнего опыта России, а отнюдь не из марксистских источников.

Сталин отправил несколько миллионов крестьян в Сибирь, а часть заключил в лагеря за то, что у них было по три-четыре коровы и лошади. Получалось, что чем лучше будут жить люди труда, тем больше их должно ограничивать и наказывать государство. И это Сталин считал социализмом?

На XVIII съезде партии в 1939 году, сразу после ужасающего кровопускания в партии и народе, Сталин заявил, что настало время непосредственного перехода к коммунизму. Что такое коммунизм, он нам так толком и не объяснил: то ли когда все досыта наедятся, то ли всеобщее равенство — чего? — потребностей, способностей, возможностей, осталось неясным. Но что было утверждено четко — целое поколение людей должно быть принесено в жертву «скачку» в коммунистическое будущее. Такая политика вела к разрушению нормального функционирования народного хозяйства, к попыткам огосударствления колхозов, к использованию в массовом масштабе труда заключенных.

И уже под занавес своей жизни в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин опять вернулся к своей схеме «скачка» в коммунизм. В качестве непосредственных задач он выдвигал переход к прямому продуктообмену, постепенной отмене оплаты за товары и услуги, ограничению, а затем и ликвидации товарно-денежных отношений. Его идея о том, что в условиях социализма закон стоимости действует в преобразованном виде, послужила теоретическим обоснованием полного искажения системы ценообразования, хозяйственного произвола, нарушения пропорций в развитии экономики.

Как же уживалась вера в государственное насилие с мечтой о «скачке» в коммунизм? На это ответил еще Л. Троцкий. Ему принадлежит образное сравнение диктатуры пролетариата с лампой: ее фитиль вспыхивает

особенно ярко именно перед тем, как погаснуть. Это толковалось таким образом, что государственное насилие должно достигнуть максимума накануне отмирания государства. Как видим, каждая утопия имеет свою изнанку.

Сталин тайно позаимствовал этот взгляд, а явно попросту следовал ему на практике. Все помнят его идею о том, что по мере успехов социалистического строительства сопротивление классовых врагов будет возрастать и классовая борьба будет обостряться. Разве это не та же «лампа», которая отбросила ужасающий отсвет на репрессии в 30-х годах, когда террор был направлен против самих коммунистов, беспартийных рабочих и крестьян?

Особенно нетерпим был Сталин к интеллигенции, которая видела лучше других ошибочность его идей. Лично от Сталина исходили многие решения, направленные на организацию очередных кампаний по «проработке» деятелей литературы, искусства, кино. Проблемы гуманизма, преодоления отчуждения, состязательности в культуре рассматривались как «отрыжка» буржуазной идеологии.

Созданная Сталиным идеология культа личности, его казарменно-утопические идеи «скачка» в коммунизм стали тормозом в развитии нашей страны, отрицательно отразились на строительстве социализма в странах Восточной Европы и Китае, подрывали веру в социализм в странах капитала.

Сталин упростил, «выпрямил» задачу социалистического строительства, поставив знак равенства между процессом широкого обобществления и огосударствлением. Вначале промышленные предприятия были подчинены государственному управлению, а затем произошло, по сути, огосударствление колхозов.

Оно захватило не только экономическую сферу, но распространилось постепенно на всю духовную жизнь, на управление учреждениями культуры, издательствами, театрами, школами, университетами, больницами, спортом. Если принять еще во внимание, что сами государственные служащие никем не избирались, а подбирались, то легко определить источники бюрократизации управления.

Наши классики предвидели возможность подобных ошибок. Соблазн простого огосударствления слишком велик. И вот их предостережения. «Государственная собственность на производительные силы,— писал Энгельс,— не разрешает конфликты, но она содержит в себе формальное средство, возможность его разреше-

ния». «Если государственная табачная монополия есть социализм,— писал не без юмора Энгельс,— то Наполеон и Меттерних несомненно должны быть занесены в число основателей социализма».

За послесталинский период наша теория и практика в общем и целом преодолели две ошибочные сталинские идеи — веру в абсолютную силу насилия и соблазны «скачка» к коммунизму. Хрущев был последним руководителем страны, который еще надеялся, что «нынешнее поколение будет жить при коммунизме». Но до сих пор осталась непоколебленной главная сталинская идея — «государственного социализма». Я заключил это понятие в кавычки, поскольку понимаю его приблизительность, условность, неполную адекватность. Но именно Сталин, а не Ленин выдвинул теорию о том, что государство играет решающую роль в строительстве социализма. Не рабочий класс и его партия, а государство, хотя само оно ничего не производит — ни хлеба, ни обуви, ни машин, ни книг. Это делает народ, а государство только регулирует — лучше или хуже — процесс созидания.

Хотя Брежнев был первым нашим лидером, уже не обещавшим построить коммунизм при жизни одного поколения, ему в полной мере была присуща вера во всесилие государства, его организационных возможностей. Когда он пришел к руководству страной, ему казалось, что достаточно преодолеть хрущевские «затеи», вернуться к прежним формам, и дело пойдет. Ему больше, чем любому другому нашему руководителю, были присущи иллюзии «организационного реагирования». Не случайно при нем число министерств и ведомств достигло более ста. Тогда как даже при Сталине их было едва ли не втрое меньше.

И до сих пор вера в организационные решения реальных проблем, которые касаются почти исключительно верхнего этажа управления, себя не исчерпала. Между тем задача состоит в том, чтобы поставить в новые условия каждого производителя — рабочего, крестьянина, интеллигента. Стимулировать их заинтересованность в результатах труда, их личную инициативу.

Статья в «Советской России» пытается создать впечатление о глубоком кризисе социализма. Но если уж говорить об элементах кризиса, то не современного социализма в целом, а одной из его форм — «государственного социализма». Эта форма сейчас из-

живает себя, обнаруживает свою неэффективность в условиях технологической революции. В экстремальных ситуациях, особенно во время гражданской и Отечественной войн, сверхцентрализм и государственное принуждение играли свою роль в мобилизации ресурсов и концентрации усилий. Но теперь такая форма стала помехой продвижению вперед на всех направлениях экономической, социальной и культурной жизни. И она должна преобразоваться — постепенно, планомерно, обдуманно — в новую форму, которую условно можно было бы назвать «общенародным, самоуправляемым социализмом».

Пора понять, почему так случилось, что в нашей стране, с ее колоссальными богатствами земли, леса, нефти, газа, металла, с ее энергичным и ныне вполне образованным народом, до сих пор не хватает в нужном количестве и качестве еды, одежды, жилищ, книг, кинофильмов... Видно, социализм был не вполне хорош, а народу нужен хороший, очень хороший социализм. Народу нужны не сталинские «зори», не монументальные постаменты в честь вождей, а нормальная цивилизованная жизнь.

Это, конечно, не значит, что централизованное государственное руководство исчезнет. Полный «демонтаж» государства — идея нелепая, особенно в условиях все более усложняющихся внутренних и международных экономических, информационных, гуманитарных связей. Но это значит, что значительную часть своей власти, функций, полномочий, прерогатив государство должно уступить гражданскому обществу и его институтам. Прежде всего трудовым коллективам — на заводах, фабриках, в кооперативах, учреждениях, творческих союзах, а также общественным организациям и другим, уже новым социальным институтам, которые наверняка будут возникать в ходе перестройки. Общество должно взять на себя многое из того, что раньше несло государство, задыхаясь под бременем сверхсложных задач и бюрократизма.

Кстати говоря, капитализм прошел через различные этапы своей реконструкции: классический в XIX веке, государственный, затем государственно-монополистический в первой половине XX века, а сейчас в условиях технологической революции он приобретает какую-то новую форму, пока еще не нашедшую своего определения. Он все еще довольно резво меняет свою кожу и потому, наверное, так долго загнивает... И нужно признать, что в странах капитала не так уж много доктринеров или откровенных дураков, которые мечтают вернуться в прошлое — к временам Луи Наполе-

она, Бисмарка или Гитлера и Муссолини. Вот оно, одно из немногих преимуществ прагматической идеологии, которая ищет повсюду одну пользу.

М. С. Горбачев как-то заметил, что социализм — это общество инициативных людей. И самый суровый приговор «государственный социализм» заслужил как раз за то, что он закрепостил инициативу трудящихся. Вначале личная инициатива была принесена в жертву инициативе коллектива, затем коллективная инициатива — в жертву инициативе аппарата управления, и, наконец, была задавлена инициатива самих работников этого аппарата. Построенный пирамидальным образом, этот аппарат все более сосредоточивал инициативу в самых высоких эшелонах власти, а в конечном счете — в руках единоличного вождя и лидера. Сложилось так: с каким бы вопросом ни обратился работник, с любой инициативой, он обязательно натыкается на лес препятствий, выстроенных приказами, инструкциями, традициями. Отсюда и родилась горькая шутка: всякая инициатива наказуема. Кто не испытал ее на собственном опыте!

Структурные преобразования предполагают сейчас создание такой формы социализма, когда бы не наказывали, а поощряли инициативу. Поговорите с людьми: что вы услышите? Освободите нас от опеки, дайте самим свободно работать! Как говорил М. С. Горбачев в Узбекистане, его поразило, с какой силой это прозвучало на съезде колхозников. Но ведь то же самое требование слышится и со стороны заводских, научных, школьных, творческих коллективов, опутанных инструкциями, указанными запретами. Оно рвется из души каждого изобретателя, кооператора, художника, любого гражданина, ищущего способ приложения своего таланта.

Подчеркну еще раз, важнейшая теоретическая и политическая задача — вернуться к Ленину, вернуться к Марксу, к истокам социализма. В то же время, как любил повторять Ильич, — хранить наследство не значит наследством ограничиваться. Маркс ездил в дилижансе, а Ленин — в такой машине, которую сейчас показывают только в музее. Надо ли говорить, как изменился мир? Это ведь только Моисей хотел на все века определить закон, по которому должен жить его народ. Но ведь Моисей это не от себя делал, а именем бога, от которого он три дня на горе ждал совета... Ни Маркс, ни Ленин не могли и думать о том, чтобы предписать на все времена миллионам,

миллиардам людей закоиы, правила или принципы их жизии.

Думать иадо собствеиной головой — этот леиииский призыв следовало бы иаписать по крайней мере иа стеиах всех иаучных заведеиий и партийных цеитров. Технологическая революция, демографический взрыв, экологическая напряжениость, ядериая угроза задали совремеиным коммуиистам совершенно новые и весьма головоломиые задачи. И когда смелая, умная, талантливая политическая мысль иачииает их решать, бросать камни могут только самые замшелые догматики, иапугаиные масштабом происходящих перемен и иеспособиые вместить их в своем созиаиии.

Какова же качествеино иовая модель более эффективиого демократического, гуманного социализма? Пока видиы только ее иекоторые контуры.

Это планово-товарная экономика, осиоваиная иа хозрасчете и миожествеиности видов общественной собствеииости — возвышение государствеииой до уровня общеиародиой, развитие кооперативиой, семейиой, индивидуальиой форм. Это экоиомическая состязательность (социалистическая коикуреиция). Это развитие граждаиского общества и подчинеиие государства обществу. Формироваиие того, что Энгельс иазывал всеобщей ассоциацией производителей. Это разделеиие власти, полиомочий и функций между партийными, государствеиными и общественными организациями. Это преодолеиие хотя бы самых иецивилизованных форм бюрократизма и построеиие государственного управления по прииципу «лучше меиьше, да лучше». Это развитие самоуправления, формирование обществеииого миения как фактора политического процесса, развитие выборности, ротации кадров, профессиоиализма. Это состязательиость культуриых направлеиий, воспитание социалистической личиости, преодоление наследия авторитарио-патриархальной культуры и формирование социалистической. Все эти преобразования иаправлеиы иа укрепление социализма, авторитета коммунистической партии, общенародиой власти.

Очевидно, что развитие совремеииого социализма займет длительный период — ие одио десятилетие. Но, если ие помешают, это будут десятилетия вдохиовениого труда всего народа иа благо иашей Родииы, каждого советского человека.

Вот какому могучему народному движению противостоит маиифест противииков перестройки. Подготовка к предстоящей XIX партийной коиференции вселяет

надежду на переход в решительное наступление всех сил перестройки. Опираясь на Ленина, можно сказать, что оборона есть смерть революции. Только упорное наступление, постоянное укрепление позиций революционных реформаторов, неуклонное продвижение по пути экономических преобразований и демократизации общества позволят оттеснить противников нового, перетянуть на сторону реформ колеблющихся. И тогда нынешний этап перестройки станет исходным пунктом для ее перехода на иную, более высокую ступень.

Лариса Васильева

ЖИВАЯ ЖЕНСКАЯ ДУША

— Прекрати! Я кому сказала! Иначе брошу тебя на улице. Прекрати!

Она бьет ребенка. Прохожие оборачиваются. Кто-то говорит вслед:

— Совсем с ума сошла. Потом будет удивляться, почему у нее сын стал неврастеником.

Что совершил трехлетний ребенок?

Сосал грязный пальчик, заглядывал на птичку, шлепал по лужам, обрызгивая новый комбинезон, за которым она полдня в очереди простояла. Он не слушается, а ей нужно еще по дороге из детсада продуктов купить, все в очереди злые, орут, та лезет, хотя не стояла, эта толкается. Потом в автобус с ребенком и сумками — там давка, теснота. Хорошо, если кто сознательный место уступит. А большей частью по анекдоту: «Почему мужчины в городском транспорте сидят с закрытыми глазами? — Им больно видеть, как женщина стоит». Завтра профсоюзное собрание, ее отчет; сможет ли муж зайти в детсад за ребенком?..

Отомкнет дверь квартиры — не знает за что хвататься. К ночи закроет глаза — уснуть не может: в голове начинают летать мысли, тяжелые, как бомбардировщики: то нужно сделать, того сделать невозможно, как достать, где найти, кого спросить, с кем посоветоваться? Утром встанет невыспавшаяся и опять ребенка за руку, через сквер, наискосок, галопом.

Говорят, прогулка с ребенком — это счастливая возможность взаимного обогащения: дитя познает мир и себя в этом мире, дитя открыто добру и свету. В нем столько неожиданных «почему». И каждый день новое, удивительное...

— Ах, наказанье! Сколько раз можно говорить? Прекрати!

Знакомая картина, не так ли? Оглянись вокруг и на себя посмотри, женщина наших дней: та, что стоит у станка, выполняя по две нормы, а семья, поди, третья-четвертая норма; и та, что в магазине колбасу отпуска-

ет,— комок нервов, средоточие всех отрицательных эмоций очереди; и та, что долбит лед на улице тяжелым ломом; и та, чьи руки в колхозе заменяют механизацию; и та, пропахшая никотином служащая, на которой все в конторе держится, и та, и та, и та...

Что происходит с твоими нервами? Почему почти на каждом шагу ты встречаешься с грубостью, хамством, с этим визгливо-истерическим тоном? Почему, страдая от хамства, грубости и крика, не хуже других можешь хамить, грубить и кричать? Разве нельзя иначе?

Спроси бабку свою, если она — на счастье — жива, как голодала с детьми, как скудно была прикрыта серенькими тряпицами ее ослепительная молодость. Мать свою спроси, отстоявшую за галошами — этими черно-блескучими снаружи, кроваво-красными изнутри вездеходами времен первых пятилеток. Спроси, что ела она, в каких коммуналках выстаивала очереди, дабы поутру ополоснуть лицо, в каких узких пеналах сидела по нетопленым учреждениям. Разве так, как они, живешь ты теперь? Удобств у тебя неизмеримо больше, а дальше — еще больше обещают. И возможностей не так уж мало, и ребенок в саду присмотрен, и одета-обута не хуже других, и на столе у тебя, если гости придут,— побегаешь, достанешь — тоже не хуже других, и государство твои интересы охраняет: закон, если что, всегда на твоей стороне.

Чего тебе мало, женщина?

Кто бы мы ни были — мать семейства, разрывающаяся между семьей и учреждением, или одиночка, живущая по принципу «думай только о себе»; закованная в синий костюм, как в латы, волевая глава предприятия или рано поседевшая уборщица в ее кабинете; коротко стриженная девушка, спокойно позволяющая обнимать себя длинноволосому юнцу на виду у всей улицы, или почти уже старушка, полуспортивной трусцой убегающая от болезней,— все мы одинаково нервные, идентично задерганные, несем в глазах один вопрос, который и задать-то некому, и невозможно сформулировать до конца. Но есть этот вопрос, скапливается он в некую тучу:

— Кто я? Кто ты? Кто мы, женщины? Да и женщины ли мы?

Семьдесят лет назад в лучах новой веры наша женщина получила равноправие и воспользовалась им. Мне кажется, сегодня настала пора попытаться понять, что дало нам равноправие и чего лишились мы, получив его. Заговори я об издержках равноправия с прогрес-

сивно мыслящими женщинами в двадцатых или тридцатых годах, они вряд ли поняли бы меня. Скорей всего получила бы в ответ насмешку, а то и взрыв негодования. Тогда женщины «наслаждались» для кого долгожданной, для кого неожиданной свободой, независимостью, правами, прежде неслыханными. Трудно сказать, как пошло бы развитие женской независимости, не будь у нас опустошительной четырехлетней войны в начале сороковых годов. Тогда женское равноправие превратилось в норму жизни, ибо уже не единицы, не тысячи, а миллионы женщин заняли места мужчин и в тылу, даже на фронте, не снимая при этом с себя главных — материнских, дочерних, супружеских обязанностей.

А послевоенный, восстановительный период:

Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

И дальше идут тоже нелегкие, но мирные десятилетия, а женщина продолжает необратимо двигаться по дороге от равноправия к равенству, некоему тождеству с мужчиной. Но такой дороги нет. Для человечества она противоестественна. И у нас, женщин, от этой противоестественности не выдерживают нервы. То положение, в котором мы находимся по отношению к обществу, требует незамедлительного, хотя, вероятнее всего, постепенного изменения. Ничего, на мой взгляд, не получится у нас с перестройкой в умах и делах, если мы не начнем ее с постановки на свои места принципов, продиктованных нам природой, и в первую очередь все вместе всерьез не займемся проблемами экологии женского бытия.

Хочу спросить современных мужчин, где бы они ни жили, кем бы ни стали: есть ли у вас в крови инстинкт уважения к женщине? Просмотрите свою жизнь от мелочей до серьезных событий. Вы — Сын, Отец, Брат, Муж, вам дано великое право быть опорой и защитой женщины, почему мы все меньше ощущаем это? Как вы можете позволять себе взваливать на женские плечи тяжести, непосильные для женщины?

Несколько десятилетий назад поэт Ярослав Смеляков подал голос мужской совести:

...А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женскне лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.

Но его строки остались неподхваченными. Как можете вы без боли смотреть на своих жен, изнуряющих себя на производстве и дома тяжелой физической работой? Смотреть и ничего не предпринимать. Где ваше мужское достоинство? Почему для вас не является естественным пропустить женщину вперед, помочь ей донести тяжелую сумку, успокоить ее, если она волнуется; как можете сидеть в начальственном кресле, когда в кабинет вошла и стоит перед вами женщина? Откуда взялся среди вас тип высокомерного вельможи, презрительно смотрящий на женщину как на существо второго сорта? Откуда эти мужчины в учреждениях — ничего не решающие, ни за что не отвечающие, ничего не желающие взять на себя и просящие на них не ссылаться? Да и мужчины ли они? Не оттого ли природную женственность мы, общаясь с такими мужчинами, заменяем неестественной для нас грубостью как некой защитой... Не мы ли, женщины, прежде всего виноваты в этих несоответствиях — позволили. Попустительствовали равнодушному, высокомерно-презрительному, хамски-уравнительному обращению с собой. Где наше женское достоинство?!

Сегодня перед женщинами открываются новые возможности роста: партия сформулировала необходимость шире выдвигать женщину во всех областях трудовой деятельности, учитывая ряд преимущественных черт женского характера. Готовы ли мы? С чем придем к новому витку равноправия? Многим из нас доверят большие предприятия, а мы, как известно, обладаем способностью к сердечным привязанностям и эмоциональностью, проявляющейся внешне ярче, чем у представителей сильного пола. Не начнем ли мы с того, что заведем стайки любимчиков и любимиц? Или станем носить на работу домашние неприятности, вымещая их издержки на подчиненных? Разве такого не случалось и прежде? Не пришло ли время взглянуть, как женщина относится к женщине. Не пора ли начать контролировать чувства зависти и ревности, часто сжигающие нас.

Критиковать все умеют. Честно говоря, мне неинтересно было бы писать эту статью, если бы не возможность вместе со всеми задуматься — как изменить положение? Как дать женщине ее собственное, естественное место в сегодняшней жизни? Кто должен исправлять ошибки прошлого? На последний вопрос ответ у меня готов: все вместе — от мала до велика, невзирая на пол, возраст и общественное положение, общими усилиями.

Как тут не вспомнить, что женщины всегда были предметом вдохновения, в какой-то мере источником искусства. Недаром поэтов во все времена сопровождала незримая вдохновительница — Муза, непобедимая соперница земной женщины. Но и земная, в той или иной форме, всегда появлялась среди строк и вдохновений. Будь моя воля, я издала бы несколько томов — собрание лучших сочинений о женщине, для женщины, представив ее в четырех ипостасях: Мать, Жена, Сестра, Дочь.

Все прежние «средства массовой информации», куда менее массовые, чем сегодня, веками говорили с женщиной на «Вы». Она стояла на пьедестале у тех, кто творил культуру человечества. Женщина была бесправна, но творящие пьедестал и образ работали в надежде на грядущие времена, которые вот и пришли и в которых люди забыли не только форму конечной цели, но и слова, краски, звуки, созданные во славу женщины. Я, конечно, преувеличиваю — книги живы, картины висят в музеях, симфонии звучат в оркестрах, но у всего этого есть определенное, уже абстрактное звучание.

— Однако,— спросят меня,— каковы конкретные предложения?

Я не столь наивна, чтобы предположить немедленные результаты этой статьи. Но и не столь искушена, чтобы ни на что не надеяться. Полагаю — начинать нужно с фундамента, с воспитания, а в этом случае трудно переоценить роль школы — от яслей до докторантуры — и медицины. Это две профессии, где должны, обязаны работать только лучшие люди, дабы потом общество не расхлебывало кашу с каждым неверно взращенным человеком.

Комитет советских женщин, недавно собиравший свой актив, и женские советы ведут огромную работу. Но в ней много административной заорганизованности, от которой, сказать по чести, общество, ищущее духовности, устало. Чтобы разбудить живой женский интерес к своим же проблемам, не пора ли дать женщине почувствовать, что о ее сущности поднимается вопрос во всенародном масштабе, поднимается на ту высоту, которая и освободит, обяжет женщин стать женщинами во всех сферах жизни.

Средства массовой информации — газеты, журналы, радио, телевидение — должны быть вернейшими помощниками в этом деле. Сегодня все они, естественно, оказались в водовороте свободного обсуждения проблем, но сами всегда ли отвечают времени?

Возьмем немногочисленные женские журналы «Работницу», «Крестьянку», «Советскую женщину». Много в них полезного, но кому нужны скучные, неискренние производственные темы в сладком сиропе, десятилетиями звучащие из очерков о женщинах?

Не пора ли нашим женским журналам заняться воспитанием живой, женской, а не бесполой души, говорить с нею на ее языке, а не на языке бюрократии; советоваться, выносить на страницы подлинную жизнь, а не ту, какая видится из кабинета.

Должны появиться на страницах печати более полноценные, чем прежде, разделы: «Домоводство», «Наша квартира», «Как быть красивой», «Экономика домашнего хозяйства», «Кухня и кухонные проблемы». Кстати, о последнем: сегодня столько есть способов и возможностей облегчить домашний женский труд — почему бы не сделать их достоянием миллионов трудящихся женщин? А разве не нужен нам журнал типа «Семейное чтение», который можно было бы читать всем — от бабушки до внучки, не забывая и о мужской половине семьи? Представляю, сколь много пользы принес бы журнал «Женщина и творчество».

Включим радио, телевизор. Недавно драматург Эдвард Радзинский с горькой иронией сказал в «Литературной газете»: «На телевидении нет женской передачи. «А ну-ка, девушки!» — развлекательная передача. «Москвичка» — нижайшего уровня программа. Но есть же женская тема! Она есть во всем мире, ее нет только на кладбище, где все уже равны».

Думаю, даже на кладбище есть женская тема. Кто, как не женщины, основные посетительницы кладбищ, кто, как не мы, бережно сохраняем память ушедших, держим связь мертвых с живыми.

Сколько животрепещущих тем, интереснейших поворотов, сколько судеб может возникнуть на телеэкране в женских передачах. Телевизор есть всюду, он способен стать одним из главных воспитателей нашего общества в духе подлинного уважения к женщине и понимания — что она такое. Предвижу читателя, усматривающего в моих взглядах определенную крайность: что же, она предлагает совсем убрать из обихода тему женщины-работницы? Не только предлагаю не убирать, но и относиться к этой теме глубже, чем прежде: с пониманием нелегких проблем и неизменным стремлением облегчить жизнь.

Не пришла ли наконец пора общими силами создать кодекс взаимоотношений между людьми в обществе? Не тот, бюрократическим языком написанный «кодекс», находящийся много ниже уровня великой комму-

нистической идеи, а большое, пространное, применимое к жизни уложение. Неужели наше время не заслужило своего Кодекса нравственности?

По-моему, такой кодекс должны создавать не чиновники в министерствах, дабы не забюрократили его, а, как говорится, «всем миром», то есть сами люди, общественность, при широком обсуждении, помогая друг другу преодолевать инерцию неестественного мышления. В этом направлении многое могут подсказать женщины-писательницы, кстати, живущие весьма нелегкой жизнью в литературном процессе, покамест даже не мечтая о возможности широкого обсуждения «женской темы» в печати.

Заранее вижу некоего мужчину, читающего эти строки, обиженного некоей женщиной, поэтому считающего, что женщины — народ лживый, лукавый: «Если эту Васильеву послушают и впрямь поставят женщину на пьедестал, тогда мужчинам житья не будет».

Не очень уверена, что меня послушают, скорее сама жизнь заставит человека слушаться законов природы, которые он нарушает. Уверена лишь: если женщина займет подобающее ей место в обществе, если ее действительно будут уважать, чтить, беречь, то от этого всем будет лучше. Недаром гласит известный афоризм: «Здоровье нации определяется отношением к женщине».

В самом деле, подумаем, что «грозит» нашему обществу, если оно достойно поступит с женщиной? У нас будут крепкие, здоровые семьи, мужественные мужчины, воспитанные дети — то есть все, о чем только можно мечтать.

Майя Ганина

БЕЗ ОБОЛЬЩЕНИЙ ПРЕЖНИХ ДНЕЙ

1

Более полутора лет не писала я публицистики. Жанр этот в последние годы — один из самых читаемых. Но уже и перелом намечается. Еще недавно случаи, предаваемые гласности печатью и телевидением, вызывали на всех ступенях социальной лестницы бурную реакцию, обсуждались оживленно, чуть ли не восторженно — ныне в ответ на «отрицательную информацию» начинает рождаться раздражение: «хватит, надоело, устали...»

«А что? — сказал мне знакомый механизатор из соседней тракторной бригады.— Что хорошего? Праздники, дружбу, веселье — все запретили!.. А порядка все равно нет». Это реакция деликатная, высказанная мягко. У других вообще клокочет злоба, желание вернуть все как было и как можно скорей. Копится нетерпеливое ожидание, подспудная надежда: «Просыпаюсь, а по радио говорят: отменили! Не оправдала себя...» А что, собственно, сдвинулось с места для сельских жителей, коих, если верить статистике, все-таки еще сохраняется у нас в стране более 90 миллионов?.. Для обычных жителей «перспективных» и «неперспективных» деревень Среднерусья?

В рядовом труженике в пору прошлого веселого, пьяного, кругово-поручного застоя жила надежда: «Придет время... Всех, про кого знаем да молчим, на чистую воду выведут!» Потому и встрепенулись при первых переменах: ожидали грома карающего и молнию. Но, слава богу, не последовало. Слава богу — потому, что, как правило, когда «паны» выясняют, кто из них виноват больше, чубы начинают трещать, главным образом, у «хлопов». Однако и те, «про кого знаем да молчим», пока опять поуспокоились, живут как жили.

Поскольку мы живем в деревне практически постоянно, скоро уже десять лет, все, что било и бьет по рядовому деревенскому жителю, копя в нем недовольство, отчаяние и жажду снятия стрессов, бьет и по нам.

Хотя вроде бы не с земли — с письменного стола кормимся. Но и с земли. На земле жить, да с нее не кормиться?.. Не иметь изобильно все, что она может, хочет, должна ежегодно рожать?.. В первую очередь, конечно, картошку. Она для нас, как и для всех в деревне, главная культура. Пока не посадишь ее, сердце томится непокоем. Потому в начале мая мы, равно как и соседи, начинаем ловить бригадиров и совхозное начальство: «Когда личные огороды пахать будете?»

Четыре года назад ажиотаж в эту пору возникал иной. Выяснялось между соседями возмущенно, у кого это Мордвин или Кукса до того успел с утра нажраться, что вместо огорода к Марии Ивановне в «галдарейку», сукин сын, въехал на тракторе, раму на радиатор нацепил, да так, с рамой, и кемарит?.. Но и «нажираясь» ежедневно «от души» с началом картофельной страды, трактористы успевали распахать личные огороды, как и положено по агротехническим срокам, до пятнадцатого мая. Проблемы — уродило не уродило — не возникало. «Как это — картошка и не уродилась? Такого не бывало!..» В последние же четыре года оставались и без картошки: запретил директор пахать личные усадьбы, пока вся совхозная картошка не посажена. Минувшей весной, например, огороды пахали после посадки кукурузы — с пятого июня! Кто не знает, поясню: вегетация обычной картошки — сто двадцать, сто тридцать дней. Взошла, закустилась, зацвела, отцвела, заложила клубни, налила их крахмалом и зрелостью. При июньской посадке она вызреть не успевает.

Недавно была у нас встреча с общественностью совхоза, заикнулись было об этом, директор разговоры погасил: «Единогласно голосовали! В коллективном договоре записано: личные огороды пахать после, как отсажаемся с совхозной картошкой!..» — «Это хорошо! — скажете вы с удовлетворением.— Наконец-то сознание совхозного механизатора выросло до удобного мне, горожанину, уровня!..» Хорошо-то хорошо, да не очень. Дело в том, что не едят картошку совхозную, государственную, ту, что вы в магазинах покупаете, ни тракторист, ее производящий, ни доярка, ни скотник, ни бабка-пенсионерка, в войну нас с вами либо ваших родителей той же картошкой худо-бедно кормившая. Свою едят, со своих усадеб. Картошка — второй хлеб для деревенского жителя. Без нее и сам голодный, и скотина, и куры... Поросенка не возьмешь.

А всех-то хлопот: выделить тракториста (деньги все с охотой уплатят в совхозную кассу!), вспашет спокой-

но за неделю личные огороды. И не надо уже механизатору, доярке нервничать: господи, когда с картошкой отсажаюсь? А старухе пенсионерке колотиться в слезах: «Убили-убили!» И правда убили. У иных пенсия пятьдесят рублей и родни городской нет...

2

С ранней весны до поздней осени просыпаемся мы не под пение птиц, а под «чью-то мать». Это пастухи норовят накормить совхозное стадо травой на деревенской улице, а население нашей деревни, главным образом старухи пенсионерки, бдительно держат оборону, ибо сами пасут на этой улице и на заброшенных участках коз, овец и прочую мелкую живность. Старушки обороняют, истошно матерясь, «прифронтовую», то бишь приусадебную, полосу, а пастухи, так же прочищая легкие и горло матом, гонят вдоль заборов нашим уселком коров.

Я смотрю на грязное, неухоженное, не любимое никем «поголовье» — и у меня горько сжимается сердце: ведь они живые! Они же ни в чем перед нами не виноваты! Почему же мы их опиваем, объедаем, обделяем лаской и уходом, теплом буквальным и душевным? Морим голодом, не даем сутками пить — бывает и такое по пьяни! Избиваем, срывая на них, безответных, свое бессилие и злобу...

Почему в европейских странах корова — Королева?.. Она людям — молоко, а те ей — уход, лечение, рациональные корма, чистоту. Весь свой недолгий, уже не природой, но человеком отпущенный срок,корова существует в холе и неге во всем мире. Везде. Не у нас. Почему?.. Я имею в виду фермы не образцово-показательные — «рядовые», каких большинство в Нечерноземье.

Уж в прежние-то темные времена хозяйка детишкам куска недодаст, зато Красавицу свою хлебом-солью вечером у ворот встретит. Любовно по бокам охлопает, не обидит — поговорит ласково, пока доит. А ежели, не дай бог что — оплачет, окричит, как мать родную!.. И не только потому, что кормилица. Просто оставалось всегда в человеческом сердце место особое для животных, что испокон веку рядом с нами жили, пользу не только тем принося, что молоко давали, либо дом охраняли, либо пашню пахали,— преданным общением с нами, взаимной безоглядной любовью. Любовь и радость рождают энергию, желание жить — любовь к живущему живому... Об этом вроде бы и напоминать

стыдно. Не в моде времени так называемая чувствительность.

Но снова спрошу: доярки и пастухи, скотники и агрономы, зоотехники, экономисты, директора совхозов вкупе со всеми многочисленными, хорошо обокладенными специалистами — почему вы так равнодушно-жестоки к этим попавшим вам во власть тварям?.. Как же это так быстро вдруг очерствело сердце наше?

«А вы поглядите,— скажет мне знакомый механизатор,— как расходятся домой с работы наши трактористы. Когда вроде их лиц никто не видит?.. Вон бредут по своим стежкам-дорожкам Виктор Мошков, Виктор Рядков, Виктор Гейер, Саша Адушкин, Анатолий Вдовин, Сэм, Леник, Сынок... Разные по характеру, а выражение лиц одинаковое. А Николая Егорыча помните? А Бонивура — Виталия Токарева, ушедшего из жизни как бы ни с того ни с сего, помните?.. А Москвича? Грибника?.. А Лидии Афанасьевне Никитиной в лицо загляните, когда она одна, в темноте, со своей фермы домой спешит. Накричавшись и набегавшись, зная, что и завтра ее ждут все тот же крик, те же хлопоты по необязательным поводам. На рядовых фермах наших, извините, ведь даже туалетов нет, а там люди целый день. Всю жизнь... Не улавливаете?..»

Улавливаю...

Еще несколько лет назад наивно думалось: руководители тому виной. Нерадивы, неумны. На нашей тут жизни сменилось четыре первых секретаря горкома, четыре мэра города, три с половиной директора нашего родного совхоза. Среди ушедших не «по собственному желанию» были дети своего времени, районом управлявшие не выходя из черной «Волги», окриком. Не отказывавшие себе в удовольствии регулярно «снимать стрессы».

Но уже более трех лет — свет в окошке!.. Сначала из Москвы прислали в горком молодого интеллигентного, с опытом руководящей работы Михаила Ивановича Семенушкина... Оставив в районе светлый след, подобно комете, был повышен — обратно в Москву, на работу еще более руководящую. На освободившийся пост избрали Дмитрия Андреевича Казначеева — местного, выращенного в районе из рабочих, окончившего ВПШ. Тоже человек доброжелательный, думающий, умеющий выслушать, посоветовать. И мэр у нас теперь молодой, деятельный, контактный, ратующий за объявленные перемены... Директор нашего совхоза, весной назначенный,— тоже молодой, главный агроном — того моложе, тридцати нет. Им всем жить да жить, работать, брать власть в свои руки...

И что?.. Что изменилось за эти три года в районе, в совхозе?.. Нет, по частностям тут, конечно, многое изменилось к лучшему. По крупному?.. Стронулась ли сколько-нибудь зримо с мертвой точки эта... не видимая глазом, но всеми осязаемая — как ее, каким словом обозвать?..— рутина?.. Власть тьмы?

Нет. Не изменилась. Не стронулась. Даже не пошатнулась... Вспомните: голод, война, горе — пели! Идучи на покос, в поле, на работу — пели... Веселились, когда выпадала возможность — до дна, лихо. Не во хмелю, не с хмеля — от бившейся в каждом жажды жить, от Надежды на Свет. Не дрогнув, протягивала милостыньку рука хозяйки на стук под окном. От ничего, от «у самих нет» — кусок, картошину не колеблясь отрывали, потому что знали твердо с детства: «за добро воздастся», «рука дающего не оскудеет»! Улыбки не жалели доброй взывающему о милосердии.

А ныне?.. Задыхаемся от настороженности, ожидания подвоха, злобы, общего желания унизить, уничтожить того, кто слабее, от подначек, от высмеивания, от сухости душ и сердец. Думаю, не одной мне иногда становится невмоготу от этого, не одной мне хочется крикнуть на всю Россию: «Люди! Христа ради! Милосердия, доброты вашей! Просто так, не в обмен ни на что, от щедрости и широты душевной — подайте...»

Скажите, если с вами произошла беда, нашлись ли в трудную минуту друзья, которые помогли словом и делом? Начальство, которое в полную меру своих возможностей, без просьб и унижений помогло вам? Сослуживцы? Увы... На ненависть, злобу, преследование энергия находится. На доброту — нет!

Размышляя об этом, я напомнила себе о «фонде Чернобыля», о грузинской стихии и тут же возразила: это прекрасно — всенародная помощь, но, согласитесь, легче даже от маленькой пенсии оторвать десятку, а от большой зарплаты — тысячу, нежели помочь действием, заботой рядом живущему человеку. Или вытерпеть достойно, что пострадавшие заняли квартиру, тебе вроде предназначавшуюся...

Помощь деньгами — дань одноразовому порыву, не несущему в себе иных эмоций, кроме положительных. Помощь делом живому, с конкретным характером и недостатками человеку требует терпения, времени и отсутствия личного высокомерия...

Да если бы Шукшину, Абрамову, Юрию Казакову, Николаю Рубцову и другим, ныне «горячо любимым», дали бы хоть часть нынешнего тепла, общественного внимания — хоть малую толику! Живым! Не ушли бы

они так рано... Именно последнее, как ни страшно, не устроило бы многих: человек, особенно талантливый, не втискивается в оклад для иконописного лика. После создаваемого сообща, бурно — едва вышеупомянутый талант либо гений угомонится, не выдержав ежедневных уколов, унижений, небрежения, зависти, нелюбви. Это гении особо остро чувствуют... Помрет — вот тут-то уже и развернемся всем миром в пылком обожании. Теперь вполне безопасно...

Скажите, что нас реально объединяет? Нет, не страну — отдельный человеческий коллектив? Объединяет до такой степени, что, ложась спать, вы со щемящей нежностью вдруг вспоминаете того, другого, третьего — счастливо желая им добра, нетерпеливо предвкушая наутро снова влиться именно в эту общность людей?.. Думаю, большинство недоуменно пожмет плечами: скучаю ли я по товарищам по работе? Век бы их не видать!.. По членам «компашки», с кем ежевечерне за преферансом, бутылкой, тихим развратом убиваю скуку?.. Эх, яду бы им в общую бутылку!..

3

Не так давно в журнале «Вопросы философии» я прочитала статью доктора филологических наук Вл. Гусева «Достоинство культуры». Открыла для себя истины новые. Например:

> *«Бывают ситуации, когда культура, духовная культура, кажется, просто не нужна, отступая перед напором более ясных и очевидных потребностей. Да бывают ли такие ситуации? Мне возразят: культура всегда необходима, всегда на переднем крае и т. д. Это все слова, а на деле вовсе не всегда. Когда человек просто голоден, когда его отчему дому угрожает гибель, когда на него идут пожар или наводнение, когда над ним навис ядерный взрыв и так далее, человека не обвинишь в небрежении к культуре. Он занят более насущным, и это всякому понятно».*

Вот так... Статья довольно большая, написана раскованно, так сказать, «наотмашь». Я перечла ее несколько раз, пытаясь понять — что же все-таки автор разумеет под словом «культура», встречающимся в статье то и дело? В конце концов мне удалось заключить, что по Вл. Гусеву «культура» — это вроде чистого и целого белья. Идешь в люди: если сыт и настроение хорошее, то надень под пиджачок «кобеднешнее» бельишко. Нет — сойдет и грязное. Не беда, коли в троллей-

бусе нос воротят. Не до «интеллигентских штучек»: «...ись хоцца, и в мире неспокойно...»

А если серьезно, то напомню: в блокадном Ленинграде сотрудники Института растениеводства не съели госфонд образцов зерна. По глупости?.. Да нет, из присущего им понимания, что́ для российского интеллигента допустимо, а что́ категорически нет. И симфония Шостаковича, исполнявшаяся в том же блокадном Ленинграде, и передачи Ольги Берггольц, которых наравне с пайком хлеба ждали там люди,— это все составные той, ныне ушедшей, старой культуры.

Не мудрствуя лукаво, заглянем в Советский энциклопедический словарь (1980): «Культура (от лат. cultura — возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) — исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях... Сфера духовной жизни людей... КАЖДАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТИПОМ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЙ МЕНЯЕТСЯ С ПЕРЕХОДОМ ОТ ОДНОЙ ФОРМАЦИИ К ДРУГОЙ; при этом наследуется все ценное в культуре прошлого» (подчеркнуто мною.— М. Г.).

Противостояние ленинградцев в блокаду, позволившее им в массе выжить, не пасть перед голодом в условиях невероятных, не уронить себя, не поступиться интеллигентностью, питала культура, выросшая не только на русской литературе, музыке, философии, живописи великого девятнадцатого века, но также и на старых незыблемых понятиях о добре и зле, о том, что́ порядочно, а что́ нет, с чем порядочный человек жить может, а какой проступок совершив, следует застрелиться. Во всех сословиях было свое, незыблемое понятие о норме поведения человека порядочного. Отклонения случались, тем не менее норма существовала, и общественное мнение о поступках и проступках формировалось, исходя из него.

Это старая культура, впитавшая в себя все духовное богатство и гуманизм, накопленный к тому времени человечеством, воспитала людей, совершивших Великую Октябрьскую революцию.

Теперь мы имеем «другую культуру». Надо наконец произнести это. Возможно, в иные минуты эта культура нас не устраивает, но что делать?.. Нам ее не навязали «враги из-за рубежа», она создавалась нами исподволь, «всем миром».

В составные этой культуры входит возможность для человека, считающегося порядочным, подать руку и улыбнуться негодяю, подлецу, мздоимцу. Сказать в глаза одно, а за глаза другое. Не задумываясь красть на службе то, что возможно украсть. (Допустим, спирт в разных НИИ и медучреждениях, делимый каждый месяц между «интеллигентными» сотрудниками.) Использовать систематически или единовременно неправедные возможности для личного обогащения. Не скрывать, а как бы тщеславиться этим. Мужчине, считающему себя интеллигентом, обругать, ударить женщину. Брать взятки и «подарки» ради «добросовестного выполнения» служебных обязанностей. Писать анонимки, продолжая считать себя порядочным человеком: мол, я не могу произнести подобное вслух — я боюсь... Отвернуться, опустить глаза, не заметить, когда хам обижает слабого...

Это не досадная аномалия — давайте себе это наконец скажем.

Отсюда вытекает и ежедневное поведение несунов и рвачей, взяточников и воров всех рангов. С ними тщетно бороться, пока их поведение — норма культуры, присущей им. Молодых мам с ангельскими личиками, рявкающих не задумываясь на младенца: «Замолчи, сволочь!» Других «мам», без стеснения оставляющих новорожденного в роддоме. Это — норма «другой культуры». Норма культуры — пить за рулем, хотя от этого зависит жизнь не только твоя, других? Пить, а потом входить в кабину тепловоза, на капитанский мостик, заступать на дежурство в операционной... Губить реки, леса, атмосферу в угоду собственному процветанию.

Отсюда исходят все до одной наши беды, наши слабости. И прежде чем пытаться искоренить что-то частное — тут, там, здесь, прежде чем требовать, допустим, от «мелкой сошки» — районного руководителя — личной, на благо общему, себе во вред инициативы, от тракториста — трезвости и добросовестной работы, от доярки и скотника — жалости к неповинным животным, личной честности, давайте разберемся, когда же, на каком этапе нашей жизни вдруг сделались не просто отклонением от нормы мздоимство, воровство, ложь, унижение безвластных, угодничество перед власть имущими?.. Когда главным в отношении к человеку сделались не его ум, порядочность, невозможность совершения низких поступков, а Богатство, Возможность пользоваться Особыми Благами, недоступными другим?..

Между прочим, пирамидальные тополя вдоль дорог, персиковые, инжирные удивительные сады, виноград-

ники, дарящие томительно-сладкие грозди необыкновенного винограда, уютные чайханы с почти японским чайным ритуалом на нашем Востоке — суть приметы старой культуры. Карты хлопковых полей, вытеснивших не только фруктовые сады и виноградники, но и тополя; грязные столовки, где основной продукт потребления до недавнего времени был алкоголь, — суть явления «другой культуры». Сделал ли большой хлопок, в жертву которому был принесен исконный пейзаж, Красота, нас счастливее?..

Великолепная русская кухня — ленивые щи, пироги, каши, драчены, кулебяки, похлебки — ушла в небытие вместе с русской печью, уступив место «закуси», не имеющей ни вкуса, ни смысла, ни даже видового названия...

Врачи, точно знающие, согласно дожившей до наших дней памятке, порядок своих действий в случае эпидемии чумы, оспы, холеры, тифа... И врачи, не имеющие никакого понятия, как вести себя при массовых радиоактивных поражениях, не умеющие распознать лучевую болезнь...

Блестящие ораторы, умеющие овладеть вниманием любой аудитории, активно стремящиеся к новым и новым знаниям, независимо от социального происхождения, состояния здоровья, наличия свободного времени, дабы находиться «на уровне века», — революционеры, рожденные старой культурой. Читающие по бумажке общие слова, повергающие в скуку и дремоту любую аудиторию, добровольно не посещающие концертов, выставок, спектаклей, не интересующиеся литературными новинками — вот наиболее распространенный тип деятеля, рожденного «другой культурой». Высокомерно пренебрегающего истиной, что умение убеждать и увлекать — одна из главных составных профессий, которую этот деятель себе избрал, а вовсе не умение «выколачивать молоко», «план» и сводки...

4

С сочувственным любопытством читаю я вспыхивающие там и тут дискуссии на тему, какой обязана быть современная женщина. Писатель или писательница при бурной поддержке читателей объясняют, что женщина должна быть скромной, целомудренной, хорошей хозяйкой, заботливой, нетребовательной женой и матерью, непременно многодетной. Но ни в коем разе не «деловой», не эмансипированной —

отсюда все напасти, тут корень зла! Это разрушило семьи, убило девичью скромность и неостановимую жажду рожать...

Прекрасные эти дискуссии, на мой искушенный взгляд, звучат, допустим, как объявление типа: «Единогласно постановили: повсеместно отменяется произрастание осота желгого, молочая, лопуха малого и большого, будяков и прочих сорных растений, оскорбляющих глаз. С 25 мая в парках, а особенно на пустырях и заброшенных участках все цветы должны быть розового цвета, не крупные, стебель трубчатый, гладкий...» Приблизительно так.

Женщина, как и все прочие члены нашего общества, неизбираемо зависит от процессов, в нем происходящих. Более того, по горькой мудрости природы, во что бы то ни стало пытающейся сохранить отряды, виды и роды живущих, самка быстрее приноравливается к изменению жизненных условий. Через флажки оцепления, недавно еще повергавшие стаю в ужас, ныне бесстрашно уводит сородичей волчица...

В дни моей юности пользовался успехом рассказ некоего Ученого про Машину умнее человека, которая, когда в нее запускали информацию заведомо неверную, начинала выдавать сигналы тревоги, а затем ломалась.

Курящие, пьющие, развратничающие, матерящиеся девочки и женщины, девочки, организующиеся в банды, молодые женщины, не желающие «вить гнездышко», выходить замуж, рожать,— это те самые давно уже непрерывно и громко звучащие сигналы тревоги неблагополучия в нашем социальном организме, также порожденные «другой культурой».

5

В дни моего детства и юности была игра: «черный» с «белым» не берите, «да» и «нет» не говорите, вы поедете на бал?..» Похожую «игру», если можно так выразиться, в те давние времена начали вести взрослые.

Там, в том давнем времени, скрываются истоки и ныне еще не умерших «единодушных рапортов трудящихся» к дате, парадных статей, парадных заголовков. Трескучих, пустых, песенных и стихотворных текстов, трескучих, не обеспеченных золотым запасом слов.

Однако должна уточнить: наши матери и отцы верили, что рапорты, парадные заголовки, парадные

статьи, трескучие слова и тексты песен, никакого отношения не имеющие к реальной, полной бед и лишений трудовой их жизни, необходимы лишь временно, дабы «капиталистическое окружение» не разглядело, как безумно, невыносимо тяжко преодолевать препятствия, поднимаясь в гору. Эта вера во «временность» творящейся лжи давала им возможность не погибнуть духовно. Увы, наши внуки и дети, даже наши младшие братья и сестры приняли игру в «да» и «нет» не говорить за единственно возможное состояние общественных отношений. Иного соответствия «слова и дела» они уже не знали, не представляли себе.

Тогда-то, в никем не отмеченный горький момент начала одолевать нас «другая культура», в основу которой легла ложь.

В построении отношений, основанных на уговоренной Лжи, участвовали, повторяю, на мой взгляд, все. Но не все были за то равно ответственны — тут я не соглашусь с известным высказыванием Дмитрия Сергеевича Лихачева. Нельзя равнять страдания жертвы и палача, хотя тот и другой живут в одном отрезке времени. Нельзя равнять тех, кто, весело и хитро хрюкая, копошился в своем любимом корыте, и тех, кто им не мог помешать по вполне объективным причинам. Это тоже нужно произнести: пусть каждому да воздастся по его заслугам **в новом, нарождающемся общественном самосознании.**

Оно уже складывается, хотя мы все слышим его хрупкость, необходимость в защите и твердости...

Тех, кто непременно будет участвовать в организации норм нового общественного самосознания, мы видели, допустим, год назад в молодежной передаче. Возбужденные, взъерошенные подростки, не давшие разрушить Щербаковские палаты. Другие — и стар и млад,— не позволившие спилить столетний вяз на Поварской... Писатели, «остановившие» вместе с общественностью поворот сибирских и северных рек... Общественность, отвергшая нелепый «Монумент Победы»... Рукописи умерших, ставшие книгами, тоже активно участвуют в формировании общественного нового самосознания.

Есть и другие — живые и знаменитые, не алкавшие себе в том действии никакой корысти — едва ли не год готовившие необыкновенный свой Первый Благотворительный... Не только чтобы отдать неполученные рубли на восстановление Пушкинского храма, а еще и для программного, гордого обозначения: **не все продается, не все покупается!..** Что — грядет она, неведомая пока новая КУЛЬТУРА ОЧИЩЕНИЯ?

Учимся... Называть черное — черным, белое — белым. Говорить «да» и говорить «нет». Не опускать глаза под барственно-недовольным взглядом очередного «богача неправедного». Не подавать руки негодяю. Не лгать, когда жаждут, ждут милостиво и снисходительно от тебя продолжения потока привычной лжи... Учимся быть неудобными, необтекаемыми... Учимся быть самими собой... «Демократия, гласность, социальная справедливость»... Мир вам, люди с чистыми руками!..

Александр Гельман

ВРЕМЯ СОБИРАНИЯ СИЛ

Передо мной как докладчиком никто не ставил никаких задач, поэтому я сам перед собой поставил задачу: сделать сообщение личного характера, поделиться собственными соображениями и тревогами в свете предстоящей XIX Всесоюзной партконференции.

С момента начала перестройки прошло три года. Каков главный положительный итог? По-моему, он в том, что, несмотря на то что прошло три года, перестройка продолжается. Каков главный отрицательный итог? По-моему, он в том, что, несмотря на то что прошло три года, перестройка не стала пока необратимой.

То обстоятельство, что еще не создано достаточных демократических структур, которые бы сделали демократический образ жизни надежным, самовоспроизводящимся для всех, кто связывает с перестройкой судьбу нашего будущего, является огромным беспокойством, огромной тревогой, не отпускающими нас ни на день, ни на час. И это, по-моему, будет главный вопрос XIX партконференции — выработать и принять решения, осуществление которых гарантирует полную необратимость демократического процесса в обществе.

По моему ощущению, сейчас, в ходе подготовки к конференции, обостряются все формы борьбы за революционный характер перестройки и **против** него. Не исключено, что эта борьба даст себя знать и в работе самой конференции.

Открытые и закулисные противники перестройки все яснее отдают себе отчет, что идеалы перестройки с каждым днем завоевывают все больше сердец, все больше умов. Они понимают, что отрезок времени, в течение которого перестройку можно было бы пресечь или хотя бы ощутимо сбить с решительного революционного пути, не велик. Ощущая этот дефицит отпущенного времени, они ощетинились. Они понимают, что надо спешить, пока еще действуют те механизмы принятия решений, с помощью которых можно в обход общественного мнения нанести перестройке удар. Эти механизмы во многих случаях находятся в их руках. Я допускаю, что подготовка к партконференции или даже

сама партконференция могут оказаться тем плацдармом, на котором они попробуют дать перестройке решительный бой.

Возможно, мои опасения преувеличены, дай-то бог, чтобы было так, но речь идет о таких серьезных вещах, речь идет о таких возможных трагических последствиях, что я считаю себя вправе не стесняться в выражении своих опасений.

В этом смысле я считаю не случайной публикацию в «Советской России» статьи Нины Андреевой, выразившей некоторые программные установки консервативных сил в партии. Главный пафос этой статьи — поставить под сомнение правомерность нравственного критерия в оценке прошлого и настоящего советского общества. В качестве марксистской идеи она проповедует несовместимость политики и морали, противопоставляет классовый и этический подходы. Говоря о ленинградском фильме, посвященном Кирову, она возмущена дикторским текстом, напоминающим зрителям о репрессиях тридцатых годов, в то время как на пленке изображены картины энтузиазма тех лет,— она видит в этом насилие над правдой. Она вообще возмущена тем, что о трудовом энтузиазме того времени говорят и пишут сегодня очень мало, а все о трагедиях и трагедиях. Ей как бы в голову не приходит, что по законам нормальной человеческой отзывчивости людей больше тревожат судьбы тех, кто безвинно и безвременно погиб в сталинских лагерях, чем судьбы тех, кто безусловно заслуживает уважения за проявленный трудовой героизм, но тем не менее нормально жил, работал и еще живет или умер своей смертью. Во все времена трагедии находили в сердцах людей больший отклик, чем нормальное течение жизни, тем более когда речь идет о трагедии такого масштаба, как сталинщина. Нина Андреева и в отношении самого Сталина требует некоего государственно-исторического оценочного критерия, а не нравственного. Она считает, что мы просто не доросли до того, чтобы определить место Сталина в истории — дескать, большое видится на расстоянии.

Вообще в оценках некоторыми товарищами фигуры Сталина допускается некая игривость. Сергей Михалков в интервью «Огоньку» говорит, что да, конечно, с одной стороны, Сталин палач, но с другой стороны, вы только подумайте, он не позволил себе без разрешения автора в тексте Гимна СССР снять запятую, разыскал автора на фронте для испрошения позволения — видите, мол, какая все-таки противоречивая, неоднозначная личность. А еще кто-то написал, что да, Сталин был

палач, но зато аскет, ему ничего-ничего не надо было, он был гол как сокол. Прямо второй Махатма Ганди.

Да, Сталин был равнодушен к вещам и деньгам, ему другое доставляло удовольствие — он любил наслаждаться полнотой власти над людьми, над целыми народами, и уж в этом отношении он аскетом не был, насладился сверх всякой меры...

Кому на руку позиция Андреевой? Народу? Партии? Да ни в коем случае. Эта позиция вольно или невольно обслуживает кровные интересы бюрократии, в том числе партийной бюрократии. Это им выгодно разъять политику и нравственность, им это надо, чтобы избежать осуждения за старые грехи, чтобы ничего не мешало совершать новые.

Наиболее умные, дальновидные противники перестройки применяют другую стратегию — стремятся подменить демократизацию либерализацией. В чем разница? Демократизация предусматривает перераспределение власти, прав, свобод, создание ряда независимых структур управления и информации. А либерализация — это сохранение всех основ административной системы, но в смягченном варианте. Либерализация — это подразжатый кулак, но рука та же, и в любой момент она может обратно сжаться в кулак. Только внешне либерализация порой напоминает демократизацию, на самом же деле это принципиальная и недопустимая подмена.

Еще один прием дискредитации перестройки. Утверждают, что исчерпывающий критический анализ прошлого, сталинщины наносит удар по авторитету партии как руководящей силе общества. Да, в определенной мере наносит. Но партия, открывая обществу возможность критиковать себя, лишать себя некоторых страниц липовой славы, одновременно открывает и возможность благодаря решительному повороту своей политики к обретению новой, незапятнанной славы. Надо думать не только о прошлом партии, но и о ее будущем. Прошлое не вернешь, а будущее партии закладывается сегодня на очищенном фундаменте правды. Если же говорить о прошлом, то мы можем сегодня сказать: нравственное ядро в партии никогда не умирало, оно замирало от страха, беззащитности в эпоху сталинщины, но, свернувшись, сжавшись, сохраняло свое внутреннее достоинство. Иначе не могло бы быть ни двадцатого съезда, ни сегодняшней перестройки. Верность нравственным принципам партия пронесла через всю свою сложнейшую историю как живую, немеркнущую ценность.

У партии есть крупнейшие заслуги перед народом, но есть и задолженности. Главная задолженность —

демократия, полновесная социалистическая демократия, которую партия не укоренила своевременно в нашем общественном бытии. Скажу даже резче — в течение целых довольно длительных периодов партия, особенно ее руководящие органы, выступала в роли силы, противодействующей демократии. Были наработаны достаточно крепкие антидемократические традиции в партии. Это следует без оговорок признать, иначе трудно и объяснить потребность в резкой перемене курса, и практически осуществить перестройку в духе нового курса. Да, у партии накопилась перед обществом задолженность, она теперь начинает этот долг отдавать, и когда этот грандиозный труд по демократической перестройке общества будет завершен, признательность народа и всего мира во много раз перекроет тот ущерб авторитету партии, который связан с исчерпывающим критическим анализом ее истории.

Без демократического управления общественной собственностью она фактически не общественная, не общенародная. Быть хозяином собственности означает быть хозяином управления, а иначе собственность принадлежит бюрократическому слою общества, а не народу. Отнять земли и заводы у эксплуататоров еще не означает передать их народу — только с укоренением демократических структур управления свершается акт вручения народу его собственности. Это сегодня как бы признается, но часто только на словах, а на деле, повторюсь, наблюдается настойчивая попытка подменить демократизацию либерализацией той же самой устаревшей, дискредитировавшей себя бюрократической системы управления.

У противников перестройки нет доказательной логики, нет убедительной программы, но зато еще есть власть. Сила есть. Поэтому, я считаю, мы, рядовые коммунисты, не должны сидеть сложа руки и ждать решений партконференции по принципу — «что бог пошлет». Нашу тревогу за судьбы перестройки надо превращать в реальное действие. Не только в книги, сценарии, пьесы, фильмы, но и в реальное прямое политическое действие. Ход подготовки к конференции сегодня нельзя целиком поручать партийным аппаратам. Очень важно, чтобы делегаты конференции ощущали настроение партийных масс, позицию партийных организаций.

Я хочу предложить вашему вниманию проект наказа XIX партконференции от нашей парторганизации.

Первое. Было бы желательно, чтобы XIX партконференция проводилась открыто, с публикациями без купюр выступлений делегатов, с передачами по телеви-

дению значительных эпизодов работы конференции, чтобы коммунисты, все общество ощущали атмосферу, чтобы люди могли не формально, а действенно откликаться на происходящее на конференции уже по ходу ее работы. Чтобы существовала между партией и конференцией живая, что называется, ежечасная обратная связь.

Второе. В духе такой открытости конференция должна принять решение, чтобы Пленумы ЦК КПСС впредь проводились тоже гласно. Пленум ЦК — это фактический главный партийный парламент, а учитывая, что партия у нас правящая, это и вообще главный, решающий парламент страны. Если Пленумы ЦК будут проводиться открыто, это усилит благотворное влияние ЦК на общество, одновременно это увеличит ответственность членов ЦК за свои слова да и в целом за свою миссию.

Третье. Мы присоединяемся к тем коммунистам, которые предлагают, чтобы длительность непрерывной работы на выборных постах была ограничена восемью—десятью годами.

Четвертое. Существует настоятельная необходимость, чтобы деятельность партийных руководителей любого ранга, в том числе секретарей ЦК, заведующих отделами ЦК, была постоянно обозрима, чтобы люди знали, кто есть кто, более подробно, по существу знали личные качества, имели представление о каких-то оттенках мировоззрения, особенностях характера, особенностях занимаемой позиции по тем или иным вопросам, стиля работы, стиля общения, культурного кругозора. Нельзя больше допускать, как это не раз бывало в прошлом, чтобы о недостатках, ошибках того или иного деятеля партии общество и сама партия узнавали вдруг. Хватит уже этих информационных шоков, ударов по голове, когда сначала долгое время человек считается хорошим, хорошим, хорошим, а потом — бац! — оказывается, он авантюрист, экстремист или выступает за «гласность без берегов». Это мне один мой читатель в письме написал, что, мол, подождите, «вашего Горбачева еще скинут за гласность без берегов». Видите, уже и формулировочка припасена. Уверен, что принятие решения о доступности для наблюдения деятельности руководителей встретит одобрение и у самих руководителей и у коммунистов. Нельзя, чтобы судьбы людей решались негласно и внезапно. Кто знает, может быть, и Сталин, работай он в условиях гласности, нашел бы в себе силы сдерживать свои дурные наклонности и остался бы в истории нашей партии не палачом, а вполне уважаемым деятелем.

Нуждается в дополнительном углубленном обсуждении на конференции вопрос о гласности, о большей самостоятельности и независимости средств информации. С этим связана активизация идеологического обеспечения демократических преобразований. Нужен ликбез по демократии, может быть, на телевидении. Люди плохо знают исторический путь демократических ценностей. Эти ценности открыты в ходе исторического творчества не сегодня, как некоторым кажется. Демократия имеет свои выдающиеся заслуги в истории человечества. То, что мы сегодня ведем бесконечные споры, надсадные полемики по поводу вреда или пользы гласности, это не в последнюю очередь свидетельство недостаточно высокой культуры. По существу, это рутинные споры, вопрос о пользе гласности — исторически решенный вопрос, и топтаться на этом пятачке политической культуры долгие годы просто недопустимо. Кстати сказать, когда требовалось идеологически обосновывать, обеспечивать в недавние годы негласность, отделы культуры и пропаганды ЦК были куда как умелее, чем сегодня, когда требуется укреплять авторитет гласности.

Гласность нужно оберегать как зеницу ока. И тут хочу сказать об одной важной вещи. За прошедшие годы накопилось множество нерешавшихся проблем, конфликтов, загнанных в подполье, не получивших сочувствия болей, обид, несправедливостей. Накопилась масса безалаберщины, масса глупостей — ведь во многих регионах годами существовала самая настоящая диктатура посредственности. Многие из этих вопросов не обсуждались, не полемизировались, не прояснялись десятилетиями. И сейчас вдруг — гласность, свобода. А во многих головах все перепутано — отсюда наряду со справедливыми, оправданными, необходимыми демонстрациями, протестами наблюдаются, и дальше их может стать больше, протесты, вызванные недомыслием, ложными уверенностями, экстремистскими чувствами. Поэтому, кроме опасности пресечения перестройки ее прямыми противниками, существует и опасность со стороны экстремистских сил сторонников перестройки. Эти крайности запросто могут соединиться, особенно сейчас, в период перехода, когда демократические устои еще только начинают укореняться, когда они еще не закреплены цементом отработанных процедурных установлений. Короче говоря, ноги могут пойти вперед головы и весь корпус перестройки может накрениться, а то и опрокинуться, и уж тут кованый сапог администрирования постарается не упустить момента, чтобы наступить на перестройку, покончить с ней.

Думается, партийная конференция должна обратить внимание общества на необходимость, особенно в период перехода, размежевать свободу для головы и свободу для ног. Головам нашим нужна полная свобода, чтобы люди могли обо всем читать, думать, разбираться, что к чему и почему, прояснять затуманенное, проверять чувства разумом. А вот ногам нужна сдержанность. Я понимаю, что ноги трудно отделить от головы, мое пожелание выглядит умозрительно, и тем не менее, если хорошенько подумать, найдутся вполне приемлемые в условиях демократии способы самоограничения свободы для ног при полной свободе для головы.

Как и все, я очень озабочен событиями в Нагорном Карабахе, в Азербайджане и Армении. Там пролилась кровь. Повинные в этом должны быть, все до одного, разысканы, названы, наказаны. К сожалению, в печати не прозвучали слова скорби по поводу безвинно отнятых жизней. Обнаружилась неподготовленность наших средств информации человечно и честно освещать драматические события. Некоторые обороты речи в опубликованных материалах вызывали негодование москвичей, а что говорить о читателях Еревана или Сумгаита! Наш союз, секретариат СК должен вложить свою долю взвешенных, сочувственных усилий, чтобы содействовать укреплению духа разумности в действиях творческой интеллигенции этих республик.

Демократия не выше разума, ничего нет в жизни людей выше разума, потому что сама демократия — дитя разума, дитя мудрости человеческой. Бывает, что демократия во имя самосохранения обязана, вынуждена на какое-то время проявить несвойственную ей твердость, даже жестокость. Но даже в этом случае она все должна делать открыто, гласно, убедительно разъясняя обществу нравственную обоснованность принимаемых мер. Разум откликается на разум, сердца человеческие успокаиваются, когда к ним обращаются искренне, озабоченно, без задней мысли.

Сегодня было бы разумно создать министерство или комитет по делам наций. Такой орган мог бы подробно вникать во все проблемы межнациональных отношений, принимать упреждающие меры, не запускать решение таких вопросов до массовых демонстраций протеста. Тут много дел, особенно в автономных республиках и областях. Чисто административное отнесение того или иного народа к классу автономных не должно приводить к каким-либо ущемлениям в возможностях развивать свою культуру. В отношениях к нациям не должно быть и тени разделения на ранги. В этом смысле наш

союз обязан подумать о том, чтобы и татары, и башкиры, и другие народы имели условия для развития национального кинематографа. Не нужно ждать, пока выйдет постановление сделать это. Создание условий для развития национальных кинематографий там, где их нет, должно войти в программу перестройки кинематографа как важнейшая его составная часть.

Предстоящая партконференция должна будет определить новый, некомандный характер руководящей деятельности партии. Идейной, духовной деятельности. А это посложнее, чем назначать да снимать, а через год снова назначать да снимать очередных руководителей. Партия должна научиться действовать, пользуясь идейной, духовной властью. А это такая власть, которой люди могут подчиняться только добровольно.

Когда можно приказать, никто не станет убеждать. Когда можно приказать, любые сложности жизни, деятельности запросто упрощаются, низводятся до схемы, до догмы. Именно командный принцип деятельности стал причиной массового упрощенчества. Грех упрощения — застарелый наш грех, от него очень трудно отвыкать. Это одна из причин сопротивления демократизации — многие работники партии просто не способны справляться со сложными задачами, не обладают требуемыми для этого качествами. А каждый хочет то, что может. А если чего не может, говорит, что этого не надо, что это вредно и опасно для основ социализма.

По-хорошему перестройка партии на некомандный лад нуждается в нескольких, пусть не великих, но умных, добротных фильмах, в эффективном киноподспорье. Создание таких фильмов сегодня, по-видимому, потребует специальных организационных усилий. Кинематографисты сегодня, по-моему, разобрали исключительно общечеловеческие темы, проблемы, и это прекрасно, я это приветствую, но надо помнить и о том, что наша перестройка, перестройка в нашей партии имеет сегодня реальное, практическое, общечеловеческое значение.

Я думаю, что и в целом наш союз после своего знаменитого 5-го съезда несколько подрастерял свою значимость как одного из идейно-интеллектуальных бастионов перестройки, демократизации. Это нормально, это можно понять, силы рассредоточились для конкретных дел, но я думаю, что нам нужно обладать достаточной динамичностью, способностью, когда нужно, сосредоточивать силы для общезначимых озабоченностей. Сейчас, в период подготовки к XIX партконференции, именно такое время собирания, сосредоточения сил.

Мне представляется правомерным такой вопрос: если перестройка будет пресечена, кто за это в первую очередь будет ответствен — ее сторонники или ее противники? Я лично отвечаю однозначно: виноваты будут ее сторонники.

Мы как-то быстро пообленились, пропускаем без внимания вещи, которые нельзя пропускать, некоторых охватила эйфория от открывшихся возможностей, некоторые торопятся отщипнуть свой кусочек от той свободы, которая только-только начала вылупляться из железной скорлупы произвола. Я адресую эти упреки не только вам, но и себе, в первую очередь себе.

Нужно набрать воздуха для второго дыхания, сейчас самое-самое время это сделать. Борьба не то чтобы кончилась, ее решающий, самый трудный этап только начинается.

Даниил Гранин

О МИЛОСЕРДИИ

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

В прошлом году со мной приключилась беда. Шел по улице, поскользнулся и упал... Упал неудачно, хуже некуда: лицом о поребрик, сломал себе нос, рука выскочила в плече, повисла плетью. Было это примерно в семь часов вечера. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где живу.

С большим трудом поднялся, забрел в ближайший подъезд, пытался унять платком кровь. Куда там, я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль накатывает все сильнее и надо быстро что-то сделать. И говорить-то не могу — рот разбит.

Решил повернуть назад, домой.

Я шел по улице, думаю, что не шатаясь. Хорошо помню этот путь — метров примерно четыреста. Народу на улице было много. Навстречу прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил лица многих людей — видимо, безотчетным вниманием, обостренным ожиданием помощи...

Боль путала сознание, но я понимал, что, если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добираться до дома. Так никто мне и не помог.

Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за пьяного? Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. Но даже если бы и принимали за пьяного...— они же видели, что я весь в крови, что-то случилось — упал, ударили,— почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? Значит,

пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил, «меня это не касается» стало чувством привычным?

С горечью вспоминая этих людей, поначалу злился, обвинял, недоумевал, потом стал вспоминать самого себя. И нечто подобное отыскивал и в своем поведении. Легко упрекать других, когда находишься в положении бедственном, но обязательно надо вспомнить и самого себя. Не могу сказать, что при мне был точно такой случай, но нечто подобное — желание отойти, уклониться, не ввязываться — и со мной было. Уличая себя, понимал, насколько в нашей жизни привычно стало это чувство, как оно пригрелось, незаметно укоренилось.

Я не собираюсь оглашать очередные жалобы на падение нравов. Уровень отметки этого падения заставил, однако, призадуматься. Персонально виноватых нет. Кого винить? Оглянулся — и причин видимых не нашел.

Раздумывая, вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной нашей жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. Из твоей части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили... Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни, так ведь были и дезертиры и самострелы. Но не о них речь, мы сейчас — о главных жизненных правилах той поры.

И после войны это чувство взаимопомощи, взаимообязанности долго оставалось в нас. Но постепенно оно исчезло. Утратилось настолько, что человек считает возможным пройти мимо упавшего, пострадавшего, лежащего на земле. Мы привыкли делать оговорки, что-де не все люди такие, не все так поступают, но я сейчас не хочу оговариваться. Мне как-то пожаловались новгородские библиотекари: «Вот вы в «Блокадной книге» пишете, как ленинградцы поднимали упавших от голода, а у нас на днях сотрудница подвернула ногу, упала посреди площади, и все шли мимо, никто не остановился, не поднял ее. Как же это так?» — обида и даже упрек мне звучали в их словах.

И в самом деле, что же это с нами происходит? Как мы дошли до этого, как из нормальной отзывчивости перешли в равнодушие, в бездушие и это тоже стало нормальным?

Не берусь назвать все причины, отчего ослабло чувство взаимопомощи, взаимообязанности, но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно. Происходило это на глазах народа и губительнейшим образом действовало на

духовное здоровье людей. Появилось и укоренилось безразличие к своей работе, потеря всяких запретов — «а почему мне нельзя?». Начинало процветать вот то самое, что мы называем теперь мягко — бездуховность, равнодушие.

Естественно, это не могло не сказаться на взаимоотношениях людей внутри коллектива, на требовательности друг к другу, на взаимопомощи, ложь проникала в семью — все взаимосвязано, потому что мораль человека не состоит из изолированных правил жизни. И тот дух сплоченности, взаимовыручки, взаимозаботы, который сохранялся от войны, дух единства народа убывал.

У моего знакомого заболела мать. Ее должны были оперировать. Он слыхал о том, что надо бы врачу «дать». Человек он стеснительный, но беспокойство о матери пересилило стеснительность, и он под видом того, что нужны будут какие-то лекарства, препараты, предложил врачу 25 рублей. На что врач развел руками и сказал: «Я таких денег не беру».— «А какие надо?» — «В десять раз больше». Мой знакомый — рядовой инженер, человек небогатый, но речь шла о здоровье матери, и он раздобыл деньги, принес их врачу стыдливо в конверте, а тот преспокойно вынул и пересчитал бумажки.

После операции мать умерла. Врач пояснил моему знакомому: «Я проверил, мать ваша умерла не в результате операции, у нее не выдержало сердце, поэтому деньги я оставляю себе»,— убежденный в своей порядочности: вот если бы женщина умерла в результате операции, деньги бы он вернул.

С полным сознанием своей правоты произнес этот врач государственной клиники, представитель профессии гуманной, человеколюбивой — так, во всяком случае, положено думать о врачах.

Упоминаю об этом случае не потому, что он особый, а потому, что его не считают о с о б ы м.

Женщина развелась с мужем и через суд потребовала алименты. Присудили. А ребенок находится у родителей мужа, и мать эта даже думать не думает взять ребенка и заботиться о нем. Но алименты исправно получает. К сожалению, все больше случаев, когда матери отказываются от своих детей. Прежде это были единичные случаи, поражавшие людей. Сейчас с ними примирились.

Наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий.

Одно из таких чувств — чувство милосердия. Термин для большинства старомодный, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» — даже словарь дает их как «устар.», то есть устаревшие понятия.

В Ленинграде в районе Аптекарского острова была некогда улица Милосердия. Сочли это название отжившим даже для улицы, переименовали в улицу Текстилей.

Слова стареют не случайно. Милосердие. Что оно — не модно? Не нужно?..

Изъять милосердие — значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Древнее это необходимое чувство свойственно всему животному сообществу: милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это в нас убыло, заглохло, оказалось запущенным? Мне могут возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры, они есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, отлив милосердия в нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства...

Недавняя трагедия в Чернобыле всколыхнула народ и душу народную. Бедствие проявило у людей самые добрые, горячие чувства, люди вызывались помогать и помогали — деньгами, всем, чем могли, 530 миллионов рублей добровольно пожертвовано в фонд помощи пострадавшим от аварии в Чернобыле. Это огромная цифра, но главное — душевный отклик: люди сами охотно разбирали детей, принимали пострадавших в свои дома, делились всем. Такой же отклик возник и при недавних бедствиях в Грузии, где произошел сход лавин, наводнение. Это, конечно, проявление всенародного милосердия, которое всегда было свойственно нашему народу: так всегда помогали погорельцам, так помогали во время голода, неурожая...

Но Чернобыль, землетрясения, наводнения — аварийные ситуации. Куда чаще милосердие и сочувствие требуется в нормальной, будничной жизни, от человека к человеку. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом...

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с

душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

Упражняется ли милосердие в нашей жизни?.. Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Часто ли мы получаем призыв к нему?

Вспомнилось, как в детстве отец, когда проходили мимо нищих, а нищих было много в моем детстве — слепых, калек, просто просящих подаяние в поездах, на вокзалах, на рынках — отец всегда давал медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх,— нищенство нередко выглядело довольно страшновато,— подавал. Иногда преодолевал и свою жадность — хотелось приберечь деньги для себя, мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал, притворяются или не притворяются эти просители, в самом ли деле они калеки или нет. В это он не вникал: раз нищий — надо подать.

Как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в милосердии, без которого это чувство не может жить.

Хорошо, что нищих у нас сейчас нет. Но должны же быть какие-то другие обязательные формы проявления милосердия человеческого. Не ради упражнения, а потому, что немало есть в жизни нашей людей, которым необходимы сострадание и помощь.

После того падения пришлось побывать мне в больнице. Это была самая обыкновенная старая городская больница «Скорой помощи». Поскольку она старая, то уже не совсем обыкновенная, ибо находилась (и находится по сей день) в ужасном состоянии. Здание обветшало, полы в первом этаже шаткие, горячей воды нет, бегают крысы. Не буду называть эту больницу, потому что работают там превосходные врачи-энтузиасты, которые именно в таких больницах и удерживаются. Не хочу, чтобы они пострадали, ибо, как правило, достается им, а не начальству.

Ночами от боли не спалось, бродил я по коридору. Длинный этот коридор был заставлен койками и раскладушками с больными. Мест в палатах не хватало. Лежали вперемежку мужчины, женщины — постанывали, ворочались. Кто просил поднять, кто — пить.

Напоминало мне это фронтовой госпиталь после боя. С той лишь разницей, что санитарок не было. Давно известная беда не только ленинградских больниц. На травматологическое отделение на девяносто больных имелась одна санитарка. То есть полагалось четы-

ре, но не было. Время от времени присылали на эту роль «пятнадцатисуточниц» — вот до чего доходили. Но в эту ночь никаких подсобниц не было. Кого-то я поил, кого-то загипсованного поворачивал. Подозвала меня одна старая женщина. Попросила посидеть рядом. Пожаловалась, что страшно ей, заговорила про своих близких, которые далеко, про свою трудную, ныне одинокую жизнь. Взяла меня за руку. Замолчала. Я думал, заснула, а она умерла. Рука ее стала коченеть.

На фронте навидался я всяких смертей. И то, что люди умирают в больницах, вещь неизбежная. Но эта смерть поразила меня. Чужая, не важно кого, подозвала эта женщина, томясь от одиночества перед лицом смерти. Невыносимое, должно быть, чувство. Наказание страшное, за что — неизвестно. Хоть к кому-то прислониться. Заботу о человеке, бесплатную медицину, гуманизм, коллективность жизни — как это все соединить с тем, что вот человек, отработав весь свой век, умирает в такой заброшенности? Не стыд ли это, не позор и вина наша всеобщая? У верующих существует таинство соборования, отпущения грехов. Человек причащается... Человек чувствует приближение конца. Ему легче, когда рядом — исполненный сочувствия и внимания, пусть даже чужой, не говоря уж о своих. Чью-то руку держать в этот прощальный миг, последнее слово сказать кому-то, чтобы его слышали. Хотя бы той же сестре милосердия, брату милосердия, которые у нас «устар.». В такие минуты проверяется милосердие как уровень общественной гуманности.

Конечно, положение, до которого доведены наши обыкновенные городские больницы, когда медсестры и врачи вынуждены брать на себя функции санитарок, чтобы больные не остались без ухода,— положение это тяжелейшее. Низки оклады санитарок, работа тяжелая, грязная — подать, перевернуть, обтереть, принести-унести. Ненормально, когда в той же больнице «Скорой помощи» постоянная теснота, не хватает медицинской техники. Но, кроме всего этого, в санитары не идут — профессия непрестижная, исчезло почтение к тому материнскому, святому, сострадательному, что делало уход за больным привилегией женской сердечности. Оклады окладами, но должны еще быть слава и уважение к делу милосердия. Санитарка, медсестра — может, сегодня наиболее человеколюбивое занятие, где царит и побеждает не образование, а душевные качества человека. Именно здесь требуются терпение, доброта, нежность — этого не хватает всей медицине.

Молодежь охотно откликалась на призывы — ехала на целину, на БАМ, на большие и малые стройки.

Никто, однако, не обращался к ним: мол, нужны те, кто сможет утешать страждущих, поднимать павших духом, исцелять уходом своим. Желающие, несомненно, найдутся, пойдут, шли же в госпитали, в больницы во время войны и совершали чудеса. То была война — возразят мне. Но человек страдает и сегодня, и ныне жизнь человеческая так же дорога и хрупка.

Милосердие убывало не случайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий людям не позволяли оказывать помощь близким, соседям, семьям пострадавших. Не давали приютить детей арестованных, сосланных. Людей заставляли высказывать одобрение суровым приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и преступные: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разоружает... Оно стало неположенным в искусстве. Милосердие действительно могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. В тридцатые годы, сороковые понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло оно и из обихода, «милость падшим» оказывали таясь и рискуя.

В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит заслуги своей поэзии классической формулой:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть прямой призыв к милосердию. Стоило бы проследить, как в поэзии и в прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему. От «Пира Петра Первого», от «Капитанской дочки», «Выстрела», «Станционного смотрителя» — милость к падшим становится для русской литературы нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. В течение девятнадцатого века русские писатели призывают видеть в таком забитом, ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого класса, как станционный смотритель, человека с душой благородной, достойной любви и уважения. Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и Лескова. Это не только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но

это и обращение писателей к героям униженным и оскорбленным, сирым, убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка Мармеладова, как Катюша Маслова. Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное признание, авторитет.

Социальные преобразования нового строя, казалось, создадут всеобщее царство равенства, свободы и братства счастливых рядовых людей. Но все оказалось сложнее. Литературе пришлось жить среди закрытых, запечатанных дверей, запретных тем, сейфов.

Важнейшие этапы истории нашей жизни стали неприкасаемы. Нельзя было рассказать о многих трагедиях, именах, событиях. Мало этого, социальная несправедливость, то, что люди терпели порой от власть имущих — обида, лишения, хамство,— изображение этого тщательно процеживалось, ограничивалось.

И, может быть, только в военной литературе тема гуманности, милосердия прозвучала особенно сильно и последовательно.

Милость к падшим призывать — воспитание этого чувства, возвращение к нему, призыв к нему — необходимость настоятельная, трудноощенимая. Я убежден, что литература наша, тем более сегодня, не может отказаться от пушкинского завета. Двери надо распечатывать. История неделима. Из нее нельзя выковыривать лишь лакомое, светлое. Печали истории нашей, и довоенной и послевоенной, все еще ждут воздаяния — не возмездия, а соболезнования, признания. Я рад тому, что долг этот выполняют каждый по-своему. Нельзя оценить добро и реальное движение нынешних перемен в отрыве от всего того немилосердно тяжкого, что доставалось нашим отцам да и нам самим. Одно дело — реабилитация перед законом, другое — воздать должное жертвам, тем, кто пострадал невинно. Историческая справедливость много значит для духовного здоровья. Сколько их, внуков и правнуков, мечтают, чтобы гибель их отцов не замалчивалась! В этом милосердие и к ушедшим, и к нам, живущим.

Недавно прочел я книгу «О всех созданиях — больших и малых». Автор Джеймс Хэрриот — английский сельский ветеринар. Профессия скромная, соответственно и пишут о ней редко. Книга эта о работе ветеринарного врача, как он ездит по йоркширским фермам, обслуживает скотину, птицу, заодно и собак, и кошек. Лечение животных — занятие многотрудное, часто опасное, а уж грязи хватает в полутемных скотных дворах, свинарниках. Чего только

не приходится терпеть ветеринару от своих бессловесных пациентов — удары копытом, укусы; чтобы установить диагноз, нужна, кроме опыта, знаний, еще любовь к животным — к этим коровам, лошадям, овцам, кошкам, ко всем живым тварям. Любовь рождает наблюдательность и взаимопонимание. Будничная невыигрышная работа, круглосуточные вызовы, ничего захватывающего, героического не происходит, и тем не менее повествование волнует волнением особым, от которого мы отвыкли при чтении художественной литературы. Каждый раз герою приходится искать решения — что случилось, как спасти, как помочь страдающему животному? Происходит спасение, исцеление или же гибель... Подкупает сама достоверность происходящего. И юмор доброго человека, не упускающего случая подтрунить над собой. Однако главное в этой книге — горячее чувство сострадания всему живому. Вот наш ветеринар возится с псом, которого переломала машина. Пес ничейный, казалось бы, введи дозу снотворного, и все беды кончатся, но он проводит многочасовую сложную операцию, спасая эту жизнь. Другую старую псину кладет на операционный стол только потому, что представляет, какую невыносимую боль испытывает животное от заворота век.

Казалось бы, корова, овца, обреченные на убой,— что уж так печалиться о них, нет, для него они живые существа, которым он, врач, должен помочь, исцелить или хотя бы уменьшить их муки. Удачи и неудачи, все они пронизаны благоговением к жизни, которое не слабеет, а растет из года в год.

Автор ни к чему не призывает, не морализует, и в этом, как всегда бывает, сила безыскусного рассказа.

Читая, я не без стыда вспоминал стаи бродячих собак в пригородах и дачных местностях — результат нашей жестокости и эгоизма, и думал, что напрасно мы столь иронично относились к бытующим во всем мире обществам защиты животных. Думалось о том, что развитие нравственного самосознания общества заставляет пересмотреть то, что когда-то с ходу отвергалось, какие-то формы общественной жизни, которые ныне можно использовать.

Таковы, допустим, формы филантропии. Опыт нашей России, да и западный опыт, может, заслуживает внимания. Принимать частное вспомоществование почему-то у нас считается неприличным, чуть ли не унизительным. Образовалась как бы условность нашей социалистической морали: страдать от одиночества — неприлично; одиночество — состояние, не свойственное советскому человеку. Быть несчастным — неприлично.

Быть бедным — тоже. Между тем одиночество — бедствие не только старых, но и молодых, оно вовсе не случайность, не следствие плохого характера и т. п. Бедность? При этом пожимают плечами, бедных, мол, у нас нет, а если встречаются, то это недосмотр собеса, это государственная забота, которая освобождает нас от ответственности.

Между тем ясно, что милосердие — дело сугубо частное. Мы учредили Фонд культуры — благородную и нужную организацию. Ведь это тоже филантропия по отношению к памятникам, сокровищам истории и культуры. Фонд культуры — это прекрасно, но почему с такой же самодеятельностью не можем обратиться к нуждающимся людям? Разве социалистическое общество — это не общество взаимоучастия, взаимопомощи, взаимодобра? «Филантропия» переводится с греческого как «человеколюбие». Надо, очевидно, создавать какие-то формы участия, внимания — помимо казенных. У нас есть скрытая бедность, застенчивая бедность. Есть бедность, которая и рада бы принять помощь, но мы сами ее стесняемся или не знаем о ней. Есть хронические больные, есть много разных бед, требующих участия неформального, деликатного. Такое участие нужно и для тех, кто может помогать, хочет помогать, как-то применить нерастраченные силы своего добротворства.

Я не знаю рецептов для проявления необходимого всем нам взаимопонимания, но уверен, что только из общего нашего понимания проблемы могут возникнуть какие-то конкретные выходы. Один человек — я, например,— может только бить в этот колокол тревоги и просить всех проникнуться ею и подумать, что же сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь.

Мы воспевали героику, подвиги людей, преодолевающих трудности, бесстрашных борцов. Но где были произведения о людях, не могущих одолеть несправедливости и тяготы жизни, о тех, кто упал духом и отчаялся?.. А сколько их было вокруг нас — и литература не протянула им руку, она лишь клеймила, осуждала и отчуждала падших. Идея о том, что несчастья и страданья несвойственны нашему человеку, стала столь сильной, что даже блокадную эпопею Ленинграда пытались изображать лишь как цепь подвигов и героических деяний. Нельзя было рассказывать о Ленинграде как о городе наших страданий, неслыханных мук, которые принесла с собой война.

Слишком просто было бы возлагать всю вину на нашу и без того перетерпевшую литературу, но не сказать об этом тоже нельзя. Нельзя смывать сих

строк печальных. Нельзя забыть о том, что со времен «Тихого Дона» — этого великого, волнующего призыва милости к падшим,— голос милосердия звучал все реже. В нашей послевоенной литературе нельзя найти строк сочувствия к народам, которых выселяли с родных мест, и совсем немного — к миллионам, которые безвинно претерпели за фашистскую оккупацию, к миллионам, которые претерпели за плен. Литература не может быть лишена права на сострадание. Можно, конечно, прикрыться щитом истории, можно считать, что раз нельзя было, то и не писали, но пример Булгакова, Ахматовой, Платонова — двух-трех писателей — лишь показывает, что можно было не убояться.

Что милость к падшим требует пушкинского мужества и веры.

Когда мотив этот стал возвращаться в литературу последних лет, как услышан он был всеми! Вспомните «Сашку» Вячеслава Кондратьева, вспомните стихи Вознесенского, Евтушенко, Окуджавы, «Знак беды» Быкова, а ныне и у других стала подниматься эта долгожданная тема, которая нужна для очеловечивания нашего бытия. К ней надо призывать и призывать, чтобы растревожить совесть, чтобы лечить глухоту души, чтобы человек перестал пожирать отпущенную ему жизнь, ничего не отдавая взамен и ничем не жертвуя.

Владимир Дрозд

ТАК ВЕРНЕТСЯ ЛИ ИХ ВРЕМЯ?

У демократии — свои проблемы, но это проблемы живой, развивающейся жизни.

Отправляясь на очередной пленум правления Союза писателей Украины, я еще раз просмотрел текст своего выступления. Речь в нем шла о перестройке. Прочтя, я задумался: «И зачем это мне?..» Мою тревогу можно понять, и даже страх — за себя, за семью. Ибо все мы чувствуем за спиной их дыхание, их настороженные волчьи глаза — тех, кто не хочет перестройки.

Они собираются по вечерам друг у друга, сидят до поздней ночи, обычно на кухне, яростно курят и — ругают все то новое, что пришло и приходит сегодня в нашу жизнь. Каждый просчет наш, даже большие беды наши, даже стихийные напасти, от лавин до землетрясений, радуют их несказанно: «Вот видите, к чему привели перестройка и ускорение!..» Скажу больше: они замечают каждого из нас, кто сегодня выступает за обновление общества, у кого душа не умерла, болит, составляют списочки: «Придет наше время...»

Мы выступаем, говорим, боремся за перестройку не потому, что так уж бесстрашны. Страх — увы, еще в сознании нашем. Но мы выступаем, говорим, боремся, потому что понимаем: иного пути вперед нет, нет альтернативы.

На высокой волне перестройки еще довольно много пены. Нередко на этой волне первыми взлетают к новым должностям, титулам, премиям те, кто и до перестройки, в застойные годы, чувствовал себя уютно, курил фимиам. Виртуозы лести, они сегодня говорят об опасности лести для общества. Талантливые карьеристы, они сегодня в первых рядах борцов с карьеризмом и приспособленчеством, флюгеры-критики, которые нередко готовили выступления для тех, кого сегодня они же называют догматиками, губителями литературы, искусства, теперь поучают нас, как нужно писать остро и смело, хотя в застойные годы, когда некоторые из нас писали остро и смело, они не давали и рта

раскрыть, дабы отстоять перед издателями эту смелость и остроту. Для подобных «соловьев перестройки» люди честные, те, которые и в застойные годы старались сохранить человеческий облик, были и остаются «наивными простачками», которые не умеют жить; что-то подобное действительно высказал в послепремиальном угаре один из украинских «соловьев на все времена».

Да, есть пена на чистой общественной волне. Да, иногда слишком скромны те, кто перестраивался и перестраивал согласно совести своей за много лет до начала перестройки. Они сосредоточенно делают свою работу, предпочитая ее разговорам. Но эта работа вскоре даст свои плоды: и в производственной сфере, и в экономике, и в литературе, искусстве. Для этого нужно время. Мы должны понять, что будущее кавалерийской атакой не возьмешь: за подобные иллюзии общество наше уже не раз дорого расплачивалось. А мы снова и снова надеемся на нее — на кавалерийскую атаку. Можно под бравурный словесный гром преодолеть с налета первую линию застоя, но в тылу останутся враги — наша с вами инертность, наша духовная лень, наш страх всего нового, страшная сила прошлых привычек.

Человек, к сожалению, а больше, наверное, к счастью, не машина, которую можно одним движением пальцев переключить на новый режим работы. Тем более нельзя директивой сверху, декретом ввести поголовную честность и сознательность, это — иллюзии. Возможно, должны пройти годы, десятилетия, но годы и десятилетия творческого труда, обеспеченного реальными правами и возможностями для инициативы масс, годы и десятилетия живой, а не мертвой жизни, когда наконец можно будет сказать с полным правом: да, мы действительно перестроились, стали другими — честнее, сознательнее, искреннее. Но уже первые шаги к этой цели имеют значение историческое, это нужно сознавать.

Не журналисты и писатели делают перестройку, хотя, возможно, мы и были первыми среди тех, кто по призыву партии поднялся в атаку на застой. Все четче и мужественнее звучат голоса рабочих, крестьян, технической и научной интеллигенции во всех сферах общественной жизни, и не только в больших центрах, но, что особенно важно, в глубинке, в так называемой провинции.

Не так давно был я на одном из партийных собраний в колхозе. На первый взгляд, все, как и

раньше: собрались в зале сельского Дома культуры, чтобы с открытыми глазами подремать в президиуме, с закрытыми — в зале. Конечно, новые слова звучат в докладе, но и к ним уже привыкли: «Стратегию ускорения возьмем, товарищи, на свои могучие плечи!.. Мы осилим вопрос о перестройке и интенсификации, поняв раз и навсегда...» Такое же мертворожденное из общих слов постановление предлагается собранию. И вдруг поднимается колхозный шофер, идет к трибуне. «Вы записывались на выступление?» — настороженный вопрос председательствующего. «Не записывался, но молчать не могу, сил нет — молчать! Товарищи, да это же настоящая бюрократия в действии! И доклад и постановление. Где экономический анализ? Где наболевшее наше? Зачем мы, взрослые люди, да еще в такое горячее для землепашца время в эти игры играем? Предлагаю не принимать сегодня никакого постановления. Предлагаю поразмыслить хорошо, что мы в ближайшее время можем сделать по перестройке, а на следующем собрании — обсудить и принять». Коммунисты большинством голосов поддержали предложение шофера. После собрания секретарь парткома раздраженно и даже с обидой говорит мне: «И что я теперь буду докладывать в райком?! Подобной самодеятельности никогда раньше не было, принимали единогласно, что сама напишу... Критиканы, крикуны, а спроси их, что было на партийном съезде, толком не расскажут».

Возвращаюсь я с собрания в хорошем настроении. Не права секретарь парткома, теоретически, наверное, она более подкована, но рядовые коммунисты знают об идеях XXVII съезда значительно больше не только разумом, но и сердцем. Так зерно в земле чувствует весну — и произрастает.

НО КТО ЖЕ ОНИ? Один из «бывших» занимал пост во «внешпосылторговской» организации, часто бывал за границей, снят за злоупотребление служебным положением, точнее — за элементарную спекуляцию заграничным тряпьем. Второй работал в Министерстве сельского хозяйства, был даже комсомольским активистом, поскользнулся на ступеньках служебной лестницы: после образования агропрома предложили поехать на село колхозным агрономом, он наотрез отказался, предпочел деятельность на ниве городской торговли. Третий все еще занимает небольшой пост, но в организации, которая интуитивно чувствует свою ненужность в новых условиях нашей жизни. Угрозу со стороны

перестройки своей организации, соответственно и себе лично, он искренне воспринимает как угрозу всему социалистическому обществу и мечтает «навести порядок», то есть вернуть порядок бывший...

И все же главный тормоз перестройке, обновлению не эти «бывшие», которые откровенно — за бывший порядок. Главный тормоз — некоторые «нынешние», это они создают вокруг идей обновления толстый слой «ваты», способный заглушить всякое живое движение. Это они весьма негативно встретили итоги выборов по многомандатной системе, как писала недавно газета «Известия»: аппарат будет против такой системы выборов.

Должен сказать, что, по моим наблюдениям, система выборов сегодня не обеспечивает прилива свежих сил в органы народовластия. Аппаратчики быстро научились обходить перестроечные новации. За внешним обновлением системы выборов очень часто прячутся, особенно в глубинке, обыкновеннейшие бюрократические игры в демократию, в гласность. Это рождает в массах еще большее разочарование и скепсис, ибо люди наши не так глупы, чтобы всерьез играть в подобные игры. Снова спускается разнарядка из области в район выдвинуть кандидатами в областной Совет трех мужчин и четырех девушек-комсомолок... Называется это на бюрократическом языке регулировкой качественного состава кандидатов в депутаты. Но вот выборы состоялись, а «регулировка» по давно известной схеме продолжается. Например, районная газета оповещает о предстоящей сессии новоизбранного городского Совета и здесь же дает для обсуждения список нового состава исполкома. Кто составлял этот список, остается тайной, во всяком случае для непосвященных. Через несколько номеров та же газета сетует, что никто из трудящихся города не обратился в горисполком, не сказал своего мнения, и на сессии все происходило «по старому сценарию». Но ведь так оно и было запланировано с самого начала, ибо гражданская активность трудящихся предполагает реальные, а не бумажные права трудящихся...

Человек, только что громогласно агитировавший собрание за перестройку и ускорение, в перерыве, плотно прикрыв дверь кабинета, доверительно спрашивает меня: «Может быть, вы, писатель, растолкуете, что такое перестройка и как мне, например, перестраиваться?» И рассказывает шепотом пошленький анекдот о перестройке. И звонит в гараж шоферу, напоминая, чтобы не забыл жену и дочь своего дорогого начальника забрать из театра и отвезти на государ-

ственной машине на государственную дачу. И приказывает охотоведу обеспечить на выходной охоту в заповедном урочище, куда простым смертным даже ногой ступить запрещено. И все это — во время перерыва между собственным докладом о перестройке и обсуждением доклада о перестройке. И без элементарнейшего стыда передо мной, писателем, и не только потому, что о стыде забыл, а потому, что все это было долгое время и осталось для него по сей день **нормой...** А слова о перестройке — лишь слова, спущенные сверху, которые он привычно повторяет.

Такие люди, пусть их и не так уж много (не хочу обобщать — не весь аппарат, которому не очень-то легко в эти перестроечные годы поворачивать сложнейшую государственную машину,— не имею нравственного права на такое обобщение), все еще живут законами стаи, поддерживая друг друга и надеясь переждать перестройку как очередную кампанию: впервые ли? Отсюда наш бег на месте — не такое уж редкое явление, особенно на нижних этажах перестройки. Чтобы остановить его, нужны честные, способные творчески мыслить люди. Но и они зачахнут, если в обществе не будет подлинной социалистической демократии, постоянной циркуляции крови.

Именно поэтому архиважнейшее дело сегодня — прием новых людей в партию. А сколько здесь еще формализма и должностного подхода! Нужно думать о «качественном уровне» не по старым, бюрократическим шаблонам с их анкетно-профессиональной запрограммированностью, с шаблонным подходом к обязательному «росту рядов» (не «ряды» важны, а личность в рядах!), а делать все, чтобы в партию приходили сегодня самые честные, искренние, энергичные люди, люди, в которых жива совесть.

Погоня за «ростом рядов» иногда приводит к неразборчивости. На моих глазах принимали в кандидаты партии ветеринарного врача колхоза. Все знали, что нерадив он в работе и выпить любит. Но, как сказал один из рекомендующих: «Специалист с высшим образованием должен быть членом партии...» Знакомая логика, когда не человека принимаем, а должность его. И все же коммунисты проголосовали за прием, все, кроме председателя сельсовета, который воздержался. Сидевшая рядом доярка объяснила: «Председатель коровы не держит, не зависит от ветврача...» А через несколько месяцев пришлось прерывать кандидатский стаж: врач пьяным сел за руль, попался автоинспекции. Внимательно вслушайтесь в его рассуждения: «Партия называется. Не может защитить от автоинспектора...»

Для такого «специалиста с высшим образованием» партия — ширма, за которую можно спрятать свои нравственные язвы. Мне кажется, есть над чем поразмыслить всем нам.

Кто может противостоять людям, живущим по законам стаи? Только — личность. Но личности не рождаются по приказу сверху. И личность — не трава, которую сегодня посеешь, а через месяц уже можешь скашивать на зеленый корм... Личности рождает и взращивает время, а время рождают личности. Эти сложнейшие общественные процессы взаимосвязаны. Разве не родили «оттепельные» после XX съезда партии годы поколение так называемых «шестидесятников», лучшие представители которого сохранили себя и по сей день, упорно били в набат, кто громко, кто потише — это уже в зависимости от таланта и меры правдивости, пока другие лишь аплодировали? И разве не они нынче в авангарде перестройки? Думаю, что и наши годы родят поколение честное и граждански стойкое. Этому поколению придется брать на свои плечи огромнейшую государственную, культурную, духовную ношу на пороге XXI века, вести первую страну социализма в будущее. Но для формирования такого поколения нужны соответственные социальные условия, демократический климат в обществе. Возможно, «роды» такого поколения — одна из главнейших задач перестроечного времени.

Карьеристы и приспособленцы, о которых мы сегодня с такой тревогой говорим, появились в нашем обществе ведь не случайно, не засланы к нам «загнивающим Западом», нет. В некоторые времена слишком благоприятный для них климат был в стране. Да и трудная наша история наложила печать на всех нас, на все поколения. В войнах, как известно, в первую очередь гибнут далеко не самые худшие люди: честные и самоотверженные первыми бросаются на амбразуру... В тридцатые годы людей вынуждали молчать и приспосабливаться, но были и те, кто не молчал и не приспосабливался. И судьба многих из них оказалась трагической. Но вот что важно: и в горькие, тяжкие дни последним куском хлеба делились те, у кого совесть сильнее инстинкта самосохранения.

Физические раны зарубцовываются скорее, чем раны, нанесенные душе. Душевные раны еще долго могут отдаваться эхом в следующих поколениях. Недавно одна из центральных газет писала о секретаре обкома, к счастью, бывшем, который заставлял секретарей

райкома часами стоять перед ним навытяжку. Бывший-то бывший, но секретари райкомов, «воспитанные» подобными методами, не бывшие. И не так уж редко рецидивы этой системы воспитания дают о себе знать на низших ступенях кадровой лестницы. Часто вспоминаю, как один из руководителей нашего района попросил меня не очень часто приезжать на районные совещания: «Неудобно в присутствии писателя «давить» председателей колхозов...» А ведь и как еще «давят», неудобно становится и за тех, кто «давит», и за тех, кого «давят». Не проходит это бесследно, нет: деформация личности в застойные годы — довольно распространенное явление. Кто не хотел деформироваться — уходил, или «школа воспитания» сама его выбрасывала за порог. Своеобразный естественный отбор... Оставались люди, способные «давить» и разрешающие «давить» себя,— разве легко им сегодня по приказу сверху разогнуться и перестроиться? Должны пройти годы в новых условиях демократического, а не волевого управления экономикой, хозяйством, чтобы человек выпрямился и снова начал уважать себя.

Потеря уважения к себе в условиях застойных годов требовала какой-либо компенсации. Думаю, что это одна из причин такого заметного стремления нашего аппарата к привилегиям. Да, меня могут поставить навытяжку и стучать на меня кулаком, но зато я езжу в черной машине, и правила уличного движения (да разве только уличного?) для меня не существуют. Да, меня в любую минуту могут «наказать», словно мальчишку, да, я живу по известному правилу: ты — начальник, я — дурак, зато я имею возможность войти в любой магазин через черный ход и жена моя не стоит в общей очереди...

Не так давно на писательском собрании я осмелился сказать такую примерно фразу: министр торговли должен получать высокую заработную плату, ибо работа его, как и всякая руководящая работа, очень трудная, но семья министра торговли обязана кормиться из обычных магазинов и стоять в общей очереди, лишь тогда очереди будут поменьше и торговля улучшится. Некоторые руководящие товарищи восприняли мою фразу очень остро, обвиняя меня чуть ли не в антисоветчине... Как говорится, с ног на голову. Да ведь наоборот, такое убеждение — самое советское, самое социалистическое — выходит из самой сути нашего строя!

Кто сказал, что законы «стаи» и законы социализма тождественны? Для «стаи» социализм, наши с вами убеждения — лишь красивый занавес от глаз зрителей,

за занавесом — законы другие. «Стаи» могут образовываться на разных уровнях и в разных сферах — от торговли до литературы (и даже среди части партийных работников, как свидетельствуют болезненные процессы в некоторых регионах страны, да и в некоторых областях Украины), но принцип их един: как можно больше урвать у государства для себя, для своих близких, для своего клана.

Честно говоря, я не верю, что мы их перевоспитаем. Меня больше волнует судьба тех, кто еще не в «стае», но готов внутренне пожертвовать человеком в себе ради внешнего успеха. К одному моему коллеге приехала родственница из деревни: «Школу мой сын оканчивает, устрой его на учебу, но на такую, чтобы после учебы он **загадывал**[1]...» Да, и в деревне, которую мы сумели удивительно быстро перенаселить бюрократами ранга мелкого, но очень цепкими к жизненным благам, знают, что сегодня выгоднее **загадывать**, нежели работать. Нравственную коррозию личности нельзя ограничить каким-либо одним общественным этажом, она довольно быстро, словно эпидемия гриппа, распространяется на все общество. «Самую убедительную лекцию о законе и нравственности прочел мне несколько лет назад районный прокурор,— рассказывает мой односельчанин, шофер.— Подвозил я его в соседнюю деревню, задание такое было от председателя. Ехали проселочной дорогой. Впереди — лужа, по сторонам — озимые. «Не проедем,— говорю,— товарищ прокурор, застрянем».— «А ты гони по озимым».— «Так ведь закон строгий». Усмехнулся прокурор: «Закон трудно обойти, но — легко объехать...»

Емкая формула, не правда ли? Усваивается она удивительно быстро частью нашего населения, ведь в душу человеческую много разного заложено, что произрастет — во многом зависит от климата в обществе. Еще один рассказ, охотоведа из Черниговщины: «На открытие охоты приехало областное начальство. Банкет устроил председатель местного колхоза. Птичьего молока лишь не было на столах. Поднимается жена одного из руководителей, показывает на столы и говорит: «Дай-то бог, чтоб и у наших детей все это было...» Я слушаю и думаю: «Ну какое моральное право имеешь ты того же желать еще и детям своим, если ты для этого стола и продуктов не привозила, и не готовила, а тебе на тарелочке поднесли — в сущности, ворованное у народа?! А ведь сама она из простых, из

---

[1] Загадывать — повелевать, приказывать *(разг.)*.

райцентра, и муж — сельский родом. Кто сделал их такими?»

Да ведь мы сами и сделали, кто же еще. И не надо бросать камни только лишь в сторону руководства, это будет несправедливо. Кто из нас не грешен? Доярка уносит домой грелку с колхозным молоком и несколько килограммов комбикорма в подоле. И не потому, что дети ее голодают, нет: «Все у нас сейчас дома есть, но если я не буду воровать, другие доярки будут дуться: ты что, лучше нас?..» Чувствуете законы «стаи»?

Мой сосед ездит обедать только на тракторе: «Это же мой трактор...» Чем он лучше владельца персональной, с личным шофером? Да ведь все мы в прошлые годы так привыкли к нравственной изворотливости, что уже не замечаем собственной деформации! Вспоминаю один случай. Жил я в Москве, в гостинице «Россия». Выхожу из номера: все куда-то бегут. Куда, спрашиваю. Дефицит в закрытом магазине распродают, после каких-то делегатов осталось, слышу в ответ. Побежал и я — длинными гостиничными коридорами. До сих пор стыдно — а ведь бежал, чтобы купить две заграничные рубашки... А разве не так же бежим мы до сих пор на наших писательских съездах в закрытый для широкой публики киоск с талончиками в потных руках, не чувствуя, как это нас унижает? Как это, наконец, стыдно? Добро бы за печатной машинкой, авторучкой, диктофоном — орудиями нашего «производства». А ведь за обыкновенным тряпьем!

Нужно, прежде чем говорить о нравственном упадке личности, ликвидировать те привилегии, которые несовместимы с сущностью социалистического строя. Правила должны быть одинаковы для всех — и правило уличного движения, и правила жизни. Лишь тогда люди поймут, что выгоднее, почетнее хорошо работать, чем плохо загадывать. Нужно ликвидировать или по крайней мере сильно уменьшить армию персональных шоферов, околачивающихся у парадных подъездов наших многочисленнейших контор,— такую армию любая экономика не выдержит. И нужно немедленно сокращать количество самих контор на всех этажах общества — другого выхода нет. По моим наблюдениям, даже в колхозе сегодня на двух работающих в поле — минимум один с портфелем. Одних лишь специалистов десятки. А если учесть разбухшие районные и областные службы? Только в агропроме — тысячи протирающих штаны в креслах. Воистину один — с сошкой, семеро (да где там семеро — значительно больше!) — с ложкой.

Нужно возвратиться и к единой системе денежных знаков. Сам получаю гонорар за зарубежные издания в

сертификатах, бываю в соответственных магазинах и вижу, к каким деформациям личности это приводит. Мы ликвидировали вещевые рынки, боясь спекуляции. Но если пенсионер продаст свой старый костюм или бабушкину лампу — это не спекуляция. Посмотрите на наглые лица выпрашивающих сертификаты у дверей спецмагазинов — вот где разгул спекуляции! Много, очень много вопросов, без решения которых все наши разговоры о нравственности, о воспитании личности останутся сотрясанием воздуха, и только.

И еще один вопрос остро ставит современная жизнь: о нравственном авторитете интеллигента. О каком нравственном авторитете прокурора может идти речь, если он привык «объезжать» закон, или писателя, слова и дела которого далеки друг от друга, как две галактики? Не нужно делать вид, что застойные годы меньше всего нас затронули. Приспособленчество, омещанивание, эрозия души заметны и в писательской среде не меньше, наверное, чем в других,— об этом я писал задолго до перестройки в романе «Спектакль» и сколько обид выслушиваю от коллег по перу до сих пор!

Мы гордо называли себя пастырями душ, но не каждый хозяин многим из нас доверил бы даже овец. Да, были и есть среди нас писатели, ученые, голос которых в самые застойные годы был живым и живым остался. Но сколько умолчаний, хитрых уходов от кардинальных проблем современности, литературных игр на совести каждого из нас! И для себя я тоже исключения не делаю. Можем оправдываться: реальная жизнь к этому вынуждала. Да, с первых шагов моих в литературе меня учили: «Пиши, как все, и будет тебе зеленая улица...» Учили не только словами, всей издательской, и не только издательской, практикой: «Ирий» шел к читателю семь лет, «Одинокий волк» — двенадцать, «Вор» — четверть столетия, почти столько же идет к отдельному изданию «Катастрофа» и т. д. А в каком виде после всех «чисток» они вышли! Можно оправдываться перед другими, перед собой не оправдаешься, ибо, как писала Лина Костенко, не было эпохи для поэтов, но были поэты для эпох.

Все это нужно осознать, оглянувшись на самих себя, и не для того, чтобы бесконечно бить себя в грудь и каяться, а чтобы идти дальше, обновленными, хотя бы немножко другими, не заглядывая, как прежде, в руку литературного чиновника: изволит он дать нам премийку или нет. Чтобы выражать мнение не бюрократов, а мнение народа. Это, кстати, нужно не

только народу, но и всем, в том числе и верхним эшелонам общества, дабы не случилось новых годов застоя. Читатель все еще верит в реальное значение писательского слова. Мы не должны дать этой вере иссякнуть окончательно. Ибо во времена, когда естественных условий для нормального развития личности пока еще нет, слово писателя для пробуждения живой души имеет огромнейшее значение. Но, повторяю, жизнь писателя должна соответствовать его слову, без гарантии писательскому слову золотым запасом жизни — неизбежна девальвация слова.

Можно талантливо написать о вещизме, который убивает личность, но когда литературные «пастыри душ» с купеческой лихостью демонстрируют на встречах с читателями свою заграничную «упаковку» перед не избалованным нашей торговлей читателем, ему трудно различить, когда любовь к вещам рождается от бездуховности, когда, наоборот, от излишней духовности... В последнее время среди некоторой части интеллигенции принято иронически улыбаться, представляя Льва Толстого в крестьянском платье, тачающим сапоги. Но за всем этим — пусть и наивным, если смотреть из нашего далека,— порывом великого художника и мыслителя — страстное стремление, чтобы жизнь соответствовала убеждениям. А Иван Франко, а Леся Украинка, а, наконец, Григорий Сковорода? Если же иногда жизнь и слово великих деятелей не совпадали, это становилось их великой, глубоко прочувствованной трагедией.

Я убежден и говорил об этом уже не один раз, что и в самой организации нашего литературного ведомства нужно что-то менять резко и принципиально. Косметическое прихорашивание, которое сейчас наблюдаем, мало чем поможет. После косметических ремонтов нерушимым остается главный принцип — сосредоточение писателей на маленьком пятачке окололитературного базара. Возможно, при такой организации литературного дела легче «опекать» нас. Но сегодня «опекать» писателей уже несколько старомодно, и наш литературный базар продолжает гудеть уже часто вхолостую. Поэты и прозаики обвиняют во всех грехах критиков, критики — поэтов и прозаиков, а все вместе — издателей. Законы «стаи» действенны и в нашем цехе. Групповая борьба приводит к превалированию группового мышления над мышлением литературным.

И на Украине групповое мышление дало свои горькие плоды. Одно время оно способствовало выдвижению на передний край литературы, точнее —

окололитературы литераторов серых, бездарных. На последнем пленуме правления Союза писателей Украины откровенно говорилось о некотором «посеренни» наших руководящих кадров. Кое-что сделано для исправления положення, но далеко не все. А ведь это «посерение» не такое уж безобидное для литературного процесса, как иногда кажется. Особенно тревожит меня, когда в пылу групповой борьбы некоторые писатели и критики бросаются политическимн обвинениями. Демократизм и гласность поннмаются некоторыми как возможность политического доноса. Или наоборот — политнческой безответственности. В последнее время мы охотно обвиняем предыдущие поколения, допустившие тридцать седьмой год. Но разве, лишая коллегу права на собственное мнение, безответственно разбрасываясь политическими ярлыками, мы тем самым не делаем возможным повторенне этой страшной трагедии? Об этом нужно говорить откровенно, говорить сегодня, иначе завтра будет поздно.

Так вернется ли их время? Да, может возвратиться, если мы и в дальнейшем будем больше говорить о перестройке, чем перестранвать, будем «бежать на месте», не делая реальных, решительных шагов в сторону демократизации, обновления всей нашей жизни. Решения июньского Пленума ЦК КПСС сделали, на мой взгляд, ситуацию в обществе более оптнмистичной. Революционные изменения в экономике, если они будут осуществляться решительно и смело, необратимы. Такими же необратимыми должны стать изменення в сознании. Это зависит от каждого из нас. Свобода притягательна. Но несвобода может оказаться притягательнее для части населения: есть своеобразная, нами мало изученная сладость в подчинении, в растворении себя как личности. Я назвал бы это искушением легкостью безответственного бытия.

Для нашего общества есть два пути в завтрашний день: или дальнейшее развитие демократии, гласности, или резкое «закручивание гаек». Демократия — не панацея от всех болезней, она породит свон проблемы, но это будут проблемы живой, развивающейся жизни. Некоторым кажется, что «закручивание гаек», ужесточенне законов ведет к порядку, к облегчению существования: «Ведь прн Сталине цены снижались, а сейчас — растут...» Прн этом не хотят знать, думать, что в те сложные годы тысячи работали за тюремную баланду, а сельское населенне жило в условиях каменного века. (Я сам — из послевоенного «неолита» с его ручными

мельницами, ступами и хроническим полуголодом.) Они рассчитывают и на такую иллюзию части нашего народа. Но вот мой сосед, коммунист, ветеран войны, до мозга костей, как говорится, преданный Советской власти, многое осмыслив заново в годы перестройки, убрал из красного угла хаты портрет, на который в предвоенные и военные годы чуть ли не молился. Может быть, и в этом, наряду с другими изменениями, которые мы наблюдаем каждый день — в мышлении, экономике, культуре,— добрый знак, что они все же просчитаются и социализм окажется сильнее, жизнеспособнее, чем они предполагают?..

Ион Друцэ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ, ВОДА И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

I

Начнем, само собой, с земли. Все-таки за свою долгую историю у человека не было более верного союзника, защитника и друга, чем его земля. Чувство сыновней преданности к матушке-земле стало передаваться генетически из поколения в поколение. И уж какими только словами наши предки ее не величали! Она для них и вечная, и святая, и родная, и кормилица. Сколько трудов и надежд в каждой борозде, в каждом колосочке, сколько народу полегло, чтобы защитить эти края, сколько комочков было взято, чтобы согреть душу там, на чужбине...

На земле, впитывая в себя ее смысл и красоту, воспитывается наше потомство, формируются его вкусы, его идеалы. Земля несомненно оставляет свой отпечаток и на характере народа, который ее обжил. Широта Волги, суровость Кавказских гор, бескрайность украинских степей, густая зелень Прибалтики и мягкие холмы Молдавии — все это можно легко обнаружить в фольклоре, строе речи, в самом миропонимании народов, населяющих эти края.

Молдаване, то ли в силу своей чрезвычайной эмоциональности, то ли по каким другим причинам, довели любовь к родному краю до апогея. Само знамение жизнедеятельности природы, «фрунзе верде», то есть лист зеленый, стало рефреном почти всех наших народных песен. Кроме того, словом «фрунзе» обозначаются целые созвездия понятий, состояния материальных и нематериальных вещей, села, родственные ветви, и каждый раз, когда в московском метро слышу голос дикторши, объявляющей: «Следующая станция «Фрунзенская»,— передо мной мелькают счастливые лица молдаван, увидевших после долгих зимних холодов зеленые листочки, первые признаки весны.

Но не будем особо распространяться о своей малой родине, тем более что любовь — это одно из самых интимных проявлений человеческого духа. Отметим лишь, что малая родина — это не только вечный спут-

ник нашей жизни. Она опора нашего духа, смысл наших трудов, главный вершитель наших судеб.

Покинув свою малую родину почти в 20-летнем возрасте, успев на той земле и потрудиться, и настрадаться, и встать на ноги, я оставил там свои любимые, заветные уголочки, которые время от времени навещаю. У каждого из нас есть заветные уголочки в родных краях. Речки и речушки, заречья, овраги, перелески, поляны, калитки, одинокие деревья, ничем для чужого глаза не примечательные дороги и тропинки. Там, в тех тайниках, должно быть, хранит душа свои неприкосновенные запасы, там наша совесть и наша честь, и потому, должно быть, трепещем каждый раз, когда оттуда до нас долетает весточка...

Однако меняемся мы, меняются и наши заветные уголочки. Драматизм и сложность современного мира проникают даже в самые скрытые и интимные стороны нашего бытия. Было время, когда мои любимые уголочки не хотели меня больше знать, было время, когда, как говорится, и мои бы глаза на них не глядели. Потом, как это водится, помирились, и опять все пошло как будто по-старому, но вот... С некоторых пор какая-то беда стала витать над этими милыми моему сердцу уголками... Хоть и ухоженные до невозможности, хоть и рекордсменки по урожайности, хоть и украшены наградами — какая-то обреченность витала над ними...

2

Одно из самых древних бедствий Молдавии — хроническая нехватка пресной воды. Сколько раз, изведенная засухами, эта наша земля умирала на глазах наших предков и сколько наших предков поумирало вместе с ней! В конце восемнадцатого века, во время второй русско-турецкой войны, сорокатысячная армия Румянцева-Задунайского, застигнутая жарой и засухой на Куболте, осушила эту речушку в два дня и вынуждена была платить по золотому рублю за каждый бочонок днестровской воды, которую наши предки везли на своих клячах за сорок с лишним верст. В прошлом веке, когда запасы пресной воды никого особенно не интересовали, все географические справочники отмечали, что по запасам воды Бессарабская губерния стоит на последнем месте в Европе. Наши летописи и предания полны сказаний о засухах, из которых последняя, послевоенная, 1946—1947 годов была одной из самых страшных и опустошительных.

Подверженная засухам Молдавия к тому же не обладает решительно никакими резервами влаги. Три небольших притока Днестра — Реут, Куболта и Кэйнар — в жаркое время лета почти полностью пересыхают. Главные же наши реки Днестр и Прут, питаясь карпатскими снегами, к середине лета тоже усыхают наполовину.

Остается одно — взять лопату и пойти копать в надежде напасть на тот самый-самый что ни на есть полноводный источник. Кто только не пробовал свое счастье на наших засушливых холмах! Какими только художествами не украшают колодцы до сих пор! Какими только легендами не окружают в Молдавии труды колодезных дел мастеров!

За минувшие полвека в моей родной деревне Хородиште из нашего рода почти никого не осталось. Ушли близкие, ушли и дальние. Нет больше ни отчего дома, ни того гигантского каштана, что красовался когда-то у наших ворот, и только в поле, недалеко от Куболты, белеет одинокий камень, некогда прикрывавший колодец, выкопанный моим отцом. И хотя нет уже ни самого колодца, ни воды, само то место, а может быть, камень тот в устной речи хородиштян все еще именуется «колодцем Пентелея».

И ничего нет удивительного в том, что колодцы в молдавских селах, а также место, к ним примыкающее,— одно из самых светлых и почитаемых мест. Здесь по утрам хозяйки в спешке обмениваются новостями. Детвора в течение дня нет-нет да и побежит к колодцу: туда с пустым, обратно с полным ведром, ибо это одно из первых поручений, которые молдаване дают своему потомству. По вечерам у колодца собираются господари, главы семейства, ибо замечено было, что рядом с колодцем под мерный перебор капель и голоса как-то полнее звучат, и мысли приходят зрелые, славные, и может, потому то́, что у молдаван решается «у колодца», становится делом незыблемым, почти что святым.

3

Поговорив о земле и о воде, самое время поговорить о чувстве меры, о том странном, таинственном соотношении всего и вся, на котором, думается мне, держится мир. Потеряв чувство меры, мы, как правило, теряем все. Долгие века экологический баланс засушливой Молдавии, собранный нашими предками по крупинке, держался на одной ниточке, и достаточно было одного непродуманного решения, чтобы...

Но, бог ты мой, до чего немилостива судьба к этой моей малой родине! Она ни за что не хочет дать ей золотую середину. Либо в начале, либо в конце. Либо в верхней, либо в нижней строчке. Чуть ли не первое место в Европе по плотности населения — 125 человек на один квадратный километр. И, можно сказать, последнее по запасам воды. Опять-таки до недавних пор — первое место в Союзе по концентрации неконтролируемой власти в одних руках. И — последнее место по тому, что принято теперь называть гласностью...

Тяжело об этом писать, но настал срок называть вещи своими именами. Ни для кого не секрет, что обычно именуемый «застой шестидесятых годов» (надо полагать, со временем подберут более точное определение, соответствующее сути явления), так вот, этот пресловутый застой расправил свои крылья и взлетел с молдавских холмов. Плодородные земли, безропотная натура молдаван и обилие хорошего вина как бы располагали непомерные амбиции выйти за пределы здравого смысла и сотворить нечто такое, чтобы потрясти страну, а может, и весь мир.

Сотворение привело к хаосу, а нервозный хаос — естественная среда для самодуров. Народные традиции и нравственные устои первыми были принесены в жертву как мешающие продвижению вперед. Самодуру нужно, чтобы обязательно все начиналось с него. До него была пустыня, пришел он — и началась жизнь. Второй удар приняла на себя молдавская интеллигенция, особенно художественная, чутко реагирующая на все колебания традиций и морали. Мигом вырабатывались ярлыки, которые предстояло носить десятилетиями. Сколько светлых начинаний, в которых мы сегодня так нуждаемся, были уничтожены в самом зародыше, сколько перекалеченных судеб, скольких пришлось-таки схоронить...

Немало повидавшая на своем веку Молдавия смотрела печальными глазами на буйство разрухи под знаменами созидания, и эти печальные, всепонимающие глаза стали раздражать великих экспериментаторов. Решено было растрясти саму республику, дабы она иначе смотрела на мир, и, бог ты мой, сколько раз карта республики кроилась и перекраивалась заново! На памяти одного поколения села по пять-шесть раз переходили из района в район.

Вопрос о водных ресурсах решено было поднять на небывалую еще высоту. Разработали гигантские планы и, пока те великие планы рассматривались разными инстанциями, распорядились вместо маленьких прудов

создавать огромные накопители. Зарегулировали сток мелких рек, погубили их, испаряются и заболачиваются великие накопители. Но вот идея канала Дунай — Днестр — Днепр не получает поддержки в верхах, и Молдавия остается и без той толики воды, которую копила...

Хорошо было Дунаю и Днепру, находящимся вне пределов досягаемости кишиневских заправил, но бедному Днестру досталось. Принялись строить в спешном порядке Дубоссарскую ГЭС. Экономический эффект гидростанции ничтожен по сравнению с теми бедами, которые она сейчас приносит. Безводный Кишинев и сам питается днестровской водой, и, перебив ритмичность маловодной реки, великие энергетики поставили под угрозу водоснабжение всей столицы...

Недостаток пресной воды стал сказываться и на жителях Одессы. «Ах, вы так!» — сказали, может быть, в каком-то ведомстве. И создали в верховьях Днестра свое водохранилище, отобравшее изрядную долю днестровской воды. Если к этому добавить происшедшую несколько лет назад катастрофу — прорыв плотины соляных отходов в Западной Украине, убивший почти все живое, если учесть, что, не успев толком вернуть реку к жизни, в Рыбнице, на ее берегу, спешно воздвигли металлургический комбинат, то ничего удивительного в том, что Днестру уготована судьба одной из самых загрязненных и обреченных рек...

«Решив» таким образом проблему водоснабжения, принялись за садоводство. Выкорчевали все старые сады, заложили несколько гигантов, один из которых — флагман молдавского садоводства, красавец, раскинувшийся на тысячи гектаров! Смущало, правда, что гигант невозможно охватить взором, а если такое чудо не показывать иностранным гостям, тогда какой в нем толк?

Выход был найден. Решили показывать сад с вертолета, а сами плоды, для удобства, брать с собой в кабину. И долгие годы бесчисленные делегации, хрустя сочными яблоками, любовались гигантской панорамой. Легенды об этом саде разнеслись по всему миру, и мало кому приходило в голову, что сад — памятник самодурству. Весной не хватает пчел для его опыления, сотни гектаров остаются холостыми, без урожая. Чтобы выровнять положение, хозяева чудо-гиганта каждой весной объезжают хозяйства юга Украины и Молдавии, уговаривая пчеловодов помочь им. Предоставляется транспорт, более того — платят по пятнадцать рублей за каждый улей, но вот пчеловоды не торопятся, и на это у них свои резоны...

Создание блистательной республики на юге шло полным ходом. Мешали, правда, косые взгляды большинства, тот самый народный здравый смысл, который всему дает свою оценку. Нужно было как-то избавиться от этих саркастических взглядов, и вот южными орлами овладела идея — поставить самих производителей материальных благ вне игры, деликатно оттеснив труженика от той самой земли, на которой он стоял обеими ногами.

Сегодня мы с горечью вынуждены признать, что этот чудовищный план отчасти удался. Поначалу планирующие организации взяли на себя стратегическую сторону дела — что, где, когда и как сеять. При создании крупных межколхозных станций технического обслуживания вспашка, сев и уборка тоже стали делом централизованной власти. Совет по делам колхозов собрал все экономические ресурсы в один карман. Только обработка полей все еще оставалась в руках самих колхозников. Некоторое время бурьяны и сорные травы служили как бы гарантом демократии — пока росли сорняки в поле, нужно было считаться с волей большинства.

Агрохимия стала манной небесной для кишиневских экспериментаторов. Таинственная пыль, разбрасываемая с самолетов, уничтожала сорняки, не трогая посевы, но, что самое главное, эти химикаты развязывали руки, позволяли не считаться более ни с кем. Агрохимия косвенным образом вдохнула новую жизнь в самые фантасмагорические планы, и южные орлы на глазах у изумленного мира взлетели наконец с молдавских холмов. Труженики полей остались, как говорится, с носом.

Четверть века над полями Молдавии вьются химические бури. С утра до вечера почти круглый год кружат в воздухе самолеты с пестицидами. То, что не влезает в самолет, подмешивают к семенам, устраивают дополнительные подкормки, растворяют в воде и поливают на огромных площадях. А то можно нередко увидеть и старушку, которая ходит по своему приусадебному участку с ведром и веником, брызгая что есть мочи на этот, как его, а чтоб ему пусто было...

Режим чрезвычайного напряжения сил стал нормой для молдавской земли. Аномальной мне представляется экономическая ситуация республики. При бюджете в 2,7 миллиарда рублей совокупный общественный продукт Молдавии достигает восемнадцати миллиардов. Да позволят мне центральные планирующие власти усом-

ниться в мудрости такого положения. Сегодня преуспевающий хозяйственник думает только о том, чтобы как можно больше дать. Умный размышляет над тем, что он даст сегодня, а что останется на завтра. Мудрый же думает не только над сегодняшним и завтрашним, но и над послезавтрашним днем, ибо на этой земле жить и работать нашим детям, а они нам все-таки не чужие.

Увы, все это пустые мечтания, потому что пока наша гордость и наша слава, наша земля-кормилица стала заложницей в руках совершенно безответственных людей. Сыпь пестицидов сколько угодно, лишь бы побольше собрать да побыстрее доложить наверх радостную весть о выполненном и перевыполненном плане, лишь бы продвинуться по служебной лестнице хоть сколько-нибудь. А то, что со временем из разных точек начнут возвращать продукцию как не пригодную для употребления в пищу, так это же произойдет в другом квартале и скандал пойдет по другим департаментам...

В конце концов использование ядохимикатов в Молдавии вышло из-под контроля. Колхозам предоставлена полная свобода — сыпь и сыпь. И они сыплют. В среднем — по 22,5 килограмма на гектар, то есть в десять и более раз щедрее, чем по стране. Когда лето засушливое — ветры вместе с пылью снимают с пашен эти химикаты и несут их на села, на сады, на лица людей... Когда идут обильные дожди — потоки влаги смывают с пашен ядохимикаты, заливают ими долины, оставляя скот без пастбища. Сегодня почти все долины между холмами — мертвые для растительности зоны.

Самое же страшное, однако,— это хорошая погода, с теплом и умеренными дождями, когда химикаты проникают куда надо и делают свое черное дело. Потому что, как нетрудно догадаться, на сорняках они не останавливаются. Ассимилируясь с питательными веществами, химикаты проникают в колос, в ягоду, в овощ. Особенно опасны нитраты, наиболее разрушительная часть этих ядохимикатов. Попав в человеческий организм и превратившись в нитриты, они прежде всего атакуют иммунную систему и наследственный аппарат. Что касается наших наследников...

4

О детях нужно поговорить особо, ибо именно дети приняли на себя главный удар химизации сельского хозяйства. Ни для кого уже не секрет, что после увлечения этими пестицидами в Молдавии стали рождаться умственно неполноценные дети. Сегодня в Мол-

давии действует около пятидесяти школ для больных детей. Но это только часть из них. Многие родители не захотели расстаться со своим горем, и, таким образом, почти в каждом молдавском селе, в каждой школе, в каждом классном журнале после списка учеников следуют три-четыре пропущенные строчки, после чего еще пять-шесть фамилий, напротив которых — ни единой отметки.

Долгое время считалось, что виной всему — алкоголь, однако ученые из Молдавского института гигиены и эпидемиологии пришли к заключению, что если какую-то часть случаев можно объяснить злоупотреблением спиртными напитками, то остальные — несомненно результат интенсивной химизации.

Вторая беда Молдавии после химизации — это выращивание табака в ни с чем не сообразных размерах. Подумать только: площадь табачных плантаций приближается к площади наших виноградников, наших садов, и уже кто-то из остряков спрашивал: не пора ли вплести в герб республики вместе с колосьями и виноградными гроздьями и дымящуюся сигару? Говорят, кое-кто из руководства республики категорически настаивает на выращивании табака, ибо табак дает валюту. Слов нет, валюта — дело хорошее, но не любой же ценой! Ибо кто не знает, что бóльшая часть труда на табачных плантациях приходится на долю детей. И хотя использование детского труда при выращивании табака строжайше запрещено законом, не нужно обладать нюхом Шерлока Холмса, чтобы застать в каждой деревушке, на каждом шагу девчонок и мальчишек со слезящимися глазами, корпящих над шнуровкой табака. Рядом, чуть поодаль, стоят в растерянности педагоги, и что-то не слышно, чтобы хоть одному директору школы было сделано хотя бы устное замечание за то, что бросил своих питомцев в это адово море никотина.

Еще одно испытание для молдавской молодежи — уборка овощей и фруктов. Этот трудоемкий процесс почти полностью ложится на хрупкие плечи школьников и студентов. За лето, перед тем как нарумяниться и налиться соком, эти яблоки, персики и виноград, как мы уже знаем, многократно обрабатывались разными химикалиями, а молодежь — ей что! Поработали, потрепались, посмеялись, кинули в рот ягодку-другую. А Молдавия, как мы помним, страдает хронической нехваткой воды. Там, в поле, горло промочить нечем, не то что фрукты еще вымыть. И так из года в год: армия школьников и студентов на наших холмах, с глазу на глаз с этой чудовищной отравой...

5

Поговорив о земле, о воде и о той критической ситуации, в которой они оказались, самое время перейти к запятым. Первыми забили тревогу молдавские писатели. Что-то неладное стало твориться с родной речью. Вместо красивого, певучего, замешенного на древней латыни языка — какой-то серый поток звуков, мешанина слов, которые, как говорится, и ни туда и ни сюда... Вся эта звуковая фанфаронада не только нарушала эстетические принципы языка, она ставила в тупик самих беседующих, ибо зачастую трудно было догадаться, кто и что хотел сказать.

Поручено было специалистам исследовать суть проблемы и войти в инстанции с рекомендациями. После долгих, кропотливейших исследований ученые-филологи пришли к заключению, что все дело в... запятых. С запятыми у молдаван стали происходить какие-то курьезы. Вдруг с чего-то весь народ как бы разучился ими пользоваться. Либо игнорируют их целиком, сбивая речь в единый поток, либо расставляют по одной запятой после каждого слова, что опять-таки ни с чем не сообразно.

Эти споры о запятых, должно быть, бушевали бы еще долго, если бы ученые-биологи и медики не пришли бы на помощь своим коллегам филологам. И вот сначала тихо и робко, в коридорах и частных домах, затем все громче и громче стали связывать вопросы языка со здоровьем людей.

Вы думаете, это вызвало сильнейшее волнение в каких-либо эшелонах республиканской власти? Думаете, срочно были разработаны меры по строжайшему регламентированию ядохимикатов? Плохо вы знаете моих земляков. Было принято постановление о всемерном улучшении преподавания и изучения молдавского языка, в котором можно найти и такой пункт — о совершенствовании ораторского искусства на молдавском языке...

6

А заметил ли ты, дорогой читатель, поразительный параллелизм, неотвратимую в нашей жизни двойственность? Как-то так получается, что слова у нас — на одном берегу, дела — на другом, и вместе они далеко не всегда встречаются. В результате твердим день и ночь о разумном ведении хозяйства, а руки наши продолжают творить неразумное. Подсчитываем воз-

можные прибыли в рублях, в миллиоиах, а тем временем то, что вие цеиы, то, что дароваио иам судьбой и природой, летит под откос. Подиимаем на щит гласиость и перестройку, а тем времеием назначаются на ключевые посты люди, для которых гласность и перестройка — все равио что иож острый. Кляиемся добром, мечтаем о счастье, о красоте, а тем временем...

Короче говоря, по отравлению почв ядохимикатами Молдавия занимает сегодня одно из ведущих мест в страие. Нарушение экологического равновесия привело к гибели пчеловодства, нарушило миграцию перелетных птиц, поставлена под угрозу жизнь иаших лесов.

Все-таки поразительная страна... Огромиые просторы, тысячи и тысячи километров граиид, чувствительиые радары деиь и иочь берегут неприкосновеииость нашей земли, а тем временем день за днем эскадрильи сельскохозяйствеиной авиации поднимают в воздух и распыляют тысячи тоии ядохимикатов, губя жизиь той самой земли, которую так рьяно и зорко охраняют иаши пограничиики. Да может ли так поступать великая цивилизованиая страна? Возможио ли издавать тысячи закоиов и постаиовлеиий и ие иметь осиовополагающих законов, защищающих иашу землю, воду, воздух? Допустимо ли содержать такую огромиую армию правоохраиительных органов, которая ие в состоянии защитить иаше потомство, иаше будущее от нашего же собствеиного варварства? Иметь тысячи оргаиизаций — и ие иметь едииого оргаиа по защите фоида, той, сказал бы я, святой биологической ферментации, которая порождает личности, творческую эиергию иарода и на которой все держится?

7

Было бы несправедливо утверждать, что за последиие годы в Молдавии так-таки ничего ие изменилось к лучшему. Завал, одиако, был так велик, что, да простят мие мои соотечествеиники, сдается мне, их усилия по преодолению застоя носят чисто символический характер. Шабашио-разгульиый период, замешенный иа хмеле и воровстве, держит наготове множество своих тайных и явиых сторонников.

Гласиость и перестройка все еще чувствуют себя здесь одиноко и беззащитио. Малейшее критическое замечаиие приводит всех в иеистовство. А иа последнем плеиуме ЦК КП Молдавии была даже предпринята попытка возродить печальио известиый по Ворошиловграду опыт — авторов довольио безобидиых, ио крити-

чески настроенных статей, опубликованных в печати, предлагалось привлечь к уголовной ответственности. А то, что химизация сельского хозяйства Молдавии при условии хронической нехватки воды и высокой плотности населения есть уж наверняка дело уголовное,— об этом как-то не принято говорить.

О чем же говорят в Молдавии? Смотрю полосы «Советской Молдавии» — материалы последнего пленума ЦК Компартии республики. Все выступления выдержаны в мажорном духе, все внушает приподнятый оптимизм, ощущение грядущего праздника, и только одна-единственная тучка на всем этом голубом небосклоне — Союз писателей Молдавии и его газета «Литература ши арта». Ополчился на них президент республиканской Академии наук А. Жученко, который, кажется, ни разу не переступал порога нашего Союза писателей и вряд ли представляет себе, чем там люди обеспокоены.

По случайности, номера «Советской Молдавии» встретились на моем столе с номером «Правды», в котором напечатано выступление М. С. Горбачева перед литераторами, представителями средств массовой информации. Сколько такта, доверия, уважения!.. Я понимаю, что Кишинев — не Москва, что между ними около полутора тысяч километров, но не миллионы, не миллиарды же!

— И все-таки при нынешнем распределении обязанностей кто отвечает за защиту генофонда и, в более широком понимании, биофонда? Госбанк, милиция, здравоохранение?

— В принципе за это должна бы отвечать Академия наук республики, но на ее объективность полагаться нельзя. Руководство академии и прежде всего ее президент А. Жученко — они же и есть главные стратеги обезвоживания и химизации почвы.

— И вы сложа руки смотрите, как Жученко ставит свои трагические опыты?

— С чего вы взяли, что мы сидим сложа руки? Принимаем меры. На днях Верховный Совет республики рассмотрит закон о защите окружающей среды до двухтысячного года и далее...

Слова, слова, слова... А тем временем недалеко от столицы бульдозеры готовятся с грохотом разрыть глубины, расчищая место под фундамент новой стройки. Комплекса по производству... чего бы вы думали? Пестицидов.

Евг. Евтушенко

ПРИТЕРПЕЛОСТЬ

> *Перестройка будет такой, какими мы будем сами.*
>
> *Будем половинчатыми — будет полуперестройка.*

1

Не упомию, от кого н когда я впервые услышал это русским русское, трагически емкое слово. Но недавио это слово виовь напомнило о себе.

«Извииите за подарочек, Евгеиий Алексаидрович, ио по нынешним временам — вещь драгоцеииая...» — сказала дальняя родствеииица монх домашних, ставя иа первомайскнй стол пачку сахара, почти нсчезиувшего. Это на семьдесят-то первом году Советской власти, это через сорок с лишиим лет после войны! И вдруг я поймал себя на том, что радуюсь маленькой бытовой хнщной радостью доставаиия, подмеинвшей для многнх из иас полиоценную радость бытия. А жеищнна, подарнвшая мие сахар, вздохиула: «Вот до чего дожили... А ведь всему виной притерпелость наша проклятая...»

Точиее ие скажешь.

В словаре Даля такого слова иет, и прнводится только одиокореииой глагол: «У кузиеца рука к огию прнтерпелась». Здесь в глаголе — уважеиие к терпению. Но еслн одиа женщина спрашивает другую: «Ну как у тебя с мужем-то? Все пьет да бьет?» — а та отвечает, опустив глаза: «Да иичего, прнтерпелась», — то никакого уваження к своему терпеиию уже нет, а есть сплошиая, ни на что ие иадеющаяся безысходность, подавляющая сила привычкн.

Есть терпенне, за которое стонт уважать, — терпение в муках рожающих матерей, терпеиие истиниых творцов в работе, терпение оскорбляемых за правду, терпеиие пытаемых, ие выдающих имеиа друзей... Но есть терпение бессмыслеииое, уннзнтельиое. Неуваженне к своему терпеиию, переходящее в гражданский гнев, — это воскрешение личиости или иации. Но страшно, когда неуважеиие к своему терпеиию

превращается в отупелую **притерпелость.** Какое уж тут самоуважение! Да и как можно уважать самих себя, если мы ежедневно позволяем столько неуважительного к нам? Каждая очередь, каждый дефицит — это неуважение общества к самому себе.

Недостатки общества мы привыкли спасительно списывать на других, в частности на правительство. Сейчас мы, слава богу, заговорили не только о личной вине Сталина, но и о вине его ближайшего окружения за преступления против народа. Я не сторонник панически поспешного переименования всех городов и улиц, но все-таки не могу понять, почему, например, от дверей ЛГУ не может до сих пор отлипнуть надпись «имени Жданова», оскорбившего великих ленинградцев — Ахматову и Зощенко, и почему ни в чем не повинный Мариуполь должен носить это постыдное имя? А когда я иду в Москве по проспекту Калинина, то невольно думаю о том времени, когда «всесоюзный староста» вручал в Кремле ордена, а его объявленная «врагом народа» жена, по свидетельству очевидца, выковыривала стеклышком вшей из швов рубах заключенных. Но давайте будем честными и признаемся, что перед лицом народа была виновата не только правящая кучка, но и сам народ, позволивший делать с ним все, что она хотела. Позволять преступления есть вид соучастия в них. А мы исторически привыкли позволять — притерпелись. Хватит и сейчас все спихивать только на бюрократию. Если мы ее терпим — значит, нам поделом. По словарю Даля, одно из значений слова «терпеть» — это потакать. Притерпелость — это потакание, соучастие.

Возьмем кажущуюся «мелочь» — исчезновение сахара. Это, конечно, поправимо, и, возможно, ко дню опубликования статьи несладкая сахарная проблема будет решена. Но кто в ней виноват? ЦК? Совмин? Конечно, и они тоже. Но разве и не мы с вами? Разве не партия? Разве не народ? Сегодня мы притерпелись к исчезновению то одного, то другого продукта. Впрочем, можно ли удивляться этой притерпелости по столь сравнительно малому поводу, если еще вчера мы терпели исчезновение стольких людей? И вот из жизни исчезает крупнейший ученый, в расцвете сил покончивший самоубийством, а мы боимся вслух всенародно подумать: что же с ним случилось, почему мы его потеряли? Притерпелость к молчанию о причинах приводит к повторению следствий.

Разберемся хотя бы в причине того, почему сахар стал печально драгоценным подарком к Дню международной солидарности трудящихся.

Новое руководство, в отличие от предыдущих, остро осознало ключевое значение статистики в народном хозяйстве. Не пряча голову по-страусиному под крыло, наши руководители впервые бесстрашно взглянули в глаза цифровой правде об алкоголизме и его последствиях и ужаснулись. Было принято резкое, радикальное решение. Но справедливые эмоции, к сожалению, не были подкреплены дальнозорким, скрупулезно разработанным планом. Решили от чистой души, но поспешили.

Долг руководителей — служить народу. Но народ иногда забывает, что и его долг — помогать руководителям. Почему наша хваленая общественность не помогла правительству советом не спешить, не настояла на элементарном социологическом анализе, на всенародном обсуждении мер борьбы с алкоголизмом, прежде чем эти меры были приняты? Видимость обсуждения была организована по старинке, по методу рыбной ловли голосов в поддержку.

Иногда я с горечью думаю: а что, если бы в первоапрельском номере «Правды» вышло постановление партии и правительства о борьбе против трезвости? Наверняка нашлись бы «верные солдаты партии», которые немедленно организовали бы «многолюдные митинги трудящихся» в поддержку сего «исторического решения». Было бы создано всесоюзное общество «Пьянство», и весьма возможно, что одним из его руководителей оказался бы скорехонько «перековавшийся» бывший трезвенник, как сейчас некоторыми руководителями в обществе «Трезвость» становятся якобы перековавшиеся алкоголики. Слова «непьющий», «морально устойчивый» оказались бы антирекомендацией при поездках за границу. Бравые инспекторы ГАИ с энтузиазмом взялись бы за отбирание водительских прав у всех шоферов, от которых не пахнет водкой. Воображаю товарищеские показательные суды над непьющими, доносы на членов партии, замеченных в аморальном употреблении боржома в ресторанах!.. Вся эта абсурдная фантасмагория, к сожалению, легко представима. Я уверен в том, что если в том же первоапрельском номере меня или кого-то другого назовут шпионом страны, скажем, Рикки-Тикки-Тави, то немедленно найдутся добрые люди, которые подтвердят это с патриотическим упоением. О, как глубоко укоренилась в нашем обществе притерпелость к перевертышам, хамелеонам, готовым подладиться под любое решение, идущее «сверху». Но и «верха» они не уважают и готовы предать любого, с этого «верха» падающего.

Чего, например, стоит напускающий на себя маститость литератор, который при одном партийном руководителе столицы подделывался под его консервативные взгляды, при другом — под его ультрарадикальные, а сейчас на всякий случай подделывается под взгляды усредненно-скалькулированные — где-то между статьей Н. Андреевой в «Советской России» и критикой этой статьи в «Правде» (кто знает, куда еще повернет время).

«Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства».

Иногда и коллективные письма в поддержку перестройки некоторыми подписываются с тайной надеждой, что перестройка сорвется.

Первый метод торможения перестройки — саботаж под видом поддержки.

Второй метод — это удушение объятиями.

Правильную в принципе идею борьбы с алкоголизмом задушили именно восторженными объятиями, сорвали фальшивым, лицедейским энтузиазмом, вместо того чтобы помочь всенародному серьезному думанию над серьезной хронической болезнью нашего общества. Хронические, застарелые болезни не лечатся оперативным вмешательством с наскока. Многие наши кампании и реформы рушатся потому, что мы подменяем постоянную общественную профилактику доморощенной социальной хирургией.

Парижские верхолазы в обеденный перерыв сидят на арматуре Эйфелевой башни, преспокойно запивают легким красным вином традиционный длинный батон с сыром и, представьте, не падают, и их не стягивает за ноги никакая профсоюзная или партийная организация, обвиняя в аморальности. Кавказские долгожители тоже пьют, но не «табуретовку», не «бормотуху», а натуральное чистое вино, и с гор в канавы не сваливаются. Профилактика алкоголизма, на мой взгляд, должна заключаться не в пуританской полицейщине, а в общем повышении культуры.

Бутылка «табуретовки», «бормотухи» может быть отравительницей. Бутылка хорошего вина может быть хорошей собеседницей. Но производство вина стали автоматически сокращать, нещадно вырубая драгоценные виноградные лозы. Алкоголизм, доходящий до общественно опасного состояния, надо лечить принудительно. Но у кого есть право отбирать у человека, который не алкоголик, его право на кружку пива после работы, на бокал натурального сухого или шампанского?

Все классики марксизма-ленинизма любили пиво.

Пушкин — шампанское.

Почему весь народ повально оказался заподозренным в алкоголизме и после других достаточно унизительных очередей вброшен в новые многочасовые очереди? Были дикие случаи исключения из комсомола за шампанское на свадьбах. Из фильма «Судьба человека» некоторые полуспятившие от общественного рвения прокатчики вырезали эпизод, где советский солдат выпивает стакан водки в знак презрения к гитлеровцам. Актерам не рекомендовали читать пушкинское «Поднимем бокалы, содвинем их разом!».

Причина — наша притерпелость к бездумному выполнению любых решений.

Но это только кажущееся выполнение. Бездумность выполнения — саботаж нового мышления. Есть и положительные результаты: покончили с «бормотухой», меньше пьяных, валяющихся на улицах. Но в очередях гибнут не только время и нервы людей, но и сами люди. Первые крутые меры сыграли положительную роль шоковой терапии. Но социальная шоковая терапия не может быть ежедневной в течение долгого времени — нервная система общества разрушается, появляется много непредугаданных язв. Бабушки, продавая пару очередей в день по пятерке, получают зарплату докторов наук. Бутылка водки в ночном такси стоит уже четвертной. Государственная цена и так достаточно жестокая, а на нее еще накидывают и накидывают все те, кто греет руки на любом дефиците. Мало ли твердых дефицитов, чтобы добавлять еще и жидкий? Все это страшным образом бьет не столько по самим пьяницам, сколько по их женам и детям, из-за дороговизны выпивки влачащим подчас полуголодное существование.

Борьба против алкоголизма подменена борьбой против легальной водки, легального вина, легального пива. Государственные водка и вино, значительно ухудшившиеся за последние годы, но все-таки более или менее проверенные, уступили место самогону, делаемому порой черт знает из чего, лосьонам, мозольной жидкости. Это будет иметь и уже имеет тяжелейшие генетические последствия. Каким будет ребенок, зачатый под антифриз? Сальвадору Дали было далеко до такого инфернального сюрреализма, когда сапожный крем намазывается на ломоть хлеба, когда дихлофос блаженно вдыхается под целлофановым мешком, наброшенным на голову, когда погружаются в нирвану при помощи клея «Момент».

Каюсь, продрогнув до самых костей на Камчатке, хватанул местного самогона из томатной пасты. На

следующий день у меня раздуло суставы ступней от артрита так, что я чуть не выл, и доктор, спасая меня инъекцией гидрокортизона, поставил точный диагноз: «Наша фирменная томатовка». В бухте Провидения делают, на мой взгляд, лучшее в нашей стране пиво, не уступающее чешскому, но его по-ханжески, как и в других городах, заставляют сводить до минимума. В результате в прошлом году 7 ноября местный пограничный оркестр играл праздничные марши под аккомпанемент взрывавшихся на подоконниках трехлитровых банок бражки, от чего вздрагивали соседские берега США. На Севере самые популярные люди — это обладатели спирта: вертолетчики и доктора. Соболиная шкурка стоит всего-навсего бутылку. Но спирт — редкость, вроде «Курвуазье», не только на Севере, но и по всей стране. Сколько драгоценного рабочего времени тратят сейчас наши врачи, обязанные выписывать рецепты на любую пустяковую микстуру или капли даже с крошечным содержанием спирта. Спиртовые или водочные компрессы запрещены к рекомендации. Как же можно удивляться, что сахар вдруг исчез? Он же должен был исчезнуть. И разве все общество в целом, все мы с вами, а не только правительство, не обязаны были это предусмотреть?

Обществу нужны не только впередсмотрящие, но и предусматривающие.

Лишь то общество в полном смысле демократично, когда все оно — снизу доверху — ощущает правительством себя, а не верхушку, от коей все сначала раболепно ждут указаний и на которую потом сваливают вину за любые ошибки. Собственная трусливая безответственность — вот что скрывается под подхалимством беспрекословного исполнительства. Развитие творческой инициативы масс несовместимо с притерпелостью к инициативе только сверху. Насильственные понукания быть общественно активными довели наше общество своей тошнотворной дидактикой до иронической пассивности. Притерпелость к собственной пассивности, подавляя в зародыше потенциальную позитивную энергию многих талантливых людей, одновременно создает питательную среду для негативной энергии активничающих подлецов. Капитулянтский лозунг пассивности: «Я маленький человек, что я могу!» Но если ты оправдываешь свою трусость тем, что ничего не можешь, то не моги и жаловаться, не моги и требовать! Не суй попрошайничающую руку, если ты не можешь сжать ее в кулак! Хватит бесконечных писем и протестов «наверх», пора перейти к письмам и протестам «вниз» — к самим себе, против самих себя. Убийцы

перестройки среди нас. Мы убиваем перестройку нашей гражданской робостью, нашим выжидательством — чья возьмет...

Один крупный журналист пришел ко мне вчера, растерянный, нервничающий: «У вас хороший инстинкт... Что произойдет на партконференции?» В инстинкте моем он как раз ошибся. Был у меня хороший инстинкт, да вышел. Много раз я предполагал лучшее, а выходило худшее. Испортился мой инстинкт: на лучшее, конечно, надеюсь, но худшее на всякий случай предполагаю. Ненавижу я это в себе, а что поделать! Не я один такой — множество вокруг таких инстинктов, историей жестоко стукнутых. Но я ответил моему гостю так: «Что произойдет? То произойдет, какими мы с вами будем...»

Перестройка будет такой, какими мы будем сами.

Будем половинчатыми — будет полуперестройка.

Будем из гнилых лагерных досок строить — перестройка провалится.

Будем тянуть одеяло каждый на себя — перестройка окоченеет.

По отношению к перестройке я не беспартийный — я в партии перестройки. Таких беспартийных членов партии перестройки — немало. Но надо признать горькую истину: многие члены партии — не в партии перестройки. Если член партии поддерживает или хотя бы полуподдерживает такие попытки повернуть историю вспять, как оправдание или полуоправдание преступлений сталинизма против народа, как новое обливание грязью только что реабилитированных имен, как требование заткнуть кляпом рот гласности, то не след прикрываться идеологическими интересами. То, что делается в интересах собственных ускользающих кресел,— это не идеология, а креслеология.

Между перестройщиками и антиперестройщиками есть, к сожалению, немалочисленная группа, которую я назвал бы «нойщиками». Это те, кто бесконечно ноет, что нет сахара и чего-то еще, но в то же время, не шевеля и пальцем, равнодушно взирает на то, как хотят задушить перестройку. Они хотят улучшения быта, но сведение всех гражданских чувств только к бытовому нытью может привести к тому, что быт так и останется разбитым корытом, из которого даже свиньи хлебать не смогут. Пора понять, что не существует отдельно перестройки материальной и политической. Не защищая демократию, нечего требовать демократии.

...Вот как поучительно обернулась наша притерпелость в частном, но достаточно печальном случае, когда Первого мая 1988 года под звучащие в телевизоре

с Красной площади лозунги перестройки я получил укоряюще редкий подарок — пачку сахара, как будто все еще продолжается война... война изнурительная, измотавшая нас... война не с кем-нибудь, а с самими собой...

2

В 1965 году по моей поэме «Братская ГЭС» репетировался спектакль в Театре на Малой Бронной. В поэме был кусок, начинавшийся так:

Прославлено терпение России.
Оно до героизма доросло.
Ее, как глииу, на крови месили,
иу, а она терпела, да н все.
И бурлаку, с плечом, протертым лямкой,
и пахарю, упавшему в степи,
оиа шептала с материнской лаской
извечиое: «Терпи, сыиок, терпи...»

Сам я обычно читал эти стихи с некоторым жертвенно-романтическим энтузиазмом, восхищаясь долготерпением нашего народа, как подвигом. И вдруг замечательная актриса Л. Сухаревская на репетиции прочла этот кусок с ошеломившей меня язвительно-обвинительной интонацией.

Могу поиять, как столько лет Россия
терпела голода и холода,
и войи жестоких муки иелюдские,
и тяжесть иепосильиого труда,
и дармоедов, лживых до предела,
и разное обмаииое враиье,
но не могу осмыслить: как терпела
оиа само терпеиие свое?!

Две последние строчки я обычно читал с задыхающимся умиленным восхищением, а вот Сухаревская прочла их гневно, возмущаясь терпением как причиной многих бед в нашей истории. Актриса лучше самого автора поняла его стихи.

«Терпя и горшок надсядется», «Терпя и камень треснет» — едко, но метко говорят народные пословицы. Триста лет под татарами, триста лет под Романовыми выработали не только терпение героическое, кончавшееся взрывами народных восстаний, но и терпение холопское — притерпелость. Первой русской революцией, не называемой так, к сожалению, ни в каких учебниках, была отмена крепостного права. Но Россия была последней страной в Европе, отменившей крепо-

стное право, и прыгнула в социализм из самодержавного феодализма, почти минуя опыт буржуазной демократии. Клопы феодализма и холопства в деревянных сундуках перебрались из лучинных изб в коммунальную квартиру социализма. Многие начальники вели себя как «красные феодалы», отобрав у крестьян не только землю, но и паспорта, что знакомо попахивало крепостничеством. Нарушившая заветы Ленина о добровольности коллективизация при ее насильственном проведении была грубым попранием лозунгов «Земля — крестьянам», «Вся власть Советам». Обещанные райские врата оказались ловушкой. После того как жестоко обошлись с крестьянами, объявленными кулаками, уничтожая, ссылая туда, куда Макар телят не гонял, следующие массовые жестокости, фальшивые процессы уже стали входить в привычку. Образовалась притерпелость.

Притерпелостей постепенно образовалось много — к репрессиям, к произвольным налогам, к насильственным подпискам на заем, к образу «лучшего друга советских физкультурников», к отбиранию семенного зерна, к превращению церквей в овощные склады, к «железному занавесу», к навешиванию оскорбительных ярлыков на ученых, композиторов, писателей, на целые научные направления и даже на отдельные науки, как, например, на кибернетику. Вырубались лучшие люди. Все походило на страшный сон, в котором злая банда, задавшись целью вырубить самых породистых лошадей, бродила ночами по конюшням, орудуя топорами. Лошади как вид выжили, но многие из них оказались лошадьми с психологией мышей. Нам еще многое нужно, чтобы восстановить нашу, понесшую такой урон, человеческую породу. Рабскую кровь сегодня надо не выдавливать по капле, а вычерпывать ведрами. Мы не можем позволить себе терпеть собственное терпение. Притерпелость — главный тормоз перестройки.

У Пастернака были такие строки:

Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Притерпелость — это капитуляция перед «бездной унижений».

Взаимоунижения, как клубок гадюк, вброшенный недоброй рукой во многие семьи. Гадюки хамства и грубости из таких квартир выползают на улицу, заползают в метро, сворачиваются кольцами на столах секретарш и прилавках продавщиц.

В такую «бездну унижений» превратился наш ежедневный быт. Сначала мы унижаемся, чтобы добыть квартиру. Наконец-то получив ордер на выстраданную квартиру, мы плачем от предремонтного унижения, когда ее видим. Мы унижаемся, охотясь в джунглях торговли за обоями, кранами-смесителями, унитазами, шпингалетами, и при виде какого-нибудь югославского плафона или румынского кресла-кровати в наших зрачках вспыхивают шерхановские искры, как в глазах тигра, вонзившего когти в долгожданную антилопу. Когда у нас рождается ребенок, мы унижаемся, выбивая ясли, детсад, добывая соски, подгузнички, бумажные пеленки, детские колготки, коляску, санки, манежик. Мы унижаемся в магазинах, парикмахерских, в ателье, в химчистках, в автосервисе, в ресторанах, в гостиницах, в театральных и аэрофлотовских кассах, в фирме «Заря», в мастерских по ремонту телевизоров, холодильников, швейных машин, наступая на свое самолюбие, от заискиваний переходя к скандалам, от скандалов — снова к заискиваниям. Все время мы куда-то протискиваемся, протыриваемся, что-то выклянчиваем, как жалкие просители, надоедливо раздражающие «владык мира сего». Иногда кажется, что в нашей стране все люди — это лишь обслуга сферы обслуживания.

Унизительно, что мы до сих пор не можем накормить себя сами, докупая и хлеб, и масло, и мясо, и фрукты, и овощи за границей. Талонная система во многих областях — стыдобища наша.

Унизительно, что мы до сих пор не можем хорошо одеть сами себя, гоняясь за иностранными тряпками. Одежда многих из нас — это как географический атлас. Но все «Кардены» и «Бурды» нас не спасут. Самим надо шить так, чтобы советский народ своими одеждами и обувью не срамился.

Унизительно, что мы до сих пор не имеем достаточно лекарств, чтобы лечить свой народ. Больно видеть ветеранов войны, которые приходят в аптеку, нацепив для внушительности все ордена и медали, а лекарств, указанных в рецептах, все равно нет. Страшно видеть мечущихся, как раненые птицы, из аптеки в аптеку матерей с рецептами для своих детей и опускающих перед ними глаза фармацевтов. Нехватка лекарств — это предательство человеческих жизней.

Унизительна нехватка книг — предательство человеческого духа.

Унизительна нехватка компьютеров — предательство современной технологии мышления.

Унизительна «прописка» — искусственное пришпиливание людей по определенным пунктам, несмотря на то,

что Конституция гарантирует свободу передвижения. Но при географической неравномерности распространения элементарных благ прописка — увы! — спасительна, иначе Москва превратится в двадцатимиллионный город, но со снабжением, как в многострадальном Ярославле.

Унизительна не выполняющая Конституцию система выезда за границу, несмотря на все заверения в упрощении. Всем, кто хочет уезжать насовсем, надо открыть широкие ворота, за исключением особых, связанных с секретностью случаев. Держать людей насильно унизительно. Но не надо зачислять всех уезжающих во враги! И если они ничем не оскорбили родину, надо дать им возможность приезжать или вернуться насовсем. Почему бы всем гражданам СССР не выдавать на руки советские заграничные паспорта сроком, скажем, на три года с правом постоянного выезда в командировку, в туристскую поездку или по приглашению. Советский паспорт на руках сам по себе должен являться рекомендацией на поездку.

Но самое страшное, когда мы, униженные кем-то, сами в виде дешевой компенсации начинаем унижать других. Унижение других похоже на самый страшный вид наркомании.

Гласность — это объявленная война против «бездны унижений». Гласность — это война за социальное достоинство человека. Человек имеет право любить такую музыку, какую хочет, одеваться, как он хочет, стричься, как он хочет.

Плюрализм социалистической гласности есть воспитание толерантности (терпимости). Но терпимость не должна стать притерпелостью ни к какому виду унижения человека человеком.

Антиперестройщики доносительски пытаются интерпретировать нашу молодую, но уже мужающую гласность как дискредитацию завоеваний социализма. Между тем гласность сама по себе есть завоевание социализма. В «Правде» был справедливо поставлен вопрос о культуре дискуссий. Дрязги в стиле коммунальной кухни действительно вредят нашей литературе. Но борьба за культуру дискуссий ни в коем случае не должна перейти в борьбу против самих дискуссий. Точки зрения должны быть выявлены, а не замаскированы. Поэтому хорошо, что читателям стали известны разные точки зрения на сегодняшний общественный процесс, и среди них тезис о «некрофильстве» П. Проскурина, тезис о необходимости нового «Сталинграда» на нашем идеологическом фронте Ю. Бондарева.

В этом смысле мы должны быть благодарны факту публикации статьи Д. Урнова о романе Пастернака «Доктор Живаго». Автор статьи, только что назначенный главным редактором теоретического журнала «Вопросы литературы», политически и художественно полностью перечеркивает роман, рискуя даже стихи из романа назвать «стилизацией расхожей поэзии того времени», а доктора Живаго сравнить с безнравственным ренегатом Климом Самгиным. Статья так говорит о любимом герое Пастернака: «А ведь доктора Живаго можно было бы припереть к стенке и загнать в угол». Странное впечатление производит эта статья — как будто напечатанная с опозданием на тридцать лет речь на собрании, где исключали Пастернака. Нет, времена, когда литературных героев и создавших их писателей припирали к стенке, прошли, и, я надеюсь, навсегда. Реабилитация Пастернака и многих других несправедливо опороченных граждан нашего общества необратима и не сможет обратиться в ре-реабилитацию. Нельзя отдать это великое завоевание гласности — нашу духовную перестройку.

Перестройка духовная и перестройка экономическая должны быть равными взаимогарантами. К сожалению, перестройка экономическая сейчас сильно отстает. Но ее тоже, как гласность, пытаются скомпрометировать, стреножить, запугивают, заматывают. В экономике, как и в литературе, тоже есть свои неприкосновенные «священные коровы», которые, притворяясь, что защищают интересы народа, защищают свои стойла. Сегодня гласность должна помочь экономике как отстающей. А завтра, если гласности станет туго, ей поможет своим могучим плечом поднявшаяся экономика. Без личной инициативы, без крупных индивидуальностей невозможно идти вперед ни в гласности, ни в экономике. А пока «глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах», гласность, как буревестник, «молнии подобный», будит гражданскую совесть народа.

В английском языке есть слово «имидж», в точном переводе означающее «образ», но не в поэтическом, а в политическом смысле. У каждого из кандидатов в президенты США есть целая команда психологов, социологов, политиков, которая работает над созданием его имиджа. Любая политическая система, любая страна тоже заботится о своем имидже. Конечно, ловко сконструированный имидж может быть или искусным гримом, или маской, скрывающей язвы.

«Железный занавес» между Востоком и Западом долгие годы создавал нашей стране имидж привлекательный и пугающий. Подвиг нашего народа в борьбе

против Гитлера придал этому образу ореол героизма. Хрущевская оттепель добавила к этому ореолу светинки надежды на взаимопонимание народов. Страшная правда о сталинских лагерях, аресты диссидентов, злоупотребление психиатрией, высылка академика Сахарова, наши войска в Афганистане — все это, выстраиваемое в один ряд и раздуваемое определенным образом реакционной прессой Запада, работало на развеивание героического ореола, доведя дело чуть ли не до антихристова образа «империи зла». Однако сейчас благодаря мирным инициативам нашей страны по ядерному разоружению, гласности, демократизации нашей жизни этот «антихристов» образ рассыпался.

Нам не нужны ни косметика, ни маска на нашем лице, чтобы понравиться иностранцам, втирая им очки. Конечно, хочется, чтобы наша страна привлекала симпатии человечества, но не за счет лжи, а за счет правды, которую она несет миру. Но прежде всего хочется, чтоб наша страна нравилась нам самим. Мы ее любим, гордимся ее культурными и революционными традициями. Но не все традиции бывают хорошими. Как дурную традицию надо отвергнуть несовместимое с перестройкой понятие — «притерпелость».

Юрий Карякин

«ЖДАНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ» ИЛИ ПРОТИВ ОЧЕРНИТЕЛЬСТВА

«Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...»
А. А. Жданов

Успеете наахаться,
И воя, и кляня,
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня.
Анна Ахматова

Всего год назад требование освободить ЛГУ от имени, которое носит он вот уже сорок лет, казалось немыслимым «потрясением основ», а сегодня оно пробилось даже в газеты, здесь тоже знамение нашего времени, необыкновенно быстро расставляющего наконец все по своим местам. Да, необыкновенно быстро, если — смотреть назад, однако все еще слишком медленно, если — смотреть вперед, вот и имя это по-прежнему красуется на ЛГУ. Требование есть, освобождения нет. Даже согласие есть — на словах, а на деле — скрытое, упорное и вполне осознанное сопротивление. Тоже знак «текущего момента». Московский университет — имени Ломоносова, Ленинградский — имени Жданова. Или Жданов и есть Ломоносов XX века?.. И по-прежнему выпускники получают дипломы с этим именем. По-прежнему вчерашние школьники старательно выводят его в своих заявлениях: «Прошу принять меня...»

Соавтор 37-го

В 1946 году, когда Жданов организовал погром Ахматовой и Зощенко, родилась у исстрадавшихся от него ленинградцев (или припомнилась им еще с 1934—1935 годов?) невеселая шутка, грозившая шутникам, в случае доноса, немалым «сроком» (а могло быть и того хуже). Дело в том, что была в прошлом веке так называемая «ждановская жидкость», которой заглушали, забивали трупный запах (об этом есть и в предпоследней главе «Идиота»). Ну и, совершенно

натурально, «жидкость», которой Жданов «кропил» культуру, люди, помнившие историю, не могли не прозвать «ждановской». Только она в отличие от прежней сама была смертельной, трупной, сама смердела, а выдавалась за идеологический нектар. К шутке той можно отнести опять ахматовское:

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне б свинцовую горошину
От того секретаря.

Кощунство? Очернительство? Очернительство человека, о котором всего два года назад центральная газета писала: «Имя его хранится в памяти народной»?..

25 сентября 1936 года из Сочи в Москву, в Политбюро, пришла телеграмма-молния: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ ОПОЗДАЛ В ЭТОМ ДЕЛЕ НА 4 ГОДА. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД». И две подписи: Сталин, Жданов.

Эта сочинская телеграмма-молния — одна из самых кровавых депеш в истории нашей и общечеловеческой: сигнал к 1937 году. Если бы соавторы этой телеграммы сами писали родившиеся из нее бесчисленные арестантские повестки и приговоры, сами арестовывали людей, сами их допрашивали и пытали, забивали и расстреливали, сами закапывали и сжигали трупы, а потом еще, снова и снова, проделывали то же самое — с родственниками и детьми убитых (и с детьми этих детей),— сколько миллионов дней понадобилось бы им для всего

А. А. Жданов:

«Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта... Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?.. Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения»... Зощенко с его омерзительной моралью... Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку... Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко... Какой вывод следует из этого?.. Пусть убирается из советской литературы».

этого? Им понадобилось бы бессмертие. Бессмертие для уничтожения живых людей. Бессмертие для производства смерти...

Тут что еще поражает? «Не на высоте...» Это проговорка. *Их* представление о высоте измерялось потоками пролитой крови. Мало им было крови в 1929—1933 годах. Мало и в 1934—1936 годах. Уровень, график назначенной, нужной им высоты и вычерчивала тройка: Ягода, Ежов, Берия.

У Ягоды, расстрелянного за то, что он «оказался не на высоте», был маленький сын, Гарик. Затерявшийся в кровавой сутолоке, прежде чем окончательно и бесследно исчезнуть, он сумел послать своей бабушке в лагерь несколько писем. Вот одно: «Дорогая бабушка, я опять не умер, это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук». И сколько таких слов, написанных и ненаписанных, отосланных и неотосланных, звучало в те годы по всей стране: страшный детский сиротский хор, организованный двумя дядями из Сочи. И каким стоном-воем откликнулся на него другой хор — материнский — из тюрем, «столыпинских вагонов», лагерей.

А. А. Жданов — соавтор 1937 года (и 1938-го, конечно). Вот главное дело его жизни, вот главный «вклад» его в нашу культуру. Тут уж он был на особой высоте. О результатах его тогдашних «художеств» в Ленинграде мы знали по «Реквиему» Ахматовой и прочитали недавно в повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна» («Нева» № 2, 1988).

А вот еще одна страничка о таких же «художествах» Жданова в Уфе. Она — из письма ко мне моего

А. А. Жданов:

«Анна Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Акмеисты представляли из себя крайне индивидуалистическое направление в искусстве. Они проповедовали теорию «искусства для искусства», «красоты ради самой красоты», знать ничего не хотели о народе, о его нуждах и интересах, об общественной жизни... Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда».

друга, писателя М. Чванова, специально занявшегося этой темой:

«Поводом для его приезда послужило письмо первого секретаря Башкирского обкома Я. Б. Быкина Сталину, полное отчаяния. Видя, что́ творится вокруг, видя, что над ним самим собираются тучи, видя, что провокаторы уже рвут горло с трибун, обвиняя его в «мягкотелости» по отношению к «врагам народа», к сосланным в Уфу ленинградцам, которых он трудоустроил, Быкин писал: «Прошу одного: пришлите толкового чекиста. Пусть он объективно разберется во всем!»

Жданов появился в Уфе со своей «командой» и бросил встречавшему его Быкину со зловещей ухмылкой: «Вот я и приехал! Думаю, что я покажу себя толковым чекистом».

На срочно собранном пленуме Башкирского обкома Жданов был краток. Сказал, что приехал «по вопросу проверки руководства». Зачитал готовое решение: «ЦК постановил — Быкина и Исанчурина (второй секретарь.— **М. Ч.**) снять...» Быкина и Исанчурина увели прямо из зала, не дожидаясь конца пленума. Быкин успел крикнуть: «Я ни в чем не виноват!» Мужественно держался Исанчурин: «В Быкина верил и верю». Обоих расстреляли. Расстреляли и беременную жену Быкина.

В заключительном слове Жданов снова был краток: «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...»

Перебью М. Чванова. Тут опять, как и в случае с «высотой»: вырвалась проговорка об *их* морали: «Моральная тягота разрядилась...» «Моральная тягота» для них — это когда мало крови.

М. Чванов: «Не успел Жданов уехать, а в Уфе уже начали «валить заборы». Оставшиеся в живых уфимцы до сих пор с содроганием и ужасом вспоминают о той «исторической» экспедиции, о вакханалии арестов и расстрелов, обрушившихся на город. Один из провокаторов-доносчиков с гордостью говорил потом с трибуны писательского собрания, что он, несмотря на свое слабое здоровье, лично выявил 26 «врагов народа»...

Я до сих пор с замиранием сердца прохожу мимо Ивановского кладбища (оно сейчас застроено), где, по непроверенным данным (а как их проверишь?), по ночам, в длинных траншеях, закапывали убитых. Но закапывали не только там. Огромная уфимская тюрьма не была рассчитана на такое массовое «производство». Расстреливали в многочисленных уфимских оврагах, карьерах, увозили за город...

Кроме Уфы, Жданов побывал тогда еще в Казани и Оренбурге, где провел аналогичные пленумы.

Документы, которые я использую, я нашел в архиве Башкирского обкома КПСС (фонд 122). Они отчасти попали в «Советскую Башкирию» от 28 февраля 1988 г.».

Такая вот страничка. Всего лишь одна из многих сотен, если не тысяч.

Это он, Жданов, заменив в декабре 1934 года убитого Кирова на посту первого секретаря обкома и горкома Ленинграда, организовал «кировский поток», то есть это он прямо заказывал, составлял и подписывал те списки (главная часть его «Литнаследства» — хватит не на один том), по которым многие десятки тысяч ленинградцев «потекли» в тюрьму, в лагеря, в ссылку, на пытки, на смерть. Жизни и этих убитых, искалеченных людей, равно как и сломанные судьбы их детей,— прямо на его личном счету (тут никак не выговаривается: на его совести).

Сколько раз в своих длинных речах Жданов клеймил писателей, художников, философов, музыкантов за «отрыв от жизни». Зато сам и продемонстрировал эту связь, как он ее понимал: в тех списках, в той телеграмме. Одобрить, прославить такую связь — вот чего он хотел прежде всего, больше всего от самой культуры, хотел, чтобы культура прославляла убийство самой культуры, кровавое насилие над народом, чтобы Ахматова и Шостакович создавали гимны в честь своих палачей.

И еще об этой связи, точнее — о первом и последнем звеньях ее (а сколько их еще между ними!): от Жданова-идеолога до тех исполнителей. У идеолога вроде бы чисты руки, у исполнителей — чиста совесть — разделение труда! А в итоге — чудовищный социально-нравственный разврат, выдаваемый за «твердость основ» и «чистоту учения». В итоге — преступления, переименованные в подвиги. Жданов как «чистый идеолог» — это миф. Он самый непосредственный организатор кровавой вакханалии, ничуть не хуже Ягоды, Ежова, Берия. И когда писал он свои литературные, музыкальные, философские доклады, когда музицировал на фортепьянах (умел), когда писал эти доклады, листал их, читая, он писал, листал, музицировал кровавыми руками. К этим его докладам тоже относится «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...». И валились — люди, люди, люди...

«Чистый идеолог»...

Я знаю: уже написаны (и, уверен, будут еще написаны) страницы и о позорно преступной роли Жданова в дни блокады Ленинграда, такие страницы, от

которых, кажется, должны содрогнуться и все умершие тогда, но все равно, все равно закричат некоторые из живущих: «Очернительство!»

И совесть — очернительство?

Тут мне хочется перейти на прямое обращение к этим энтузиастам борьбы с очернительством. Подчеркну: не к тем, кто не знает фактов, а к тем, кто их знает и скрывает. Подчеркну: не к тем, кто обманут или ошибается, а к тем, кто обманывает людей сознательно,— разумеется, разумеется, с самой «высокой целью».

Это раньше, лет тридцать назад, мы не всегда умели отвечать на ваши иезуитские, кривые вопросы. Теперь другое. Теперь уже вам придется отвечать на вопросы прямые и ясные.

Что такое очернительство?

Сознательная клевета на миллионы честных людей — от мужика до академика, от грузчика до маршала — это *не* очернительство?

Сознательное уничтожение этих оклеветанных миллионов, уничтожение их «во имя социализма» — это *не* очернительство социализма?

Те списки, та телеграмма, те экспедиции в Уфу, Казань, Оренбург?

Травля, уничтожение ученых во всех без исключения областях науки?

Травля, уничтожение сотен, тысяч честных, талантливых писателей, художников, музыкантов?

Имя Жданова на ЛГУ?

Это все — *не* очернительство культуры? Это все *не* оттолкнуло от нас десятки миллионов наших сторонников за рубежом?

А правда об этом — очернительство.

А раскрытие чудовищных преступлений — очернительство.

А «Великая Реабилитация» (Евтушенко) — очернительство...

Сначала были оклеветаны, арестованы, уничтожены миллионы людей.

Потом арестованы, сосланы, заточены факты об этом (расстрелять факты — это, казалось, никому не под силу, но многие факты действительно были расстреляны, испепелены, развеяны, и никогда уже больше мы их не найдем).

Наконец, началось освобождение фактов.

И что же? Это освобождение вы и объявляете очернительством.

Вы пытаете факты точно так же, как ваши предшественники пытали живых людей.

Вы снова хотите их, эти факты, арестовать, заточить, испепелить.

Для вас преступлением является само раскрытие преступлений.

Почему?

Почему вы приходите в неистовство против тех, кто раскрывает преступления?

Почему не находите слов сострадания для жертв и слов негодования для палачей?

Почему — в лучшем случае — вы готовы признать черные страницы нашей истории «государственной тайной», до которой, мол, народ наш еще не дорос? (До расправы над собой дорос, а до правды об этой расправе не дорос?)

Почему?

Да потому, что боль человеческая, боль народная для вас не боль, а «дежурная тема». Потому, что совесть для вас *(совесть)* — это *весть* не о боли, не о судьбе народа, а весть о воле начальства сталинско-ждановской выучки. Вы сетуете на притеснения народов во всех странах, кроме своей (да и в те ваши сетования я не верю, да вы и сами не верите).

Почему? Да потому, что вы боитесь, боитесь и народа своего, и правды, и совести. И пробуждение совести для вас — очернительство.

Потому, что доклады Сталина — Жданова, «Краткий курс истории ВКП(б)» — вот по-прежнему и весь ваш марксизм-ленинизм.

Потому, что вам мил именно тот социализм — очерненный, окровавленный Сталиным — Ждановым, мил тот и страшен этот — очищенный, очищаемый на наших глазах.

Потому, что свободно дышать вы можете только в атмосфере, отравленной «ж новской жидкостью» (*это* для вас нормально), а в атмосфере чистой вы задыхаетесь.

Потому, что лишь в темноте вы чувствуете себя сильными (да и в самом деле сильны), а на свету? На свету вы бессмысленно хлопаете глазами, как филины, и лепечете, что вы всегда тоже — «за», «за», «за»...

Знаю, знаю, всю жизнь от вас слышу: в сознании народа слова социализм и Сталин слились, отождествились, и надо с этим считаться. Да, к беде нашей великой, это так (впрочем, далеко не у всех). Я бы

даже добавил: слова эти склеились, срослись. Ну и что?

Были в свое время склеены слова христианство и инквизиция, Христос и Торквемада. Расклеились.

А разве не склеивались в нашей истории слова Ягода, Ежов, Берия и — социализм? Или: Вышинский и советское право? Или: Бошьян, Лепешинская, Лысенко и — наука? Или: Заславский, Ермилов, Эльсберг и — совесть? Даже слова Лидии Тимашук и честность склеивались. Ну и что? Расклеились! И что случилось? Случилось очищение социализма, очищение науки.

Очернительство — это ложь.

Правда не может быть очернительством. Правда может быть только очищением.

Но все равно, снова и снова слышу: «Но ведь были же у них и заслуги, у Сталина, у Жданова! Нельзя же так. Ведь должна же быть и тут диалектика...»

А знаете, я соглашусь с вами, если вы согласитесь с одним моим дополнением. Пусть будет по-вашему. Пусть будет, например, так: «Наряду с заслугами у Сталина и Жданова был всего один недостаток: они были палачами...»

И еще вопрос: сколько было всего людей незаконно репрессировано? Сколько из них уничтожено?..

Хотелось бы всех поименно назвать.
Да отняли список и негде узнать...

Так давайте разыщем, подсчитаем вместе, друг друга поправляя и уточняя, давайте вместе все и опубликуем? Что, не хочется? А почему? Непатриотично? Очерняет?..

Не хотите вы этого даже и знать, а если б знали, сделали бы все для того, чтобы скрыть. И скрываете уже известное. И травите тех, кто хочет узнать.

Вам еще придется доказать, что без ареста, без истребления миллионов честных людей мы не победили бы в войне. Докажите!

Докажите, что с этими миллионами мы бы войну проиграли.

Вот вся ваша «диалектика», если ее обнажить:

Да, Сталин оклеветал и уничтожал честных людей, но ведь — «во имя коммунизма!». То, что оклеветал и уничтожал, это, конечно, плохо. Но то, что «во имя коммунизма»,— это хорошо...

А Ягода, Ежов, Берия, Вышинский, Жданов — не «во имя»?..

Иезуитство это, а не диалектика.

Правда в том, что слово Сталин на самом деле намертво, нерасторжимо, навсегда склеилось с другими

словами, как раз вот с этими — Ягода, Ежов, Берия, Вышинский, Жданов плюс гигантский корпус доносчиков и палачей помельче, то есть плюс хваты, пытавшие академиков и маршалов, плюс рюмины, избивавшие врачей, плюс старички, помогавшие в молодости перевыполнять планы по уничтожению людей, не столь именитых. Вот все это (и еще многое, многое другое подобное) и есть ваш совокупный Сталин. И эти слова уже никому и никогда не удастся расклеить...

А самое главное: Сталин — это беспрерывное, систематическое понижение цены человеческой жизни — до нуля, понижение цены личности — до отрицательной величины: человек не стоит ничего, а личность — это уже просто враг. И когда повторяют, что при Сталине «снижали цены», то, во-первых, это просто неправда, если говорить о вещах, о продуктах (см. статью О. Лациса в «Известиях» от 15 апреля), а во-вторых, надо добавить: снижали цены — на человека, на личность!.. А уж абсолютная аморальность его политическая — лишь одно из следствий этой основной посылки, определяемой, в свою очередь, мотивом абсолютного самовластья.

Не отменяются всем этим наши победы, а лишь выясняется их цена. Не дискредитируются и действительные (а не мнимые) победители, но вам придется еще доказать, что обманутые люди лучше строят социализм и лучше его защищают, а необманутые — хуже. Докажете?

В череде всех этих вопросов, на которые придется теперь отвечать вам, не избежать и вопроса о гласности. Интересно, с какими чувствами, с какими мыслями прочитаете вы такие слова: «Свободная печать — это зоркое око народного духа, воплощенное доверие народа к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную личность с государством и с целым миром; она — воплотившаяся культура, которая преображает материальную борьбу в духовную и идеализирует ее грубую материальную форму. Свободная печать — это откровенная исповедь народа перед самим собой, а чистосердечное признание, как известно, спасительно. Она — духовное зеркало, в котором народ видит самого себя, а самопознание есть первое условие мудрости... Она всестороння, вездесуща, всеведуща. Она — идеальный мир, который непрерывно бьет ключом из реальной действительности, и в виде всевозрастающего богатства духа и обратно вливается в нее животворящим потоком».

Да разнесете вы эти слова в пух и прах — и потому, что они дышат талантом (по сравнению с любезной вам

казенной серятиной), и потому, что они враждебны вам, ненавистны по существу, и потому еще, что не знаете, чьи они. А когда вам подскажут, ухватитесь, как тонущий за соломинку: «Это же Маркс ранний, несовершеннолетний, так сказать...»

Так вот, к вашему сведению, Маркс «поздний» не только не отказался от этих слов, а развил их: он предлагал, например, задуматься над осуществлением требования независимости партийно-коммунистической печати от ЦК — именно для того, чтобы объективнее, независимее, плодотворнее проводить коммунистическую же точку зрения, которая вовсе не есть истина в виде военного приказа. Кстати, он и вас всех предусмотрел, когда сказал о точно таких, как вы: «Послушать их, так я не марксист...»

Ни одного вопроса нового не можете вы ни поставить, ни решить. Ведь ни единого проблеска, ни единого взлета своей собственной мысли, то излюбленной и выстраданной, то вдруг неожиданной и ошеломляющей! И неведомо вам возвышающее восхищение перед вдохновенной мыслью другого человека. Вместо этого вы знаете только то чувство, которое испытывает один пушкинский богач к «скрыпачу» на досуге. И это-то свое бесплодие вы и выдаете за «верность принципам». Для вас, в сущности, и Мысль — «вредитель», и Мышление — «враг народа». Вы и марксизм весь хотели бы превратить в «зэка» и стеречь, охранять его, чтоб не сбежал. Вот единственное, на что вы способны, вот единственная ваша функция, единственное ваше «творчество»: *охрана.* Но теперь вы даже и тут иссякли. Подорван источник вашего пустоцветного процветания. Вам грозит идеологическая безработица, ибо ваша идеология — это феномен уникальный, мутант, загадка природы: расширенное воспроизводство бесплодия, размножение интеллектуального импотентства.

Однако сколько — при всем при том — у вас еще энергии, вашей специфической *энергии нелюбви!* Мне порой ее даже жалко: сколько же ее расходуется зря или во вред. А если бы рационально? Бросить бы ее всю на СПИД — не будет СПИДа. Но бросить ее на культуру — не будет культуры...

Алхимики

В февральском номере «Нового мира» Андрей Нуйкин предупреждал — готовится ваше контрнаступление, и оказался прав: 13 марта появилось письмо

Нины Андреевой. Никому не известный химик вдруг сделался всем известным идеологом. Превращение, прямо скажем, подозрительное. Не стоит ли за ним какая-то алхимия?

Год назад один из прототипов моего Инкогнито (см. «Знамя» № 9, 1987), кстати, тоже химик, забрал из редакции свой донос со словами: «Сейчас не время ударять...» Представляю, как обрадовался он письму коллеги: настало, мол, время... Представляю, как пришлось оно вам всем по нутру,— вот они, ваши новые «Основы», ваш новый «Краткий курс», ваш новый идеологический манифест, насквозь пропитанный «ждановской жидкостью». Представляю еще, как мобилизовывали вы все свои интеллектуальные, моральные, организационные способности, чтобы превратить этот манифест в *сигнал* к немедленному контрнаступлению, но... опять наступили на грабли.

Убежден: будет воссоздана — день за днем, во всех драматических и комических подробностях — вся хроника событий вокруг вашего манифеста, вся хроника его замысла, написания, публикации, хроника организации его одобрения. Чем определялся выбор дня публикации? Какой стратегией? Какой тактикой? Почему не появился манифест, скажем, 10 марта или 21-го? Особенно будет интересна хроника событий между 13 марта и 5 апреля. Сколько местных газет перепечатали манифест? Сколько было размножено с него ксероксов? Сколько организовано обсуждений-одобрений? По чьему распоряжению? Как пробуждалась местная инициатива? Кем? Почему три недели не было в печати ни одного слова против, за исключением, кажется, лишь «Московских новостей» и «Тамбовской правды»? Почему Нину Андрееву хочется назвать лишь соавтором манифеста и к тому же далеко не главным? А кто алхимик главный? И один ли он? Почему одно частное мнение одного лица (положим), мнение, совершенно очевидно противопоставленное всему курсу партии и государства на обновление, почему оно фактически господствовало в печати, господствовало беспрекословно и безраздельно в течение тех трех недель (точнее, двадцати четырех дней)? Почему оно фактически навязывалось — через печать или как-то еще — всей партии, всему народу, всей стране? Как это согласуется с лозунгом «Больше демократии, больше социализма»? С гласностью? С Уставом и Программой партии? С Конституцией государства, наконец? Что это за Нина Андреева такая, обладающая столь небывалым и непонятным всемогуществом? А если это действительно не она, то кто? А если этот кто-то действительно не один,

то, стало быть, речь идет о чьей-то платформе? О чьей конкретно? И почему тогда ее истинные создатели спрятались за бедного химика? И последний вопрос: если оказалось возможным такое, то почему невозможно и худшее?

Или все эти вопросы неправомерны и надо запретить их задавать? А может быть, надо еще запретить над ними и думать? Или они нас не касаются? Не нашего ума дело? Почему это не нашего? А чьего тогда, позвольте узнать? Разве от прямого ответа на них не зависят тоже ход, судьба обновления?

Нет, никуда нам от этих вопросов не деться, и мы должны чувствовать и сознавать не только свое право, но и обязанность их задавать, задавать и требовать, добиваться на них прямого ответа. Или я чего-то не понимаю в перестройке?.. Разве не есть она освобождение и от всякого политиканства, от всякой алхимии?..

Совсем недавно (24—26 марта), будучи в Ленинграде, я вдоволь наслушался, начитался славословий в честь неглавного автора. Воочию нагляделся на самый настоящий рецидив ждановщины. Надышался, нанюхался «ждановской жидкости». Это славословие разворачивалось как по команде. Впрочем, почему — как? Оно и было очень даже хорошо организовано. Кому-то опять замечталось: «Моральная тягота разрядилась. Столбы подрублены, заборы повалятся сами...» Я слышал: «Наконец-то!», «Наконец-то дан отпор очернителям!», «Наконец-то все поставлено на свои места!..». Я слышал: «Вот идейный камертон XIX партконференции!» Слышал: «Вот кого, вот каких надо послать туда делегатами!» И что ж удивительного, что статья в «Правде» от 5 апреля у организаторов этой «моральной разрядки» никакого энтузиазма не вызвала?

Это отрезвляет. Гарантий необратимости обновления еще нет. Зато нам наглядно и радостно продемонстрировали маленькую репетицию удушения перестройки, микромодель реванша. Будем благодарны за хороший урок: гарантии только в нас самих. Я видел, слышал, знаю людей (их больше, чем казалось), которых уже ничем нельзя сбить с толку, запугать, сломить и для которых статья в «Правде» стала *своей*. Нет ничего важнее, как все глубже понять самому и убедить других: всякая алхимия, подобная той, что связана с упомянутым манифестом, гибельна. «Спасение принципов», на которых он основан, грозит уже не просто застоем, а настоящей катастрофой — для страны, для социализма, для мира. Сталинщина, не выкорчеванная до конца, закономерно породила рашидовщи-

ну. Сейчас, если ее действительно не выкорчевать, она может породить нечто несравненно худшее.

И нельзя больше кропить людей «ждановской жидкостью», а между тем...

В статье В. Глаголева, посвященной 90-летию со дня рождения А. А. Жданова, читаем: «Всей своей деятельностью, всей силой своего огромного организаторского и пропагандистского таланта Андрей Александрович Жданов беззаветно служил трудовому народу, делу Ленина, Коммунистической партии... В городе Ленина, колыбели социалистической революции, развертываются его замечательные способности и особое дарование политического деятеля... Как истинный коммунист он не знал разрыва между словом и действием, между теорией и практикой... Имя его хранится в памяти народной...»

Что это? Неужели автор ничего не знал о фактах палаческой деятельности Жданова? Не мог не знать! Об этом говорилось и на XXII съезде. Значит? Значит, знал и все-таки написал. Почему? Потому что поручили? Ну, а почему не отказался? Ведь не расстреляли бы его за это и даже не арестовали бы. Так почему? Служба дороже чести? Что ж это за служба такая? А ведь откажись — ему бы сегодня спасибо сказали и, главное, верили бы, верили. Ну, а если завтра прикажут ему восхвалять завтрашнюю Андрееву?..

Или вот еще один источник. Только что вышла 7-м изданием тиражом в 200 тысяч книга Алексея Абрамова «У Кремлевской стены». Вышла в Госполитиздате. Подписана в печать 3 декабря 1987 года. Читаем в этом издании о Жданове то же самое, что и в первом (1974): «Под его руководством трудящиеся Ленинграда успешно боролись за досрочное выполнение планов второй и третьей пятилеток... В 1948 году именем выдающегося деятеля Коммунистической партии назван город Мариуполь, имя Жданова носят улица, станция метро и «Первая образцовая типография» в Москве, улицы и заводы во многих городах и поселках страны». Ведь опять же: все, все знает человек о Жданове — не может не знать! — и все равно зачисляет его в «герои», в «легендарные соратники». И точно такие же аморальные, внеморальные, «объективные» характеристики дает он и Вышинскому и Мехлису...

Да, есть город Жданов. Есть даже еще один университет имени Жданова (в Иркутске). Есть многие тысячи улиц, заводов, фабрик, типографий, кораблей, институтов, колхозов, совхозов, школ, клубов, даже детских садов, дворцов пионеров (в том же Ленинграде) — имени Жданова. Уже имени Сталина почти нет, а

имени Жданова — сколько угодно. Вся страна окроплена «ждановской жидкостью». Это своего рода рекорд. Только рекорд чего? Рекорд цинизма тех, кто сознательно не желает отказаться от прославления этого имени? Или рекорд нашего собственного невежества, равнодушия и бесхарактерности?

Получил письмо из Жданова: людей травят за то, что они хотят снова жить в Мариуполе. А вот еще из того же письма М. Чванова: «Мне казалось, что в Уфе нет ничего, носящего имени Жданова, был когда-то район его имени, но сразу же после смерти Сталина его переименовали, побоялись народа, но вчера позвонили: появилась улица имени А. А. Жданова»...

В Елабуге сохранился дом, в котором Цветаева прожила последние дни своей жизни, в котором и погибла. На доме мемориальная доска, будет, вероятно, и музей. Адрес — улица Жданова.

И это все — опять *не* очернительство? *Не* очернительство не только нашего прошлого, но и настоящего? *Не* заведомое очернительство и нашего будущего? И в XXI век войдем с этими клеймами?..

Экология. Поворот рек. Отравление Байкала...

А экология нашей нравственности? Повороты рек нашей культуры? Отравление наших духовных байкалов?.. Все это предельно конкретно, наглядно — осязаемо! — и выразилось в нашем самоокроплении ждановщиной, в нашем самоочернительстве.

Ну, так давайте опомнимся. До чего мы дожили: имеем в 1988 году Дворец пионеров имени Жданова — и где? — на углу Невского и Фонтанки, у Аничкова моста... Какие добрые сказки должны сочинять вожатые детям об этом добром дяде?..

От кого все это зависит? От кого еще, как не от нас самих? От взрыва чувства нашего собственного достоинства, нашей чести да просто — брезгливости. Если мы не хотим или не умеем добиться столь малого, то как добьемся бо́льшего? Вот мне и пришла в голову простейшая мысль. Давайте (я обращаюсь к вам, читатели), давайте поставим эксперимент: сколько же времени понадобится нам для того, чтобы решить столь очевидную элементарную задачу: отмыться от «ждановской жидкости» хотя бы внешне (отмывание внутреннее — дело несравненно более долгое, сложное, но, может, и оно оттого чуть ускорится)?..

Все зависит от нас самих, в том числе и то, кто будет представлять партию, народ на предстоящей конференции. Дело ведь предстоит всенародное, небывало важное, решающее. И надо, чтобы туда — без всякого политиканства, без всякой алхимии — попали

самые испытанные и надежные. Попали те, кто доказал всей своей жизнью, что их ничем нельзя ни запугать, ни подкупить, ни запутать. Те, для кого нет никаких интересов выше интересов народа. Кто умеет защищать эти интересы, несмотря ни на что. Для кого нет другой цели, кроме обновления страны. Кстати, вся история с рецидивом ждановщины между 13 марта и 5 апреля тоже дает надежные критерии для определения того, кто есть кто...

Ну а тем, кому любезно это имя, посоветуем (этот совет при нынешней демократизации вполне реален): пусть выстроят для себя на кооперативных началах — хоть Ждановград, хоть Славождановск, памятники: Жданову-мыслителю, Жданову-полководцу, Жданову-литературоведу, Жданову — истребителю «врагов народа», и пусть опояшут их теми списками, пусть выгравируют золотом ту телеграмму. Все улицы в Ждановфильске, конечно, имени Жданова,— под номерами. Пусть принимают ежедневно постановления в ждановском духе. Пусть объявят всех Мадонн, созданных всеми Рафаэлями и Леонардами,— богоискательством и некрофильством. Тут-то и начнется: кто бдительней? кто мягкотел?.. Соревноваться будут. Вы́резать из предпоследней главы «Идиота» строки о «ждановской жидкости»! Вырезать всю главу! Запретить весь роман — как диверсию против Жданова. Запретить всех, кто его читал! Запретить тех, кто запрещал. Запретить вообще думать о «ждановской жидкости»! И будут ошалело бормотать про себя: «Я *о ней* не думаю. Я думаю не *о ней...*» Пересажают они все друг друга, так что два последних ждановца (ждановки?) друг на друга доносить побегут за то, что думают *о ней.* Только кому и куда?..

Имени Вернадского

А теперь осмелюсь оспорить мнение любимого мною Д. Гранина, который предложил: пусть будет просто — ЛГУ. Но есть имя бывшего студента Петербургского университета, гениального ученого, которого действительно по праву называют «Ломоносовым XX века» и без чьих идей «ноосферы» немыслимо и третье тысячелетие,— имя Владимира Ивановича Вернадского. По-моему, будет справедливо, если Ленинградский университет станет носить это имя своего студента, имя человека, который, помимо всего прочего, твердо противостоял ждановщине, который бесстрашно вступался за людей, преследуемых ждановыми, имя человека, воплотившего в себе как раз все то,

что было одинаково и недоступно, и ненавистно таким, как Жданов.

Однако не будем питать иллюзий: освободиться от ждановщины несравненно труднее, чем переименовать университет, а переименовать университет несравненно легче, чем чувствовать, мыслить и жить в духовно-нравственных координатах В. И. Вернадского. Но ведь вне таких высоких, чистых, благородных координат, вне координат нового мышления нам вообще не выжить. А низкие, злобные, завистливые и мстительные координаты ждановщины-сталинщины сегодня уже буквально самоубийственны.

Не имени Жданова, а имени Вернадского — пусть само это противопоставление, пусть сама история этого переименования тоже станет для нас великим уроком. Это же действительно красиво, это вдохновляет: Вернадский — вместо Жданова, благородство духа — вместо корыстного иезуитства, «ноосфера» — вместо... вместо чего? Ведь низость ждановской мысли даже и сферой никакой не назовешь. Не сферой же низости?

В. И. Вернадский писал: «Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие, переживаем научные достижения, равных которым не видели долгие поколения наших предков.

Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать». Вот высота...

Прошу вас, читатель, поверить: если б вы только знали, до чего же не хочется заниматься какой-то «ждановской жидкостью», когда есть Пушкин и Достоевский, Швейцер и Бор, когда есть такие люди, как Вернадский, есть такие мысли. А все-таки надо. Надо именно для того, чтобы перестала она, жидкость эта, отравлять то счастье, чтобы не помешала она тому будущему, о котором говорил Вернадский.

И пусть выпускники ЛГУ получат наконец дипломы с именем чистым и навсегда надежным. Пусть и вчерашние школьники выводят это имя в своих заявлениях — и почему бы уже не в этом году?

Я уверен: все так и будет, как уверен еще и в том, например, что придется переименовываться и Ростовскому университету имени М. А. Суслова. Опять очернительство? Нет: опять *против* очернительства! Однако, как говорится в эпилоге «Преступления и наказания»: «Это могло бы составить тему нового рассказа,— но теперешний рассказ наш окончен».

Евгений Носов

ЧТО МЫ ПЕРЕСТРАИВАЕМ?

> ***Демократия — это тот самозатачивающийся инструмент народного самосознания и самодисциплины, который становится тем надежней и действенней, чем будет он в большем употреблении. Демократия способна уверенно противостоять как анархизму слева, так и бюрократизму справа...***

Как я себе представляю, сегодияшияя перестройка — это вовсе не текущая косметика в квартире, когда что-то подсвежают, подкрашивают, меияют иадоевшие обои, иа иной манер переставляют мебель,— словом, иаводят очередной квартирный марафет.

Это даже ие капитальный ремонт всего дома — когда нагрянувшая жэковская бригада начинает таскать иа этажи заляпанные побелкой деревянные козлы, связки плинтусов, баллоны и шланги газосварки, скрежетио отдирать и сбрасывать виинз обветшалую кровлю, выламывать старые раковииы, ржавые склеротические водопроводиые трубы и, наконец разделавшись с интерьером, принимается за иаружность: замазывает выбоины и трещины, подправляет фроитониую мишуру и уж после всего наводит виешиий колер из той бочки, иа какую укажет главный прораб.

Нечто подобиое в истории нашего общества уже не раз бывало, ио все эти подиовлеиия и капремонты ие приносили желаемого удовлетвореиия. Освежающие материалы и краски оказывались непрочными, фасадиая штукатурка вскоре сиова растрескивалась и осыпалась, а во всех внутренних функциональных системах, смонтированных со следами поспешиой шабашки, по-прежнему начиило что-то подтекать, заедать и не срабатывать. Так что возиикавшее было чувство иовизны быстро улетучивалось, и все снова иачинали жить упованием иа лучшие времеиа.

На протяжении многих десятилетий такие подновления и капремоиты и особенно конструктивные иовации

прежних прорабов, не согласованные с чаяниями самих жильцов, а также с генеральным планом, все дальше уводили внешний облик и внутреннее обустройство нашего дома от его изначального замысла. В конце концов мы до того дообновлялись и допереиначивались, что в нашем ведомственно и кастово заперегороженном, забарьеренном, затабличенном, задерматиненном доме нечем стало дышать, а человеческий голос подчас глох в непроницаемых препонах заполнившего его чиновничества.

А ведь как было все прекрасно задумано!

После двух затяжных и разрушительных войн — первой мировой и гражданской,— низвергнувших народ в хаос разрухи, голода, продразверсток, повальных тифозных хвороб, приходилось начинать почти с нуля. Надеялись только на самих себя, на миллионы ухватистых рук, вооруженных тачкой и лопатой. А еще — вдохновляющим ленинским предначертанием. Мечталось на месте обветшалой, покрытой соломой России воздвигнуть нечто необыкновенное, величественное, равно справедливое для всех, просторное для души и мысли, светло и гордо вознесенное над прочими угнетенными народами, чтобы далеко был виден наш общий социалистический дом под красным флагом, с широкими окнами, открыто и честно глядящими в наше будущее и наше прошлое, во все стороны света, на весь остальной человеческий мир.

Но осуществить эту прекрасную мечту Ленину не довелось. Он ушел из жизни, успев заложить лишь фундамент и оставив развернутый план, как и что следует делать дальше.

Если бы этот план попал в хорошие, добрые руки! Но судьба распорядилась так, что невоплощенный замысел оказался как раз в тех руках, в которых великий зодчий революции не хотел его видеть. Осиротевшее строительство взял на себя Сталин.

Новый прораб, повесив над стройкой отвлекающий лозунг: «Ленин умер, но дело его живет»,— принялся переиначивать ленинский план на свой аршин. Властный и самолюбивый, не терпевший ничьего другого мнения, он неприязненно относился к идее многоголосого, вечевого управления. И потому своим синим обрекающим карандашом прежде всего перечеркнул систему двусторонней гласности, направленную сверху вниз и снизу вверх. Эта система, по замыслу Ленина, должна была сыграть роль общественной вентиляции, обеспечивающей кислородный режим и предупреждающей застойную плесень и нравственное загнивание. «Не надо»,— поморщился он и вместо двусторонней

циркуляции гласности предпочел односторонний циркуляр.

Постепенно на фундаменте ленинского народного социализма начало прорастать нечто блоко-гранитное, пирамидоподобное, вершиной задевающее облака, названное демократическим централизмом. Как потом показали последующие годы, это нечто оказалось вовсе не демократическим, а самым примитивным деспотическим централизмом, лишь снаружи прикрытым декоративной овечьей шкуркой. Модель эта древнейшая, нашедшая себе применение еще во времена строителей Великих пирамид. Вся эта единовластная, центронаправленная и строгорежимная махина, в какие бы века она ни возникала, непременно зиждется на лишенной гласности, единообразно мыслящей, коленопреклоненной массе, поддерживающей чиновно-иерархические этажи, где нижний подпирает верхний, а верхний попирает нижний. Этажи, постепенно сужаясь, под конец образуют сиятельную вершину, на которой остается лишь тот, от кого исходит живительная благодать и карающие громы и молнии.

О том, как делать единообразную и коленопреклоненную массу, двигающую глыбу великих строек, тоже было известно еще древним. Всех горлопанов, горазды́х перечить, иметь свое суждение или, напротив, мрачно молчащих, отводящих в сторону глаза и не проявляющих должного почтения, посредством наушничества и лжесвидетельства уличали в покушении на престол, заковывали в колоды и отправляли на галеры, с тем чтобы всем остальным было неповадно.

В нашем двадцатом веке все делалось так же, с той лишь разницей, что галерные весла заменялись пилой. Но только в том случае, если не постигала высшая мера.

Вот образчик судилища (цитируется по «Судебному отчету по делу антисоветского «право-троцкистского блока»...». Юридическое издательство. Москва, 1938):

«Государственный обвинитель Вышинский:

— Были ли случаи, когда ваши соучастники, сообщники в преступном заговоре против советской власти и советского народа подбрасывали в масло гвозди?

Подсудимый (фамилия опущена мной.— *Е. Н.*):

— Были случаи.

Вышинский:

— С какой целью? Чтобы было «вкуснее»?

Подсудимый:

— Это ясно.

Вышинский:

— Вот это и есть организация вредительской ди-

версионной работы. В этом вы себя признаете виновным?

Подсудимый:

— Признаю.

Далее Вышинский весело вышучивает подсудимого, видимо, и сам не веря в нелепые обвинения относительно гвоздей в масле (в самом деле, как можно «подбросить» гвозди в сливочное масло?! Как это сделать практически?).

Вышинский:

— А в яйца гвозди не подсыпали?

Подсудимый:

— Нет.

Вышинский:

— Почему? Не выходило? Скорлупа мешала?..»

И гремели карающие выстрелы, и лязгали запоры пожизненных заключений...

Представляется, как он, оставшись один в глухом предрассветном кремлевском кабинете, доставал из стола потаенные списки и, раскурив трубку, как расчетливый игрок, неспешно и углубленно раскладывал свой жуткий ночной пасьянс из человеческих судеб. Он скользил сощуренным взглядом по разложенным именам и время от времени помечал кого-либо все тем же синим обрекающим карандашом. Никто не знает, какие конкретные мотивы заставляли синего коршуна опуститься на ту или иную жертву. Но теперь, спустя десятилетия, просматривается общая направленность обречений: расчищая себе дорогу к непререкаемой власти, он вырубал самые крупные деревья, которые затеняли его и своей высотой не позволяли ему казаться выше других. Мстительное ожесточение не останавливало его даже перед родственниками, возможно что-либо знавшими или когда-то что-либо неосторожно сказавшими по-родственному. Иногда он ломал человека особо иезуитским приемом: не трогая самого, но подвергнув репрессии его жену или брата, давал понять, что при малейшем непослушании та же участь постигнет и его. И растоптанный и униженный человек, находясь под постоянным страхом расправы, невольно превращался в безропотного услужителя. Такая участь, например, постигла Молотова, с которым Сталин по-прежнему поддерживал внешне дружеские отношения. Но особенно злорадное удовлетворение получал он, натравливая одну жертву на другую. Так поступил он и с маршалами Егоровым и Блюхером, послав их судить своего же боевого товарища, маршала Тухачевского. А

вскоре они сами были расстреляны по такому же шаблонному инспирированному обвинению.

В энциклопедический справочник о гражданской войне за 1983 год боязно заглядывать: столько в нем изломанных, растоптанных и оборванных судеб! Все они закончились трагически, но справочник продолжает стыдливо сообщать, будто ничего с этими людьми и не случилось: «В дальнейшем на партийной и хозяйственной работе». Или: «В дальнейшем на командных должностях». Да ведь не было у них ничего в дальнейшем! И какие имена! Уборевич! Косиор! Гай! Бокий! Енукидзе! Корк! Рудзутак! Гамарник! Примаков! Якир! Лацис! Костюх! Затонский! Уншлихт! Блюхер! Крестинский! Егоров! Тухачевский! Бела Кун! И многие, многие, многие, многие другие. Сколько их, этих других? Кто знает?..

В таком потрясенном состоянии общество вскоре надело шинели Великой Отечественной.

Не потому ли на нас и напали в сорок первом, что враг понимал: лучшего момента, более ослабленной изнутри России, чем тогда, может уже и не быть...

Шли навстречу вражеским танковым армадам плохо вооруженные и плохо снаряженные, не всегда с патронами в подсумках и снарядами в артиллерийских передках. Шли без несостоявшихся танковых корпусов, на развертывании которых настаивал маршал Тухачевский, без ракетной огневой поддержки, также предложенной им, но отвергнутой как идея, исходившая от «врага народа», без самого маршала — смелого новатора, образованного и умного полководца, знатока тактики и стратегии германского милитаризма. Шли, заведомо понеся огромные моральные и стратегические потери, как если бы, еще не начиная сражения, наперед отдали врагу трех прославленных маршалов, почти всех командармов, большинство командиров дивизий, командиров полков и почти поголовно всех политкомиссаров всех уровней и рангов — считай, душу армии, ее главный мотор и наиглавнейшее оружие.

Слишком большая и опасная фора гитлеровскому вермахту!

Не этой ли расправой над лучшими, обстрелянными революцией и гражданской войной командными кадрами предопределены последовавшие затем потери двадцати миллионов? Впрочем, двадцати ли? Не стыдливые ли это цифры? И были бы человеческие жертвы столь велики, а территориальные потери столь позорны и унизительны? Всего не перечислить, чего могло просто не быть...

Да, мы все-таки победили! «Пол-Европы прошагали, полземли...» Измученные народы ждали нас, и мы, преодолев все, пришли наконец им на помощь. Но они ждали нас ленинцами, а пришли мы хотя и победителями, но сталинцами. А это не одно и то же... Мы пришли учить их будущей свободной жизни, сами уже потеряв ее. Мы пришли не от ленинских Советов, а от сталинских политотделов. Не с ленинской демократической открытостью, а со сталинским настороженным сощуром и застегнутостью на все пуговицы, за которой тщательно прятали от братьев по борьбе все свои социальные извращения и недуги, приведшие впоследствии к падению нашего престижа.

Ранней весной 1953 года Сталина не стало.

На несколько дней страна оделась в траур.

Поникли знамена, примолкли, ушли в себя люди. Светило, казавшееся вечным, погасло, и знобко повеяло холодом неизвестности. День погребения, когда жутко выли гудки, казался концом света. Многие рыдали.

Положили его в Мавзолей рядом с Лениным, как бы проведя между ними знак равенства. Так тогда раболепно казалось.

Но равенства между ними никогда не было. Куда вел за собой Ильич, всем было ясно. Куда вел Сталин, наверное, под конец не было ясно и ему самому. Начавшиеся после войны новые театрализованные и по-прежнему жестокие процессы, которые, казалось, после нашей Победы над фашизмом, олицетворением чудовищного беззакония и жестокости, не должны были повториться; разгром генетического нтра страны; глумление и надругательства над крупными учеными; циничное потакание лжеученому академику Лысенко — этому Гришке Распутину от науки; предание анафеме кибернетики, объявленной буржуазной лженаукой, в результате чего мы угрожающе отстали в своем техническом развитии,— это ли продолжение дела Ленина?

И вот Сталин в гробу.

Люди двигались мимо с робким и настороженным чувством, испытывая растерянность и смуту, как если бы проходили мимо упавшего с неба божества, у которого при ближайшем рассмотрении оказалось все разочаровывающе обыкновенным и преходящим: темные запавшие глазницы, узкий скошенный лоб, местами посеченный оспой, отдавал пергаментной сухостью долго постившегося схимника.

В сущности, это был одинокий, глубоко несчастный человек, отягченный больной совестью, доживавший свои годы в угрюмом одиночестве, без окружения отвергнутых им близких, без верных друзей, с которыми можно было бы душевно расслабиться, но которых он предал и цинично растоптал, без увлечений и привязанностей, наверно, даже ни разу не покормивший кремлевских воробьев; человек с сумрачной средневековой натурой и непредсказуемым поведением, подозрительный, носивший мягкие, вкрадчивые сапоги, непреклонный, не ведающий чужой боли, а может быть, и своей тоже.

Он оставил задерганную, замордованную процессами страну, напичканную фискалами, испытывавшую до последнего его часа дефицит колючей проволоки, когда при свете дня, не таясь, нельзя было взять в руки Достоевского, Есенина, Бунина, Александра Грина, Андрея Платонова, Анну Ахматову и даже Сетона-Томпсона — последнего за то только, что этот прекрасный анималист писал о гордых и вольнолюбивых зверушках, вызывая у нашей детворы якобы антиматериалистическое восхищение и сострадание. Оставил общество, повергнутое в безгласность, в молчание, перед постоянной опасностью доноса принужденное думать одно, а говорить другое и на все согласно кивать.

Старая деревенская женщина, по самые выцветшие глаза замотанная серым платком, взваливая на плечо мешок, угловато набитый буханками, сказала о его смерти как бы самой себе: «А-а... Хужей не будет... Куда ж ишшо...»

Кстати, деревня по нему не убивалась: натерпевшись всего, она сдержанно и строго молчала.

Со всем этим надо было что-то безотлагательно делать, и руководство партии, в первую очередь понесшее от своего генсека огромный урон, приняло решение низвергнуть культ личности Сталина, освободить саму партию и весь народ от отягчающих сознание и волю культовых вериг.

Помнится, как тяжело и горько звучала разоблачающая речь Хрущева, как слушали его, опустив головы, как не вдруг, не сразу приходило отрезвление и отпускало скомканные души. Но самое трудное было сделано — окна распахнуты, и многие вздохнули с облегчением, как если бы сбросили нашейную колоду.

Люди с пытливой надеждой вглядывались в первые появившиеся портреты Хрущева — нового заступившего прораба: никакой высокомерной отчужденности, никакого надменного вождизма во взгляде, простое крестьянское лицо с совершенно неруководящим вздернутым носом, открытая улыбка, обнажавшая два крупных, широко расставленных зуба, сквозь которые в мальчишестве, должно быть, ловко сплевывалось, когда играли в биты на околице курской Калиновки. Весь какой-то обыденный, свойский: надень на него ватную телогрейку да шапку-ушанку — ни дать ни взять колхозный бригадир. И что еще привлекало: в столице безвылазно, как Сталин, не сидит, во все сам вникает, землю пальцами мнет, пшеничный колос теребит, зерно на зуб пробует. Свой, кажется, мужик!

Как-то не верилось, что больше не станет тюрем. А по запредельным землям с вечной мерзлотой под ногами распускали лагеря, валили сторожевые вышки, усыпляли конвойных собак за ненадобностью дальнейшего применения.

И появились на станциях и в поездах уцелевшие и отпущенные узники — с лагерной свинцовой сединой, запавшими, поблеклыми глазами, задышливые, с подшаркивающим шагом, превратившиеся в стариков. Молчаливо, неразговорчиво пробирались они к своим домам, к таким же постаревшим, померкшим женам, к взрослым, неузнаваемым и неузнающим детям, к отвыкшей, отчуждившейся семье, вернее, к тому, что от нее осталось, ибо лучшие годы прошли по разные стороны разлучившей их проволоки. Многие из вернувшихся вскоре умерли: не смогли адаптироваться, не вынесли этого глотка свободы, как не выносят резкого всплытия наверх водолазы, долго пребывавшие на дне.

Возвращались по домам целые народы, некогда попавшие в немилость,— балкарцы, чеченцы, калмыки, изгнанные из отчих мест до последнего человека. С содроганием вспоминали они насквозь продуваемые товарняки, увозившие в ссылку. Люди ехали стоя, сплошным комом сгрудившихся тел, и только совсем ослабевшие сползали и опускались на грязный ледяной пол. Иногда в безлюдных местах товарняки останавливали, чтобы вынести из вагонов трупы и закопать их в снег...

Вместе с земляками-балкарцами возвратился в долину Чегема Кайсын Кулиев. Из заполярного рудника наконец вырвался в свою Калмыкию Давид Кугультинов. В родную Чечню вернулась с навсегда испуганными глазами поэтесса Раиса Ахматова...

А тем временем Никита Хрущев принялся разбирать сталинские культовые завалы, перетряхивать министерства и ведомства, выкуривать оттуда набившихся чиновных хомяков, вызволять крестьян из сталинской олхозной барщины и зверевского податного оброка. Впервые сельские жители получили паспорта и гарантированную денежную оплату за свой труд.

На добро народ отвечал добром: на одном дыхании были вспаханы, засеяны и обжиты многие миллионы гектаров целинных и залежных земель.

Чтобы наглядно продемонстрировать целинные успехи, было велено во всех столовых подавать хлеб бесплатно. Велено было также бесплатно выдавать свежую нашинкованную капусту. Подходи к чану, накладывай сам себе в тарелку сколько хочешь. Хорошо, конечно,— витамины!

Однако это были всего лишь первые шаги на пути к экономическому и демократическому обновлению общества. Даже не шаги, а полушаги только. Например, первый год освоения целины, несмотря на хороший урожай, все-таки принес убытки: бездорожье, отсутствие складских емкостей, высокие затраты на переброску техники, горючего, стройматериалов, переселение больших масс людей склонили весы в убыточную сторону. И в последующие годы хлебная проблема так и не была окончательно решена, зерна в стране по-прежнему не хватало. Так что раздавать в столовых хлеб бесплатно было рановато. Но тогда еще никто не знал, что Никита Хрущев, горячая голова, склонен был к таким широким жестам, не подкрепленным реальным обеспечением.

То же самое и с демократией. С вершины бюрократической пирамиды был сброшен ее творец, в замшелых стенах абсолютистского сооружения пробили отдушину, впустили живительный воздух. Но сама-то пирамида осталась! Со всеми своими иерархическими этажами и даже пустующим самодержавным креслом на макушке. А пока кресло не убрано, всегда будет соблазн забраться в него и примериться. Так что все, что было предпринято, можно было назвать лишь послаблением, а не демократией. У нас ведь как: ежели за воротник не хватают — уже и демократия. А на самом деле демократия — это не когда тебе что-то разрешают, а когда ты сам себе не разрешаешь. На том и должно все держаться: и человеческое общежитие, и общее дело, и самоуправление. А это возможно, когда человек научится укорачивать прежде всего себя, а не других. Наука нескорая!

В какой-то розовый момент, когда голова слегка затуманилась от показавшегося преуспеяния, неизвестно какой бес лукаво нашептал: настал-де, Никита-свет, твой звездный час, твое исключительное предназначение. Смело бери в руки бразды — и с ветерком! Покажи всем кузькину мать. И как-то сладко поверилось в это. Примерился к пустовавшему единовластному креслу — нигде не жмет, не давит. Правда, высоковато, вниз глядеть — там люди, как мураши. Но зато далеко видать, особенно вперед. И захотелось сотворить нечто такое, чтобы все диву дались и ахнули. Ну хотя бы в ближайшие годы догнать и перегнать Америку. По технике мы уже ее обставили: наш спутник уже летает, а ихнего что-то не слыхать. Теперь осталось обогнать ее по уровню жизни. Показать им, в самом деле, кузькину мать. Или заделать коммунизм, скажем, к восьмидесятому году.

Ах, этот российский неоглядный характер! Ах, это лихое, молодецкое — шапку оземь! Ах, эта птица-тройка с бубенцами! «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее?»

Насчет коммунизма к восьмидесятому году люди уже и тогда конфузливо переглядывались: не лишку ли хвачено? Даже если и обставить Америку по всем статьям, то из одного изобилия коммунизма не получится. Потому как коммунизм — это не просто стол, прогнувшийся от избытка: подходи и потребляй сколько хочешь за так. Нет, коммунизм не ублажение себя, а торжество человеческого совершенства, итог долгой, из поколения в поколение, кропотливой нравственной селекции, выведения людей особого мышления, создания особой, высоконравственной, невосприимчивой ко всякой скверне среды обитания. Где уж там — «к восьмидесятому году»...

Что же касается мирного состязания с Америкой в изобилии, то спору нет — дело это хорошее, патриотическое, а не шапкозакидательное, не ради бесшабашных амбиций, поднявших на дыбы экономику целой страны.

А расклад был такой.

У нас:

помимо безалаберщины, селекционной запущенности и хронической бескормицы, бичом нашего животноводства является долгая холодная зима с заносами по самую крышу, с морозами, от которых лопаются водопроводные трубы, а навоз превращается в бетон.

Перенести, перетерпеть такую зиму даже в исправных постройках требуется немало коровьего мужества. А бывает, что и коровник худой, щелястый, и пожевать, кроме соломы, нечего. Да и ту не всякий день подвозят. А то загуляет село на Николу-зимнего или на Варвару да и запамятует в многодневном гудеже накормить и напоить брошенную скотину. Иной раз сторожа да скотники так назюзюкаются, что и постройку спалят вместе с коровами, и сами погорят, сердешные. Всякое на святой Руси бывает, повидал я...

Такой вот зимовки — спертой сырости, темени, дрожака, а то и голодухи — выпадает на коровью долю почти полгода: с ноября по апрель — май, а по Сибири и того дольше. Но и в этих условиях с замурзанной, взъерошенной и истощенной коровенки, привязанной цепью за шею до самой весны, не слазят всякого рода планокачатели, требуя от нее ударного молока и планового теленка. На этого теленка уходили ее последние силы и оставалась одна забота — не упасть. Так что, пока она дождется весны и выберется на первые проталины погреть бока, от нее останется одна только среднестатистическая шкура, повешенная на растопыренные кости. Уж и май минул, июнь на лугах, трава по вымя — казалось бы, самое молочное время, а нужного молока все нет. Она, голубушка, ест, ест, жадничает, аж язык зеленый, даже мух забывает отмахнуть, изо всех сил старается начальство уважить (душа-то у нее российская, сочувственная, всех жалко!), а молока все мало. Ей пока не до рекордных удоев: почти весь корм на себя тратит, на восстановление зимних худоб. Но едва наберет сил — вот тебе первые заморозки, конец летней благодати. И опять на полгода на цепь и на солому...

А что было у них? Какие козыри?

Нашей буренке противостояла мощная элитная фермерская корова, сформированная жесткой конкуренцией, а потому содержащаяся в оптимальных условиях при одновременной дотошной просчитанности затрат на единицу продукции. Поэтому впроголодь, а тем паче вовсе без корма, как это бывает у нас, корову не оставят, но и лишнего не дадут. А дадут ровно столько, чтобы она постоянно пребывала в надлежащей «форме». Иначе ее забьют. Так что ихняя корова всегда хорошей породы, упитанна, ухоженна, как может быть ухожена и отлажена гоночная или, вернее, молокогоночная машина.

Но главное — это закром.

У нас — солома, веточный корм, случайно — корнеплоды, не всегда сено, тем более зерно в рационе.

В ихнем, фермерском, закроме — более тонны кукурузного зерна на каждую дойную и убойную голову в год. Куда с лихвой! Да еще сорго, да соевые бобы, из которых производят высокобелковые концентраты, да миллионы тонн жмыхов масличных культур, да технологичный насыщенный силос, да обязательные корнеплоды, потребное количество сеяных трав и сена из них. Да плюс ко всему естественные выпасы молочного пояса и прерий Великих равнин.

А кроме всего — организация дела.

У них ставка на высокую индивидуальную продуктивность.

У нас с продуктивностью не важно, а потому весь расчет — на количество голов. У них — чем меньше коров, тем выгоднее. Для нас пока лучше, если скота больше. В итоге одна ихняя корова против трех наших. Или сто против трехсот. Но чем оборачивается такое соотношение? Прежде всего непроизводительными затратами. Чтобы разместить те же триста голов, надобно построить втрое больше против ихнего животноводческих помещений. Для этого потребуется втрое больше кирпича, леса, цемента, шифера, водопроводных труб, поилок, кормушек и т. д. Во-вторых, надо иметь втрое больше кормов и естественных выпасов. Кроме того, эти триста коров за зиму произведут втрое больше навоза, на уборку которого надо затратить втрое больше ручной или моторной работы. Все это ложится тройной наценкой на себестоимость продукции.

Однако такая бухгалтерия не заставила задуматься Никиту Хрущева. Он был уже одержим, не слушал никаких резонов и очертя разгоряченную голову ринулся в рукопашную с быкомычащей Америкой, заведомо обрекая свою затею на провал и на дискредитацию неразвернутой экономики.

Лично побывав в Штатах и посмотрев на тучные кукурузные поля Айовы, почесав за ухом вскормленных на калорийных харчах крутолобых бычков, он привез домой подсмотренную там идею. Оказывается, все просто! Надо только засеять кукурузой побольше площадей. Вот она — панацея! Да мы их... С нашими-то просторами...

«Можно с уверенностью сказать,— звучало потом в одном из документов,— что мясная проблема в самый короткий срок в нашей стране будет успешно решена и мы будем иметь мяса в достатке не только для внутренних потребностей, но сможем заложить значительные государственные запасы и выделить часть мяса и мясных продуктов для внешней торговли».

«Хорошо глядеть, как солдат идеть»,— говаривали прежде в подобном случае.

В стране началась памятная кукурузная кампания, в том ее проявлении не понятая и не принятая народом. Вообще-то сама по себе культура она продуктивная, если с ней обращаться по уму. Но Кострома не Айова... Во многих российских местах кукуруза оказалась самозванкой, непрошенно посаженной на престол нашего земледелия. Внедряли ее таранно, ударом кулака по столу, не слушая никаких резонов, вешались выговоры, отбирались партбилеты, не глядя ни на широту, ни на долготу.

Не имея свободных земель в тогдашних пахотных регионах, ее поначалу вводили, вернее — вколачивали в уже занятые угодья, тесня не только традиционные испытанные кормовые культуры, но и зерновые тоже. Однако это не дало желаемого результата. И тогда трактора ворвались в луга...

Вспоминаю, как была загублена пойма реки Полной. Река вполне оправдывала свое название: вода стояла в самый край берегов. Сколько в ней было рыбы! Какое раздолье для дичи в луговых старицах! Но главное — какие выпасы, какие зимовали стога! Я ставил свою палатку на берегу и буквально за несколько захватов нарывал хороший беремок душистых трав для ночлега. Но вот с ревом и грохотом прикатила мелиоративная техника: бульдозеры, кусторезы, экскаваторы. В одно лето срезали луговые ивняки, выпахали корневища, спустили все луговые старицы, а саму Полную, прежде раздольно петлявшую в лугах, загнали в прямой, как стрела, канал с глинистыми откосами. Вода бурно устремилась в него, уровень в реке резко упал, обнажились рачьи норы и белые корни аира. Метнулась и куда-то ушла перепуганная рыба, долго носились над неузнаваемыми лугами обездоленные чибисы и кряквы. И в первый же день после слива реки сорвалась с обнажившегося и ставшего крутым берега корова. Ее потом вытащили веревками и бросили тлеть на берегу. Долго потом сюда сбегались пировать, оглодывать решетчатый остов окрестные деревенские псы. Но кукуруза здесь так и не выросла: посевы ее вымокли, взошли изреженные и блеклые, будто больные.

Не пошла и сахарная свекла. Да и плюнули на всю эту мелиорацию. И на обезвоженном и брошенном лугу вовсю полезли сорняки и колючник, густо ронявший по ветру пуховые семянки, рассеиваясь по окрестным полям.

Наконец пришла мысль посягнуть и на саму травопольную систему, выбросить из севооборота травы-

предшественники, а вместо них внедрить все ту же кукурузу. Для оправдания этого посягательства был изруган и дискредитирован основоположник этой системы академик Вильямс, портреты его сняли, а труды изъяли из учебных заведений и библиотек. Наряду с травами, игравшими роль восстановителей питательного баланса почв, были ликвидированы и чистые пары, вместо них, дававших отдых земле, внедрялась опять же кукуруза.

Но это далеко не все амбициозные извержения того поистине вулканического десятилетия.

Упрямо изыскивая способы посрамления Америки, Никита Хрущев распорядился скупить у колхозников без всяких уклонений всю их рогатую живность. Таким административным приемом удалось увеличить общественное поголовье на несколько миллионов голов. Но с наступлением холодов выяснилось, что колхозы и совхозы не готовы к размещению и содержанию скупленных коров, и их пришлось частично забить. С той поры на деревне не стало ни коров, ни телят, а упрямые старушки, как их теперь ни уговаривают, не желают больше возиться с рогатиной. Телевизор лучше. Так что испить на селе кружку молока стало проблемой, порожденной все той же амбицией: «Какое молоко! У нас, милай, теперь нигде не мычит, будто уши заложило. Будешь итить соседней деревней, Алябихой-ти, дак спроси у Анисимовны, кажись, она доси коровку держит. А у нас уже и на погляд нетути. Усих порешили».

Или вспомним печальное постановление о лошадях. Они были обозваны дармоедами, поедающими чужой корм, позорящими социалистическую Россию бездельным ржаньем и тележным скрипом. Но дело тут не в «бездельном ржании». Какой-то придворный лукавец нашептал Хрущеву, что ежели забить несколько миллионов лошадей, то сколько сразу сэкономится корма! Да плюс почти за так уйма конского мяса! Да кожа на ремни и подметки! Было запрещено выдавать корма на лошадей, их исключили из всех видов отчетности, то есть фактически объявили вне закона, и колхозы волей-неволей вынуждены были отправить их на убой. И потянулись на живодерни эти скорбные, понурые шествия лошадей по дорогам России, которую они много веков кормили, опахивали, окашивали и берегли от врагов. Еще и теперь кони, брошенные на произвол, бродят по полям, иные с малыми жеребятами. Обросшие длинной дикой шерстью, они зимуют в терновни-

ках, лесных полосах или возле одиноких скирдов, грызя смерзшийся наст и сторожко, опасливо прядая ушами при виде показавшегося человека.

А тем временем молочную флягу от фермы до сельского детского сада везут на тракторе с прицепом. Тогда как высокомоторизованная Америка и теперь держит для расхожих работ 10 миллионов лошадей.

А насаждение декоративных агрогородов?! Ради такой театрализованной жизни, случалось, людей силком, с милиционером переселяли в казенные многоквартирные дома с общим для всех туалетом под забором. А тем временем покинутые деревеньки объявлялись бесперспективными, дворы зарастали чертополохом, кособочились и падали радиостолбы, осыпались колодцы и ветер трепал истлевший белесый флаг, забытый над крышей заколоченной школы.

Или многократное объединение колхозов, превращение их в показушные гиганты, где все огромное: и поля, и тракторные гоны, и объединенные доходы, ставшие миллионными (и долги тоже), но оказался совсем маленьким сам человек, чей голос все больше терялся в бескрайности обезличенной земли, уже не обогреваемой любовью ее оратая.

А какую неразбериху внесли всякие структурно-руководящие комбинации, скажем, создание областных и краевых совнархозов, этих еще одних бумажно-волокитных сооружений! Или разделение областных комитетов партии на промышленные и сельские обкомы, между которыми сразу же возникли всякого рода несогласованности и ненужные противопоставления. Или разделение мелких областей на еще более мелкие. Из нашей Курской сделали две: собственно Курскую и Белгородскую. Обе с одинаковым профилем экономики: у них руда, и у нас руда, у них производство сахара, и у нас оное... Даже Курскую огненную дугу пришлось поделить между областями: южный фас — белгородцам, северный — курянам. Теперь на территории бывшей Курской области стали действовать два обкома, два облисполкома, два облсельхозуправления, два контингента милиции, два облоно, два облздрава, облстата, облкинопроката и т. д. Всяких «обл» стало по паре. И всем их служителям государство фактически платит двойные денежки. Что же тут было делить, если между Курском и Белгородом всего-то 150 километров?! Такая же двойная дань платится за отделение Липецка от Воронежа, между которыми и вовсе 126 верст земли.

Решения и постановления, предписания и указания сыпались градом, нижестоящие органы не успевали их

воспринимать и осмысливать, их охватывала нервозность и зыбкая неопределенность перспективы. На этом фоне в Рязани раздался трагический выстрел: секретарь обкома Ларионов покончил с собой. Но многие, еще со сталинских времен приученные не перечить, приспосабливаясь к показному цифротворчеству, пустились откровенно врать в отчетах, выдавая желаемое в верхах за действительное в низах.

В начале шестидесятых годов раздался еще один выстрел: после тщетной попытки остановить разрушительное экспериментаторство в деревне, после неоднократных, но безответных обращений на этот счет к Хрущеву пытался покончить с собой отчаявшийся Валентин Овечкин.

И, словно предвестники грядущей беды, начались пыльные бури — прямое следствие чрезмерных распашек и нарушения севооборотов. Миллионы тонн растревоженной земли подняло ветрами с полей Кубани и Ставрополья. За одну ночь наши курские, еще заснеженные предвесенние поля переоделись в черные сугробы. Черная взвесь проникала сквозь оконную оклейку, черно лежала на подоконнике, на писчей бумаге, ну и, конечно, на душе...

Подобные пыльные бури потом повторялись неоднократно.

Вопреки еще не успевшим выцвести, не смытым дождями оптимистическим диаграммам роста надоев и привесов, с прилавков магазинов стало исчезать мясо и все мясное. Потом все молочное. В считанные дни размели даже привялые плавленые сырки. Куда-то девались пшено и гречка, как потом оказалось, исчезли на целые десятилетия. Дело дошло до лапши и макарон. Осенью хлебозаводы прекратили плановую выпечку батонов и булок, закрылись кондитерские цеха. Белый хлеб выдавали по заверенным печатью справкам только некоторым больным и дошкольникам. В хлебных магазинах и столовых появились обращения, предлагающие еще раз подумать, сколько вам нужно хлеба. Над страной нависла угроза карточной системы. Одним словом, приехали...

«Болярская шапка» оказалась не по «нашему Сеньке».

Никита Хрущев, вопреки своему простодушному крестьянскому облику, оказался человеком с упрямым и своевольным характером, был способен, не дослушав, внезапно и бурно разгневаться, бесцеремонно и грубо обругать. Предприняв ряд мер против сталинского монополизма, он сам же перешел к единоличному, волевому и непререкаемому управлению страной, взяв

на себя еще и обязанности Председателя Совмина, не располагая для этого склонностью к вдумчивому, углубленному социально-экономическому анализу обстановки... Общество в конце концов устало от бурного и непредсказуемого экспериментаторства, хотелось трезвого перспективного дела.

Прежде всего возникла проблема нового руководителя. Высший эшелон, где решаются такие задачи, во времена волевого десятилетия тоже испытал немало неудобств от непосредственных контактов со своим шумным лидером. Поэтому вполне естественно, что новую кандидатуру подбирали по принципу противоположности. Если, например, предшественник был горяч и неуправляем, то его преемник, напротив, должен быть со всеми лицеприятен, коллегиален, иметь терпение выслушивать и принимать советы и рекомендации. Обусловили также линию поведения: спокойно, без суеты исполнять свои непосредственные обязанности, без неотложной надобности не разъезжать по стране, как это часто и показно делал Хрущев в своем специальном поезде с многочисленной свитой экспертов, советников и поваров и даже кавалькадой лимузинов на платформах... Словом, дать стране прийти в себя, оправиться от пережитых новаций.

Таким кандидатом показался Леонид Брежнев.

И он держался подобающе. Или, как называют это в низах, не высовывался. Его портреты в газетах были редки и скромны. И никаких речей и нравоучений. Всем это нравилось. Наконец-то потишело. Страна отдыхала.

Но страна отдыхала, работая. Была пущена на полную мощность Братская ГЭС, введен в действие газопровод «Дружба», завершена реконструкция Волго-Балта, осуществлена первая в мире мягкая посадка на Луну автоматической станции.

Тем временем никогда не дремлющий бюрократизм присматривался к очередному лидеру, определяя свою тактику в новой обстановке. После некоторого выжидания в газетах появилась лукавая добавка: «...и лично Леонид Ильич Брежнев». Лидер не возразил, послушно принял подношение. Добавка быстро вошла в обиход и вслед за газетами зазвучала с разновысоких трибун. Взамен невыразительного, будничного «Первый секретарь» было предложено прежнее, как у Сталина, осанистое, сразу возвышающее над всеми остальными звание «Генеральный». Новое звание пришлось очень даже к лицу, ко всей молодцеватой фигуре.

Теперь золотая звездочка Героя Соцтруда на широкой груди Генерального оказалась явно одинокой, и ему приподнесли Звезду Героя сначала за Малую землю, а потом еще три героические звезды просто для солидности, для авторитетного вида.

Так же посчитали нужным примерить на него маршальский мундир, и тот, отменно простроченный, приятного цвета топленого молока, пришелся в самую пору, как тут и был. Маршальский же орден «Победа», украшенный бриллиантами и каменьями, довершил лучезарный облик. Над страной вставало еще одно рукотворное руководящее светило. Еще одно незакатное солнце.

Хорошо, конечно, когда во главе страны стоит авторитетный лидер. Но для этого надо, чтобы он сам создавал свой авторитет. Но... лидера делали другие.

Наконец был преподнесен еще один приятный сюрприз: оказывается, лидер, ставший уже человеком преклонных лет, начавший забывать, в какой карман вложены чужие листки для произнесения «собственной» речи, еще и большой писатель! И хотя уже тогда нетвердые языки проболтались, что «Малую землю», «Возрождение» и «Целину» сработали бойкие подрядные перья, тем не менее официально признанному Высокому автору за выдающиеся литературные заслуги была присуждена Ленинская премия. В тот раз в списке соискателей стояла одна только эта фамилия. Тем самым как бы подчеркивалось, что рядом со столь исключительным талантом находиться кому бы то ни было — просто недозволительное самомнение.

Лидер принял премию и, как многие помнят, в ответном слове пообещал написать еще...

Члены жюри и присутствовавшие на церемонии высокие гости одобрительно похлопали этому щедрому обещанию.

Сговорчивый, покладистый руководитель «ленинского типа» готовно брал все, что ему давали, но и без возражений отдавал все, что просили. Щедрой рукой расписывался на подсунутых бумагах, одаривая орденами, званиями, должностями, назначениями, повышениями... Мы — тебе, ты — нам.

Отдал он в распоряжение бюрократизма и самое главное — руководство страной. Редко выезжавший, спеленатый, окутанный хитросплетенным коконом лести, заживо мумифицированный, он получал представление о своей стране и ее делах лишь по услужливым газетам, парадным рапортам и припудренным статотчетам. Бумаги же выглядели всегда усыпительно прекрасно.

Дело было сделано, лидер пребывал в желаемой нирване, и бюрократизм, копившийся десятилетиями, пополз из всех своих потайных щелей на отвоеванный оперативный простор. Теперь во всем была его безраздельная и безнаказанная воля!

Как известно, бюрократом не рождаются. Бюрократизмом заражаются. Как заражаются, например, ветрянкой. Как и всякому бациллоносному недугу, бюрократизму для самопроявления необходимы располагающая среда, благоприятные предпосылки. Поражая психологию людей, в первую очередь тех, от кого попахивает хотя бы мало-мальской властью, распространяясь как по вертикали, так и по горизонтали, бюрократизм, будучи весьма пластичным, умеющим приспосабливаться к различным общественно-политическим ситуациям, при определенных условиях способен давать вспышки, обретать массовые формы и даже перейти в повальную пандемию.

Сталинский абсолютизм, заложивший опорные глыбы бюрократической системы, все же не был подходящей средой для чиновного благоденствия. Исполнявшие верховную волю и сами наделенные немалой властью, чиновники всех этажей в условиях сталинской опричнины чувствовали себя во многом стесненно. К тому же Сталин, азартный политический игрок, сам небрегая житейскими благами, не позволял жиреть и своим чинам, держа их в гончей, поджарой форме. Но именно та обстановка жестокости, устрашения способствовала нравственной деформации человека, ибо страх является первородной субстанцией равнодушия, лицемерия, низкопоклонства, которые в свою очередь служат основой для порождения других производных пороков. Страх убивает человеческое достоинство, извращает сознание, побуждает падать ниц при виде начищенной обронзовелости.

Особенно пагубной та обстановка оказалась для подрастающего поколения послевоенных лет. Вбирая разлагающий дурман подобострастия, дыша им в стадии своего гражданского становления, многие молодые люди как бы вдохнули в себя инфекцию бюрократизма, став бациллоносителями опасного социального недуга. Это и привело впоследствии к гражданской апатии, небрежению принятыми нравственными и духовными ценностями, к прямому участию в образовании застойной обстановки в стране.

В словарях о нашем, отечественном бюрократизме говорится с некоторым снисходительным осуждением.

Бюрократом называется должностное лицо, выполняющее свои обязанности формально, в ущерб делу. Ну подумаешь, иной раз в служебное время куда-нибудь отлучится и то, что надо сделать сегодня, отложит на завтра. Бюрократ, он все-таки наш, советский... Вот «у них» — другое дело. Там все условия для процветания бюрократизма. У них — это «иерархически организованная, оторванная от народа и чуждая ему управляющая (политическая, экономическая и др.) система, делающая основным правилом своего функционирования собственное сохранение и воспроизводство».

Ах, если бы только формальное выполнение своих обязанностей! А то ведь на совести нашего бюрократизма куда более тяжкие прегрешения... А разве иерархически организованная мафия высокопоставленных мошенников и казнокрадов в Узбекистане не была оторвана от своего народа? Разве для нее не стало основным правилом функционирования «сохранение и воспроизводство»?

А что связывало с казахским народом кунаевскую иерархическую систему карьеристов, у которых были отобраны сотни потайных гостиниц, охотничьих домиков и прочих злачных уединений, охраняемых заборами, запретными знаками и дежурными постами? Весь этот развлекательный Диснейленд был сооружен на народные деньги, и, разумеется, там, в истоме финских саун, в ковровой глуши номеров, за благоуханием шашлыков и бешбармаков, в обществе умопомрачительных гейш, дискутировали не о благе народном...

Между этими вопиющими примерами каждый может вставить сотни других, но писать об этом тяжко.

Становится не по себе при одной только мысли о том чудовищном разрушении и ущербе, которые были нанесены нашей многострадальной деревне, задерганной, измордованной, исхлестанной чиновно-бюрократическими вожжами. Колхозник шагу не мог ступить без «ценных» кабинетных указаний: и когда ему сеять, и когда полоть, и когда и как убирать — прямо или раздельно, и на какую глубину опускать лемех... И все это под одну и ту же присловицу: давай, давай! Пошевеливайся!

Все это кончилось тем печальным фактом, что в годы застоя были почти разрушены производительные силы деревни. Многие колхозы остались без колхозников. Я знаю курские свекловичные поля, которые приезжали обрабатывать наемные люди из Молдавии. Нет, не отсутствие клубов, пошивочных мастерских и телеателье погнало крестьянина с родной земли. За долгие годы бюрократического крючкотворства и про-

извола натерпелся он лиха, навидался много раз обещанного процветания, наполучался посулов, наслушался ценных указаний, наглотался начальственных матюков... Плюнул на все землепашец и пошел прочь, куда дорога выведет.

Нет, сущность бюрократизма везде одинакова. Паразитируя на обществе, в том числе и на социалистическом, бюрократизм приспосабливается к его социально-политической структуре и прикрывается теми общественными лозунгами, какие реют над ним в данный момент. Нет и не может быть идейного, патриотического бюрократизма!

К середине семидесятых годов, когда Брежнев был окончательно опутан лестью и изолирован, наш родной, отечественный бюрократизм полностью овладел ситуацией и откровенно легализировался в облике самой тлетворной своей разновидности — в форме бытового, тряпичного, стяжательского бюрократизма. Высокие лозунги, доставшиеся нам еще от Ленина, призывавшие общество к социальной активности и нравственному совершенству, выцвели от пустоглазой невосприимчивости, обвисли в наступившем безветрии, превратясь в расхожие слова. Слово «товарищ», всегда означавшее наивысшее духовное единение, стало, напротив, знаком холодного отчуждения. Когда говорят «товарищ такой-то», то это стало означать, что человеком недовольны. Возвышенное ленинское «гражданин» теперь — это когда человек попался...

На смену прежним критериям как-то ползуче, вегетативно, от одного к другому, распространились иные, взятые из кодекса «бобровых воротников»: «Если ты от Иван Иваныча — проходи, дорогой!», «Черный автомобиль — не роскошь, а средство продвижения», «Локти — не опираться, локти даны толкаться», «Если влип — дай в лапу», «Пойманный не вор, если поделишься...»

Эти постулаты уже не произносились втихую, в своем кругу, их открыто несли в обиход, в практику жизни, внедряли в народное сознание, особенно в миропонимание молодежи.

Бюрократизм ищет соучастников везде — от верхних этажей до уличных перекрестков. Он стремится взяться за руки, образовать круговую поруку, закольцеваться в единую систему, как это делается в энергетике. Но и этого ему мало: он жаждет выглядеть респектабельно и интеллигентно. Для чего старается поголубить свою кровь, породниться с искусством и литературой. И мне не раз приходилось видеть роскошные, с морозной подпушью фирменные бобровые воротники под сенью волшебных муз... Да что там музы! Как-то захожу в

магазин незадолго до закрытия. Стою, разглядываю канцтовары. Вдруг слышу — по моим ногам шлепает мокрая тряпка. Торопясь управиться до закрытия, тетя Маня — уборщица (назовем ее так) затеяла мыть полы, не обращая внимания на присутствие покупателей. «Что же вы этак-то грязной тряпкой да по моим ботинкам?! Вы хоть взгляните,— пошутил я,— а вдруг я какой начальник?!» Но тетя Маня даже не подняла головы: «Чево мне на тебя глядеть: начальники по магазинам не шляются!» И еще настырнее полоснула тряпкой по моим ногам, как бы показывая, что я для нее совершенный ноль. Половая тряпка — а уже орудие власти. А если в руках учреждение, управление, министерство?

Развращение народа, пробуждение в нем самых примитивных инстинктов, обращение его в свою бездуховную веру, главными идолами которой являются опять же теплое место и жирный кусок,— одна из главных забот стяжательского бюрократизма в поддержании своей оптимальной экологической среды.

Это оскорбительное «Нет!». Но есть еще более равнодушное «Не надо». На всякое разумное и полезное, душевное и окрыленное следует мертвящая резолюция. Запретная растопыренная пятерня выставлялась перед нашим производством, наукой, искусством, литературой, перед лицом всего нашего умного, сметливого, неисчерпаемо одаренного народа. Потому что всякое шевеление вообще, а тем паче биение народной инициативы и мысли вызывает нежелательные круги и волны на бюрократической застойной незыблемости.

В одном из сел под Обоянью чудак-умелец из велосипедных рам, лыжных палок и дюралевых раскладушек смастерил аэроплан и сделал несколько победных виражей над тещиной хатой, которая не верила мечтаниям доморощенного Икара. Но на другой день пришли неулыбчивые товарищи и в своем присутствии заставили умельца собственными руками отпилить аэроплану крылья... «Не надо,— сказали ему.— Зачем тебе?»

После этого Икар покинул свою деревню.

Была опасность, когда таких крыльев могла лишиться целая страна...

Итак, что же мы перестраиваем?

В древности пирамидальное устройство общества, когда один стоит над другим, попирая нижнего, при всеобщей обращенности к вершине, объяснялось тем, что восседающий наверху и опахиваемый пальмовыми ветвями якобы ниспослан самим богом. Уже тогда это

первоустройство было бюрократическим с огромным штатом иерархических чинов — от высших жрецов, славословивших иерарха, поддерживающих в подданных умах его прямое родство с небом, до мелких сборщиков податей во славу и процветание его же, власть предержащего. И этому верили и падали ниц, ибо таков был уровень мышления тогдашнего, утонувшего в глубине веков изначального, примитивного государственного образования.

Но странно, когда в наше время в стране, вооруженной передовыми социальными идеями, еще недавно насаждалась эта почти божественная ниспосланность. Общественное пирамидальное устройство с балдахином единовластия наверху, навязанное народу Сталиным, с различными переделками и подновлениями, но так и оставшееся безгласным, плохо проветриваемым единоуправным сооружением, фактически просуществовало до XXVII съезда КПСС, на котором и было признано анахроничным и бесперспективным. Его порочность заключалась еще и в том, что между опорным основанием и вершиной неизмеримо велика конструктивная пустота, заполненная промежуточной чиновной межэтажностью. И слишком крут и недоступен возвышающий уклон. Чем больше ярусность, разделяющая общество, его экономику, науку, культуру на этажи подчиненности, тем больше, по выражению Даля, «многоначалия» и «многописания». И чем круче возвышающий наклон пирамиды, тем с большим вывихом шеи (и совести тоже) надобно глядеть на ее сиятельную вершину, тем глуше слышны голоса, вопиющие у подножия.

Насаждавшееся в народе подобострастное иерархическое мышление, которое якобы должно было сплотить и целенаправить общество, на самом деле обернулось обездвиженностью мысли, инертностью поступков, гражданской дряблостью и безразличием. А еще — массовым уродливым явлением, когда главным становилась не работа, не дело, не ремесло, не созидание, не наука, не творчество, не самовыражение во всем этом сообразно общепринятым нравственным ценностям, а наиглавнейшим сделался поиск наиболее престижного, наиболее освещенного места под люминесцентным солнцем, источающим благодать. И мы разучились растить хлеб, тесать топором, завинчивать простые шурупы, заколачивая их сплеча молотком... В краски мы чего-то там недомешиваем, в клей чего-то недосыпаем, дерево недосушиваем, резину «недорезиниваем», машинам недодаем микронов, и в результате сделанное нашими разучившимися, а то и недобросовестными

руками перестали покупать другие умелые народы. Как и в стародавние времена, берут у нас только сработанное природой: нефть и газ, лес и руды, шкуры и меха, икру и красную рыбу, последних наших осетров и белуг, отстрелянных лосей вместе с рогами и шкурами, грибы, мед, которого у самих почти не стало, и даже волжских раков для закордонных любителей пива. Печальный это перечень...

Сами же, будто мы с дальних, запредельных островов, горделиво расхаживаем в зарубежных фирменных нашлепках, соперничая друг с другом в их рекламной броскости, и рьяно притопываем и приплясываем под чужую сомнительную дуду.

Страну со всей очевидностью засасывало в безвременье, ее растаскивали, разворовывали — кто карманами, а кто и вагонами, но по-прежнему бодрячески утверждалось, что это и есть развитой социализм.

В нашу сторону все с большим недоумением посматривали социалистические братья. Они чувствовали какие-то нелады у своего старшего соседа. Но мы, как всегда, заносчиво, высокомерно не признавали за собой ничего. Однако «ошибок» и «искривлений» накопилось столь опасно много, что за их нагромождением даже с пирамидальной высоты не просматривалась перспектива дальнейшего движения. Со всей неизбежностью вставал сакраментальный вопрос: кто мы? куда мы?

До последнего времени все наши лидеры напоминали бегунов, которые, сменяя друг друга на исторической дистанции, бежали без эстафетного жезла.

Мудрость и мужество XXVII съезда партии состояли в том непростом решении, что впервые открыто, всенародно было определено вернуться и поднять оброненный эстафетный символ. Вернуться — это не означало отступить. Вернуться к Ленину — значит, обрести силу и веру, значит избрать самый истинный и кратчайший путь вперед.

Возвращение к Ленину — это прежде всего признание жизненной необходимости глубинной, всепроникающей демократизации общества. Не просто некоторого послабления, отпускания ремня на две-три дырки, как это прежде бывало, но полного упразднения таковой ремня, как меры и средства административного воздействия. Разумеется, это не есть попустительство анархизму, стихии уличной толпы. Демократия — это как раз тот самозатачивающийся инструмент народного самосознания и самодисциплины, который становится тем надежней и действенней, чем будет он в большем употреблении. Демократия, обретая силу, способна уверенно противостоять как разрушающему анархизму

слева, так и удушающему бюрократизму справа, подобно тому как луговая дернина, сплоченное сообщество трав противостоят прорастанию дурмана и чертополоха.

Конечный смысл сегодняшней перестройки — возродить народу подлинно демократический, подлинно народный образ жизни, где, например, земля принадлежала бы не райкомам, как она принадлежала до сих пор, а по-ленински — крестьянам и их земельным объединениям, а власть, по-ленински,— Советам...

Наша шестая часть суши должна воистину по-ленински стать Страной Советов! Стать общим нашим домом под красным знаменем Октября — равно справедливым для всех, просторным для души и ума, с широкими окнами, открытыми в наше прошлое и наше будущее, с достоинством, терпимо глядящим на весь остальной многоликий и прекрасный человеческий мир.

Андрей Нуйкин

О ЦЕНЕ СЛОВА И ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ

«Оздоровление» или вздорожание?

Чииовиикн фииаисовых департамеитов н некоторые из экономистов последиее время ие жалеют сил, чтобы постепеиио прнучить иас к мысли о неизбежностн зиачительного повышеиия цеи на предметы первой необходимости. Упорство, с которым оин доказывают, иасколько высокие цеиы лучше иизких, не может ие приводнть в восхищеиие, ио, право же, в разработке темы, столь непосредственно связаииой с цифрамн, хотелось бы вндеть чуть больше уважеиия к логике. И ие к какой-то там изысканной — диалектической, а к самой обычиой — формальиой, школьной, еслн хотите.

Такая вот, иапрнмер, в нх рассуждеиях встречается страииость. Во всех статьях и выступлеиях речь идет о «реформе цен», об «оздоровлеиии цен», о «ликвидацин днспропорций н перекосов в цеиах», о «выработке строго иаучных критериев цеиообразования» н т. д. Это иа уровие заголовков и лозунгов. Одиако как только дело доходит до реальных примеров и практических предложеиий, так все сразу же сводится к едииствеииому глаголу — «повысить!».

Народ мы закаленный, чрезмерных требоваинй к жнзни никогда не предъявляли, но все-такн крезами или тем паче баловиямн Министерства фииаисов считать себя у нас всегда было весьма мало осиоваиий. И вдруг мы с удивлеиием начали узиавать, что нмеем массу незаработаиных доходов, что государство по отиошению к нам просто устало заиматься благотворнтельиостью. Мы узналн, что и продукты-то иам продают в магазииах по «недопустимо низким» цеиам, и квартплата-то у нас «чнсто снмволическая», и за медицину-то иашу государство из своего кармаиа платит, и мазут-то у иас продают по «бросовым цеиам», н сырье «отпускают» почти даром...

Встречаются, правда, товары, за которые у нас полагается переплачивать, но это, как иам толково объясняют, все товары не первой иеобходнмости, а

значит, простым людям абсолютно не интересные: машины, дачи, кофе, икра, балыки, копчености, хорошая мебель, парфюмерия, модные зарубежные изделия, электроника, вообще товары высококачественные. Относительно этих «предметов роскоши» экономисты тоже убедительно объясняют, почему реформа не должна делать их доступнее и как стало бы простым людям плохо, если бы они вдруг подешевели. Но совсем худо нам будет, получается, если и на остальные товары цены не повысить. Главное, говорят нам, социальная справедливость от такого неповышения может непоправимо пошатнуться. Судите сами — обеспеченные люди сейчас мяса едят больше? Больше! А после повышения цен кто больше будет его есть? Правильно, они же. Стало быть, они от реформы пострадают больше, чем слабообеспеченные, которым чувство социального злорадства тем самым хоть немного компенсирует неизбежное дальнейшее сокращение потребления мяса в их рационе.

Даже уже и размеры повышения цен борцами за социальную справедливость вчерне намечены. Почти все продовольственные товары убыточны, розничные цены на продукты питания в среднем вдвое ниже затрат на их производство.

Это, так сказать, ближайшее, первое тотальное повышение. Но экономика — наука далеких прицелов. Определив, что сейчас нам пока требуется «оздоровить» цены вдвое, экономисты вовсе не собираются на этом остановиться.

«Целесообразно значительно повысить цены на топливо и сырье, учесть в них дифференциальную ренту, которая должна взиматься с предприятия в виде платы за природные ресурсы»,— считает академик А. Аганбегян. Ученый не раз сетовал на совершенно не поколебленный пока еще ничем затратный механизм нашей экономики, согласно которому чем больше сырья и энергии вбухает в свою продукцию производитель, тем ему выгоднее (выполнение плана и обеспечиваемые этим выгоды все еще определяются по общей сумме всех истраченных рублей!). Тем не менее А. Аганбегян предлагает повысить резко цены на сырье и энергию для того, чтобы их начали беречь и экономить. Почему же такое вдруг произойдет? Производителю ведь при повышенных ценах каждый дополнительный килограмм и киловатт-час, «вбуханные» в продукцию, будет давать еще больше выгоды! В то же время предлагаемое «выравнивание» диспропорций в сфере добывания сырья загодя готовит необходимость следующего повышения цен на мясо и на все прочее. Не понимаете,

каким образом? Зря. Пора научиться понимать, а то, когда поднимаются цены на транспорт, горючее, электроэнергию, стройматериалы и прочие фигурирующие «где-то там далеко», в абстрактном «народном хозяйстве» вещи, мы думаем, что это будет ударять по нашему карману только изредка — когда мы раз в год едем к Черному морю (транспорт), ремонтируем крышу дачи (стройматериалы) или просим приятеля подбросить на его «Жигулях» в аэропорт (горючее).

«Раньше токарные автоматы Киевского завода станков-автоматов стоили почти в пять раз дешевле, чем сейчас. Характеристики их остались прежними — по энергоемкости, точности. Почему же изменилась цена?» — недоумевал наладчик токарных автоматов Первого подшипникового завода Москвы в беседе с М. С. Горбачевым. Из чьего кармана уплывают в Киев лишние четыре тысячи из каждых пяти? Из кармана 1-го ГПЗ? Отнюдь. Стоимость станка завод после некоторой торговли с Госкомцен полностью разложит на цену подшипников. Мы с вами подшипники в суп не кладем. Но почти все, что мы покупаем, производится с участием этих подшипников, и на эти наши покупки в конечном пункте цепной реакции роста цен раскладываются понемножку вышеуказанные четыре тысячи рублей. Государственные предприятия только цифры переправляют в бумажках, когда происходит неоправданное вздорожание чего бы то ни было. Для нас эти бумажные межведомственные игры оборачиваются вынутыми из наших карманов реальными, кровными, заработанными рублями. Всегда все до последней копейки в этих играх оплачиваем мы. Только не подозреваем порой об этом ввиду скрытости от наших глаз механизмов удорожания жизни. Не стоит забывать, что повышение производительности труда (а оно на каких-то участках происходит — НТР ведь все-таки на дворе!), не сопровождающееся повышением жизненного уровня, — это тоже не учитываемое нами «пощипывание» нас со стороны государственного аппарата. И оно по размерам гораздо больше, чем мы способны себе представить. А уходит отобранное или недоданное нам, к сожалению, вовсе не на увеличение мощи государства, как считают наивные люди, а на покрытие бездарности в руководстве народным хозяйством, с одной стороны, и на восполнение разворовываемых миллиардов (вспомним Узбекистан) — с другой.

Но мы несколько отвлеклись от предложений А. Аганбегяна. Так вот сырье, транспорт и энергия — еще более универсальные составные в цепочке ценообразования, чем подшипники. Повышая цены и тарифы

на такого рода продукцию, государство повышает цены сразу на все, ибо тотчас же себестоимость того, что связано со строительством, транспортом, сырьем, энергией (а что с ними не связано?), повышается. Стало быть, рано или поздно, но мы оплатим предприятиям все эти суммы или в форме подскочивших «вполне обоснованно» цен, или в форме замороженной зарплаты. Так что, «значительно повышая цены на сырье и топливо», мы уже сейчас делаем намеченное повышение цен на продукты (на их производство ведь тоже тратится и сырье, и энергия!) недостаточным. Но, с другой стороны, поднимая цены на продукты питания и предметы первой необходимости, мы чуть позже будем ведь вынуждены как-то обеспечить прожиточный минимум тем, кто добывает сырье и топливо. Придется хоть не на столько же, но зарплату им поднять, а это сразу же увеличит себестоимость и сырья и топлива. В итоге планируемое повышение на них тоже может оказаться недостаточным.

Впрочем, не требуется сложных логических выкладок, чтобы понять: кое-кто сейчас пробует банальнейшее взвинчивание цен, перекладывание последствий плохого руководства экономикой в период застоя на плечи трудящихся облечь в белые одежды «радикальной оздоровительной реформы».

«Чересчур хорошо жить стали!»

До самого последнего времени необходимость повышения цен мотивировалась у нас тем, что доходы населения слишком уж выросли, цены же практически остались без изменений. Просто черной завистью исходишь к этой самой среднестатистической «душе населения». И реальные ее доходы растут как на дрожжах, и в бриллиантах она купается, и зарплата у нее в 5,5 раза увеличилась. А я вот с 1953 по март 1988 года десять видов оплаты труда сменил и ни разу нигде рубля не получил за счет «повышения заработной платы». Везде в 1953 году получал бы ровно столько же! А стоимость жизни за это время выросла как минимум в два-три раза.

У некоторых журналистов, писателей и социологов давно уже наблюдается перевозбуждение по поводу того, как бы «резко повысившееся благосостояние» народа, скачок его «жизненного уровня», «взлет реальных доходов» не расшатали его нравственных устоев. Похоже, что я просто не дорос до столь государственного уровня озабоченностей, ибо меня почему-то боль-

ше волнует другое. Например, вопрос: как ухитряются сводить концы с концами те люди, о которых написал свою повесть («Вы чье, старичье?») Б. Васильев? С 1 января 1987 года, гордо констатируем мы, размеры пособий инвалидам с детства, не достигшим 16 лет, увеличены на целых 50 процентов. Вот заживут-то они наконец на свои 30 рублей в месяц!

Или возьмите многодетные семьи. Демографы устают объяснять нам, дилетантам, что не материальные факторы в наше время сдерживают рост семей, а более тонкие, более мистические. И в подтверждение вспоминают малодетных пап и мам — дали им квартиру, прибавили зарплату, а они все равно не рожают! Почему не рожают малодетные, это, конечно, интересно, но хорошо бы демографам поразиться и другому — многодетные-то почему рожают? А главное, опять же как им удается концы с концами сводить? Вот некоторые цифры из письма Татьяны Ивановны Киселевой (Новосибирская область). У нее пятеро детей (от года до 13), муж получал как инженер 180 рублей. «С год назад он перешел в рабочие, стал получать 260. А на семью мне надо по нынешней арифметике 526 рублей. Если учесть к тому же, что дети растут, а вещи на них не дешевеют, то еще больше. В прошлую зиму дочь сносила за один сезон сапоги стоимостью 57 рублей, а в эту зиму — стоимостью 60 рублей. А где взять простые колготки, которые носятся хотя бы месяц? Покупай, мама, капроновые, которым срок — неделя. А других сколько вещей надо? На детях все, как на огне, горит. Да и вещи сейчас стали делать не больно-то доброкачественные. Если раньше из поколения в поколение передавали, то сейчас хорошо, если ребенок один хоть сколько-нибудь долго поносит...» Дочка Татьяны Ивановны как-то по заданию школы занялась подсчетами семейных расходов и растерялась даже: папиной зарплаты, получалось, едва на питание хватает. При самой скромной диете!

— Но у нас же выработана целая система мер помощи многодетным! — полезут на своего привычного конька экономисты.

— Когда у меня не было столько детей, — отвечает Т. Киселева, — я в это искренне верила. Но... Вот рождается пятый. Ты сидишь дома год, получая 50 рублей в месяц, плюс полгода, не получая ничего, только на одну зарплату мужа. С пятью детьми.

Ну, а что это значит, я уже сказал.

Право слово, рост помощи, когда его берем в процентах и вообще абстрактно, смотрится вполне неплохо, но... «Пьют дети первого — третьего классов в

школе молоко,— раскрывает эту абстракцию еще одна мать пятерых детей в письме в «Правду».— Я плачу 50 процентов. Как это выглядит? Обслуживание и хлеб я оплачиваю, как все, а за стакан молока — на копейку меньше». Вот так вот. А шума-то, шума-то по поводу этой копейки! Впрочем, не будем ограничиваться разговором о тех, кто живет ниже уровня бедности, давайте приглядимся и к тем, кто не жалуется, ибо живет «не хуже других».

У егеря работа не просто трудная (в Лосиноостровском национальном парке, например, шесть егерей на 12 тысяч гектаров леса!), но и опасная. Часто ночная, с погонями, схватками, проваливанием под лед и т. д. Платят ему 80 рублей в месяц! Мало? Конечно! Но ведь к тому же величина зарплаты — это ничего не говорящая цифра, пока мы ее не разделим именно на цены. А наши экономисты и финансисты, много лет посыпающие свои головы пеплом по тому поводу, что рост зарплаты у нас слишком обгоняет рост производительности, совсем разучились, похоже, производить эту нехитрую ученическую операцию. Приходится опять же дилетантам-писателям браться за карандаш и бумагу.

И вот на фоне такого рода «благосостояния» нам упорно доказывали, что живем мы слишком хорошо, а посему необходимо еще и еще повышать цены. До начала эпохи гласности мы в ответ согласно кивали головами. Но времена-то изменились. Внушить нам сейчас, что мы живем «слишком хорошо», наверное, не удалось бы даже под гипнозом. И чиновники это, конечно, почувствовали. По крайней мере необходимость повышения цен мотивируется ими весьма изобретательно. Раскроем «Труд» со статьей председателя Госкомцен СССР В. Павлова под названием «Почему необходима реформа цен?».

Повышение цен как кратчайший путь к изобилию

Статья эта подкупает откровенностью и доверительностью в оценке нашего прошлого и настоящего. Председатель комитета, свободно оперируя цифрами и фактами, буквально камня на камне не оставляет от обывательского убеждения, будто «при Сталине лучше было — цены из года в год снижали, а сейчас...».

Иллюзия это! — отвечает автор статьи. С 1928 по 1940 год розничные цены у нас выросли в 6,2 раза. В 1947 году в результате реформы розничных цен они

еще выросли в среднем втрое. Зарплата же у рабочих и служащих увеличилась с 33 рублей в месяц в 1940 году до 48 рублей в 1946 году. А стоит ли забывать про «добровольно-принудительные» займы?.. Цены снижались, о чем любят вспоминать обыватели, но на какие-то проценты при предварительном трехкратном разовом увеличении. Плюс за счет полного ограбления крестьян. Пшеницу, например, покупали у колхозников по копейке за килограмм, а продавали (мукой) по 31 копейке. Говядину брали на селе по 23 копейки, продавали за полтора рубля в среднем и т. д.

Сегодняшнему дню, считает автор, тоже особенно радоваться не приходится. 50 процентов бюджетных средств, получаемых за счет налога с оборота, уходит на дотации продовольственных товаров. В общей сложности — 57 миллиардов рублей! Жить дальше так нельзя. Нужно оздоравливать экономику, для чего нужны деньги, «а взять их неоткуда».

Но на этом минорные ноты статьи заканчиваются, начинается мажор. То есть как это «неоткуда»? А повышение, простите — «реформа цен»? И не какая там-нибудь, а «радикальная», то есть дающая в бюджет сразу много денег! Ох, и заживем мы в итоге! Все у нас пойдет как по маслу: «диспропорции в народном хозяйстве» исчезнут; с «вынужденным занижением уровня зарплаты, пенсий, стипендий» будет покончено; от «уравниловки в оплате» наконец-то можно будет отказаться; «торможение внедрения новой техники» исчезнет; хорошо работающие предприятия можно будет уже не грабить в пользу отвратительно работающих; нормы выработки перестанем завышать; дикие «перекосы в розничных ценах» исчезнут, и «социальная справедливость» воссияет над нашей державой!..

В. Павлов, конечно, может возмутиться: ничего подобного он не утверждал, все перечисленное произойдет вовсе не в результате повышения цен, а в результате их «реформы»! Конечно. Только ведь никаких иных практических предложений (кроме повышения цен) с целью накопления средств для оздоровления экономики его статья размером в половину газетной полосы не содержит. Да и прямо в ней говорится, что на какое бы то ни было снижение цен для устранения диспропорций нам рассчитывать не приходится.

«Реформа» — слово влекущее. Без радикальной реформы в области экономики мы даже на нынешнем уровне нашей удручающей бесхозяйственности не сможем удержаться. Мы все за реформу, только... Почему это вдруг «реформа цен» обрела столь самостоятельное, изолированное звучание? И что это за туманно

обещаемое нам «всенародное обсуждение» ее, если еще до выхода игроков на поле, похоже, известно, в какие ворота и сколько мячей будет забито?

Однако... Что это мы так долго употребляем глаголы только в будущем времени? Разве спасительная «реформа цен» не началась у нас уже много лет назад? Вспомним хотя бы кофе, который вдруг однажды подскочил в цене в четыре с половиной раза да так и остался на этой недосягаемой высоте, что отнюдь не повысило конкурентоспособность грузинского чая. Да что говорить о кофе! В черной металлургии, чтобы покрыть ценами возросшие плановые уровни затрат, цены на продукцию три года назад пришлось повысить на 7,5 миллиарда рублей. Семь восьмых этой суммы никак не зависели от удорожания топлива и энергии, тут всему виной была неправильная техническая политика Минчермета СССР... И вот металл подорожал — что делать? Пришлось на несколько миллиардов рублей повысить цены и на продукцию ряда отраслей машиностроения.

Думаете, машиностроители были в претензии? Как бы не так. Выпуск машиностроительной продукции за десять лет в денежном выражении увеличился в 2,6 раза, а в натуральном выражении на 45—50 процентов. А ведь взлет производства у нас исчисляется в рублях! Представляете, сколько славы и орденов подарили машиностроителям их коллеги-металлурги своей безграмотностью в области технической политики? Но это только им «даром», а мы оплатили все эти подарки из своих неменяющихся зарплат на конечной стадии всех производственных метаморфоз.

Не отстает в реформаторском вдохновении и легкая промышленность. В прошлом году Минлегпром СССР задолжал своим заказчикам продукции на сумму в миллиард рублей. В январе нынешнего года долг возрос еще на 142 миллиона рублей... И опять-таки какой простой способ нашли в штабе отрасли: вынудить предприятия изъять из обращения дешевые товары и увеличить план в розничных ценах за счет дорогих изделий.

Пойдем дальше. С 1970 по 1985 год средняя цена на легковую машину увеличилась в два раза, на услуги автосервиса — на 60 процентов, начиная с 1979 года в четыре раза поднялись розничные цены на бензин. Вздорожали почтовые услуги, оплата за установку телефона с 20 рублей подскочила до 100. С 1 июля 1987 года цены на проживание в гостинице подняты на 20—25 процентов. За 10 лет пользование автоматическими камерами хранения стало нам обходиться в

десять раз дороже. На книжную продукцию цены растут неудержимо, на стройматериалы — тоже, на транспортные услуги — тоже. Дешевые товары (для детей, в парфюмерии и т. д) неудержимо «вымываются» из производства. Похороны стали кое-кому просто не по карману (до 1500 рублей, как подсчитали читатели). С 1 января услуги фирмы «Заря» вздорожали на 50 процентов.

Списку этому, разумеется, лучше всех знакомому В. Павлову, нет ни конца, ни края. Так что если исходить из убеждения, что рост цен ведет к оздоровлению экономики, то ей у нас давно бы уж полагалось отбросить кислородную подушку и начать бегать кроссы. Что-то пока ей не очень бегается. Почему бы, спрашивается?

Да и трехкратное повышение цен в 1947 году (которое, разумеется, именовалось «реформой») тоже здоровой экономики не породило. И тоже — «почему бы это?».

Во имя «оздоровления» или вместо него?

Чем дальше, тем очевиднее: повышение цен выгодно, как правило, только ведомству, а не государству. Однако странно мы стали за последнее время понимать выражение «ведомственный интерес». В чем, казалось бы, состоит главный интерес ведомства связи? В том, чтобы больше людей и легче устанавливали связь друг с другом. Такой интерес ведомства ничем не противоречит и интересам нас с вами, и интересам государства. Но вот Министерство связи уже много лет ведет усиленную подготовку по установке счетчиков телефонных разговоров. На гигантские расходы по изготовлению, установке и обслуживанию (очень непростому и конфликтному) этих счетчиков готово пойти (и уже пошло). Во имя чьих интересов? В Шяуляе, где проверяли новую систему оплаты, количество телефонных разговоров сразу же сократилось на 42 процента, зато доходы связи поднялись на 27 процентов. Вот он в чем, оказывается, «интерес» — чтобы работать хуже, а получать больше! Только какой же ведомству интерес деградировать? Тут интерес не связи, а вполне конкретных людей, чиновников, которые при бездарной работе хотят обладать и славой, и заработками передовиков.

Где рождается, из чего складывается та непомерная себестоимость, во имя покрытия которой, собственно говоря, нас сейчас и призывают воспринимать раздува-

ние цен как нечто неизбежное и спасительное? Писано про это уже более чем достаточно (и я в это вносил некую лепту), но, похоже, замолкать рано. Не для того, чтобы Госкомцен переубедить, а для того, чтобы не давать читателей вводить в заблуждение.

Братья-закройщики Удаловы с Сочинской швейной фабрики организовали экспериментальную бригаду «на договоре». Покупательницы были ошарашены быстротой шитья летних платьев, качеством его и... дешевизной! Дирекция и горфинотдел впали в прострацию: бригада Удаловых стала давать фабрике прибыли в 15 раз больше среднефабричной. Бригаду, конечно, ликвидировали. Но недолгое ее существование объяснило, почему у нас растут цены, куда нагляднее, чем многие тома ученых записок. И Удаловы хорошо объясняли это, не имея высоких ученых степеней: «На нашей фабрике больше тысячи человек, в то время как нынешний объем продукции можно дать и с 50 работниками». Горфинотдел эта пропорция нимало не волнует, хотя воображаемые «бешеные заработки» Удаловых лишили этот уважаемый форпост перестройки сна и аппетита.

А вот еще один типичный пример. На юго-западной окраине Москвы торгует овощной магазин, который полностью обслуживают два человека — мать с дочерью. Рядом еще один, такой же, но в нем трудятся 18 человек (часть их контролирует тех, кто торгует, часть контролирует самих контролеров). Выручка у обоих магазинов примерно одинаковая. А качество работы... В первом магазине очередь идет бойко, мать с дочерью вежливы, заботливы. Во втором — продавцы медлительны, раздражительны... Причина? Мать и дочь получают с оборота. А у соседей — потолок: оклад плюс 40 процентов за перевыполнение. За любое. Хоть на 1 процент перевыполни, хоть на 200. Факт порождает два вопроса: почему беспотолочная система оплаты труда так и остается на уровне «смелых» экспериментов и кто оплачивает бессмысленное хождение на работу 16 человек из каждых 18 (мы не берем в расчет гигантские армии ненужных работников на более высоких этажах системы управления торговлей)?

И вот ради незыблемости интересов этих 16 ненужных работников и тех, что выглядывают из окон всяких торгов, снабов, главков, министерств, мы должны сейчас снова подтягивать пояса?

Но разве перестройка не встала горой за таких, как братья Удаловы?

В ходе перестройки и во имя ее идеалов решено было в Московской области создать территориальные

объединения строительства (ТОСы), дан им статус проектно-строительных фирм, с тем чтобы главк (он на правах министерства) стал стратегическим «мозговым центром» с небольшим числом сотрудников, отказавшихся наконец от бюрократических методов руководства. Увы, наш прославленный строитель Н. Травкин так вот оценивает результаты: «Главк, создав ТОСы, от оперативных дел не ушел, власть из своих рук не выпустил... ТОСы же стали как бы дополнительными рычагами в его руках, а вовсе не самостоятельными единицами... Управленческий аппарат, вместо того чтобы сократиться, значительно вырос... Восемнадцатый трест, из которого я пришел, раньше отчислял на содержание вышестоящего органа около 40 тысяч рублей, сегодня — более 80».

Так-то вот. А теперь давайте взглянем на этот факт с позиций нашего кошелька. Это ведь не с треста увеличилась управленческая дань. Дань эта войдет в себестоимость той продукции, которая будет выпускаться в зданиях, построенных Травкиным, и мы ее оплатим своими наличными до копеечки!

Такая вот разница между мечтой, проектом, обещанием и тем, что из них получается пока что на деле. На каком же основании мы должны поверить, что с «реформой цен» не получится аналогичного жульничества?

Мы двумя руками за «реформу цен». Она действительно и необходима и неизбежна. Но кардинальной, благотворной для экономики реформой (а не пошлым вздорожанием) она может стать только в ходе активного решения еще более кардинальных социально-политических и социально-экономических задач. **Только!** «Нормальные цены» могут быть только итогом оздоровления, проявлением оздоровления. Это элементарно, но как раз этой простой истины никак не хотят понять иные «реформаторы». Невыгодно им тут понимание. «Сначала цены поднимем до уровня реальных затрат, потом оздоравливать начнем!» — обещают они. «Реальных затрат»... Экономист Р. Хасбулатов с безнадежной грустью вспоминает об одном хозяйстве в России, в котором себестоимость килограмма мяса достигла 16 рублей! И именно его ставят в пример даже тем, у кого она в восемь раз ниже. Загадка? Никакой загадки: руководитель того хозяйства умеет ладить со своим начальством. Какую же розничную цену нам надо назначить на мясо, чтобы то «начальство» могло и дальше столь щедро вознаграждать нашими рублями своих угодников?!

«Колхозник действительно производит мясо при бешеных затратах, но затраты эти уже существуют у нас десятки лет, и думать о том, что через год-два или через пятилетку у нас появится масса «архангельских мужиков» и затраты снизятся в два раза, наивно»,— говорит первый заместитель председателя Госкомцен СССР А. Комин. И добавляет назидательно: «С реальностью, которая сложилась у нас в сельском хозяйстве, надо считаться». Логика восхитительная в своей откровенности! Всем ведь известно, почему «архангельским мужикам» с их жаждой и умением работать хорошо и дешево не находится обычно даже бросовых клочков земли в просторах нашей необъятной Родины. Такова уж сложившаяся у нас за многие десятилетия «реальность», чтобы Сивковым и Удаловым дохнуть не давать, шельмовать их как реставраторов капитализма. Госкомцен призывает нас и дальше «считаться» (то есть мириться!) с этой действительно имеющей место «реальностью». Понять, во имя чего раздаются такие призывы, нетрудно, но при чем тут «интересы перестройки»? Начиная ее, руководство страны и партии как раз и призвало нас перестать мириться с подобными «реальностями», сложившимися в эпоху культа личности и период застоя.

Так где же все-таки выход?

Трудность вопроса в том, что, с одной стороны, ситуация требует незамедлительных решительных мер, а с другой — реально повлиять на разрешение проблемы цен никакие отдельные «меры» не в состоянии. Более того, любые специальные «меры», даже если их применять с самыми добрыми намерениями, неизбежно станут только ухудшать ситуацию. Для примера обратимся к программе, предлагаемой экономистом Э. Самигуллиным, изложенной в статье «О том ли спорим?» («Социалистическая индустрия», 25.02.88). Четыре колонки из пяти этой статьи написаны превосходно. Под каждой охотно бы подписался. И под тем, что не цены на продукты животноводства надо увеличивать, а управленческие расходы (которые «непомерно велики») сокращать. И спекуляции на тему: низкие цены выгоднее высокооплачиваемым людям — Э. Самигуллин убедительно разоблачает. И предложения при регулировании цен равняться на уровень среднемировых резонно отвергает. Учитывать в принципе для выработки ориентиров экономического развития — да, но исходить из них... Как минимум надо при

этом сначала подогнать наши зарплаты к среднемировым, конвертирования валюты добиться, «среднемировую» обеспеченность нужными товарами и услугами заиметь.

«Совершенно нельзя согласиться с мнением тех, кто настаивает на рыночной системе регулирования розничных цен». И тут автор, увы, прав. Хотя нормальные пропорции цен и естественная динамика их абсолютных выражений способны гарантироваться только рынком. Это аксиома. Но не для монополистического производства! Капиталисты ведущих держав мира не из совестливости вводят в законодательство своих стран антимонопольные («антитрестовские») законы. Полная монополия равносильна самоубийству. «При отсутствии реальной конкуренции между товаропроизводителями, торговыми организациями делать ставку на рыночное ценообразование на деле означает усиливать диктат монополиста-изготовителя: он станет взвинчивать цены без всякой оглядки...» — резонно говорится в статье. И погубит и себя и экономику! «Мы только-только через хозрасчет начали давать больше свободы для использования товарно-денежных отношений и с чем сталкиваемся уже при первых же шагах? Промышленные предприятия норовят не снизить цены на свою продукцию, а наоборот, всякими путями добиваются повышения. И так будет до тех пор, пока между изготовителями не установятся отношения здоровой конкуренции. С другой стороны, необходима конкуренция и среди торгующих систем. А именно, государственной, кооперативной и городскими рынками...»

Очень правильно, очень точно сказано, но... что же имеем мы в пятой колонке? Увы, предложение вместо повышения цен «приостановить рост заработной платы, за исключением низкооплачиваемых категорий трудящихся». Для чего? Чтобы укрепить курс рубля и добиться «удовлетворения населения товарами и услугами под имеющиеся суммы».

В лоб бить нехорошо, говорит экономист, надо по лбу. Иными словами, снова «потолок», снова деление не на много, хорошо делающих и плохо, мало делающих, а на низкооплачиваемых и высокооплачиваемых с вытекающей из этой классификации во имя социальной демагогии (простите, «справедливости») стратегией.

Вроде бы уже выявили мы в спорах, что именно эти «потолки», «уравниловки» и «выводиловки» стоят у нас на пути к тому, чтобы в стране резко возросло как количество нужных товаров и услуг, так и качество их. А ведь высокий курс рубля обеспечивается вовсе не наличием определенного количества денег в обороте, он

зависит от обеспеченности любого рубля (сколько бы их ни было в обороте) нужными (и качественными) товарами и услугами (и не только материального свойства, разумеется). Так надо ли бояться сверхвысоких заработков, говоря о бесчисленных «радетелях» и «заботниках» о здоровье нашей экономики, не дающих работать тем, кто может и хочет произвести для страны гораздо больше товаров, чем производит сейчас?

Обещаемая нам экономистами и сотрудниками Госкомцен реформа, на мой взгляд, никакой реальной структуры цен создать не может, ибо в ходе ее цены по-прежнему намерены декретировать сверху, без расширения свободы конкуренции между предприятиями (производящими и торгующими), без их борьбы за покупателя, до достижения предприятиями реальной финансовой самостоятельности, определяя их чисто канцелярски — по «реальным затратам», которые не случайно же даже наши ведущие экономисты на пороге принятия ответственнейших решений в области ценообразования удивительно дружно «путают» с общественно необходимыми затратами. Для ускорения движения нам навязчиво предлагают, запрягая, телегу поставить впереди лошади. То, что может быть только итогом общего оздоровления экономики, проявлением этого оздоровления, объявляют средством оздоровления. На практике это значит, что нам предлагают обойтись без оздоровления.

Как бы такая «революция» не превратилась в главную мину под перестройку. Просто удивительно было бы, если бы бюрократия упустила столь простой для осуществления и столь эффективный способ вбить клин между народом и идеологами перестройки.

Экономика вовсе не должна быть экономной. Это плюшкинская формула, у которого, как известно, вся энергия уходила на спасение обрывков бумажек и охрану засохших кусочков кулича, в то время как хлеб гнил в скирдах, а домá стояли с дырявыми крышами. Что действительно «должна» делать экономика, так это делать страну и всех ее жителей богаче, зажиточнее, и при социализме у нее для этого более чем достаточно не используемых пока возможностей.

Старый, предприимчивый Соломон Борисович, приглашенный в коммуну Макаренко, никак не мог взять в толк: как это двести уже достаточно больших мальчиков и девочек, у которых есть руки и головы на плечах, не могут заработать себе на суп? Нас же от лица высших откровений науки упорно уверяют, что двести миллионов взрослых советских людей, у которых и

руки, и ноги, и головы вроде бы на месте, не способны обеспечить себя хлебом с маслом так, чтобы не увязнуть в долгах и не начать закладывать в ломбард бабушкины кринолины!

Вот и приходит в голову «ненаучная» мысль: а что, если нам начать выравнивать линию экономического фронта путем наступления, а не бегства? То есть не повышая на все и на вся цены ради реанимации и консервации бюрократической системы, а снижая количество бездарей и бездельников на всех этажах социальной лестницы? Очень хотелось бы, чтобы это предложение было рассмотрено в качестве одного из проектов «реформы цен», всенародное обсуждение которой нам обещано, в частности, и в статье В. Павлова.

Вместо эпилога

Бушуют споры о реформе цен, кипят страсти, высказываются все новые и новые аргументы, предложения, прогнозы, а в это время...

Елгавский завод микроавтобусов РАФ начал наконец-то выпуск машин для многодетных семей. Всю душу вложил коллектив, чтобы микроавтобус был практичным и удобным, но... Когда долгожданный микроавтобус появился на свет, не только у многодетных родителей, но и у творцов машины «глаза на лоб полезли» — 30 тысяч рублей за нее надо заплатить при оптовой цене менее пяти тысяч! Так решил Госкомцен СССР, очень озабоченный, как уверяет нас его руководство, проблемами социальной справедливости.

А вот еще один факт. Все мы все с большим и большим ужасом поглядываем на небо. Давно уже ученые забили тревогу, и вот обоснованность ее, похоже, находит свои зловещие подтверждения. «Озонная дыра» над Антарктидой из сезонной, как сообщают, превратилась в постоянную, расширяющуюся. Да и в средних широтах толщина озонного слоя ежегодно уменьшается и уменьшается. А слой этот очень тонкий и неплотный, хотя и защищает все живое на Земле от смертельной солнечной радиации. Наиболее губителен для молекул озона, как выявили ученые, «холодильный газ» — фреон. Возникла ситуация, требующая незамедлительной замены фреона в холодильниках и аэрозольных системах (в том числе бытовых) на другой, безопасный в этом отношении газ. Наши химики нашли решение задачи. Уже в 1984 году предприятия «Союзбытхима» начали использовать вместо фреона пропан. Технические и научные трудности остались позади,

но... Госкомцен отверг все предложения, которые позволили бы произвести замену, не разорив соответствующие предприятия. Дело в том, что пропан чуть не в два с половиной раза дешевле фреона (при снижении к тому же норм расхода вдвое). А выполнение планов (с соответствующими финансовыми последствиями) определяется, как мы отмечали, по истраченным предприятием рублям. Один только Брестский завод бытовой химии, попробовавший спасти озонный слой над земным шаром, потерял на удешевлении продукции около пяти миллионов рублей, фонд зарплаты у коллектива уменьшился на 100 тысяч рублей (и другие фонды тоже).

О наших с вами интересах печется Госкомцен, намертво подгоняя оптовые цены на продукцию к «реальным затратам»? Если бы! О снижении розничных цен на аэрозоли с применением более дешевого пропеллента никто даже речи не ведет. Она остается на прежнем уровне. Вдумайтесь, наши регламентаторы цен готовы насмерть отстаивать заскорузлые «затратные» принципы, выгодные бюрократии и напрочь игнорирующие интересы как экономики, так и миллионов покупателей страны, даже если речь заходит о спасении всего живого на Земле!

И вот этим людям нас призывают вручить в руки подготовку и проведение «реформы цен», от итогов которой во многом прямо зависит весь ход экономических преобразований в стране. Не слишком ли доверчивыми кажемся мы, рядовые граждане, тем «аннушкам», которые старательно разливают подсолнечное масло на путях перестройки?

Леонид Почивалов

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На табло одно за другим вспыхнвают названня: Белград, Монреаль, Улан-Батор, Мехнко, Дели... Я встаю в очередь. За стеклом сурово-неподступное лицо сержанта-пограннчнnка. Он бросает короткнй, но цепкнй взгляд на фотокарточку в паспорте, потом на мою физнономню: соответствует лн? И под взглядом ясно-голубых, государственно-непреклонных глаз я замираю на миг: вдруг не совпаду, вдруг перед ннм лежит список и в нем значится «не выпускать!». Я нспытал это чувство трндцать шесть лет назад, когда впервые пересекал государственную граннцу, я нспытываю его и сейчас, хотя выезжал из Отечества множество раз: какая-то тайная, подспудная, неосознанная, род застарелого недуга, опаска осталась. Ее поселило когда-то в мою душу время, которое к каждому из нас относнлось с четко отработанным государственным недоверием.

Через три часа я — «там», ступаю на землю другой страны, другого мнра.

Становнмся лн мы в этот момент иными? Наверное. Пожалуй, собраннее, внутренне более мобилнзованнымн, более осторожнымн н недоверчнвымн — загранnца! А в основном темн же, что были на своей земле,— со всемн достоннствамн и недостаткамн.

Я не беру на себя смелость попытаться дать здесь объемный анализ такому многосложному явленню, как советскнй человек за границей. Скорее это отдельные наблюдения, над которыми стонт поразмышлять.

Так какне же мы там? Листая старые путевые блокноты, я наталкиваюсь на давно забытые прнмеры, которые восхнщают даже сейчас. Нашн на стронтельстве дороги в джунглях Калнмантана, во время урагана в Бермудском треугольнике, на возведеннн корпусов завода на Кубе, в крошечной больннце в глуши тропнческой Афрнкн... Я видел этих людей в действнн, горднлся тем, что онн мон соотечественннки.

С первых лет Советской властн мы привыкали к «преодоленню трудностей», к штурму, к всегдашнему состоянию мобилнзацнонной готовностн. И вот эту вошедшую в кровь готовность «преодолевать» везем за

границу. «Если Родина прикажет...» А порой Родина и не приказывает — просто не можем иначе.

Еще одна особенность, свойственная нашим за границей, которая, думаю, создавалась на протяжении десятилетий, а может быть, и веков,— готовность к терпению, к довольствованию малым. Меня поражали в некоторых африканских странах здания наших посольств и торгпредств, особенно жилых домов при них — скромнее не придумаешь, ютятся люди в настоящих вороньих слободках. Не много ли трудностей «для преодоления»? Ведь эти трудности создают стиль всей жизни нашей колонии в данной стране, накладывают отпечаток на психологию. В одной из стран Африки у меня случился спор с советским дипломатом. Невесть по какому разумению, скорее всего — по некомпетентности, Госконцерт заслал сюда, на экватор, группу артистов сугубо классического репертуара — пианистку, скрипача, певицу и балетную пару. Для вкусов широкой африканской публики их репертуар был явно экзотическим. И все же концерты привлекли множество зрителей и оказались доходными для устроителей. Но артистов поместили в плохонький отель, после изнурительного труда на сцене при чудовищной жаре даже душ принять невозможно! Однако советник посольства их вразумлял: «Надо терпеть! Вы в бедной, развивающейся стране». И наши терпели. А через месяц в эту страну приехал средненький джаз из Испании, и джазистам бесплатно предоставили лучшие номера в лучшем отеле столицы. Когда я поинтересовался у устроителей, почему такая несправедливость, мне ответили: «Ваше посольство настаивало на скромности».

Нашим специалистам, работающим по контракту, местные фирмы, как правило, предоставляют жилье и другие бытовые условия много хуже, чем таким же работникам из капстран. А советские учреждения, призванные защищать их интересы, знай, повторяют одну тему — о скромности.

А нужна ли подобная скромность? Выиграли ли мы в глазах местных жителей? Думаю, проиграли. Раз мирятся с такой гостиницей — значит, такова артистам цена. И неведомо им было то, что эти заштатные, по их мнению, артисты присланы из мирового святилища искусства — Большого театра. Подобная сиротская непритязательность отражается не только на авторитете отдельных наших граждан, но на авторитете всей страны. «О! Рашен!» Для них и гостиница подешевле, и кормежка попроще, и шмотки на прилавок швыряй бросовые — все возьмут! И полуграмотный, бессовестный, как христопродавец, мелкий лавочник где-

нибудь в порту Танжера или Сингапура взирает на «рашен» свысока, как на неимущих. Увы, в дорогие магазины на сверкающих витринами пикадилли наши не заглядывают, ищут лавчонки попроще на окраинах,— короток командировочный рубль. Обидно для самолюбия — наш низкий жизненный уровень демонстрирует себя именно там, за рубежом. И часто вступает в конфликт с нашей национальной гордостью, с нашим патриотизмом, который основывается на справедливом сознании могущества и бескрайних возможностей своей великой страны.

Как часто за границей приходилось разводить руками перед, казалось бы, несовместимым. В состав экспедиции на исследовательском судне «Витязь» входили ученые-американцы. Они поражались многому в корабельном быте — нашим обязательным «тройкам» при выходе на берег, обрывкам газеты вместо туалетной бумаги в уборных, нашей исследовательской аппаратуре — «вчерашний день»! Но однажды наткнулись на прибор, который кустарным способом собрали корабельные умельцы-геофизики, и ахнули: «Это же настоящее научное чудо! У нас подобного нет! Почему не патентуете? Разве вам не нужны доллары?» В ответ умельцы пожимали плечами. Что тут скажешь? Потому не патентуем, что пробить у нас патент — все равно что три пуда соли съесть. Блоха, которую подковал русский умелец, осталась в единственном экземпляре — свидетельством нашей способности к прогрессу, но не самого прогресса. Входивший в состав экспедиции академик с грустью подвел итог разговора с американцами: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» — а кто-то из его коллег добавил другое, столь же расхожее, спасительно-утешительное: «...Ты и могучая, ты и бессильная, Матушка-Русь...» И все сводилось к одному: уж такие мы от природы и другими быть не можем.

Ох, как вредна эта вздорная, разоружающая, в давние времена навязанная нашему сознанию идейка фатальной предрасположенности россиян к безалаберности и разгильдяйству! Железной метлой надо сейчас выметать эту мусорную идейку из ума и сердца.

На заре русской государственности «заграница», то есть то, что было за пределами контроля окраинных русских дозоров, нам чаще грозила бедой, чем добрым общением. Издавна воспитывалось в русском человеке чувство опаски и недоверия к ней. Наверное, самый тяжкий урок нанесло нашей психологии нашествие Орды. В. О. Ключевский писал, что оно наложило отпечаток на национальный характер на века вперед. И

то древнее, подспудное сознание бессилия, несмотря на все прекрасные взлеты творческого национального духа, несмотря на блестящие ратные виктории, жило в сердцах, переходило по наследству от поколения к поколению, сбереглось и до наших дней горьким зернышком в самой душевной глубине. Эти чувства на протяжении столетий активно культивировались в верхах российского общества. Не в народе, а именно среди знати и российских нуворишей проявлялось низкопоклонство перед заграницей, особенно перед «просвещенной Европой».

Достижением Великого Октября является небывалое возвышение нашего гражданского достоинства. Оно меняло нашу психологию вообще и нашу психологию в отношении к загранице в частности. Изживались традиционные, вроде бы навсегда устоявшиеся комплексы. Не надо было тянуться в поклоне, в умилении к чужой ручке — тянулись к нашим рукам, чтобы пожать в восхищении перед достигнутым нами. Наше достоинство перед заграницей мы возвышали экономическим и культурным преображением страны, победой над фашизмом, освоением космоса, верной политикой мира...

Но, увы, торжество и сила соседствовали с немощью и ущербностью, заблуждениями. Нет, не во всем нам удавалось стать первыми. Могли бы, да не сумели. И по объективным и по субъективным причинам. Деспотия культа личности возрождала давние комплексы, о которых писал Ключевский,— подозрительность перед заграницей, неуверенность в себе, а вновь обретенная робость возвращала память об ордынских нагайках. Давний комплекс неполноценности усугублялся в сознании нашим растущим отставанием. «Догнать и перегнать» не получилось. Поторопились с некоторыми шапкозакидательскими лозунгами и стали все больше ощущать экономическую разоруженность перед «загнивающим». Ничего не поделаешь — бытие определяет сознание.

«...Зато мы делаем ракеты. И покоряем Енисей. А также в области балета мы впереди планеты всей»,— иронизировали мы сами над собой. Да, впереди и в ракетах, и в балете, и во многом другом! Но это первенство в нашем быту не так уж и ощущается. Наверное, ракеты и балеты у нас действительно отличные, мы это сознаем с гордостью, но зайдем в магазин, взглянем на полки — какая тут гордость?

Нелегко нам за границей противостоять традиционной предвзятости Запада к россиянам. Особенно в глазах обывателя. Нет у нас лоска во внешности, что тут скрывать! И костюмы не всегда из самых модных,

и чемоданчики ширпотребовские. И в люксовые отели не вхожи — не по карману, в чаевых жмемся, когда другие дают,— какие там чаевые при наших командировочных!

Но эти, так сказать, наглядно-внешние минусы не главная беда. К сожалению, нередко форма в этом случае соответствует содержанию. За границей особенно важна деловитость, ибо лишь она может рассчитывать на уважение в том сугубо прагматичном мире. Где деловитость, там, стало быть, и компетентность. А вот ее нам всегда не хватало по той простой причине, что мы не очень-то давали себе труд изучать заграницу всерьез, часто судили о ней по созданным самими же стереотипам. Например, мы всегда недооценивали, а значит, и не знали зарубежные религиозные движения, в том числе ислам. Но события последнего десятилетия продемонстрировали, что это незнание оборачивается серьезными проблемами.

Путешествуя по другим странам, я порой поражался некомпетентности некоторых наших загранработников. Специалист по Швеции заведовал протоколом в нашем посольстве в мусульманской стране Ближнего Востока. Встречались дипломатические представительства, в составе которых не было ни одного человека, знавшего язык местного населения. В некоторых тропических странах сотрудники советских учреждений годами не выезжали в провинцию, страшась сложностей здешних дорог, и знали о положении в стране лишь по местным газетам. Увы, порой встречались послы, особенно из выдвиженцев — бывшие секретари обкомов,— которые имели довольно смутное представление о принципах дипломатии и вели себя так, будто и не покидали обкомовского кабинета. А иные торговые представители толком не ведали, что им продавать и что покупать. И не удивляешься, когда видишь на экваторе только что присланные сюда на продажу автомашины не с кондиционерами, а с печками.

Писательская делегация, в которую я входил, в столице развивающейся страны проводила пресс-конференцию. Одного из членов делегации спросили, что он думает о творчестве Солженицына. Тот в ответ принялся решительно разоблачать сие творчество. Однако дополнительные вопросы выявили, что Солженицына наш коллега не читал вообще и суждение о нем имел понаслышке. В результате начавшаяся вполне удачно для нас встреча была скомкана, и мы ушли с нее разочарованными. Нас обвинили в некомпетентности, и поделом, в те времена был такой стиль: и восхвалять, и разоблачать, так сказать, априори. Самое

простое и честное — сказать «не читал» мы почему-то стеснялись.

Новое мышление на международной арене — это прежде всего трезвое мышление, основанное на реалиях нашего времени, а не на надуманных схемах, какими бы гуманными они ни выглядели.

В наших же интересах лучше знать закордонный мир, проявлять к нему изучающее внимание, объективность и по возможности уважение. А знать всерьез могут только деловые люди. Я далек от того, чтобы бросить тень на огромный отряд сотрудников советских загранучреждений. В большинстве своем они честно, как умеют, выполняют свой долг. Но есть исключения. И порой заметные. Не секрет, что кандидат на загранработу частенько подбирался не по деловым качествам, а по дружескому расположению и даже по родственным связям. И получалось так во времена отсутствия гласности, что на работу в загранучреждения далеко не всегда попадали самые достойные. Если бы учитывались профессиональные и человеческие критерии, если бы судьбу кандидата на поездку определяли не отдельные руководящие чины, а коллектив, меньше было бы в зарубежных наших делах досадных промахов, не обнаруживали бы мы вдруг непостижимое: вроде бы самый проверенный, защищенный высокими рекомендациями, оказывается, легко поддается соблазнам лукавого капитализма.

Многое теперь нужно пересматривать в отношении к загранице. Провозглашенная открытость общества вовсе не означает беспринципность в нашем взаимодействии с зарубежным миром. Думается, надобно нам поскорей избавляться от некоторых застарелых, вовсе уж не в духе времени привычек, пристрастий, норм и стереотипов.

Салтыков-Щедрин писал в остром памфлете о русских «гулящих людях» за границей, которые подаются в Европу за кутежами. Но то было сто лет назад. И гуляли они по большей части за свой счет. А в наши дни? Привычки, утвердившиеся дома, мы переносим и «туда» — они сидят в нас крепко. И если иной привык на отдыхе к сауне с пивом, куда вход только «узкому кругу», он и за рубежом требует привилегий. Почему бы не гульнуть, если фортуна вынесла тебя на гребень карьерного благополучия, если деньжата казенные и, учитывая твой чин, никто за них не спросит?! И гуляли, валютой сорили, из кожи вон лезли, чтобы, как писал Щедрин, «заслужить повышение в европейцы». Горько было узнавать из западных газет, какое по счету норковое манто выписывает из-за границы для жены

один наш важный начальник, которого никто не смеет схватить за руку — сам схватит. Или о том, как с купеческой широтой швыряет купюры по пятьдесят долларов на чай гарсонам в парижском престижном кафе другой ответственный чин, защищенный от нашего контроля высокой родственной связью.

Слава богу, настало время, когда современным купчишкам крепко дают по рукам. Их гульба была тем более оскорбительна, что броско выделялась на фоне полубедного довольствия, которое отпускается нашим людям, отправляющимся по служебным делам за границу. Даже из честно заработанных высококвалифицированным трудом у зарубежных фирм денег они могут взять лишь часть по причине некоей демократической уравниловки в наших заграничных заработках. Оказывается, непозволительно, чтобы врач заработал больше посла, хоть и работает врач в тяжелейших условиях тропической глуши. В одних и тех же должностях работают кто лучше, кто хуже, а зарплата одинаковая.

Так рождаются новые комплексы и стимулируются старые, унаследованные из прошлого. Появляется особого рода мышление. Адидасовские кроссовки, трепетная мечта подростка, у которого естественная охота пофорсить, выступают в роли нашего идеологического оппонента в борьбе за юную душу. Возникла особая, ширпотребовская география. О ней хорошо осведомлены моряки: этот порт захода — кожгалантерейный, а тот — колготовый.

Общение с заграницей — сейчас оно, как никогда, широкое — охватывает тысячи выезжающих за рубеж. И все больше желающих взглянуть: как там, за морем? Но далеко не все тянутся туда за познанием. Ради заморских благ иные слабые души, не раздумывая, бросали землю своих отцов, чтобы обрести тряпичное благополучие где-нибудь в Израиле, а желательнее на Манхеттене. О выгодном женихе стали говорить: «выездной», значит, и барахлишко имеется, и сертификаты. Иные власть предержащие детей своих старались отправить на учебу непременно в вузы языковые, престижные, то есть имеющие прямое отношение к загранице. Некоторых деток уже не устраивали отечественные «Москвичи», «Жигули», им подавай «Волги». Стала утверждаться мода на «мерседесы» и «вольво» — вот как высоко поднялась планка для тех, кто намерен в наши дни выглядеть почти вровень с западными стандартами. И выглядели. Почти вровень. А что же удивляться, если примером были иные высокопоставленные лица, которые имели возможность коллекционировать не только фарфор, изъятый в свое время из

бывших царских покоев, но и самые современные зарубежные лимузины?!

Дефицит порождает низменное. Иной дорвавшийся до заграницы вдруг меняется удивительнейшим образом. Приехал общительным, хлебосольным, а через год, смотришь, затаенный, озабоченный, гостей не зовет — лишние расходы. Избегает посещать здешние кинотеатры, кафе, выставки — дорого! Кормится впроголодь — копит! Я присутствовал на собрании в одном из советских посольств в Африке. Обсуждали посольского коменданта. Врач определил у его пятилетнего сына признаки острого авитаминоза. Оказывается, даже апельсин, фрукт, который в Африке дешевле картошки, был для мальчика редким лакомством. И все потому, что папа копил сертификаты на «Волгу».

Такое махровое жлобство порождает многоликое зло — черствость к людям, замкнутость, пренебрежение служебными обязанностями, безыдейность, а в конечном счете — и антипатриотизм.

Мне скажут: конечно же, подобное накопительство отвратительно, но ведь не запретишь человеку покупать за границей нужные ему вещи. Тысячи и тысячи наших туристов выезжают за пределы страны, и вряд ли находятся такие, кто не заглянет там в магазины. В Югославии в советском посольстве зашел у меня разговор о наших туристах. Посольские жаловались: ведут себя шумно, неуравновешенно — то непозволительно развязны, чуть ли не обнимаются с первым встречным, то, наоборот, чего-то и кого-то опасаются — в зависимости от того, что это за группа, откуда приехала и кто ее руководитель. Но главное — магазины. В штурме магазинов все комплексы соединяются в один: «Даешь шмотки!» А что им делать, если и деньги, и время в обрез — вот с налета и хватают что попало, лишь бы подешевле.

На их поведение югославы обращают внимание. Гид спрашивает: «Вам сразу в магазины или вы все-таки взглянете на наши достопримечательности?» Стыд! А как быть? Один из моих собеседников был за крайние меры: раз туристы компрометируют страну, сократить туризм до минимума! Разве это выход? Выдавать побольше валюты на расходы? Все равно будут штурмовать магазины, покупать то же самое, но числом поболее, ибо штурм этот объясняется нехваткой подобных товаров в наших магазинах. Так что запретами престиж советских туристов не спасешь. Все продолжится в том же духе, пока на наших магазинных полках не окажется столько же доброкачественных товаров, как и на зарубежных, а выехавший за границу

не будет руководствоваться там личными финансовыми возможностями.

Такое станет возможным лишь тогда, когда рубль превратится в свободно конвертируемую валюту. Думается, процесс совершенствования нашей экономики рано или поздно приведет к такому. Но это в будущем. А что делать сейчас? Смириться перед неистовостью дорвавшихся до чужих прилавков? Нет, нельзя! Честь беречь должно всюду, тем паче у чужого прилавка. Достоинство не выдают, как валюту, по ведомости, его воспитывают. Сейчас вполне справедливо мы расширяем возможности для загрантуризма наших людей. И теперь в этом больше полагаемся на личную ответственность каждого из нас, на собственную гражданскую зрелость, чувство достоинства. Никакое анкетное дознание, никакая коллективная опека не застрахуют от ложного шага. Доверие обязывает. И таит новые возможности. Думается, пора нам расширять индивидуальный туризм — хотя бы в рамках СЭВ. Словом, расширять общение. Но никогда не забывать, что в любом общении главное — это честь и достоинство.

Начатая сейчас политика активной демократизации общества, бесспорно, приведет к главной своей цели — укреплению в нас чувства гражданского достоинства. Честно говоря, на протяжении минувших десятилетий оно заметно пошатнулось.

Одно из наследий печальной памяти времени беззакония — недоверие к человеку. Именно тогда выдумывались самые замысловатые анкеты, в которых человек просматривался вдоль и поперек — до морщинки. Нас, носителей идей высокой коммунистической справедливости, отправляли за границу не наступать со своими идеями, а обороняться. Учили быть всегда готовыми к отражению нападения, ибо были убеждены, что заграничный враг только и ждет, как бы учинить коварную провокацию против бухгалтерши из Урюпинска, приехавшей по туристской путевке. В Париже в Лувре я услышал родную речь. Экскурсовод рассказывал нашим туристам о картинах. Я подошел поближе, но меня тут же засек острый глаз одного из группы: «Кто вы такой?» Я назвался, объяснил, мол, хотел тоже послушать — интересно! Старший сдвинул брови: «Почему мы должны вам верить на слово?» Он боялся провокаций. В Лувре. У картины Рембрандта. А вдруг искусят?

Когда случилась моя первая заграничная командировка, меня предупредили: «Там, за границей, ты не должен никому говорить, что являешься членом партии. За границей особые условия». Принадлежу к крупнейшей в мире Коммунистической партии, у кото-

рой такие славные традиции, такой авторитет на земле, и вдруг должен это скрывать, будто я из тайной организации сомнительной репутации!

Ссылками на «особые условия» мы долго оправдывали трусливую перестраховку, подменяя запретами собственную гражданскую, а тем более и партийную ответственность за свои поступки в заграничных условиях, какими бы они особенными ни были. Однажды довелось плыть на торговом судне. Из двадцати человек экипажа лишь один не был занят делом — первый помощник, отвечающий, так сказать, за идейное состояние экипажа в загранплавании. Две трети экипажа были коммунистами, был у них собственный партийный секретарь. Но, оказывается, всего этого мало, им положен обязательный помполит — для дополнительного контроля. Получалось, что партийцам экипажа полного доверия нет — мало ли что! Заграница ведь! Делать помполиту на судне было решительно нечего, его прозвали «сачком». Тысячи помполитов путешествуют на наших судах, дорого обходятся государству — довольствие командирское, а проку немного. Давно поговаривают, что пора этот изживший себя охранительный институт помполитов ликвидировать и доверить «идейный уровень» самим морякам.

Мы сейчас говорим о необходимости отказываться от годами сложившихся стереотипов мышления, которые делали нас примитивнее, не давали нам проявить лучшие качества. Показуха — давняя болезнь, от которой мы сейчас стремимся отделаться прежде всего. Но показушность проявляли не только на своей земле, но и за границей. Уж там-то особенно старались продемонстрировать себя не такими, какие есть, а выставить на зарубежное обозрение выдуманный плакатно-лозунговый образец.

В свое время в результате прямолинейной пропаганды появилось и с годами все более укреплялось убеждение, будто нас, советских, любят в мире повсюду, нами восхищаются, нам подражают. Вот империалисты, поджигатели войны, те ненавидят, готовы подставить ножку, а «простые люди», особенно чернокожие и вообще цветные,— все за нас. И в прекраснодушном порыве тянемся с братскими объятиями дружбы, всучаем своих пучеглазых ширпотребовских матрешек. И удивляемся, когда не встречаем взаимности, на которую рассчитываем. А оказывается, далеко не все, даже «простые люди», даже африканцы, нас любят, многие о «советских» просто-напросто мало что знают. Всеобщую любовь «простых людей» во всем мире мы еще не завоевали, не стали, к сожалению, еще тем примером,

которому кто-то захочет безоглядно подражать. И нечего себя обманывать. Время учит трезво оценивать реальность. За прежние иллюзии мы сейчас дорого расплачиваемся.

В наши заграничные учреждения, экспедиции демократизму пока просочиться не удалось, там и с гласностью еще не очень.

Четверть века назад я был участником советской воздушной антарктической экспедиции. На австралийской базе умирал человек. Наши летчики помогли вывезти австралийца и тем спасти его. В Мирный пришла благодарственная радиограмма от австралийского премьер-министра.

И вдруг у самих беда: у одного из летчиков — перелом позвоночника. Требуется срочная эвакуация. А самолеты через три дня покидают Антарктиду. Но начальник экспедиции воспротивился: «В Сиднее нас будут встречать как героев, а мы с носилками появимся. Полнитку подпортим. Отправить морем!» Он был упрям, этот полярный начальник. А в Москве узнали: не вынес трудной морской дороги летчик, вскоре после возвращения на Родину умер. Так показуха обернулась преступлением.

К сожалению, и сейчас можно было бы назвать немало случаев, когда руководители излишне авторитарны, не хотят и не умеют прислушиваться к голосу рядовых тружеников. Отчасти и поэтому разного рода негативные явления среди наших загранработников так живучи.

Завещанное нам революцией мышление неизменно, ибо основывается на идейных принципах всего нашего мировоззрения — защита мира, защита интересов и авторитета Отечества, укрепление взаимопонимания с другими народами и государствами, интернационализм, поддержка всего прогрессивного, подлинно демократического, сочувствие угнетенным. И если уж говорить о перестройке в нашем отношении к загранице, то, думается, речь надо вести прежде всего о принципиальности в утверждении и защите наших неизменных принципов.

То, что у нас происходит, находится под пристальным вниманием всего мира, внимание разное — доброжелательное, сдержанно-любопытное, неприязненное. Иные даже поощрительно похлопывают нас по плечу, как малолеток-несмышленышей, которые наконец вняли наставлениям взрослых: «О'кей, русские! Мы рады, что вы беретесь за ум!» Некоторые наши журналисты, заполучив у зарубежных политических боссов снисходительную реплику, торопятся передать

ее в редакцию: вот, мол, нас снова приветствует весь мир! Когда в космос ушел Гагарин и нас приветствовал весь мир, похвалы его были вровень с нашим достоинством. Но нам хочется, чтобы такое было всегда, страсть как любим аплодисменты из-за рубежа, ждем их, а если не случаются, торопимся сами организовать хоть пару хлопков. А не стоит ли теперь в соизмерении с тем же чувством национального достоинства проявлять побольше самоуважительной сдержанности? Всерьез оглянуться вокруг себя и уяснить: оказывается, не всегда жили по принципам, которые сами провозгласили семьдесят лет назад. Не пришлось бы сейчас перестраиваться, если бы на каких-то этапах наша стройка не дала кривизну, не пришлось бы заботиться о гласности и демократии, если бы эти основополагающие элементы социализма не были в свое время загнаны в угол. Так зачем же хвалиться перед другими тем, что мы поправляем с таким большим опозданием? Не умиляться — делать. И делать деловито, без трезвона, без очередных кампаний, без расчета на чьи-то аплодисменты. Хватит нам в прошлом этих бурных, несмолкающих самоаплодисментов. Нам гласность нужна не для того, чтобы попривлекательнее выглядеть перед заграницей. Пора избавляться от давней опасливой оглядки: «А что о нас скажут там?» Да пусть говорят, что хотят! Гласность нужна для самих себя, для утверждения собственного достоинства. Если не будем помнить о достоинстве, нас перестанут за границей уважать как равноправных коллег и серьезных оппонентов. Надо по капле выжимать из себя не достойное свободного человека чувство робости перед заграницей, неполноценности, раболепия перед всем иноземным.

Разве у нас нет основания для своего, советского достоинства? Когда Маяковский писал: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока»,— он имел в виду самое главное наше богатство — устремленность в будущее. Наше Отечество, какие бы у него ни были трудности и проблемы, принадлежит — и мы в этом убеждены — к самой жизненной, самой прогрессивной общественной формации в истории человечества, которая рано или поздно докажет превосходство в мирном соревновании с иным общественным порядком.

Валентин Распутин

ЕСЛИ ПО СОВЕСТИ

Жить по совести — это значит быть личностью духовной, поступки которой соотносились бы с вечным, передающимся из поколения в поколение представлением о назначении человека.

— Судя по вашим произведениям, публицистическим выступлениям, вы считаете, что главный движитель человека, его поступков и поведения — это его совесть. Вы нас убеждаете в этом; мы читаем и видим, что путь, по которому ведет человека совесть,— единственно верный и что каждый бы поступал так же. Но закрываем книгу и обнаруживаем, что в реальной нашей жизни не всегда так получается. Если бы совестливый человек спросил вас: что мне сейчас нужно делать, в наше непростое, переломное время, как жить — если по совести?.. Что бы вы ему сказали?

— Как жить и что делать по совести? Во-первых, наверное, мы должны быть правильно ориентированными, нравственно и духовно, то есть знать те координаты, по которым должно происходить движение жизни. Потому что во многих случаях произошла подмена или смещение нравственных понятий, и началось это не вчера, не в 30-е годы, а гораздо раньше, наверное, даже с лишним 100 лет назад, и если в какой-то момент происходило выправление общественной нравственности, то затем опять многое терялось.

Когда хоронили Достоевского, огромная толпа народа провожала его в последний путь. Прошло 25 лет, и у могилы великого писателя собралось всего девять человек. Вот насколько изменилось отношение к этому властителю дум, как тогда называли Достоевского, к человеку, которого обожали и который действительно был властителем дум. Думы-то другие стали. И властители появились другие, и отношение к нему в корне изменилось.

Точно так же понятия, бывшие нравственностью, одухотворенностью, совестью, к началу века, по крайней мере к началу первой мировой войны, стали терять

прежние очертания и живое значение и все больше превращаться в милую ветхость бабушкиных сундуков. Спустя еще десять — пятнадцать лет о них и вспоминать сделалось неприлично. Их затмили и превратили в старорежимную идеологию новые требования. Дольше всех держалась, кажется, совесть, но затем и из нее сделали инструмент послушания. Нравственность заменили соблюдением писаных законов, политграмотой заменили духовность. Жизнь перешла во внешние формы, внутреннее порицалось.

Можно говорить о возвращении нравственности и духовности в последние два-три десятилетия. Но — в ином качестве. Пожалуй, можно с уверенностью говорить лишь о возвращении слов, которые треплются сейчас нещадно, под словами же сплошь и рядом мы имеем в виду совершенно разные вещи. Теперь, право, трудно разобраться, что нравственно, что безнравственно. И дело не в давлении официальной точки зрения. Официальная точка зрения не воспрещает иметь правильное представление об этих ценностях. Не воспрещает. Но человек успел заблудиться, последовал за какой-то ложной системой координат и позволил увести себя в такие дебри, из которых теперь непросто выбраться. Даже и имея возможность выбраться, он не знает, как это сделать, а чаще всего не знает, что и нужно выбираться, полагая, что находится на правильном пути.

Так что жить по совести — это прежде всего найти свое место в нравственном миропорядке, понять меру своего отклонения, а потом уже, исходя из этого места, исходя из точки, в которой находишься, продолжать движение.

Ну, а что касается чисто практического проявления совести — в отношении к работе, к близким, к окружающим, тут, наверное, все понятней.

Если грубо говорить, совесть существует как бы в двух этажах: духовная совесть — высшая — и практическая. В отношении к практической человек не заблуждается, он знает, как жить по совести.

— Не укради, не обмани, не предай?..

— Да.

— Но ведь и крадут, и обманывают, и предают, а к близким своим, к детям заботливы, добры и тоже наставляют их: не укради, не предай...

— Люди, которые имеют двойную совесть — на службе одна, дома другая (как двойная точка зре-

ния),— это уже от испорченности, от приспособленчества, от флюгерства.

А есть люди, которые так не умеют, они в худшем случае отмалчиваются там, где требуют от них совесть искривлять. Или говорят правду. Страдают за нее, но — говорят.

А ведь было принято лукавить, иметь для общественных нужд совесть одну, а для себя, для личного пользования,— другую. Но если совесть участвует во лжи, это уже не совесть, а что-то другое. И остается та малая часть совести, с которой человек приходит домой, считая, что она-то и поможет ему выстоять. Однако не может такого быть, чтобы на службе он лукавил, дома — нет. Ложь — это ржа, он проявит себя и в домашних условиях, в личной жизни. Одна сторона совести не может долго оставаться чистой, заповедной. Заражение так или иначе произойдет. Неискренность будет подавлять искренность, и поражение неизбежно. А отсюда или полный цинизм, или трагедия.

— Валентин Григорьевич, но ориентиры ведь известны, они извечны, о ценностной системе координат каждый имеет представление. И в общественном мнении нравственные ориентиры сегодня определяются с большой откровенностью. В чем же тут вопрос?

— Тут разговор, наверное, уже должен идти о правде. Не может произойти улучшения личностной совести, пока не проявит себя в полной правде общественная совесть.

Шукшин говорил: нравственность есть правда. Это верно. Но правда — не вся нравственность, хотя начинается и стоит нравственность на правде.

Сейчас легче говорить правду. Но делаем мы это как-то очень стеснительно. Только с определенного времени. Только с застойных явлений, а ведь и застойные явления стали возможны благодаря умолчаниям. Мы потому и испытываем сегодня тревогу, что недоговоренность продолжается, а значит, остаются запасные позиции для отступления. Дмитрий Донской, выведя свое войско на Куликово поле, распорядился разобрать переправы — или победа, или смерть. Отступать было некуда. Сейчас для нашего общества столь же решительное время. Умолчание, как метастазы, могут привести к новой лжи, а на преодоление новой лжи нашего нравственного здоровья не хватит.

Непонятно, кого мы боимся обидеть, скрывая правду и не давая определенных оценок коллективизации. Жившее и действовавшее тогда поколение, обществен-

ную систему? Но ошибки были не следствием системы, а нарушением ее, не актом необходимости, а актом противозаконности, коль осуществлялся страшный произвол по отношению к крестьянину. Что касается поколения — в лучшей части оно и пострадало от произвола, а с той частью, которая проводила произвол и у которой остались от него приятные воспоминания, можно и не посчитаться. Только в том случае, когда мы отделим лучшее от худшего и дадим тому и другому справедливую оценку, и может произойти необходимое очищение и выправление.

Это относится и к нашим сегодняшним делам. Говоря об ошибках прошлого и добиваясь факта их признания, мы не можем оставлять на будущее и ошибки настоящего. Это значило бы удовлетворяться только правдой о прошлом. В таком случае ускорение может оказаться даже и опасным и завести далеко, если, прибавляя обороты, мы двинемся вперед, занятые освоением расходов, а не прибавлением доходов.

Ни для кого сегодня не секрет та исключительно опасная для природы, экономики и морали бесконтрольная деятельность, которую проводит Министерство мелиорации. Общественность давно ставит вопрос, чтобы контрольные органы провели строгую ревизию. На что тратятся этим министерством десятки миллиардов рублей, что делают они с землей, на которой проводят свои работы, и каков экономический эффект от израсходованных средств. Но по-прежнему к голосу общественности мало прислушиваются. С огромным трудом, благодаря правительственному постановлению, удалось временно остановить проекты поворота северных и сибирских рек. И что же? Проекты остановлены, но что толку с этого, если финансирование остается прежним и ни один из виновников не наказан, а министр мелиорации Н. Васильев получает высокую государственную награду. Это вызывает недоумение и понимается как поддержка поворотчикам.

Поневоле приходит на ум абсурдная, казалось бы, но не лишенная основания мысль: те средства, которые высвобождаются от снятых с вооружения ракет средней и меньшей дальности,— не пойдут ли эти деньги на дальнейшее вооружение и наращивание мощностей Министерства мелиорации, Минэнерго, Лесбумпрома и других министерств и ведомств, практика хозяйничанья которых на родной земле сравнима с колониальной политикой? Увеличение мощностей того же Министерства мелиорации, дальнейшее потворствование затратной экономике может принести государству только вред.

Не буду говорить обо всей стране, что же касается Сибири, то здесь министерства и ведомства хозяйничают кто во что горазд, безжалостно грабя сибирскую землю. Остановить их некому. Местные органы власти в сибирских областях и краях ведут себя по отношению к ним робко и искательно, довольствуясь объедками с богатого стола. Они уже и тому рады, если взамен озер и рек, богатейших черноземов и огромных площадей им пообещают то домостроительный комбинат, то троллейбус в городе, то Дворец культуры. Так происходит сейчас в Горном Алтае. Сделка даже и не скрывается: если будет построен на Катуни каскад ГЭС (а значит, и погублена эта удивительная река в одном из самых экологически чистых на земле мест), Минэнерго оставит из милости после себя домостроительный комбинат. Надо уточнить: панельного домостроения, от которого следовало бы отказываться даже и в том случае, если бы за него давали большие деньги, а не платить благополучием и здоровьем родной земли.

В «Литературной газете» в свое время была статья О. Чайковской «Сдвиг» в связи с прокладкой метро под Библиотекой имени Ленина. Я часто вспоминаю эту статью, в которой речь шла и о сдвиге совести, сдвиге сознания у части нашего народа. Да, не только у технократов произошло отмирание гуманитарной и духовно-охранительной части мозга, эта страшная болезнь распространилась шире и приняла опасные формы. Это в общественном организме тот же синдром приобретенного иммунодефицита, против которого, в отличие от медицинского СПИДа, не только не ведется борьба, но и болезнь не считается за болезнь, а принимается за новое сознание, отвечающее духу времени. А дух этот, надо сказать, к бедам земли глух. Но проник он во все слои общества — от рабочего и младшего научного сотрудника до партийного руководителя.

В связи с борьбой за Байкал я получил и продолжаю получать огромное число писем. Не сотни даже, а тысячи и тысячи. В основном это поддержка усилий по спасению Байкала. Люди предлагают свои услуги, деньги, силы на мероприятия по его охране, возмущаются сторонниками промышленной эксплуатации Байкала. Однако есть и люди, которые спрашивают: Волгу погубили, Днепр, Дунай, Ладогу тоже, почему Байкал должен оставаться чистым? Есть логика в такой постановке вопроса? Логика есть, но как бы перевернутая, когда за образец берется не лучшее, а худшее. На это и рассчитывает сдвинутое набекрень технократическое мышление: отказаться от эталона и опустить норму до

таких отметок, уровень которых сравнить было бы не с чем. А тем самым снижается уровень и здравого смысла, и совести.

— Не удивлюсь, Валентин Григорьевич, да и вы, наверное, не удивитесь, если кто-то сейчас скажет: ну вот, Распутин опять о Байкале, о повороте рек... Действительно, ведь много об этом сказано, много написано, так много, что, возможно, в обществе возникла иллюзия достаточности разговора на эту тему, иллюзия решения той и другой проблемы...

— Тревога о природе никогда не исчезнет, а исчезнет — так вместе с природой.

С принятием правительственного постановления проблема Байкала не решена. Постановления принимались и раньше. И если бы они хотя бы наполовину выполнялись, судьба Байкала, конечно, могла быть иной. Но министерствам удавалось или поправлять их следующим постановлением в свою пользу, или, не тратясь даже и на эти усилия, вовсе не обращать на них никакого внимания.

Это опять к вопросу о совести, о ее профессиональном и общественном выражении.

Надо признать, что столь решительного и направленного именно на сохранение Байкала постановления, как последнее, принятое в апреле прошлого года, еще не бывало. Но и в нем есть досадное недоразумение. Это прежде всего пункт, предусматривающий строительство водоотвода промстоков Байкальского целлюлозного комбината. Промстоки Байкалу, разумеется, не в радость, но трубопровод не спасет Байкал. Это половинчатая и неэффективная мера. Сказав «а», на «б» духу не хватило.

Не прошло и года после принятия постановления, а уже, что называется, невооруженным глазом видно, как встречными и тайными мероприятиями пытаются ослабить его действие. Лесбумпром, не дожидаясь, когда высохнут на правительственном постановлении чернила, увеличивает для БЦБК план (стало быть, увеличатся сбросы); Госплан намечает в ближайшие два десятилетия значительно увеличить в Приангарье продукцию химической и нефтехимической промышленности (воздушные выбросы понесет в Байкал); на озере Хубсугул в Монголии по межэкономическим связям предполагается строительство мощного комбината по производству фосфорных удобрений (Хубсугул Селенгой связан с Байкалом, пострадает и одно озеро, и другое).

Словом, не мытьем, так катаньем. Шумите, братцы, шумите, а мы своего добьемся: не бывать Байкалу!

— Нередко приходится слышать прямой вопрос: неужто не может наша страна, наше общество обойтись без этого комбината?

— Может. Необходимость его сильно преувеличена. Двадцать лет нас обманывают, будто без байкальской целлюлозы ну никак, хоть караул кричи. Так было со скоростной авиацией, во имя которой-де строился комбинат, но ни грамма байкальской целлюлозы не пошло на скоростную авиацию; так происходит теперь с шинной промышленностью, где байкальская продукция идет на устаревшую технологию и приносит убытки. Нет сомнения, что легкая промышленность тоже обошлась бы без байкальской целлюлозы. Специалисты считают, что и углеродную нить необходимого качества можно получать не обязательно из байкальской целлюлозы. Доказательство тому — запланированное перепрофилирование комбината.

И, значит, нет никаких веских оснований, чтобы упорствовать в сохранении комбината на берегу Байкала. Но если бы они даже и были, Байкал дороже.

— Вы думаете, что вопрос о байкальском комбинате из экологического и экономического уже полностью перешел в нравственный?

— Давно перешел. Давно стал показателем нравственной и духовной зрелости общества, его хозяйственной и гражданской культуры. Несколько лет назад мне пришлось принимать участие в разговоре, когда одно ответственное лицо в порыве откровенности сказало: вы что думаете, мы не понимали, что комбинат на Байкале нельзя строить? Понимали. Но нельзя было допустить — ни одно государство этого не допустит,— чтобы в развернувшейся тогда дискуссии победили гуманитарии.

То же самое, похоже, происходит и сейчас. Ни для кого не секрет, что строительство трубы, которая обойдется государству почти в те же деньги, что и комбинат,— ошибка, очередная ошибка в ряду многих ошибок, свалившихся на Байкал, но признать ее не хотят. Правда, президиум Академии наук единогласно высказался против трубы. В Иркутске в последнее время собрано более 70 тысяч подписей против трубы и за скорейшее перепрофилирование комбината. Отсылать их некуда. Письма, которые отправлялись в ЦК по

накатанной дорожке: ЦК — Совмин РСФСР — Иркутский облисполком,— возвращаются обратно.

А в Иркутске люди, собирающие подписи, подвергаются резкой, несправедливой критике в местных газетах и по телевидению, их действия объявляются противозаконными и вредными. Все как встарь, как в 30-х и 60-х годах, только что дело не дошло до арестов. Если подпись под обращением к трудящимся Прибайкалья ставит член партии — выговор ему, как будто членство в партии — это особая совесть. Вот один из примеров. На релейный завод, как только туда принесли письмо, как только там начался сбор подписей, тут же из обкома приезжает человек, письмо изымает, сбор подписей приказывает прекратить. А на следующий день нескольким успевшим подписать письмо коммунистам партком объявляет выговор.

Тем не менее иркутская общественность немалого добилась, пришлось и обкому партии согласиться с теми, кто представил неопровержимые доказательства ненужности трубопровода. Сейчас строительство его приостановлено, но дальнейшая судьба его пока остается неясной.

— Поясните, пожалуйста, что за обращение, откуда взялось?

— Это письмо-обращение инициативной группы, которая была создана на встрече избирателей с депутатом Верховного Совета СССР председателем президиума Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР академиком Н. А. Логачевым. В эту группу входят и ученые, которые хорошо знакомы с нынешней ситуацией на Байкале, в руках у которых расчеты и научные выводы. Ничего противозаконного в их действиях нет. Они предупреждают о последствиях и добиваются, чтобы не свершилось очередное головотяпство, которое, с точки зрения здравого смысла, и является противозаконным и противоестественным.

— Можно сказать, что тут прекрасно сработал один из механизмов демократии...

— Именно. О роли общественности в решении государственных вопросов в новых условиях перестройки и гласности не однажды говорилось. Но, кажется, самое большое испытание для нашей демократии — довести слово до дела, до практики. Вот тут механизм торможения и старых, устоявшихся взглядов срабатывает на полную мощность. Мы сами призвали народ к деятельности, к гражданской активности, самостоятель-

ному взгляду. Он отозвался на наш призыв — так почему же, как в Иркутске, надо затыкать ему рот и прибегать к недостойным нынешних перемен ярлыкам? Минувшие десятилетия показали: ничто так не опасно для любой страны, как равнодушие народа. Оно плодит бюрократизм и преступность. Оно приводит к непоправимым последствиям в судьбе народа.

Радоваться надо, что общественное мнение вышло из круга забот о собственном животе и откликнулось на государственные интересы, на жизненно важные вопросы родной земли. А мы вместо этого: цыц! не сметь! В грубом администрировании и технократическом властвовании, как в атомной войне, победителей быть не может. Я ставлю рядом эти, казалось бы, несравнимые понятия не случайно: и в том, и в другом случае дальше только гибель.

— Расслоение общества — явление застойного периода — уродливо сказывалось на духовном состоянии жизни. Бюрократические извращения и всякого рода злоупотребления настолько исказили нашу жизнь, что выправление казалось невозможным. Видите ли вы перемены сейчас в этом плане?

— Перемены есть. Если говорить о расслоении вертикального плана: бюрократия и народ — бюрократия сейчас чувствует себя довольно неуютно. Вернее, чувствовала. В последние месяцы она, я думаю, приободрилась. Безнаказанность, с одной стороны, аппаратная солидарность против практического применения нового мышления, с другой, вернули ей настроение прочности. А к шумовым эффектам она начинает привыкать. Она-то и взяла на себя роль устроителя этих эффектов. Однако самое неприятное расслоение, даже раздробление — в горизонтальном слое. Сейчас трудно говорить о народе как о чем-то едином, объединенном общей целью. Главные цели заговорены и захламлены второстепенными. Как никогда прежде, мы показываем себя населением, стремящимся продемонстрировать свои различия: возрастные, национальные, культурные, вкусовые, профессиональные. Народ всегда объединяла и одухотворяла забота о своей земле, как месте рождения, пропитания и вечности; когда же эти заботы ослабли, неминуемо должны были и ослабнуть связи внутри народа. И ничего утешительного впредь при продолжающемся беспамятстве и обирании своей Родины ожидать нельзя. Перестройка сознания должна начинаться с этой азбуки, на которой стоит все и вся, начиная с первого ощущения ребенка и кончая словом государственного деятеля.

При прежней практике отношения к нашей природе новое сознание невозможно. Пока не будет вслух сказано, сколь страшную роль в судьбе Байкала сыграл академик Жаворонков, пока не дана будет справедливая оценка переворотчикам родной земли и воды типа министров Васильева, Бусыгина и других, пока не откажемся мы от психологии потребительства, никакие призывы не смогут принести желанный результат.

Отношение к земле, к прошлому страны, утеря и подмена нравственных идеалов сказались и на культуре. Она потеряла свое самоценное значение и принялась наперебой предлагать разные, порой противоположные идеалы. Мы могли не следовать принципам, но до сих пор мы знали, что хорошо и что плохо, а сейчас эти понятия запутываются и смешиваются.

— Смешение, запутывание происходит на каком-то новом уровне, с новыми оттенками?

— Испытанными способами: что было плохо — объявляется «хорошо», что было уродством — рекомендуется в красоту, ложные ценности претендуют на место истинных, искусство открывает двери для дешевой развлекательности, пошлости, больше того — начинает издеваться над тем, что являлось для человека и народа святынями. Дошло до того, что понятия «родина», «патриот», «память», «история» все больше и больше сталкивают в националистическое русло.

Не просто позволяется, а пропагандируется и внедряется массовая культура, рок-музыка, индустрия развлечений. Много ли у нас сейчас молодежные издания и программы говорят с молодыми о труде, об испытаниях, которые ждут их в жизни, о чистых человеческих чувствах, о милосердии, подвижничестве, радетельстве... Почитать, послушать — поневоле покажется, что жизнь состоит из одних приключений и развлечений.

Трудно понять тех, кто хлопочет о таком образе воспитания, жизни и мировоззрения. Ну добьемся, что потеряем последние идеалы, развенчаем последние добродетели, перепутаем всякие противоположности... А что потом? На что рассчитывают апостолы вседозволенности и нравственной неразберихи, неужели они думают уцелеть в посеянной ими буре?

Этот вопрос, кстати, можно адресовать и васильевым, и жаворонковым: если есть у них дети, внуки —

как они рассчитывают устроить их существование на поверженной и разоренной ими земле? Или в космос отправят?

— Многих тревожит наступление массовой культуры, подмена нравственных ценностей. Но чем можно противостоять этому наступлению? Запрет, как известно, не лучший способ. Но что — сильное, действенное — можно противопоставить?

— Собственную, национальную культуру и все многоцветье, все богатство культур других народов. В мире сообща всеми народами в старые и новые времена создано столь великое искусство, что оно способно спасти и удовлетворить любую душу. Нужно его только знать, знакомить с ним ребенка с ранних лет, приучать к восприятию дивных звуков и слов.

Массовая культура — это психоз потребительства. Она признак духовной пустоты или неустроенности. Человек, вырастающий в личность, имеющий характер личности, этому психозу не поддается, стадность — удел слабых, копирующих все, что делают другие. Я не верю, чтобы юноша, знающий Глинку, Мусоргского, Чайковского, читавший Пушкина, Достоевского и Толстого, отдался без памяти року. Словом, сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. А школа в нынешнем ее состоянии, когда процветает формализм и начетничество, умеет лишь отвращать от классики и красоты. Тут-то и появляется телевизор с гоп-компанией. Тут молодежные издания: рок, рок! ничего, кроме рока!

— Валентин Григорьевич, есть ли у вас, скажем, для себя сформулированная программа борьбы с наступлением массовой культуры и с тем отношением к ней, с которым вы не согласны?

— Сейчас везде, во всем мире происходит возвращение к своим истокам. Мы самая беспамятная страна. Верно, что потихоньку и к нам начинает возвращаться память. Собирается и исполняется фольклор, с трудом вспомнили о традициях, о народных ремеслах, решили издать лучшие образцы своей историографии — труды Соловьева, Карамзина, Ключевского, начали отмечать великие даты отечественной истории. Но медленно, вяло, с оглядкой на кого-то, кто любит другие песни и кому наша история не по нраву. Создали в России

Общество охраны памятников истории и культуры, но пренебрежением к его работе, его рекомендациям поставили его в бесправное и унизительное положение. В результате снос памятников продолжается. В Москве ли, в Иркутске ли, если требуется поставить дом для элиты, не считаются ни с охранными зонами, ни с исторической неприкосновенностью.

Последний возмутительный факт: снос выявленного памятника в городе Иванове. Выявленного — значит, имеющего охранные права. Ни с чем не посчитались, развалили. И снова сошло с рук. Покуда будет продолжаться подобное отношение к нашим святыням, добра ждать не приходится. Мы можем в результате предпринимаемых усилий накормить народ, устроить его быт, но духовная его неустроенность, историческая неустроенность, подрыв нравственных идеалов будут действовать разлагающе и ни к чему хорошему не приведут.

Возвращение к истокам — это сейчас самое главное, остальное пойдет вслед. Да, искусство не может быть только традиционным, стоять на старых позициях и пользоваться старыми формами. Но когда традиция уважается, то и новое искусство будет считаться с нею, оно не позволит себе хулиганства и вероломства. Оно может дурно исполняться, но само по себе не может быть дурно. Ложным тоже не может быть — в том и смысл традиции, что она подготавливалась веками, отстоялась и имеет добротворное, оздоровительное, объединяющее значение. Немалый вопрос — о бытовой культуре народа. Она невелика. Безразличие, раздражительность, самозванство — этого прежде в таком количестве не было. О невысокой культуре поведения и сознания говорит тот факт, как мы распорядились предоставленной нам свободой и гласностью. Из свободы готовы сделать анархию, из гласности — протаскивание чужих уставов, окрики на патриотическую деятельность. Тысячи неформальных объединений — да это же растаскивание идей, вкусов, нравов, разухабистость в программах и действиях, нежелание считаться с народным опытом. Я вовсе не против неформалов, как раз я и связываю свои надежды с памятно-охранным и экологическим движением. Но тревожит, что подавляющая их часть далека от проблем и нужд народа и страны, занята эгоистическими интересами, паразитированием на демократии.

А проблем много. Не то плохо, что их много, а то, как мы собираемся их решать. Или — по заимствованным программам, или — собственным умом.

— Мы довольно охотно сетуем: это общество сделало нас такими — равнодушными, незаинтересованными.

— Мы перекладывали многое на общество и в конце концов сняли с человека всякую ответственность. Он к этому привык и все свои заблуждения, судьбу, пассивность, а то и никчемность сваливал на общественные условия. Или наоборот: успехи приписывал кому угодно, но только не себе, не личному вкладу, мол, прошла зима, настало лето — спасибо партии за это. В последнее время раз за разом нам говорят: общество состоит из нас, каждый из нас — не часть пассивной массы, а автономная, активная личность; каковы мы, таково и общество, от нашей соединенной позиции зависит общественное мнение, которое начинает играть немалую роль в жизни страны. Кажется, мы начинаем понимать это и входить во вкус. Настораживает только то, что, есть мнение или нет, есть позиция, нет ее, все равно спешим громко заявить о себе. Надо надеяться, что это пройдет и лишняя накипь схлынет.

— Со стороны общества мы, конечно же, испытываем огромное влияние, общество формирует нас, воспитывает и т. д. От этого никуда не уйти. Но насколько существенно в процессе становления личности самовоспитание?

— Это, пожалуй, главное — самовоспитание. Отсюда и берется самостоятельный взгляд личности, гражданская позиция. Тем более, что общественное воспитание поставлено из рук вон плохо. Словом, на него надейся, да сам не плошай. И добиться успеха можно, лишь зная и умея больше, чем оно дает. В нынешней обстановке, чтобы противостоять антикультуре, нужно представлять, откуда она берется, кто ее хозяева и какие она преследует цели. Чтобы бороться с переворотчиками, следует знать и их скрытые пружины. В газетах этого не прочитаешь, к этому человек приходит сам.

Каждое общество защищает себя с помощью своих ценностных постулатов, это правильно, но человек не должен принимать их слепо. Понимая их значение, их смысл, он будет решительней за них и стоять. Закончу я тем, что нам очень нужна сейчас активная личность. Но личность зрячая, умеющая разобраться в истинных и ложных ориентирах, верно направленная. Вот тогда и получится — жить по совести.

Роберт Рождественский

НЕ ДЛЯ ВИДА

> ***Настоящая гласность быстрее всего поможет нам избавиться от многих прежних стереотипов.***

Не люблю ответственных работников, которые изо всех сил стараются еще и выглядеть как ответственные работники. Мне их почему-то жалко.

А если при этом у кого-то из них есть вполне реальные организаторские способности, то такого ответственного работника мне жалко вдвойне. Ибо работает он вполовину своих сил и возможностей.

Остальная половина уходит на «делание вида».

Поневоле приходится разрываться: ведь, с одной стороны, вроде бы надо работать, визировать бумаги, звонить по телефону, проводить совещания, принимать людей, а с другой — все время «создавать образ» ответственного работника.

Это означает, что в кресле ты должен не сидеть, а «восседать», по коридору не идти, а «шествовать», с подчиненными не беседовать, а постоянно «открывать людям глаза», «учить их уму-разуму». И самое главное, чтобы при этом на лбу твоем (то есть на челе, конечно!) всегда присутствовала и никогда не меркла явственная печать неповторимой государственной озабоченности...

Нет, очень трудно приходится ответственному работнику, который наряду с делом старается еще и делать вид! Однако я убежден, что при всех трудностях делать вид намного проще, чем делать дело.

На протяжении последних двух десятилетий мы пытались совместить эти два занятия: то есть работали (при этом медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, двигались вперед) и одновременно изо всех сил делали вид, что все у нас идет прекрасно, идет так, как и должно идти.

Острейшие проблемы — экономические, нравственные, экологические — замалчивались потому, что они «портили» этот самый вид, «искажали» его. Шла повсеместная игра: проблема есть, но можно сделать вид, что ее вроде бы и нет.

Многие министры, директора заводов и институтов, руководители районов, областей и даже республик все больше и больше стали походить на дикторш Центрального телевидения. Не внешностью, конечно, а тем, что их (как и телевизионных дикторш) постоянно интересовал и мучил один непередаваемо щемящий вопрос: «А хорошо ли я выгляжу?..» (И в этом не было бы ничего плохого, если бы хороший вид был естественным продолжением хорошо организованной работы. Однако с работой получалось не всегда, и «деланье вида» шло явно опережающими темпами.) Реальная промышленность, реальное сельское хозяйство то и дело буксовали. А «хороший вид» буксовать не имел права. Да он и не буксовал!

Я пишу все это и понимаю, что меня могут спросить: «Ну зачем снова вспоминать о прошлом, да еще сегодня — в разгар перестройки?! Ведь об этом уже столько говорилось и писалось! Хватит! Пора уже все забыть и двинуться вперед...»

Нет, если мы все забудем, то никуда не двинемся. А точнее, вернемся к тому же самому прошлому. Только на новом витке жизни.

Мы обязаны помнить, к чему в конечном итоге могут привести двойная мораль, двойной подход к жизни, глубочайший разрыв между словом и делом.

Ведь в недавнем прошлом в некоторых городах, районах и республиках нашей страны одновременно существовали как бы две власти. Одна — общенародная, наша, рождённая Революцией и выстраданная Великой Отечественной войной, а другая — частная, неофициальная, основанная на подкупе, угодничестве и паутине сугубо личных связей, власть, при которой можно было купить не только диплом о высшем образовании, но и выгодную административную (а то и партийную!) должность, доходное место. Власть, при которой можно было «надавить» на суд, чтобы он оправдал жулика, запретить разоблачительную статью в газете и зашельмовать, раздавить любого честного, любого «неудобного» человека!..

Перестройку нашу можно назвать Революцией еще и потому, что она, вдохнув веру в людей, яростно и решительно свергла эту вторую, наглую и нахрапистую, «частную власть»!

Везде ли свергла?

Думаю, что нет, не везде. Остатки ее наверняка где-то попрятались, затаились «до лучших времен».

И привычка к «деланью вида» осталась! Страшная, въедливая привычка. И, наверное, она будет жить еще

долго-долго. Ведь работники иных министерств и ведомств до сих пор, к примеру, убеждены, что в появлении самых острых, реальных сегодняшних проблем прежде всего виноваты журналисты, которые пишут об этих проблемах.

Ну до чего знакомое клише: «Мы о таком прежде не читали — значит, ничего такого и не было!» А еще напоминает отношение древних властителей к гонцам... Если гонец приносил добрую весть, его награждали, а если приносил худую — казнили. Но разве гонцы были в чем-то виноваты? Они же просто добросовестно выполняли свою работу...

Так что многие и сегодня занимаются имитацией перестройки. Делают вид, что перестроились, и при этом очень надеются, что им, как и прежде, все сойдет с рук. А «сойти» не должно. Ни в коем случае не должно.

Сегодня, как никогда, требуется инициатива! Но ведь она тоже бывает разной.

Есть, как известно, инициатива бумажная. Говорят, бумаг сейчас стало гораздо больше, чем до перестройки. Говорят, что причина — в сложности переходного периода. Что ж, вполне возможно.

И все-таки я думаю, что главная причина в другом, забурлили, невероятно активизировались лишние звенья управления и контроля. Это им в первую очередь нужно доказывать необходимость своего существования. Доказывать именно сегодня, сейчас! Потому что завтра поздно будет. Вот они и бьются не на жизнь, а на смерть. Как бьются? Да бумагами, конечно. Входящими и исходящими. А как они иначе-то могут биться?!

Однако этот случай при всей своей кажущейся глобальности скоро должен прийти в норму. Ведь когда все будет проверяться делом, «бумажные инициаторы» сразу предстанут перед обществом в своем естественном виде...

Есть такая же показушная, но более тонко организованная «инициатива». Разоблачить ее труднее, ибо она, как правило, растянута во времени. В основе такой инициативы чаще всего лежит мысль о немедленном объединении чего-нибудь мелкого или же разъединении чего-нибудь крупного.

Тут, ежели умело подойти, можно долго заниматься имитацией работы и при этом замечательно выглядеть. Ведь всегда можно сослаться на трудности «отработки взаимосвязей» и «обучения кадров». Ну, а года через три можно выступить с диаметрально противоположной идеей: смело объединить то, что было разъединено

прежде, и разъединить нечто ранее объединенное. И, как вы понимаете, обязательно появятся новые «трудности», которые опять же надо будет преодолевать в течение двух-трех лет...

Существует еще и инициатива дурака. Это всегда вещь страшная. Ибо дурак может довести до абсурда самое правильное постановление, самую прогрессивную идею. Впрочем, сегодня «под дурачков» работают и совсем неглупые люди. Те, которые не хотят перестройки...

К счастью, есть в стране и настоящие инициаторы перестройки. И с каждым днем их становится все больше.

Однако инициативным людям пока что живется труднее, чем людям безынициативным. И дело даже не в том, что они своими требованиями и предложениями постоянно нарушают какие-то прошлые инструкции, а в том, что «смущают» привычный покой окружающих, мешают безмятежно существовать.

Правда, сторонники «деланья вида» и здесь нашли выход. Сегодня почти в каждой области вам могут похвастаться: «О, у нас перестройка идет вовсю! Уже целое предприятие перешло на хозрасчет!..» или: «Вы, наверно, уже читали? У нас есть район, где недавно прошли выборы председателя исполкома! Большой ажиотаж был...»

Ну, а дальше? Дальше — стоп. Дальше — даже планов нет, одни разговоры и общие фразы. Получается до боли знакомая картина: есть в городе одно показательное предприятие и один показательный район.

Вот мы ругаем неразбериху межведомственных отношений, а ведь и наши «внутриведомственные отношения» порою напрочь лишены достоинства.

К примеру, в жизни, в быту мы то и дело вынуждены обращаться к самым разным специалистам. И обычный сантехник, как правило, начинает свою работу с бурчания: «Ну кто ж это вам кран ремонтировал?! Руки бы отрывать за такую халтуру!..»

В парикмахерской раздается: «Господи, да где ж это вы, женщина, прическу себе делали?! Какой идиот мог вам так испортить голову?!»

И портной в ателье заметит мимоходом: «Ну, а этот костюмчик кто вам шил? Дело, конечно, не мое, но пошито отвратительно!..»

Примеры можно продолжать и продолжать.

Ладно, допустим, что все так и есть. И в каждом конкретном случае эти специалисты правы, и негодование их справедливо. Допустим.

Ах, если бы они после такой уничтожающей оценки чужой работы показывали бы свое мастерство, демонстрировали бы свое умение работать!

Так ведь не показывают. Не демонстрируют. А делают все так же плохо или еще хуже. Однако твердо придерживаются правила: когда ругаешь других — лучше выглядишь сам.

Доходит и до немыслимого. Врач, придя по вызову к больному, может запросто «вознегодовать»: «Да кто вам эти лекарства посоветовал?! Неужели в поликлинике?! Это же надо быть полным профаном!..»

Вот так. Слово сказано. Коллеги уничтожены. Справедливость восторжествовала. Ну, а что будет думать больной после ухода такого врача?

Увы, это стало нормой, практикой жизни. Вместо недовольства собой — недовольство другими. И касается это любых вопросов, любых проблем. В том числе и перестройки.

Ведь многие из нас до сих пор думают, что перестраиваться-то должны в основном начальники. Это их дело: «А мы и раньше вкалывали и теперь будем вкалывать...»

Но дело-то в том, что просто «вкалывать», бездумно «вкалывать» сегодня уже нельзя! Нельзя закрывать глаза на привычно приблизительный уровень своей работы, жаждать получки, а не заработной платы и, будучи безответственным, требовать ответственности от других. Даже от самого высокого начальства.

Ибо все это тоже тормозит перестройку. На самом деле тормозит.

Ведь живут еще рядом с нами вальяжные личности, которые, снисходительно «одобряя перестройку», мечтают лишь об одном: как можно скорее воспользоваться ее благами!

Для того чтобы стало понятно, о каких именно личностях я говорю, не удержусь и приведу стихи, написанные мною пару месяцев назад. Называются они «Его кредо».

Я тебе скажу без громких фраз
относительно проблем земных:
пусть у нас
все будет, как у нас.
Лишь бы в магазинах —
как у них!..
Для того чтоб жизнь ласкала глаз,
надо сделать больше выходных!
Стану я идейным,
как у нас,
если будут фильмы,
как у них!..

Не люблю я истин прописных.
Лично мне
хватило б в самый раз,
если б я
с зарплатой, как у них,—
ничего б не делал!
Как у нас.

Когда ребенок рождается раньше срока, никто особенно не радуется, даже наоборот, все с тревогой спрашивают: «Ну и как он? Здоров?..»

А вот когда жилой дом «сдан раньше срока» или «завод вступил в строй действующих предприятий досрочно», какая-то особенная, нервная радость хлещет со страниц ведомственных газет и вневедомственных телевизионных экранов. Причем больше всего радуются не столько новому дому, школе, заводу, сколько тому, что сданы они «досрочно».

Что-то у нас происходит с этими самыми сроками. Давно происходит.

Конечно, строим мы пока медленно и плохо. К сожалению, это факт. Но разве задача состоит в том, чтобы научиться строить быстро и плохо? Ведь нет же!

Но почему же мы тогда, как в «доброе старое время», все еще восторгаемся «досрочностью» строительства, а о качестве, несмотря ни на какие решения и постановления, по-прежнему говорим невнятно, отделываемся самыми приблизительными словами?

Да и потом при настоящем, нормально организованном хозяйствовании любая «досрочная сдача» должна рассматриваться как ЧП! Она должна больше беспокоить, чем радовать: «Что случилось? Где мы ошиблись в расчетах? Чего не учли?..» Ведь даже непрофессионалу ясно, что завод, «вступивший в строй» раньше срока, построен не на необитаемом острове. И он наверняка должен быть связан с другими предприятиями страны — старыми и новыми. Ну, а они-то готовы к таким связям? Они-то слышали о «досрочной сдаче» своего собрата? Если не готовы, если не слышали, то какой, скажите, прок в подобной «сдаче»?!

Сроки, сроки...

Прошлой весной по телевидению передавали беседу секретаря одного из райкомов с корреспондентом ТВ. Беседа шла на краю большого поля, и секретарь говорил: «В нынешнем году труженики нашего района завершили все посевные работы на неделю раньше прошлогоднего! Этого успеха мы добились в результате...» Репортер, слушая, кивал. Ему нравилось. Никаких вопросов у него не было.

А я, обыкновенный телезритель, хочу понять: «раньше прошлогоднего» — это что, всегда хорошо? Или в прошлом году ошиблись? В передаче об этом ничего не было сказано. Но даже не в данном конкретном случае, а в том, что фразу «раньше прошлогоднего», произнесенную по самым разным поводам, я читал и слышал множество раз. А вот «позже прошлогоднего» почти не встречал. Может, мне просто не везло?

Сроки, сроки...

Строители сдают заказчику новый Дворец культуры. Два лозунга рядом. Один: «Сдадим объект к празднику!», другой: «Рабочее слово — твердое слово!» Все как положено: играет оркестр, директор дворца поднимает над головой символический ключ, разрезается алая ленточка, кто-то кричит «ура!», вокруг — сплошные цветы и улыбки. Еще бы — не подвели строители! Успели к празднику, молодцы! И при этом абсолютно все участники торжественной церемонии — и строители, и заказчики, и гости, и случайные зрители — знают, что на следующий день после праздника этот чудо-дворец придется закрыть на месяц, на два, а то и на полгода. И в нем, «готовом», давным-давно принятом, уже воспетом и восславленном, будут снова трудиться рабочие: что-то настилать и цементировать, допиливать и докрашивать, доделывать и переделывать.

И весь город будет знать об этом. Знать будет, а удивляться не будет. Потому что нет в этом факте ничего удивительного! Это норма. Так принято, понимаете?!

Спрашивается: кого обманываем, а? Самих себя? Вышестоящее начальство? Империалистов?

Ну какому такому празднику нужны эти фальшивые подарки, эти липовые «досрочные победы»? И кого мы на примере таких «побед» воспитываем?..

Да, идет перестройка, и мы должны ускорить свое движение, должны поспешать. Но разве нам нужна перестройка наспех, перестройка «на живую нитку»?

Давнишнее слово «гласность» нынче выглядит новорожденным. И ребенок этот здорово набрал силу.

Правда, здесь есть и перехлесты, «болезни роста». Порою сенсационность материала, его «наперченность» подменяет авторскую позицию, авторскую боль.

По-простому гласность сегодня определяют так: «...это когда в газете ругают какого-нибудь начальника...» Что ж, такое ненаучное определение тоже соответствует нынешней действительности.

Но гласность — это прежде всего информация. Правдивая, полная и своевременная информация. Не разделенная на «выгодную» и «невыгодную». Показы-

вающая всю сложность и остроту нашей нескучной жизни.

Ведь нельзя на фундаменте бывшего воздушного замка строить другой замок — более красочный и еще более воздушный. Люди должны знать о реальном положении дел в стране. Знать о том, что у нас получается и что пока не выходит. Только такая — полная — информация работает на жизнь, объединяет людей и сразу же прекращает любые слухи и домыслы.

Люди прекрасно понимают, когда с ними разговаривают серьезно, а когда нет. Поэтому, казалось бы, сугубо специальные, экономические и политические программы телевидения смотрятся сегодня весьма активно. А как, вспомните, ждали мы сообщений с январского Пленума ЦК! И газеты теперь мы не «проглядываем», как раньше, а читаем. Потому что — очень интересно. Хотя некоторые читают и ахают: «Да что ж это происходит?! Наркоманы какие-то объявились!.. Поезда сталкиваются... Самолеты падают... Ужас! Нет, раньше такого не было...»

Да было же, было!

Только мы не писали об этом. Мы делали вид, что всего этого у нас нет. Нам все время хотелось «как лучше»...

Возражают в ответ: «И все равно нельзя печатать так много критических материалов! Ведь у наших людей от этого могут руки опуститься...»

Неправда!

Руки опускаются, когда человек читает в газетах одно, а в жизни видит другое. Они опускаются от постоянной неразберихи, бесхозяйственности, махрового бюрократизма. Руки опускаются, когда ты понимаешь, что вокруг тебя никто ни за что не отвечает и что всем все «до лампочки». Вот от чего опускаются руки!

Так что к ежедневному свету гласности мы все должны привыкнуть. Независимо от места жительства, настроения, образования, высоты полета и величины зарплаты.

Но, исповедуя этот принцип, последовательно проводя его в жизнь, мы обязаны помнить и вот о чем: гласность, в результате которой ничего не меняется, гласность, за которой не следует даже попыток решения той или иной проблемы,— это всего лишь бессмысленное самоистязание, показушная болтовня, видимость настоящего дела.

Именно настоящая гласность быстрее всего поможет нам избавиться от многих прежних стереотипов, которые сейчас гирями висят на наших ногах. Но

избавление это будет наверняка процессом очень трудным и не слишком скорым.

Ведь стереотип, он на то и стереотип, что за ним всегда — многолетний опыт, привычка. Он — как глубокая колея, накатанная, удобная, проверенная. Многие из нас — в той или иной степени — еще едут по этой колее. Одни и сворачивать не хотят, а другие вроде бы свернули уже, но забыть родимую колею не могут и «по-новому» пытаются действовать отработанными, старыми методами.

Самый страшный и самый распространенный стереотип — это стереотип безответственности. С годами он стал у нас чуть ли не составной частью любой профессии. Здесь доходит до абсурда.

К примеру, каждый человек в отдельности твердо знает, что зима в этом году будет обязательно. И соответственно к ней готовится: достает теплое пальто, покупает теплые ботинки, варежки, белье... Но как только отдельные, персонально готовые к зиме люди собираются под крышей какого-либо учреждения (скажем, управления железной дороги, областного агропрома или конторы, которая ведает теплоснабжением в городе), так зима, самая обычная зима, приходит к ним неожиданно. Каждый год они регулярно оправдываются в статьях, что «зима, к сожалению, застала нас в этом году врасплох». Читать это, честное слово, смешно! Но дальше смешное кончается. Дальше начинаются аварии.

Лопаются трубы в домах. Мерзнут люди. И новые газетные статьи рассказывают уже о тех «героических усилиях», которые пришлось предпринять, чтобы както выправить положение.

«Героические усилия», «массовый героизм» — все чаще и чаще вынуждены мы повторять эти слова. Не забылись еще репортажи из Чернобыля. Жесткие, страшные репортажи. Потом была Новороссийская бухта. И снова репортажи рвали душу. Они опять оглушали, не давали уснуть. И вновь от боли заходилось сердце.

Однако, помимо боли, помимо непередаваемой гордости за таких молодых, таких сильных и таких надежных ребят — пожарников и спасателей, во мне росло и еще одно чувство. Чувство стыда.

Ну до каких пор будем мы окунаться в ситуации, когда из-за двух или трех разгильдяев сотни, а то и тысячи людей вынуждены демонстрировать массовый героизм? До каких пор?!

Вопрос этот только кажется риторическим. На него можно и нужно ответить.

Убежден, что в подобные ситуации мы будем окунаться до тех самых пор, пока не расстанемся с проклятым стереотипом безответственности и наплевательского отношения к труду! Как к собственному, так и к чужому.

И каждый раз, откровенно халтуря на работе («сойдет!..»), что-то слепляя на авось («перемелется!..»), что-то не додумывая, не просчитывая, не проверяя («да ладно! обойдется...»), закрывая глаза на собственную небрежность («плевать!..»), торопясь сдать объект «раньше срока» («мне-то какое дело!..»), мы же сами, своими руками, собственным так называемым трудом строим полигоны для грядущей демонстрации массового героизма, сами себе готовим завтрашние аварии и катастрофы!

Людей, конечно, надо жалеть. Но ведь и спрашивать с них надо! Всерьез, а не для вида...

Пишем в газетах: «такой-то освобожден от должности...» (Хотя порою хочется прочитать: «должность освобождена от такого-то...» Освобождена, как земля. И теперь, может быть, вздохнет свободно...)

Но ведь «освобожден» не всегда означает «наказан». Не зря же некоторые деятели даже саму перестройку пытаются превратить в привычную «пересадку» с одной должности на другую. «Пересадили» — значит, прошлое забыто? «Пересели» — значит, полностью перестроились?

А разве не известны случаи, когда человек, многократно доказавший свою неспособность к руководству и «благополучно» развалившый хозяйство целой области, вдруг становился Чрезвычайным и Полномочным Послом и отправлялся за рубеж представлять нашу Родину? Неужели гордое звание Посла — это «наказание»?..

О ремонте квартиры иногда говорят, что «один ремонт равнозначен двум пожарам».

А у нас даже не ремонт. У нас — перестройка. И не квартиры — страны. Да еще какой страны!

Невероятно трудное дело...

Вроде бы абсолютно все согласны с перестройкой — я, к примеру, не встречал ни одного человека, который бы сказал, что он против. Однако у многих «перестраивающихся» уже выработалась как бы своя модель перестройки, свое представление о ней. Соответственно обозначились и пределы, границы, перешагнуть которые человек не торопится да и не желает. Это «перешагивание» лично ему невыгодно. Ибо грозит оно

не только лишними заботами, но и — чего греха таить! — возможной потерей уютного насиженного места. (Понятие «переломное время» такие люди воспринимают в буквальном, чисто травматологическом смысле этого слова. То есть воспринимают как время, в которое можно запросто поскользнуться, упасть и что-нибудь себе сломать. Ну а кому нужны травмы?)

Я говорю не о профессиональных приспособленцах, которые «перестроились» первыми и вся их «перестройка» состояла лишь в смене портретов и лозунгов да в громком произнесении «новомодных» словосочетаний.

Нет, я имею в виду серьезных людей, которые, к примеру, безоговорочно принимают техническую сторону перестройки. «Давно пора!» — восклицают они. Нравится им и реконструкция, и модернизация, и автоматизация, и компьютеризация — все им нравится! Вот только «человеческий фактор» некоторые сомнения вызывает. Уж больно много возни с ним — этим «фактором»! И, по их мнению, было бы гораздо лучше, если бы мы вернулись опять к абстрактной «работе с массами». Такая работа проста и привычна. Ведь «массы» никогда ни в чем не сомневаются, «массы» никаких вопросов не задают. Сомневаются и спрашивают конкретные люди. Значит, это с ними нужно работать, это их нужно убеждать. А ведь нельзя убеждать других в том, в чем ты не убежден сам. Вернее, убеждать-то можно. Убедить нельзя.

Вот и выплывают на поверхность «усеченные модели» перестройки. И выясняется постепенно, что некоторые, к примеру, согласны на перестройку, но — без демократии. Другие готовы принять демократию, но — без гласности. А самые отчаянные даже на гласность согласны! Но — без перестройки. В общем, далеко не случайно сегодня появился термин «механизм торможения».

На мой взгляд, основными сторонниками и даже «изобретателями» такого механизма являются люди, которые готовы согласиться со всеми переменами в стране лишь при одном условии: чтобы лично у них осталось право командовать, право распоряжаться всем, что есть,— и демократией, и гласностью, и самим «человеческим фактором»!

Иной судьбы, иной жизни для себя эти люди не представляют. Поэтому и тормозят перестройку. Мешают ей. Отодвигают миг своего краха.

...Все еще популярная мечта нынешней «глубинки»: «Вот если бы к нам из Москвы приехал какой-нибудь башковитый мужик да разобрался бы во всем, что у

нас происходит! А потом бы снял нашего прохиндея, разъяснил бы нам, что к чему, и наладил бы как следует работу! Вот тогда бы мы — конечно! Тогда бы мы — у-у-у!!!»

Почему-то многие убеждены, что в Москве (или под Москвой) существует некий огромный склад, на стеллажах которого до поры до времени спали в анабиозе тысячи «башковитых мужиков» — прекрасных организаторов, честных во всех отношениях людей.

И вот сейчас их разбудят, накормят, приоденут, быстренько введут в курс дела, благословят — и разъедутся эти «добры молодцы» по всей нашей обширной державе и радостно примут на себя руководство перестройкой на местах! Фантастически приятная картина получается...

Но ведь нет такого склада. Нет ни в Москве, ни под Москвой, ни в каком другом районе. Нет и быть не может...

Ну, а что есть?

Есть люди. Самые обыкновенные и самые разные люди.

Те, которые уже стали активными участниками перестройки, и те, которые пока еще наблюдают, пока остаются ее свидетелями. Те, которые по привычке хотят «казаться», делают вид, и те, которые никогда никакого вида не делали (им это даже в голову не приходило!), они всегда работали. Причем всегда работали по-настоящему.

Есть самые обыкновенные и самые разные люди: молодые и не очень, умные и не слишком, счастливые и несчастливые, сильные и слабые, семейные и одинокие, практики и романтики, бесстрашные и трусливые, неповоротливые и энергичные, короче: есть реальные люди. Есть мы.

Именно мы и будем осуществлять перестройку, нести на плечах всю ее тяжесть. Больше — некому. И другого пути, другого выхода у нас нет.

Слишком много хороших людей погибло во имя того, чтобы мы жили на свете. Эти люди истово мечтали о будущем, рвались к нему, тянулись и очень верили в тех, кто будет жить на земле в конце двадцатого века. Так получилось, что именно мы живем в том самом времени, о котором мечтали наши прадеды, деды и отцы.

Нас они защитили, сберегли, не предали. На нас они очень надеялись. Так неужели же мы предадим их надежду, опозорим их мечту? Неужели предадим самих себя?

«Государство — это мы!»

Но неопровержимый этот лозунг станет по-настоящему действенным и убедительным, если внутри него будет жить и не гаснуть вера каждого человека в то, что «государство — это еще и я!». Обязательно — я. Лично.

И наплевать, что фразу «государство — это я» произнес когда-то король, а не пролетарий. Мы должны взять ее на вооружение не в королевском, а в самом что ни на есть революционном, гражданском смысле.

Конечно, было бы великолепно, если бы все министерства, ведомства, предприятия и объединения, как корабли в походе, по команде адмирала сделали бы поворот — «все вдруг!». Но в реальной жизни такого не бывает. И мечтать об этом, а тем более ждать этого глупо. Еще действует инерция прежнего курса, инерция прежних критериев, старых инструкций, старых привычек и замшелого подхода к проблемам. Еще жив и «празднично-починный» стереотип: ой, как хочется снова объявить какой-нибудь почин! Не старый, естественно, а совершенно новый, передовой! Скажем, провозгласить «месячник демократии». Или «неделю гласности». Да так, чтобы статья появилась в центральной газете...

И вот уже кто-то произносит задумчиво:

— Товарищи, а не отметить ли в нашем городе годовщину успешного начала перестройки? Нет-нет, без всякой помпезности. Но так, чтобы запомнилось: президиум, пионеры, телевидение... Ну, и конечно, письмо в Центральный Комитет...

А рядом уже трубач застоявшийся. Облизывает пересохшие губы, дрожит от напряжения и спрашивает глазами: «Что? Пора трубить?»

Да не пора трубить, не пора. И вообще трубить не нужно.

Работать пора. Самая пора сейчас — работать.

Василий Селюнин

ИСТОКИ

I

С мужем сестры мы приглядели место. Проезжавший мимо леспромхозовский бульдозерист своей охотой развернулся и пробил дорогу в снегу. Спросил только: «Кого хоронишь?» Узнав, что мать, за работу ничего не взял и уехал. Хорошее место матери досталось — высоченные березы да еще елка, прямая, как струнка...

За три месяца до кончины матушки я приезжал проведать ее. 1900 года рождения (ровесница века, стало быть), она по крестьянской привычке вставала рано и крутилась до вечера — стряпала, задавала корм поросенку, между делом вязала мне рукавички и за всем тем успевала обиходить и приласкать правнучку. В этом доме с его простыми заботами и раз навсегда заведенным порядком мне хорошо думалось. Сто раз передуманное проходило тут проверку. Мелкое, вычурное само собой отсеивалось, на дно души выпадал сухой и горьковатый осадок правды.

Многое из того, что будет далее рассказано, в разные годы я успел прочитать матери. Она умела слушать — дар ныне редкий. Время от времени вставляла: «Правда, сынок, правда, так и было»,— хотя определенно не могла знать, как оно было,— сопоставлялись события далеких веков, цитировались мыслители, которых она не читала. Другой же раз посмотрит не то что с укором — с непосильным желанием понять. Тут для меня приговор: заумь, пачкотня.

За то я любил этот последний по счету родительский кров, что под ним все были сыты, обуты, одеты. «Человек выше сытости» — такую дурь мог сморозить тот, кто голода не знал. В наших краях чаша сия никого не минула. Сюда, в Мурашинский леспромхоз, семья перебралась из вятской деревушки Фоминцы, названной так по имени прадеда моего Фомы Андреевича. Туда бы съездить, благо путь недалек, прикоснуться к истокам — на излете жизни гложет душу, как

красиво сказал поэт, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Да то беда, что ехать некуда — деревень в тех местах мало осталось, поля затянуло березником. Отчий край живет только в памяти сердца. В ней много чего отпечаталось, что расчетливее бы забыть, только вот не забывается. Помню первое потрясение души, из тех, что метят конец детству. Молотили рожь. Нас, школьников, отрядили погонять лошадей в приводе, а мать с другими бабами отгребала солому от молотилки. Кому не с кем было оставить «робенков» дома, усадили их на свежую солому около гумна — все же под призором. По-вятски таких звали сидунами: им лет по пять, а еще не ходят. Ножки тонкие, головы большие, животы пухлые — рахитики, словом. И вот вижу, проворно ползут они к молотилке, горстями пихают в рот зерно. А этого нельзя — набухнет зерно и порвет кишки. Матери оттаскивают их подальше, а они, окаянные, опять ползут к немереной еде...

Хлеб у нас пекли с опилками, с клеверными головками, а когда с толченой картошкой, так это праздник. Всего противнее в детстве было ходить на двор: опилки, непереваренная трава в кровь расцарапывали задний проход.

Такие вот они у меня, истоки.

Конечно, год на год не приходился, бывало и получше, но начиная с 1932 года (тот голод я отчетливо помню) нечасто едали досыта. Урожай, не урожай — разница невелика: надо кормить державу. И так до конца, пока кормильцы не разбежались кто куда. После войны, когда я заканчивал службу в армии, мать написала: куда хошь поезжай, только не домой, пропадешь тут. Нелегко, наверное, матерям писать такие эпистолы.

Но жаловаться она не любила. За всю жизнь, кажется, одну только жалобу от нее и услышал — это уж когда приезжал на студенческие каникулы. «Ты, Васенька, теперь ученый,— сказала,— много зим в школу ходил, так растолкуй, почто Сталин не велит траву косить косой? Руками рви, а косой нельзя, ежели для своей коровы. Мы ли у него не заслужили? Погли-ко, что с руками деется...»

Посмотреть было на что. Около той поры писатель Фадеев художественно обрисовал материнские руки — какие они добрые, ласковые, работящие. Актрисы с лауреатскими значками на панбархатных платьях читали эти задушевные слова с эстрады, школьники вставляли в сочинения. У моей матери руки были жесткие, как копыта.

Прост ее вопрос, да ответ не прост. Не знаю, хватило ли жизни, чтобы додумать тут все до конца, но отвечать надо — как бы не опоздать. Дело, понятно, не в одном запрете насчет косы, его-то как раз объяснить несложно. На сенокос уполномоченных в колхозы не посылали, и так выходили стар и млад: девять копен колхозу, десятая твоя. Этого не хватало. А кто не сберег свою Зорьку, тот, конечно, навряд ли мог перезимовать всей семьей, дождаться благодатной поры, когда из голой еще пашни попрут хвощи (еда что надо!). Однако разреши косить по неудобьям каждый для себя — не будет стимула к артельному труду. Руками же рвать траву и тогда не возбранялось — чего не было, того не было. И между делом попутно много травушки успевали бабы натаскать за лето в подоткнутых передниках.

Зачем ворошить былое? Ученые люди объясняют: это враги втягивают нас в дискуссию о прошлом, чтобы отвлечь. Враг, само собой, хитер, этого у него не отнимешь. Только как учиться у истории, если опять станем закрывать ее строчки пальчиком: это читайте, а вот этого никак нельзя? А главное, все ли из пережитого принадлежит истории?

...С матушкой моей ушла в небытие целая эпоха, будем надеяться, ушла безвозвратно. Ее поколение проволокло на себе по рытвинам и ухабам самое Историю, куда было предписано. И если их страдания переплавились-таки, как и планировалось, в могущество державы, то все равно не дает покоя сомнение в цене, которую пришлось уплатить. Как же так вышло, что человек, венец творения, явил собою лишь материал, ресурс для социальных экспериментов, назем, напитавший почву под предполагаемое всеобщее благоденствие? Нам толкуют: было, да сплыло, левацкая идея о созидательной роли насилия, о внеэкономическом принуждении к труду всегда была чужда нашим целям, и лишь под действием особых исторических условий, а больше из-за субъективистских ошибок и извращений она какое-то время действительно проводилась в жизнь. Но вопрос настолько важен, практически значим, что тут никак нельзя верить на слово.

2

Мыслители далеких эпох, социалисты чувства справедливо негодовали: ну что это за общество, где стекольщик мечтает о граде, который повыбивал бы окна, гробовщик — об эпидемиях? Иное дело, когда

собственность и продукты труда станут общими. Спрашивается, однако, почему этих продуктов будет в достатке? Богатство создается трудом и только трудом. Так какая сила заставляет трудиться? Этот коренной вопрос мыслители, конечно, обойти не могли.

Заглянем в «Утопию» Томаса Мора. Один из участников диспута размышляет: «...никогда не будет возможно жить благополучно там, где все общее. Ибо как получится всего вдоволь, если каждый станет увертываться от труда? Ведь у него нет расчета на собственную выгоду, а уверенность в чужом усердии сделает его ленивым». Ответ таков: в благословенном обществе должны быть штатные надзиратели, или, как их именует Мор, сифогранты. «Главное и почти что единственное дело сифогрантов — заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности. Но чтобы каждый усидчиво занимался своим ремеслом...»

Утопист-то он утопист, а вопрос ставил основательно и отвечал по существу: выгоду заменит внеэкономическое принуждение. У основоположников научного социализма уже нет этой простоты и ясности в решении задачи. В споре с Дюрингом Энгельс решительно отклоняет предположение, будто в социалистическом обществе сохранятся различия в оплате труда. В знаменитом примере с тачечником и архитектором приведено однозначное решение: тот и другой должны получать одинаково. Почему? Да очень просто: более высокая квалификация архитектора не является его личной заслугой. «В обществе частных производителей,— пишет Энгельс,— расходы по обучению работника покрываются частными лицами или их семьями; поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая цена обученной рабочей силы: искусный раб продается по более высокой цене, искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несет общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т. е. бóльшие стоимости, созданные сложным трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавочную оплату»[1]. Впрочем, для Энгельса различия в оплате простого и сложного труда практического интереса не представляют: в новом обществе ни архитекторов, ни тачечников не станет, все будут уметь все — архитектор, скажем, два часа в смену дает указания по своей специальности, а остальное время катает

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, с. 207.

тачку или, добавили бы мы, перебирает овощи на базе. Вопрос о том, чем заменить прежние стимулы, какая сила заставит работника трудиться, здесь обойден.

Солиднее суждения Маркса. Он допускает различия в оплате в зависимости от количества и качества труда: «...каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему... Поэтому *равное право* здесь по принципу все еще является *правом буржуазным* »[1]. Буржуазное право при социализме? Ясно, что столь противоестественную вещь можно допустить на очень короткое время.

Каков же тогда постоянный стимул? Многие мыслители прошлого полагали, что такового со временем вообще не понадобится — труд станет первой жизненной потребностью, игрой физических и духовных сил. Могущество подобных теорий заключается в их неопровержимости. Всегда можно сказать: мол, их черед еще придет, а если не пришел пока, то мы с вами и виноваты — не научились находить награду за труд в самом процессе труда. Цель безусловно благородна, однако и сейчас мы вряд ли ближе к ней, чем двадцать, тридцать и сколько угодно лет назад.

Если и сегодня проблема не нашла удовлетворительного решения, то с какими же трудностями столкнулись первые строители нового общества! В согласии с заветами классиков теперь все должны были работать поровну и получать поровну.

Такого опыта история не знала. Точнее, имелся чисто негативный опыт: в свое время об эту задачку разбили себе головы якобинцы — по словам Ленина, «самые ярые и самые искренние революционеры»[2]. В поисках практических решений Ильич не раз вспоминал их, сличал французскую революцию с нашей, размышляя о границах насилия в хозяйственном строительстве.

Сознательные участники и вожди той чужой революции на первых порах отнюдь не были сторонниками насилия и уж тем менее террора. Воспитанные просветителями, они больше полагались на разум. Свобода, равенство, братство представлялись им столь очевидными ценностями, что защищать их вроде бы и не требовалось — надо только раз установить их, и тогда не найдется безумцев, которые противились бы этим

[1] Маркс К. н Энгельс Ф. Сочинения, т. 19, с. 18, 19.

[2] Леннн В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 297. Далее прн цитировании произведений В. И. Ленина в скобках после цитаты будут указываться только том и страница по этому изданию.

привлекательным вещам. «Несколько своевременно отрубленных голов...— полагал Марат,— на целые столетия избавят великую нацию от бедствий нищеты и ужасов гражданских войн». Это писано в начале 1790 года. Но через полгода тот же Марат потребует отрубить пятьсот — шестьсот голов, еще через полгода — пять-шесть тысяч, а в 1793 году — миллион с лишком. И это не было упражнениями в риторике — гильотина работала исправно. Почитайте хотя бы изданные у нас недавно сочинения Гракха Бабефа. Показания этого человека тем более важны, что он был участником всех этапов революции, причем занимал крайний левый фланг в расстановке сил, а потому трудно заподозрить его в пристрастной критике якобинства. В книге, написанной по горячим следам событий, он рассказал о деятельности Каррье — одного из ближайших сотрудников Робеспьера.

Не удержусь, приведу выдержку из этого труда. (Пусть читателя не смущает множество отточий — после каждого факта добросовестный автор называл свидетелей.) «Разве для спасения родины,— вопрошает Бабеф,— необходимо было произвести 23 массовых потопления в Нанте, в том числе и то, в котором погибло 600 детей? Разве были нужны «республиканские браки», когда девушек и юношей, раздетых донага, связывали попарно, оглушали сабельными ударами по голове и сбрасывали в Луару?.. Разве необходимо было... чтобы в тюрьмах Нанта погибли от истощения, заразных болезней и всяческих невзгод 10 тыс. граждан, а 30 тыс. были расстреляны или утоплены?.. Разве необходимо было... рубить людей саблями на департаментской площади?.. Разве необходимо было... приказать расстреливать пехотные и кавалерийские отряды армии мятежников, добровольно явившиеся, чтобы сдаться?.. Разве необходимо было... потопить или расстрелять еще 500 детей, из коих старшим не было 14 лет, и которых Каррье назвал «гадюками, которых надо удушить»?.. Разве необходимо было... утопить от 30 до 40 женщин на девятом месяце беременности и явить ужасающее зрелище еще трепещущих детских трупов, брошенных в чаны, наполненные экскрементами?.. Разве необходимо было... исторгать плод у женщин на сносях, нести его на штыках и затем бросать в воду?.. Разве необходимо было внушать солдатам роты им. Марата ужасное убеждение, что каждый должен быть способен выпить стакан крови?..»

Казалось бы, что́ нам Гекуба, и все же читать такое лучше запасшись валидолом. Сегодняшним критикам

красного террора, введенного в 1918 году, полезно освежить в памяти эти свидетельства. Для темы же нашего разговора важно, что одной из капитальных целей насилия были чисто экономические задачи. Страстно осудив знаменитого террориста, Гракх Бабеф, коммунист-утопист по убеждениям, в одном ключевом пункте склонен оправдать его: «Среди преступлений Каррье числят то, что он раздавил в Нанте торгашество, громил меркантильный... дух... то, что он приказал арестовать всех без исключения спекулянтов и всех тех, кто с начала революции занимался этим скандальным ремеслом в пределах города Нанта; то, что он приказал арестовать всех посредников, всех лиц обоего пола, кто занимался скупкой и перепродажей предметов первой необходимости и извлекал позорную прибыль, продавая их по ценам, превышающим установленный законом максимум. Нет никакого сомнения, что если демократические принципы и высший закон блага народа еще не отменены, то эти факты, взятые сами по себе, не только не могут быть поставлены в вину Каррье, но по своей природе способны снискать ему лавры среди республиканцев».

Суть дела прикрыта тут экспрессивными выражениями: «позорная прибыль», «скандальное ремесло», «торгашество» и т. п. Надо непременно продраться через эту ругань к смыслу событий. Революция, по словам Маркса, стерла «сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»[1]. Открылся простор для нового способа производства — капиталистического, отныне развитие не было стеснено феодальными путами. И наиболее многочисленный класс общества, крестьяне, воспользовался невиданными прежде возможностями производить на продажу с выгодой или, если угодно, ради позорной прибыли. Но извлеченная прибыль — это неравенство. Побуждаемые идеями просветителей, а более всего неотложными заботами о продовольствии для армии и городов, якобинцы ввели свирепые меры против спекулянтов (то есть против рынка, без коего товарное производство немыслимо), регламентировали потребление законами о максимуме. Изъять безвозмездно у крестьян плоды их труда можно было только при помощи насилия. Террор рождал Вандею, сладить с которой революционеры пытались еще более жестоким террором.

Якобинцы легли поперек путей жизни и тем подписали себе смертный приговор. Они ушли с арены

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 4, с. 299.

истории, оставив после себя не только горы трупов, но и новую Францию, приспособленную для единственно эффективного тогда способа производства. Террор и насилие в экономических целях являлись отклонением от задач революции, эпизодом.

Гораздо сложнее обстоит дело в революциях социалистических. Уничтожение «позорной прибыли», искоренение товарного производства, частного предпринимательства является здесь уже не отступлением от цели, а, напротив, целью. Было, в общем-то, не так уж трудно прогнать помещиков, национализировать крупные предприятия, но это отнюдь не решало задачи. «Что такое подавление буржуазии?— разъяснял Ленин.— Помещика можно подавить и уничтожить тем, что уничтожено помещичье землевладение и земля передана крестьянам. Но можно ли буржуазию подавить и уничтожить тем, что уничтожен крупный капитал? Всякий, кто учился азбуке марксизма, знает, что так подавить буржуазию нельзя, что буржуазия рождается из товарного производства; в этих условиях товарного производства крестьянин, который имеет сотни пудов хлеба лишних, не нужных для его семьи, которых он не сдает рабочему государству в ссуду, для помощи голодному рабочему, и спекулирует,— это что такое? Это не буржуазия? Не здесь ли она рождается?.. Вот что страшно, вот где опасность для социальной революции!» (т. 39, с. 421, 422).

Опасность действительно грозная. Ленин допускал даже мысль об откате революции с социалистической на буржуазную ступень. Все зависит от того, удастся ли одолеть мелкобуржуазную стихию: «Если мы ее не победим, мы скатимся назад, как французская революция. Это неизбежно, и надо смотреть на это, глаз себе не засоряя и фразами не отговариваясь» (т. 43, с. 141).

Средства в борьбе могут быть различными. «Если 125 лет тому назад,— писал В. И. Ленин,— французским мелким буржуа, самым ярым и самым искренним революционерам, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных, немногих «избранных» и громами декламации, то теперь чисто фразерское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси, слой и частнохозяйственный капитализм, который в *каждом* мелком буржуа имеет своего агента» (т. 36, с. 297).

Уже 10 ноября 1917 года спекулянты объявляются врагами народа, а через три месяца в декрете, написанном Лениным, дано недвусмысленное указание: «спекулянты... расстреливаются на месте преступления»[1]. Понятно, при неналаженной государственной торговле любая продажа продовольствия считалась спекуляцией. «Ни один пуд хлеба,— декретировала власть,— не должен оставаться в руках держателей, за исключением количества, необходимого для обсеменения их полей и на продовольствие их семей до нового урожая... Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты... врагами народа, предавать их революционному суду, с тем, чтобы виновные приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда из общины, все их имущество подвергалось конфискации...»[2]

Принято считать, что эти строгости были вызваны голодом и разрухой. Но как мы видели, речь шла о принципиальной установке: если товарное производство и сопутствующий ему рынок не будут уничтожены, то Октябрьская революция снизится, так сказать, до уровня буржуазной. Достаточно, впрочем, здравого смысла, чтобы понять: продовольствие, произведенное в стране, будет ее населением и съедено. Не голод толкнул к реквизициям, а скорее наоборот: массовые реквизиции имели своим следствием голод. Крестьянам предлагалось кормить страну даром, без какой-либо выгоды для себя. На эти меры мужик отвечал в лучшем случае сокращением посевов, в худшем — обрезом...

Большинство историков, как советских, так и зарубежных, сводят гражданскую войну к противоборству белых и красных, разница лишь в оценочных знаках. Факты показывают, однако, что существовала третья сила, по которой и пришелся главный удар,— крестьянское повстанческое движение. В разные периоды с разной степенью активности оно блокировалось то с белыми, то с красными, оставаясь относительно самостоятельной силой. Задолго до революции, предваряя события, Ленин писал: «Мы сначала поддерживаем до конца, всеми мерами, до конфискации,— крестьянина вообще против помещика, а потом (и даже не потом, а в то же самое время) мы поддерживаем пролетариат против крестьянина вообще» (т. 11, с. 222). В борьбе против помещика интересы крестьянства целиком сов-

[1] Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917—1921. Сборник документов. М., 1958, с. 95.
[2] Там же, с. 114, 115.

падали с интересами новой власти, что понимали даже белые генералы. Сохранилось, например, письмо Колчака Деникину: незадачливый адмирал осуждал земельную политику, «которая создает в крестьянстве представление о восстановлении помещичьего землевладения». Едва эта опасность исчезала, как серое воинство поворачивало фронт. В разгар гражданской войны Ленин с тревогой отмечает, что «крестьянство Урала, Сибири, Украины поворачивает к Колчаку и Деникину» (т. 40, с. 17). По мере разгрома белого движения сопротивление нарастало. Штаб восточного фронта доносил, например, в 1919 году из Поволжья: «...крестьяне озверели, с вилами, с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулемет, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию». Историк М. Кубанин подсчитал, что в Тамбовской губернии 25—30 процентов населения участвовало в восстании. Он заключает: «Несомненно, что 25—30% населения деревни означает, что все взрослое мужское население ушло в армию Антонова». Согласно архивным документам, опубликованным в 1962 году, крестьянская армия на Тамбовщине включала в себя 18 хорошо вооруженных полков. Регулярным войскам под командованием Тухачевского пришлось вести здесь настоящую войну, не менее напряженную, чем ранее против колчаковцев. Сам Ленин прямо говорил, что мелкобуржуазная стихия оказалась опаснее всех белых армий, вместе взятых.

Логика борьбы заставляла отвечать насилием на насилие. Затруднение состояло в том, что подавить крестьянские восстания должна была армия, состоявшая в основном из крестьян же. Требовались, следовательно, какие-то безусловно преданные революции силы, готовые исполнить любой приказ. Одна из таких сил названа в маленьком сообщении о разгроме крестьянского восстания в Ливнах:

«Город сравнительно пострадал мало. Сейчас на улицах города убирают убитых и раненых. Среди прибывших позднее подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблестные интернационалисты понесли жестокие потери. Зато буквально накрошили горы белогвардейцев, усеяв ими все улицы».

Речь идет о добровольно вступивших в Красную Армию бывших военнопленных. Их насчитывалось до трехсот тысяч — столь большое число иностранцев в воюющей армии специалисты считают уникальным явлением для новейшей истории. Они выказали себя весьма надежными при подавлении крестьянских мятежей, пресекали попытки дезертирства в самой

армии, когда ее бросали в бой против «третьей силы». Успешно действовали также части особого назначения.

Легко, однако, понять, что окончательное решение крестьянского вопроса не могло быть достигнуто одними военными средствами. Целью была ликвидация товарного производства в деревне. А наиболее сильными являлись кулацкие товарные хозяйства, в которых применялся наемный труд. Кулаки, по определению Ленина, «самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры» (т. 37, с. 40). «И если кулак останется нетронутым,— говорил Владимир Ильич,— если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист» (т. 37, с. 176). Агитаторам, посылаемым в провинцию, он дал директиву: «...кулаков и мироедов необходимо урезать» (т. 35, с. 326). При этом урезании власть могла опереться в деревне лишь на бедноту, а она составляла ничтожное меньшинство сельского населения (не забудем, что крестьяне в результате революции получили землю). В июне 1918 года были созданы комбеды. С их помощью у кулаков отобрали 50 миллионов гектаров земли. Это примерно треть тогдашних сельскохозяйственных угодий. Тем самым материальная база кулацкого хозяйства оказалась разрушенной. Факты неопровержимо доказывают, что ликвидация кулачества состоялась именно в годы «военного коммунизма», а не на рубеже 20—30-х годов.

Однако середняк ведь тоже желал торговать продуктами своего труда, а торговля, по представлениям той поры, вела прямехонько в капитализм. Считалось, что не сданный по продразверстке хлеб, хотя бы и выращенный своими руками, мужик присваивает и таким образом превращается в классового врага. «Если крестьянин сидит на отдельном участке земли,— утверждал Ленин,— и присваивает себе лишний хлеб, т. е. хлеб, который не нужен ни ему, ни его скотине, а все остальные остаются без хлеба, то крестьянин превращается уже в эксплуататора. Чем больше оставляет он себе хлеба, тем ему выгоднее, а другие пусть голодают: «чем больше они голодают, тем дороже я продам этот хлеб». Надо, чтобы все работали по одному общему плану на общей земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку» (т. 41, с. 310—311).

Следовательно, истинное решение задач социалистической революции виделось в привлечении крестьянства к работе на общей земле. Это программная установка большевистской партии. Еще в 1902 году Ленин разъяснял: «Социал-демократ... стал бы пропагандировать

национализацию земли лишь как переход к крупному коммунистическому, а не к мелкому индивидуалистическому хозяйству» (т. 6, с. 339). Вскоре после Октября Владимир Ильич взял в свои руки «дело постепенного, но неуклонного перехода от мелких единоличных хозяйств к общественной обработке земли» (т. 37, с. 364). Уже в январе 1918 года он участвует в выработке «Основного закона о социализации земли». Как свидетельствует член подготовительной комиссии С. Иванов, «в комиссии фактически работал один товарищ Ленин, а мы только голосовали». При обсуждении возник спор — пока не о кулацких, а только о помещичьих землях. Эсеры настаивали на разделе их между крестьянами, что укрепило бы экономическую основу мелкобуржуазной стихии. Ленин же выступил за создание совхозов на помещичьих землях. Эта идея и прошла.

В декабре 1918 года Ленин создает специальную комиссию для подготовки Положения об общественной обработке земли. Один из ее членов, П. Першин рассказывает, что готовый проект редактировался лично Владимиром Ильичем — по его указанию коллективным хозяйствам земля отводилась в первую очередь, инвентарь в их пользу отчуждался от зажиточных крестьян бесплатно, а от середняков и бедняков за плату, не превышающую твердых цен, то есть за символический выкуп. В феврале 1919 года опубликовано «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию». В этом документе говорилось, что на все виды единоличного землепользования надо смотреть как на преходящие и отживающие — их заменят совхозы, производственные коммуны и другие товарищества по совместной обработке земли.

Несмотря на явные выгоды (лучшая земля, бесплатная передача инвентаря), крестьянин в эти объединения не шел. Все же в короткий срок удалось создать более пяти тысяч совхозов и около шести тысяч колхозов. Но, как признал Ленин, «колхозы еще настолько не налажены, в таком плачевном состоянии, что они оправдывают название богаделен» (т. 42, с. 180).

Лучшие умы той эпохи пытались уяснить, почему же столь выгодное дело, как коллективизация, завершилось полной неудачей. Ход рассуждений был таков: простое сложение земли и примитивного инвентаря не обеспечивает еще качественного сдвига в развитии производства. Вот если бы мы могли дать деревне сто тысяч тракторов, тогда любой крестьянин сказал бы: и я за коммунию. Но этой техники пока нет — по расчетам, она появится не раньше, чем лет через десять.

С высоты исторического опыта сегодня такое объяснение мы не можем признать достаточно полным. Механизация, химизация, мелиорация, интенсивные технологии — всего этого безнадежно мало для успеха. Еще Лев Толстой понимал, что главное — «не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг,— то есть работник-мужик». А его интерес игнорировался — ставка была сделана на грубую силу. Как мне представляется, здесь глубинные истоки многих трудностей, пережитых страной.

Впрочем, внеэкономическое принуждение применялось в ту пору не только в отношении крестьянства. Всякая революция только тогда чего-то стоит, когда она умеет защищаться. Это аксиома. Лишь фарисей возьмется сегодня осуждать карательные меры против контрреволюционеров. Да, на третий день после Октябрьского переворота закрыта оппозиционная печать, но в декрете справедливо сказано, что это оружие «не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы». Да, создали в лице ЧК аппарат насилия. Но опять прав Ленин: «Без такого учреждения власть трудящихся существовать не может» (т. 44, с. 328). 31 января 1918 года правительство предписало «принять меры к увеличению числа мест заключений». Чуть позже признали необходимым «обезопасить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях». Резонно объяснение Дзержинского: «...потребность в самообороне была так велика, что мы сознательно могли закрывать глаза на ряд своих ошибок... лишь бы сохранить республику, как это было в эпоху красного террора. Вот почему закон дает ЧК возможность административным порядком изолировать тех нарушителей трудового порядка, паразитов и лиц, подозрительных по контрреволюции, в отношении коих данных для судебного наказания недостаточно и где всякий суд, даже самый суровый, их всегда или в большей части оправдает»[1].

Ухо экономиста улавливает, однако, в этом высказывании уже некоторый диссонанс: наряду с «подозрительными по контрреволюции» в концлагеря следует помещать нарушителей трудового порядка. В другом документе Дзержинский трактует назначение лагерей весьма расширительно: «Кроме приговоров по суду, необходимо оставить административные приговоры, а

---

[1] Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917—1921, с. 386.

именно концентрационный лагерь... Я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т. д. Этой мерой мы сможем подтянуть даже наших собственных работников»[1].

Границы насилия, как видим, расширяются безбрежно — первоначально оно применялось для подавления противников революции, затем перекинулось на потенциальных противников (красный террор) и, наконец, стало средством решения чисто хозяйственных задач. В 1920 году Троцкий предложил поставить это дело на прочную и долговременную основу, превратив страну в гигантский концентрационный лагерь, точнее, в систему лагерей. На IX съезде партии он изложил невиданную в истории программу: рабочие и крестьяне должны быть поставлены в положение мобилизованных солдат, из них формируются «трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям». Каждый обязан считать себя «солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит — он будет дезертиром, которого карают»[2].

Будет ли такой труд эффективным? Капитализм тем и победил предшествующую формацию, что на место палки, крепостной зависимости, воли сеньора поставил более действенный стимул к труду — личную выгоду, право продавать свою рабочую силу. Лагерное трудовое право на практике означало бы шаг назад в истории человечества. Троцкий решительно возражает: «Если принять за чистую монету старый буржуазный предрассудок или не старый буржуазный предрассудок, а старую буржуазную аксиому, которая стала предрассудком, о том, что принудительный труд непроизводителен, то это относится не только к трудармии, но и к трудовой повинности в целом, к основе нашего хозяйственного строительства, а стало быть, к социалистической организации вообще». (До чего откровенно: принудительный труд — основа социалистической организации!) По Троцкому, «буржуазная аксиома» верна только применительно к прошлому: «Мы говорим: это

[1] Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917—1921, с. 256.

[2] Девятый съезд РКП(б). Протоколы. М., 1960, с. 92, 94.

неправда, что принудительный труд при всяких обстоятельствах и при всяких условиях непроизводителен»[1].

Современные историки утверждают, что съезд отклонил военно-бюрократическую линию Троцкого в хозяйственном строительстве. Но это явная подчистка истории (дело на Руси обыкновенное — еще Герцен остроумно заметил: «Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее»). Обратимся к основной резолюции съезда — «Об очередных задачах хозяйственного строительства»:

«Одобряя тезисы ЦК РКП о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд, съезд постановляет:

...взять на учет всех квалифицированных рабочих с целью их привлечения к производственной работе с такой же последовательностью и строгостью, с какой это проводилось и проводится в отношении лиц командного состава для нужд армии.

Всякий квалифицированный рабочий должен вернуться к работе по своей специальности...

Необходимо с самого начала правильно поставить массовые мобилизации по трудовой повинности, т. е. устанавливать каждый раз, по возможности, точное соответствие между числом мобилизованных, местом их сосредоточения, размером трудовой задачи и количеством необходимых орудий. Столь же важно обеспечить сформированные из мобилизованных трудовые части технически компетентным и политически твердым инструкторским составом и заранее подобранными по партийной мобилизации трудовыми коммунистическими ячейками, т. е. идти по тому же пути, по которому мы шли в создании Красной Армии»[2].

Далее в резолюции рекомендовано «применение системы уроков, при невыполнении которых понижается паек». А поскольку «значительная часть рабочих, в поисках лучших условий продовольствия, а нередко и в целях спекуляции, самовольно покидает предприятия, переезжает с места на место, чем наносит дальнейшие удары производству», это должно быть пресечено в «суровой борьбе с трудовым дезертирством, в частности, путем публикования штрафных дезертирских

[1] Девятый съезд РКП(б). Протоколы. М., 1960, с. 97, 98.

[2] Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970, т. 2 (1917—1924), с. 153.

списков, создания из дезертиров штрафных рабочих команд, и, наконец, заключения их в концентрационный лагерь»[1].

Не думайте, что речь идет о временных мерах. В резолюции «О переходе к милиционной системе» объяснено: так как гражданская война заканчивается, а международное положение Советской России благоприятно, на будущий период, «который может иметь длительный характер», вводится милиционная система экономики, сущность которой «должна состоять во всемерном приближении армии к производственному процессу, так что живая человеческая сила определенных хозяйственных районов является в то же время живой человеческой силой определенных воинских частей»[2].

Эти документы тем еще поучительны, что в них предельно обнажена связь хозяйственного механизма с правами личности. Товарное капиталистическое производство означает, что тот, у кого есть деньги, волен затевать выгодное дело, приобретать собственность, рисковать и нести экономическую ответственность за свои действия. Любой человек вправе распоряжаться своей собственностью, даже если таковая состоит лишь из пары рабочих рук. Бесспорно, система суровая, но при ней не надо понуждать к труду угрозами и милицейским надзором. Государству нет надобности, например, пресекать забастовки, поскольку убытки от них несет частный предприниматель. Не гарантируя занятости, государство обязано предоставить человеку полную инициативу обогащаться или прозябать, кто как умеет. Личностные права — оборотная сторона беспощадных экономических свобод. Напротив того, при тотальной государственной собственности на средства производства возникает искус экспроприировать и само личность, ее физические и духовные силы, чтобы наладить работу по единому плану и распорядку. В этих условиях допустимо рассматривать человека как винтик гигантской машины, изготовляющей будущее счастье для всех. Странно было бы говорить о личностных правах и гражданских свободах винтика, а равным образом и отвертки, которая загоняет его в положенное место.

Солдафонским грезам Троцкого в ту пору не суждено было осуществиться — их императивно отвергла

[1] Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970, т. 2 (1917—1924), с. 161, 162.
[2] Там же, с. 176.

жизнь. Хозяйственные итоги «военного коммунизма» не оставляли сомнений в том, что «буржуазная аксиома» о неэффективности принудительного труда все-таки верна. В 1920 году сравнительно с 1917-м добыча угля снизилась в три с лишним раза, выплавка стали — в 16 раз, производство хлопчатобумажных тканей — в 12 раз, выработка сахара — в 10 раз и т. д. Годовое производство стали на душу населения упало до полутора килограммов, на 50 человек населения производили одну пару обуви. В том же 1920 году рабочие Москвы, занятые самым тяжелым физическим трудом, получали в день 225 граммов хлеба, 7 граммов мяса или рыбы, 10 граммов сахара. Недород 1921 года поставил страну на край бездны.

3

В противоположность Троцкому, который видел корень зла во всеобщей расхлябанности и планировал преодолеть разгильдяйство милицейскими методами, Ленин быстро понял несостоятельность экономической политики «военного коммунизма»: «...мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам,— и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение» (т. 44, с. 157).

1 марта 1921 года восстали моряки Кронштадта. Одновременно забастовали питерские рабочие, да и не одни питерские. «Это уже нечто новое,— размышлял Ленин.— Это обстоятельство, поставленное в связь со всеми кризисами, надо очень внимательно политически учесть и очень обстоятельно разобрать. Тут проявилась стихия мелкобуржуазная, анархическая, с лозунгами свободной торговли и всегда направленная против диктатуры пролетариата. И это настроение сказалось на пролетариате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом ряде пунктов провинции» (т. 43, с. 24). Политические требования, выставленные бастующими, вызывали особую тревогу Ильича: «Несомненно, в последнее время было обнаружено брожение и недовольство среди беспартийных рабочих. Когда в Москве были беспартийные собрания, ясно было, что из демократии, свободы они делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти» (т. 43, с. 31).

Эти мысли Ленин высказал в марте 1921 года на X съезде партии. Здесь же по его настоянию принято ключевое решение о замене продразверстки твердым налогом с крестьян. Тут не было еще целостной системы. Мера считалась временной. Не случайно введена она в марте, чтобы успеть оповестить крестьян до начала сева: расширяйте посевы, реквизиций в нынешнем году не будет. В то же время свободной продажи хлеба, оставшегося после уплаты налога, не предусматривалось. «Свобода торговли,— подчеркивал Ленин,— даже если она вначале не так связана с белогвардейцами, как был связан Кронштадт, все-таки неминуемо приведет к этой белогвардейщине, к победе капитала, к полной его реставрации» (т. 43, с. 25). Но то были уже арьергардные бои. Твердый налог составлял примерно половину планировавшихся прежде реквизиций. Ясно, что основную часть продовольствия могла дать лишь вольная продажа продуктов сельского труда. Буквально через два месяца, в мае 1921 года, партийная конференция определяет нэп как систему мер, как курс, взятый всерьез и надолго. В течение года весь экономический механизм «военного коммунизма» был демонтирован и заменен новой экономической политикой, которая в главных чертах сходна с рождающимся ныне новым хозяйственным механизмом.

В этом уроке я вижу опору для нынешней нашей перестройки. Нам предстоят перемены не менее революционные — трудящиеся не хотят больше жить по-старому, административный аппарат не может управлять по-старому. Направления радикальных реформ сейчас, в общем-то, ясны, но даже горячие сторонники перестройки высказываются в том смысле, что демократизацию общественной жизни, экономические новации надо вводить постепенно, годами. Такой вариант скорее всего не пройдет — просто нет запаса времени, он исчерпан, беспутно промотан в застойные десятилетия. По прикидкам, если не будет крутых перемен, в середине 90-х годов наша экономика развалится со всеми вытекающими отсюда последствиями — социальными, внешнеполитическими, военными и т. п. Тогда поздно будет хлопотать о демократии — периодам развала хозяйства больше соответствует диктатура. До недавних пор можно было лишь с горечью и тревогой наблюдать факты, свидетельствовавшие об этом векторе развития страны. В апреле 1985 года у нас появился шанс на спасение. Сейчас шансы возросли, и было бы преступно упустить их. Опыт начала 20-х годов тем и хорош, что он доказывает возможность револю-

ционных изменений сверху буквально в считанные месяцы.

И второй урок для нас — поразительное быстродействие пусковых импульсов, посланных в экономику. Именно потому, что изменения были быстрыми и радикальными, старый хозяйственный механизм не мешал новому. Недород 1921 года тут не в счет — это стихийная беда и во многом следствие экспериментов «военного коммунизма». Но что поучительно: в ужасную голодуху крестьянские восстания прекращаются — нет причин бунтовать, коль скоро благополучие семьи зависит отныне от собственного труда. Экономическими мерами удалось снять социальное напряжение много успешнее, чем экзекуциями. Уже в 1922 году собрали хороший урожай. XII съезд партии обязал даже направить усилия на поиск внешнего рынка для зерна (не правда ли, приятно вспомнить, что и в новейшей истории у нас бывало такое). Всего за четыре-пять лет достигнут довоенный уровень в промышленности и сельском хозяйстве. В 1928-м он превзойден в индустрии на 32 процента, на селе — на 24. Сравнительно же с 1921 годом национальный доход поднялся в 3,3 раза, промышленное производство увеличилось в 4,2, в том числе в крупной промышленности в 7,2 раза. Реальная зарплата рабочих превысила довоенную. Подсчитано, что начиная с 1924 года люди питались так хорошо, как никогда еще до этого времени. В среднем по стране рабочий потреблял, например, за год 72 килограмма мяса — впечатляюще и по нынешним меркам.

Хозяйственные успехи шли рука об руку с демократизацией общественной жизни. (Этот факт куда как злободневен на нынешнем крутом повороте.) Резко сузились границы насилия, укрепилась законность. Ленин обосновывал это так: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, и тем у́же становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков» (т. 44, с. 329). Страна получила уголовный и гражданский кодексы. Ревтрибуналы были заменены судами, учредили прокуратуру и адвокатуру. Изменилась роль профсоюзов. Если в марте 1918 года Ленин без обиняков заявлял: «Профессиональные союзы... должны стать государственными организациями» (т. 36, с. 160), то теперь партия в корне пересмотрела эту позицию. XI съезд партии (1922) обязал их

заниматься «защитой интересов трудящихся масс в самом непосредственном и ближайшем смысле слова». Защитой от кого? Не только от частника, но и от «бюрократического извращения» госаппарата[1]. Как далеко простирались личностные свободы, видно хотя бы из того, что открыто выходили произведения литературы, искусства, труды по социологии, политике, за одно хранение которых впоследствии, бывало, расплачивались головой. А социальных катаклизмов не происходило.

Внеэкономическое принуждение определенно не требовалось в качестве стимула как в частном, так и в государственном секторе экономики. С частником все ясно. Начиная с 1917 года его только что в ступе не толкли, а он опять попер как на дрожжах. Без государственных инвестиций, без опеки и хлопотливых усилий власти он восстановил торговлю, сферу обслуживания. Частные крестьянские хозяйства в достатке обеспечивали страну. Мало того, с середины 20-х годов и до коллективизации страна вывозила за границу ежегодно по полтораста миллионов пудов хлеба. Валютная выручка поступала в казну.

Да и своя деньга стала настоящей. К началу 1924 года в обращении находилось свыше 1,3 квадриллиона рублей, покупательная способность рубля упала в 28 миллионов раз. Но уже в 1925 году после денежной реформы наш червонец стоял на лондонской бирже выше фунта стерлингов, что вызвало недоумение и тревогу заносчивых англичан. При твердом денежном обращении государство уже не получало, как прежде, в виде налогов, груду обесцененных совзнаков, а стало хозяином реальных ресурсов, которые можно было вкладывать в развитие желательных производств, прежде всего в тяжелую промышленность. В те годы удалось провести в жизнь знаменитый план ГОЭЛРО. Получив из казны деньги на строительство станции, заказчик на договорных началах покупал материалы и оборудование — государство не изымало их у поставщиков безвозмездно, как практиковалось в пору «военного коммунизма», не отчуждало за расчетные квитанции, как это делалось позднее. По завершении строительства электростанция переходила на обычный метод коммерческой деятельности. Тяжелая индустрия развивалась в опережающем темпе: по официальной статистике, в 1923—1928 годах производство средств произ-

[1] Одиннадцатый съезд РКП(б). Март—апрель 1922 года. Стенографический отчет. М., 1961, с. 535, 529.

водства прирастало в среднем за год на 28,5, а производство предметов потребления — на 21,4 процента.

Правда, мелкий городской предприниматель нутром ощущал неустойчивость разрешительного законодательства и остерегался вкладывать доход в промышленные предприятия. А если кто и рисковал, то стремился побыстрее «проесть» прибыль или обратить ее в золотишко на черный день. Торговля — вот та сфера, где частник действительно развернулся: первоначальные вложения минимальны, окупаются быстро — сорвал деньгу, а там пусть прикрывают дело. Стеснительные ограничения все время чувствовал и крестьянин — кормилец страны. А что, если снять препоны? С такой идеей выступил Бухарин — личность, надо сказать, любопытная. «Левый коммунист» в годы «военного коммунизма», автор первых на нашей почве нетоварных концепций развития экономики, сторонник отмены денег, он пережил стремительную эволюцию, потому что искал ответы на главнейшие вопросы времени в живой жизни.

В речи на собрании московского партактива 17 апреля 1925 года Бухарин так объяснял нэп: «У нас еще до сих пор сохранились известные остатки военно-коммунистических отношений, которые мешают нашему дальнейшему росту... Зажиточная верхушка крестьянства и середняк, который стремится тоже стать зажиточным, боятся сейчас накоплять. Создается положение, при котором крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что опасается, что его объявят кулаком; если он покупает машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая техника становится конспиративной...

В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». (Позднее Бухарину припомнят этот призыв.)

Но какой от всего этого прок для индустриализации? По Бухарину, двоякий. Богатеющая деревня увеличит спрос на продукцию промышленности, что приведет к ее быстрому росту. Денежные вклады крестьян в банки станут дополнительным ресурсом для развития экономики.

Многие ограничения были в ту пору сняты. Товарное производство неизбежно вело к имущественному расслоению деревни — одни хозяйства разорялись, другие крепли. В начале 1925 года разрешили аренду земли и наем рабочей силы, устранили все препятствия к свободной торговле. Объективно дело шло к становле-

нию весьма эффективных ферм, подобных американским.

По мысли Бухарина, экономические свободы полезны не только для села: «Мы должны научиться культурно управлять в сложных условиях реконструктивного периода... У нас должен быть пущен в ход, сделан мобильным максимум хозяйственных факторов, работающих на социализм. Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы. Мы слишком все перецентрализовали... Не должны ли мы сделать несколько шагов в сторону ленинского государства-коммуны?» Этот пассаж выписан из «Заметок экономиста», напечатанных в «Правде» 30 сентября 1928 года, то есть буквально накануне первого дня первой пятилетки (хозяйственный год начинался тогда 1 октября, с этого дня и ведется отсчет ускоренной индустриализации). Публикацией «Заметок» Бухарин еще пытался воздействовать на события.

Таким образом, перед нами целостный план социалистического строительства. Концепция Бухарина при всей ее практичности имела один спорный пункт: насколько жизнеспособна помянутая «сложная комбинация»? Как уживутся частные хозяйства и государственная промышленность? Мыслимо ли вообще вписать собственника в социализм? Разумеется, автор плана отлично сознавал эту спорность. Разрешение коллизии он видел в том, что деревня придет к социализму через постепенную добровольную кооперацию крестьянских хозяйств. Здесь он опирался на последние работы Ленина, на ту его идею, что в условиях советской власти простой рост кооперации тождествен росту социализма.

Между тем нэпу с самого начала противостояла грозная оппозиция. Теоретик казарменного социализма Троцкий уже в 1923 году, на XII съезде партии, стращал: «Начинается эпоха роста и развития капиталистической стихии. И кто знает, не придется ли нам в ближайшие годы каждую пядь нашей социалистической территории, т. е. каждую частицу государственного хозяйства под нашими ногами, отстаивать зубами, когтями...»[1]

В согласии с этими постулатами был выработан другой план развития страны, по всем пунктам противоположный бухаринскому (то есть, по существу, ленинской концепции нэпа). Я имею в виду статью Преобра-

[1] Двенадцатый съезд РКП(б), 17—25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. М., 1968, с. 351.

женского «Закон социалистического накопления» (позднее он переделал ее в книжку, конспект которой с ведома автора ходил по рукам; свою теорию Преображенский энергично пропагандировал с трибун). Вот ход его рассуждений. Нелепо думать, будто «социалистическая система и система частнотоварного производства... могут существовать рядом... Либо социалистическое производство будет себе подчинять мелкобуржуазное хозяйство, либо само оно будет рассосано стихией товарного производства». Грядущая индустриализация, ускоренное развитие страны мыслимы только за счет «пожирания» частника государственным сектором (по Бухарину, как мы помним, сохраняется сложная комбинация личной, групповой и государственной инициативы). Средства для индустриализации надо черпать в основном «вне комплекса государственного социалистического хозяйства». Где же конкретно? «Такая страна, как СССР...— объявляет Преображенский,— должна будет пройти период первоначального накопления, очень щедро черпая из источников досоциалистических форм хозяйства... Задача социалистического государства не в том, чтобы брать с мелкобуржуазных производителей меньше, чем брал капитализм, а в том, чтобы брать еще больше». Проще сказать, предлагалось развивать экономику за счет разорения крестьянства. Это, по Преображенскому, и хорошо, поскольку индивидуальное хозяйство в социализм не вписывается.

Очевидец смачно описал реакцию тогдашнего председателя Совнаркома Рыкова на этот план. Злясь и потому заикаясь больше обычного, Алексей Иванович кричал: «Теория Преображенского возмутительна. Это черт знает что!.. Можно ли придумать большее, чтобы смертельно скомпрометировать социализм?.. У него деревня только дойная корова для индустрии».

Дело не ограничилось сшибками умов. Единомышленник Преображенского заместитель председателя ВСНХ Пятаков тут же предложил механизм взимания дани с крестьянства: высокие цены на промышленные изделия при дешевизне сельскохозяйственной продукции. И не просто предложил. 16 июля 1923 года он отдал приказ о взвинчивании цен, что и было сделано. Например, прибыль в ценах на сукно составила аж 137 процентов. Ясно, что как горожанам, так и сельскому населению сукно стало недоступно. Резко подскочили цены на всю сельскохозяйственную технику. Результат получился парадоксальным: при товарном голоде в стране немощную еще индустрию поразил кризис сбыта, производство было парализовано. Назначенный

председателем ВСНХ Ф. Э. Дзержинский немедленно предпринял крутые меры. В 1924 году по его инициативе резко снизили оптовые цены, что нормализовало обстановку. Этот выдающийся государственный деятель к тому времени далеко отошел от завиральных идей о лагерном принуждении к труду. Один из близких его сотрудников по ВСНХ, Н. Валентинов, оказавшийся впоследствии в эмиграции, издал на Западе довольно объективную книгу о том времени. Он вспоминает, с каким страхом ждали в ВСНХ появления грозного руководителя ВЧК, а тот оказался обаятельным руководителем, умелым проводником новой экономической политики. В беседе с Валентиновым Дзержинский прямо отмежевался от своих представлений периода «военного коммунизма»: «Хорошей работы, подгоняемой одним страхом, не может быть. Нужно желание хорошей работы, нужны всякие другие стимулы к ней...»

Не было, пожалуй, более страстного противника левацкого плана разорения деревни, чем руководитель ВСНХ. 20 июля 1926 года (за несколько часов до кончины) на Пленуме ЦК он трясся от негодования, слушая сетования Каменева и Пятакова на то, что деревня богатеет. «Вот несчастье! — иронизировал Дзержинский.— Наши государственные деятели, представители промышленности и торговли проливают слезы о благосостоянии мужика». Программу повышения оптовых цен, изложенную Пятаковым, он назвал бессмысленной, антисоветской, антирабочей. «Нельзя индустриализироваться,— настаивал Дзержинский,— если говорить со страхом о благосостоянии деревни»[1].

Итак, столкнулись два плана. Бессмысленно, конечно, задним числом переиначивать историю в рассуждении «что было бы, если бы». Однако и полного детерминизма, обреченности нет ни в судьбе отдельного человека, ни в судьбах народов. Это опасное заблуждение с выгодой для себя едва ли не во все времена внушали власть имущие: события предопределены, серьезно повлиять на них все равно нельзя, так что смирись и покорствуй. Такой фатализм разоружает человека, парализует единственно надежное наше оружие — разум. Жизнь — всегда развилка дорог. История есть реализованная возможность — одна из множества нереализованных, не более того.

Разве в переломные периоды, когда возможны еще альтернативные варианты развития, безразлично, на

[1] Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения в двух томах. М., 1977, т. 2 (1924—1926), с. 504, 505, 507.

чью сторону встанет аппарат власти, на какую чашу весов положит он свой свинцовой тяжести груз? Разве этот аппарат всегда наилучшим образом выражает интересы страны? Будь так, сегодня мы не имели бы права сетовать на недавний застойный период.

В 20-е годы безграничную власть деловито сосредоточивал в своих руках человек, превосходно знавший ей цену,— незабвенный Сталин. Его мало волновали споры на всяких там съездах и собраниях. Он понимал главное: страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительным аппаратом государства, которые руководят этим аппаратом. Верно угадал он и другое: за образец для иерархического аппарата лучше всего взять военную организацию с ее дисциплиной и единоначалием. В 1921 году в редкостном по откровенности наброске плана брошюры «О политической стратегии и тактике русских коммунистов» он написал: «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». (Напомню, что меченосцы — военизированная религиозная команда, предшественница Ливонского ордена.) Какая-либо борьба мнений внутри ордена, разумеется, недопустима, фракционность преступна.

По решению X съезда принадлежность к любой группировке влекла за собой «безусловное и немедленное исключение из партии». Многие заслуженные партийцы сетовали: возникла, мол, иерархия секретарей, которые решают все вопросы, а съезды и конференции стали исполнительными ассамблеями, партийное, общественное мнение задушено. Сталин на XIII партконференции в январе 1924 года ответил им, что партия не может быть союзом групп и фракций, она должна стать «монолитной организацией, высеченной из одного куска».

Все прочие институты (Советы, профсоюзы, комсомол, женские организации и т. п.) Сталин в другом выступлении объявил приводными ремнями, «щупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии». То есть, скажем, Советы — никакая не власть, а всего лишь приводной ремень. «Диктатура пролетариата,— учил Сталин,— состоит из руководящих указаний партии, плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата, плюс их претворение в жизнь населением».

Что за «руководящие указания»? Чьи конкретно? Достаточно поставить такие вопросы, чтобы стало

ясно: сама партия тоже превращается в приводной ремень — главный в трансмиссии. Нарисованный Сталиным механизм власти предполагает лишь одного машиниста, который действительно управляет агрегатом.

Были люди, понимавшие, чем это грозит. В частном письме Куйбышеву Дзержинский проницательно предсказал: «У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством. Если не найдем этой линии и темпа... страна тогда найдет своего диктатора — похоронщика революции, какие бы красные перья ии были на его костюме»... Однако не ясновидящие определяли ход событий.

Конечно, в плане Преображенского и других левых не было прямых призывов к физическому уничтожению наиболее активной части сельского населения, к внеэкономическому принуждению к труду. Но как в желуде заложены все свойства дуба, так и здесь это уже содержалось в зародыше. Ликвидировав, по обыкновению, авторов этой теории, Сталин провел их идеи в жизнь. Естественно, потребовались соответствующие приемы достижения задуманного. Между целью и средствами расхождений не существовало, как их вообще не бывает в жизни. Ведь средства — это и есть цель в действии, в движении, в повседневной практике; в ином обличье, кроме как через средства, цель проявиться не способна.

Поворот к индустриализации начался с яростной ломки механизма нэпа. В 1929 году аппарат власти скрутил все виды частного предпринимательства. Частнику отрезали путь к банковским кредитам, его душили налогами, за перевозки он платил самый высокий тариф. Власть реквизировала либо просто закрыла частные мельницы, расторгла многие договоры на аренду государственных предприятий.

Методично и целеустремленно аппарат прижимал к ногтю крестьянство, возрождая типичные приемы «военного коммунизма». При заведомо неэквивалентном обмене, при сознательно заниженных ценах на зерно, мясо, молоко и другую продукцию крестьянин, понятно, не желал продавать плоды своего труда государству. Сталин лично возглавил заготовки. В начале 1928 года на места ушла директива, обязывающая взять хлеб у крестьянства «во что бы то ни стало». Сам Сталин выехал в Сибирь. На совещаниях с местными деятелями он обвинил в срыве заготовок кулаков и потребовал привлекать их к суду за спекуляцию. Имущество осужденных подлежало конфискации. Как и при «военном коммунизме», четверть конфискованно-

го зерна Сталин предложил отдавать крестьянам-беднякам (на практике — доносчикам). Партийных и советских работников, не исполнявших эти репрессивные меры, Сталин велел снимать с должности.

По стране, совсем как в пору «военного коммунизма», покатилась волна повальных обысков. Власть запретила продажу хлеба на рынках, во многих местах были выставлены вооруженные заградительные посты на дорогах.

Насильственная коллективизация довершила разгром сельского товарного производства.

Серией энергичных мер разрушили товарную модель и в государственной промышленности. XVII партийная конференция в 1932 году подчеркнула «полную несовместимость с политикой партии и интересами рабочего класса буржуазно-нэпманских извращений принципа хозрасчета, выражающихся в разбазаривании общенародных государственных ресурсов и, следовательно, в срыве установленных хозяйственных планов». Оптовая торговля, экономическая ответственность за результаты труда названы здесь извращением, разбазариванием. Именно отсюда берет начало система фондового распределения ресурсов, губительно влияющая на экономику и по сей день.

Говорят, победителей не судят. Но сопоставление результатов с уплаченной за них ценой — вещь в экономике обязательная. Только разобравшись в этом, удается понять, что было в действительности — победа или поражение. Зададим простые на первый взгляд вопросы: каковы были плановые параметры первой пятилетки, каковы ее хозяйственные результаты?

Начиная с 1926 года Госплан и ВСНХ стали готовить варианты плана. Тогдашних плановиков не надо путать с нынешними, которые не предсказывают погоду, а предписывают, какой ей быть. Нет, те не умели еще в порядке дисциплины изо всех сил тянуть стрелку барометра к делению «ясно», невзирая на шторм. Они рекомендовали в планах максимальную пропорциональность и сбалансированность — между накоплением и потреблением, между промышленностью и сельским хозяйством, между группами А и Б индустрии, между денежными доходами и товарным обеспечением.

Деликатные специалисты во главе с Кржижановским сверстали два варианта плана — минимальный (или, как его называли, отправной) и максимальный. По максимальному за пять лет промышленное производство должно было вырасти на 180 процентов (то есть почти в три раза!), в том числе производство средств производства — на 230 процентов. Производительность

труда в индустрии следовало поднять на 110 процентов. Сельскому хозяйству был задан прирост объемов на 55 процентов. Запрограммировали быстрый рост реальной зарплаты, удвоение национального дохода.

Задания отнюдь не выглядели фантастическими — примерно таковы были реальные скорости развития в предыдущие годы. Все же плановики подстраховались: по минимальному варианту задания сокращались на 20 процентов. Это и понятно: как предупредили авторы плана, максимальный вариант исходил из предположения, что все пять предстоящих лет окажутся урожайными, заграница даст технику в кредит, уменьшатся расходы на оборону. Но в дело вмешался лично Сталин. По его указке в расчет следовало брать только максимальный вариант.

В мае 1929 года план утвержден V Всесоюзным съездом Советов. Практически этот акт не имел значения — план уже считался действующим с 1 октября 1928 года. На том, однако, не успокоились — план начали кроить и перекраивать. Сталин бросил клич: «Пятилетку — в четыре года». Во втором году пятилетки промышленное производство запланировали увеличить на 31,3 процента, что примерно в полтора раза превышало максимальную первоначальную наметку. Но и этого показалось мало. Сталин заявил, что по целому ряду отраслей промышленности пятилетку можно выполнить в три года.

Кончилось тем, что 7 января 1933 года Сталин объявил пятилетку выполненной за 4 года и 3 месяца. С того дня, кажется, так никто и не сличал заданий и итогов. Давайте сделаем это. Прирост промышленного производства составил в 1928—1932 годах не 180 процентов, как рассчитывали спецы, а 100 процентов. Среднегодовые прибавки сравнительно с периодом нэпа упали с 23,8 до 19,4 процента в целом по индустрии, а темпы развития легкой промышленности снизились почти вдвое. Такова официальная статистика.

Мне могут возразить: пусть план не выполнен, пусть темпы индустриального роста замедлились по сравнению с предыдущим периодом, все равно успех был поразительным. Разве плохо всего за четыре года удвоить промышленное производство? Оно бы неплохо, да вопрос в том, как получена эта цифра. Все произведенное в индустрии выражают в рублях (иначе вы не сложите булку с трактором, самолет с электроэнергией), затем сличают объемы производства по годам и получают темп развития. Этот способ достоверен лишь в том случае, если стоимость одной и той же продукции исчислялась все годы в одинаковых ценах. А в первой

пятилетке оптовые цены галопировали, что не принималось в расчет. Поэтому объявленные суммарные прибавки производства оказывались завышенными.

Проще всего оценить исполнение первой пятилетки в натуральных показателях. Выплавку чугуна предполагалось довести до 10 миллионов тонн, фактический результат — 6,2 миллиона. Выработка электроэнергии достигла не 22 миллиардов киловатт-часов, а 13,5 миллиарда, производство удобрений — 0,9 миллиона тонн вместо 8 миллионов и т. п. Если сравнить с периодом нэпа (1923—1928 годы), то среднегодовые прибавки выплавки стали уменьшились в 1929—1932 годах с 670 тысяч до 400 тысяч тонн, выпуск обуви — с 8,5 миллиона до 7,2 миллиона пар в год. Производство тканей прежде ежегодно возрастало на 400 миллионов метров, сахара — на 179 тысяч тонн, а за первую пятилетку выпуск этих товаров, как и ряда других, сократился абсолютно. Как тут понять заявление Сталина о выполнении пятилетки к исходу 1932 года?

Во второй пятилетке первоначально намечали поднять производство электричества до 100 миллиардов киловатт-часов, добычу угля — до 250 миллионов тонн, выплавку чугуна — до 22 миллионов тонн. Эти рубежи были взяты только в 1950-е годы. В 1938—1940 годах индустрия вообще топталась на месте — производство чугуна, стали, проката, цемента, добыча нефти практически не увеличились, а в ряде отраслей наблюдался даже регресс.

Экономист Г. Ханин пересчитал недавно новыми методами важнейшие показатели развития хозяйства в 1928—1941 годах. Оказалось, что национальный доход возрос за этот период не в 5,5 раза, как утверждает статистика, а на 50 процентов, производительность общественного труда — не в 4,3 раза, а на 36 процентов и т. п. В те годы шло бурное строительство предприятий, возникали новые отрасли индустрии. Основные производственные фонды в народном хозяйстве почти удвоились, но одновременно на четверть снизился съем продукции с рубля фондов. Расход материалов на единицу конечного продукта возрос на 25—30 процентов, что существенно обесценило приросты производства в сырьевых отраслях. Именно тогда возникли диспропорции, терзающие нашу экономику еще и сегодня: между тяжелой и легкой промышленностью, между транспортом и остальными отраслями материального производства, между денежными доходами и товарным покрытием их.

Самое тяжелое наследие 30-х годов — разорение сельского хозяйства. В 1929 году Сталин посулил:

Советский Союз «через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире». Через три года, как известно, разразился голод, унесший миллионы жизней. Только в 1950 году сбор зерна окончательно превысил уровень, достигнутый при нэпе. В 1933 году сравнительно с 1928 годом поголовье скота сократилось примерно в два раза. Лишь в конце 50-х годов количество крупного рогатого скота и овец достигло уровня 1926 года, да и то благодаря личным подсобным хозяйствам.

Одновременно с разрушением товарного производства объективно потребовалось заменить экономические стимулы к труду грубым принуждением, значительно усилить, как писал журнал «Большевик», ту сторону диктатуры, «которая выражается в применении не ограниченного законом насилия, включая и применение в необходимых случаях т е р р о р а по отношению к классовым врагам». О насильственном характере коллективизации много уже написано. В марте 1930 года, когда стало ясно, что посевную колхозы сорвут, Сталин выступил со статьей «Головокружение от успехов». Свалив, как обычно, вину за «перегибы» на исполнителей, он разрешил выход из колхозов. Однако вышедшим скот и инвентарь не возвращали, а землю они получали самую неудобную. Впрочем, летом 1930 года Сталин объявил: «Нет больше возврата к старому. Кулачество обречено и будет ликвидировано. Остается лишь один путь, путь колхозов». Годы спустя в одной из бесед он сказал, что в процессе коллективизации были физически уничтожены миллионы крестьян. Истинная цифра до сих пор неизвестна.

Как заметил один мудрый человек, 1929 год справедливо назван годом великого перелома, не сказано лишь перелома чего: станового хребта народа.

В хозяйственном строительстве, в сущности, возродились приемы «военного коммунизма». На выбор конкретных методов безусловно оказала влияние личность вождя. По складу характера Сталин с недоверием относился ко всяким новациям и не пожелал проводить в жизнь блистательный троцкистский план милитаризации труда. Ему была больше по сердцу классическая форма насилия — работа подконвойных. Ими освоены Колыма и Полярное Приуралье, Сибирь и Казахстан, воздвигнуты Норильск, Воркута, Магадан, построены каналы, проложены северные дороги — всего не перечислишь. В одну из моих журналистских поездок по Северу чудом выживший очевидец рассказал мне, как строили дорогу Котлас — Воркута. В Приполярье работнику надо дать как минимум ватник, валенки,

рукавицы. Всего этого не хватало. Заключенного использовали здесь две недели — опыт показал, что именно такой срок он способен проработать в той одежде, в какой был взят из дому. Потом его, обмороженного, отправляли догнивать в лагерь, а взамен пригоняли новых «первопроходцев». До недавних пор даже упоминать об этом было нельзя. Сейчас, к счастью, другие времена. Плотина молчания прорвана. Однако за трагедиями Сергея Мироновича и Николая Ивановича мы не должны забывать страданий Ивана Денисовича. Народ, забывающий свою историю, обречен повторить ее.

Недостатка в лагерной рабочей силе не ощущалось. По закону от 7 августа 1932 года за хищение колхозного добра полагался расстрел, при смягчающих обстоятельствах — десять лет тюрьмы. В конце 1938 года введены вычеты из получки за опоздание на работу, за три опоздания в течение месяца — под суд. С июня 1940 года под страхом тюрьмы никто не мог самовольно менять место работы, отказываться от сверхурочного труда.

После войны я работал на меланжевом комбинате в Барнауле. Бóльшая часть моих товарищей по общежитию побывала в тюрьме — сажали за кражу обрезка ткани, за драку, да за что угодно. Мой соученик по вечерней школе, работник горвоенкомата, как-то под большим секретом сообщил: около половины призывников имеют судимость. А призывник — это еще мальчишка...

Впрочем, жизнь «вольных» зачастую мало отличалась от быта заключенных и ссыльных. Милая сердцу вятская глухомань долгие годы была местом ссылки. Перед войной и после нее к нам навезли народу из таких краев, о которых многие и не слыхивали. Один из соседних колхозов так и назвали — «Нацмен». Я навсегда благодарен малой моей родине за то, что там просто и естественно проникало в душу драгоценное чувство интернационализма. Свои и ссыльные одинаково работали, одинаково голодали, одинаково остерегались начальства, на одно кладбище везли покойников. Молодежь переженилась, и никого не интересовало, какой коктейль в крови отпрысков. Причин для национальной вражды не было, как нет их и сегодня. В общем нашем отечестве мы повязаны и бедами и победами.

Помню, велели поселить в деревне одинокого мужика. С виду татарин, а кто такой, откуда — выпытывать было не принято: раз власти не гонят дальше, значит, человек в своем праве. А он возьми да и помри. Закопали, и вышел у мужиков спор: ставить ли крест? Не по-людски как-то — пустая могила, будто головешку

в землю спрятали. Поставили все же, резонно рассудив: в случае чего его бог с нашим богом там, наверху, разберутся...

Не в радость обо всем этом писать — судорога сводит скулы. А надо. Потому надо, что и теперь многие ностальгически сетуют: какой порядок, ах, какой порядок был при великом и мудром — вот бы повторить! Свидетельствую: не так было дело. Подневольный труд во все времена и у всех народов был непроизводительным. В 1937 году, когда страна застыла в страхе, миллионы колхозников не выработали обязательного и, в общем-то, посильного минимума трудодней. Позже таких стали ссылать в необжитые места, что не очень страшило — везде одинаково. Так что не следует оглядываться назад в сегодняшних поисках, хорошего там мало, те истоки не напоят нас, они пересохли либо опоганены.

4

Ныне мы ищем иные стимулы к труду, справедливо полагая, что личный интерес надежнее страха и грубого принуждения. Но как его понимать, личный интерес?

Теперь вроде бы дозволено промышлять от себя. Тема экзотическая, об открытии в столице на Кропоткинской улице кооперативной забегаловки писали в газетах, пожалуй, не меньше, чем о пуске Братской ГЭС. Только вот ведь незадача: прежде чем принять, признать материальные ценности, мы, оказывается, должны выяснить, какими побуждениями руководствовались их создатели. Предполагается, что личный интерес — это одно, а общественный, государственный — совсем иное.

Оно вроде бы и верно. Не частнику решать, что, где и в каком объеме должно производиться. В качестве подспорья большому производству индивидуальные хозяйства полезны, но государство должно дозировать частную инициативу, жестко определять ей границы, чтобы не отвлекались слишком уж большие силы от дел общегосударственного масштаба. А как же с личными интересами? Есть ли для них место? Есть. Они включаются при исполнении планов; надо щедро платить и деньгами и социальными благами тем коллективам, которые вырабатывают запланированную продукцию с наименьшими издержками, наилучшего качества, поставляют ее потребителям точно в срок. Отклонения от плана в худшую сторону наказываются

опять-таки рублем. Скажем, за срывы обязательных поставок предусмотрены крупные вычеты из премиального фонда, вовсе не оплачивается продукция, забракованная государственной приемкой или потребителем, казна не возмещает убытков, если затраты на изделие оказались выше установленной сверху цены. В этих случаях просто нечем будет платить за труд — бракоделы, неряшливые поставщики, транжиры обязаны исправиться, иначе дело может дойти до закрытия предприятия.

Такова одна концепция перестройки. Есть и другая. Согласно ей исторический опыт не выявил особых преимуществ директивного планирования. У всех на виду горестные потери, которые общество несет в строгом соответствии с планом. К примеру, миллиарды и миллиарды истрачены на строительство БАМа, а возить по новой дороге нечего, она приходит в негодность, так и не послужив нам. Или еще: десятилетиями казна щедро отпускала средства на увеличение выпуска комбайнов. Сейчас производим их больше, чем любая другая страна. И что же? По крайней мере треть новехоньких машин не нужна — колхозы и совхозы отказываются их покупать даже за полцены. Это не какие-то казусы. В излишних запасах омертвлено на сотни миллиардов рублей всевозможной продукции — она не понадобилась, хотя изготовлена по плану. А с другой стороны — окаянные нехватки товаров как производственного назначения, так и личного потребления.

Примеры можно множить. И дело тут не в ошибках либо неопытности плановиков — время для обретения опыта у них было. Потерпела крах идея, будто можно более или менее детально расписать сверху пропорции и приоритеты в развитии экономики, масштабы производства продукции, хотя бы и наиважнейшей. Это подтверждается не только результатами, но и самими приемами планирования. При определении перспектив плановики тщательно учитывают мировые тенденции развития экономики. Если там, за бугром, стремительно развивается химия, то давайте и мы займемся химизацией, если там электроника в почете — пора и нам за нее взяться. Мы все время оглядываемся, какие шляпки донашивает буржуазия. Но ведь «у них» пропорции и приоритеты складываются не в плановом порядке. И коль скоро мы берем их за образец, то тем самым молчаливо признаем, что существует более эффективный способ регулирования либо саморегулирования экономики, нежели наш. Тогда будем последовательны: директивное планирование не является ни обязательной приметой, ни преимуществом нашей системы хозяйствования. А если

так, что даст стимулирование образцового исполнения планов? Наверное, оно сколько-то подогреет рвение к труду, однако этого мало.

Тут требуется новое экономическое мышление. Условимся о простой вещи: любая продукция, любая услуга, удовлетворяющая разумные потребности хоть отдельного человека, хоть предприятия, есть благо независимо от того, произведена она по директиве сверху или по инициативе снизу. Народное хозяйство должно представлять собою комбинацию трех равноправных укладов: хозрасчетные государственные предприятия, кооперативы и частные промыслы. Трудящиеся сами выбирают, в каком секторе они желают работать. Особенно решительно надо допускать частника в убыточные сферы производства и обслуживания (при регламентированном использовании наемного труда). Предприятия торговли, бытового обслуживания, мелкой промышленности можно отдавать в аренду кооперативам. На селе наряду с семейными хозяйствами могут прижиться кооперативы механизаторов — им надо давать столько земли, сколько они способны обработать. Орудия труда предоставляются им в аренду или за выкуп, по их желанию.

Естественно, основным сектором экономики останется государственный. Он тоже должен работать на условиях товарного производства. Это означает соблюдение нескольких очень простых правил. Программа производства не задается свыше, а складывается из заказов потребителей. Распределять продукцию больше не надо — из договора партнеров уже ясно, кому она предназначена. Оптовую цену не назначают — о ней условливаются между собой продавец и покупатель. Все расходы, в том числе и на развитие производства, погашает коллектив из своих доходов. Уплатили налоги, рассчитались за кредиты — остальное ваше, решайте сами, сколько отчислить на поддержание и расширение производства, сколько раздать на руки.

Короче говоря, новое экономическое мышление предполагает, что каждый кормится как умеет, лишь бы платил налоги из личных или коллективных доходов. Анархия? Никоим образом. В этой-то модели как раз и возможен реальный централизм. Он заключается не в тотальном директивном планировании, а в том, что государство на деле направляет развитие хозяйства в нужную сторону.

Маленький пример, из которого многое будет ясно. В социалистической Венгрии государство поддерживает среди прочих программу по автобусам «Икарус». Однако напрямую оно не диктует изготовителю, сколько

машин тот обязан изготовить за год или за пятилетие. Применяются окольные приемы: на определенный период уменьшается налог в казну, дается более дешевый кредит, не исключены безвозвратные дотации к заводским капиталовложениям. В том, что такие приемы срабатывают, может убедиться каждый — «Икарусов» прибавляется и на наших улицах. Это и есть централизм на деле: достигнуто задуманное увеличение выпуска данного товара, произошел заранее намеченный структурный сдвиг к производству выгодного для страны продукта.

Мы бы в подобной ситуации, по обыкновению, запланировали прирост в штуках, обязали строителей ввести новые мощности, машиностроителей — поставить дополнительное оборудование... Все вроде учли, а подошел срок, и выясняется, что план сам по себе, жизнь сама по себе. Это не абстрактное предположение. Напомню, что три последних пятилетки не выполнены, причем степень отклонения от плана до последнего времени нарастала. При формальной диктатуре плана хозяйство развивается все более анархично, реальный централизм в управлении ослабевает, мы потеряли контроль над событиями. Сегодня, скажем, американская экономика управляется более централизованно, нежели наша.

Согласитесь, эти суждения звучат довольно непривычно. Отчего? Изменениям в жизни должны предшествовать изменения в сознании. Похоже, тут-то и кроется опасность для перестройки. Радикальный ее вариант, единственно способный оздоровить экономику (и не только экономику), пока трудно укладывается в головах. Слишком глубоко укоренился в нас тот предрассудок, что власть государства над производительными силами — безусловное благо, прямо-таки императивное требование исторического процесса.

Этому предрассудку не семьдесят лет, он гораздо старше.

5

У «военного коммунизма» были свои корни в отечественной истории. И раньше центральная власть в России длительные периоды напрямую распоряжалась всем, что лежало, стояло, ползало, ходило, плавало, летало. Историческая наука — всегда поле сражения. Исполняя социальный заказ, наши историки искали доказательства тому, что именно в такие периоды достигались хозяйственные, военные и всякие прочие

успехи. До недавних пор, например, был весьма почитаем Иван Грозный. Исполнитель главной роли в знаменитой эйзенштейновской киноленте Николай Черкасов осветил в мемуарах важные подробности встречи Сталина с деятелями искусства: «Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами,— если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени... И затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил, что «тут Ивану помешал бог»: Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом целый год кается и замаливает «грех», тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее!..»

Цель этих научных упражнений очевидна: надо доказать, что борцу с отжившим строем, в какую бы эпоху он ни действовал, положено ликвидировать своих противников — история не простит мягкотелости. Похоже, некоторые историки и по сей день аккуратно исполняют эти бесценные указания. В вузовском учебнике крепостники-дворяне, служившие опорой Ивану Грозному, объявлены «прогрессивным слоем класса феодалов, с которыми было связано решение важных экономических и политических задач». Подтвердить или опровергнуть подобные мнения можно только анализом отношений собственности начиная с давних времен. Мы увидим, что это разыскание обнажает живые истоки нынешних противоборствующих представлений о путях перемен в обществе.

За целое столетие до эпохи Грозного в отечестве нашем начали складываться производственные отношения предбуржуазного свойства. Крестьянство переходило к товарному производству. Этот процесс шел особенно быстро в вотчинах, то есть на землях тех самых бояр, о недоликвидации которых столетия спустя горевал корифей всех наук. Собственники латифундий сами хозяйством обычно не занимались — они предпочитали сдавать землю в аренду крестьянам, причем плату стремились получать не натурой, а деньгами. «Основой народного хозяйства...— пишет о той поре знаток имущественных отношений Ключевский,— остается по-прежнему земледельческий труд вольного крестьянина, работающего на государственной или частной земле». Далее историк поясняет: «Крестьянин договаривался с землевладельцем, как свободное, юридически равноправное с ним лицо». При товарном производстве с его имущественным расслоением возникает рынок рабочей

силы. Удачливые хозяева устремляли свои денежки в промыслы и торговлю. Быстро росли города: во второй половине XV века их было около сотни, в середине XVI века — уже 160. «Торговые мужики», то есть богатые крестьяне и купцы, заводят солидные предприятия. В Соль-Вычегодске, например, на соляных варяницах у промышленников Строгановых было больше десяти тысяч наемных работников. На селе множилось число «непашных людей» — ремесленников, работающих на рынок. Так рождалось российское третье сословие, которое при определенном стечении обстоятельств могло направить страну по капиталистическому пути. По типу производственных отношений наша страна тогда не отставала от других держав.

Однако наряду с вотчинным землевладением существовала в ту пору принципиально иная форма собственности — поместья, то есть земли, раздаваемые князьями дворянам. Такие участки были относительно невелики, давались только на срок службы и по наследству не переходили. Поэтому помещик считал более выгодным не сдавать землю арендаторам, а вести собственную запашку, принуждая крестьян к барщине. Поместные дворяне в отличие от вотчинников как раз и были заинтересованы в насильственном прикреплении крестьян к земле, иначе говоря, в крепостном праве.

«Но барщинное хозяйство,— пишет известный исследователь отношений собственности Н. Носов,— хотя и сулило для феодалов наиболее быстрое и эффективное получение товарного хлеба (и именно это делало его в их глазах особенно выгодным), в плане широкой экономической перспективы было более консервативным, чем система денежных рент. Барщина приводила к разорению индивидуального хозяйства крестьян, а главное, подрывала заинтересованность крестьянина в повышении производительности своего труда и товаризации его результатов». «...На рубеже XV—XVI столетий,— продолжает автор,— еще лишь решался вопрос, по какому социально-экономическому пути пойдет Россия,— пути поместно-крепостнического хозяйства, которого добивались и в котором были заинтересованы широкие слои господствующего класса, особенно поместное дворянство, или, наоборот, пути ослабления феодальных связей и широкого развития в городе и деревне свободного мелкотоварного хозяйства. В последнем были заинтересованы горожане и крестьяне. В пользу этого пути склонилась и определенная группа крупных феодалов, связанных с поднимающимся купечеством (как, например, в прошлом новгород-

ские бояре) и рассчитывающих добиться бóльших экономических выгод за счет городских и крестьянских промыслов и торговли».

Исход борьбы и в этом случае в решающей степени зависел от того, на чью сторону станет власть. При Иване Грозном государство поддержало крепостников. Царь вызвал к жизни и выпестовал карательный корпус — печально знаменитую опричнину (ее сильно хвалил Сталин, как сообщает Н. Черкасов). Опираясь на нее, Грозный экспроприировал, во-первых, наследственную собственность крупных феодалов (а самих их истребил) и, во-вторых, рабочую силу, то есть закрепостил крестьян. Произошло огосударствление производительных сил. Поместье стало основной формой землепользования. Это был поворотный пункт нашей истории. «И если в России в результате «опричнины» и «великой крестьянской порухи» конца XVI в. все-таки победило крепостничество (в сфере социальной и не только крестьянской) и самодержавие (в сфере политической), то это еще не доказывает, что русский народ не мог пойти по другому пути. Но зато это та основная «объективная» причина, которая во многом обусловила экономическую и культурную отсталость крепостнической царской России»,— заключает профессор Носов.

Четко сказано, не правда ли? Выходит, не против феодализма боролся сталинский кумир, а за феодализм, против зарождавшегося капиталистического способа производства. Выходит, «прогрессивным слоем класса феодалов» были не крепостники-дворяне, как уверяет нынешний учебник, а те самые «недорезанные» вотчинники.

Экспроприация подданных укрепила самодержавие. Между прочим, это не хуже нас с вами понимал сам Грозный. Терпя военные неудачи, он, как известно, обращался за помощью к английской королеве. Получив отказ, царь отчитал королеву: «А мы чаяли того, что ты на своем царстве государыня и сама владеешь... Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, а мужики торговые... А ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая (обыкновенная) девица».

Расплата за реакционный переворот не заставила себя ждать. В результате военных авантюр Грозного страна лишилась выхода к Балтийскому морю, потеряла важные города, стала вожделенным объектом интервенций. Хозяйство было разорено дотла. И сегодня обжигают душу горестные документы той эпохи: «В деревне в Кюлакше лук (участок.— *В. С.*) пуст Игнатка Лутьянова, запустел от опричнины — опричники живот

(имущество.— *В. С.*) пограбили, а скотину засекли, а сам умер, дети безвестно сбежали... В той же деревне лук пуст Еремейка Афанасова, запустел от опричнины — опричники живот пограбили, а самого убили, детей у него нет... В той же деревне лук пуст Мелентейка, запустел от опричнины — опричники живот пограбили, скотину засекли, сам безвестно сбежал».

Если о Грозном историки все-таки спорят, то достойный продолжатель его дела, царь Петр, оценивается безусловно положительно. Бытует мнение, будто Петр преобразовал Россию по европейским образцам. Эта легенда рушится, едва мы начинаем вникать в тогдашние отношения собственности. Именно при Петре достигнута высшая точка огосударствления производительных сил. К концу его царствования насчитывалась 191 мануфактура, причем 178 из них были основаны при Петре. Ровно половину их построили на средства казны. В металлургии, например, в 1700—1710 годах построили 14 казенных заводов и только два частных. Правда, казенные заводы царь иногда передавал в частные руки или компаниям, но, как замечает Ключевский, «фабрика и компания получили характер государственного учреждения». У промышленности, созданной при Петре, было еще одно отличие от европейской. Свободных рабочих рук в крепостнической стране не существовало, и самодержец решил задачу просто: крестьян стали прикреплять к государственным предприятиям. Мало того, царь отменил закон, по которому крепостными могли владеть только помещики и государство — указом от 18 января 1721 года это право дано купцам. Таким образом, самодержавие перенесло в промышленность традиционные формы крепостничества, рождалось нечто в истории невиданное — крепостной рабочий класс.

Когда народное хозяйство рассматривается только как инструмент, орудие войн, даже реальные достижения неизменно оказываются непрочными. Да, при Петре создан флот, одержавший славные победы. Только на Балтике Россия держала 848 кораблей с 28 тысячами экипажа. Но уже через несколько лет после смерти Петра лишь немногие корабли кое-как могли выйти в море. Флот требовался для завоевания прибалтийских земель. Дело сделано — инструмент можно выбросить.

Поучительны судьбы отечественной металлургии. Не так давно публика зачитывалась романом-эссе покойного ныне В. Чивилихина «Память». Автора я знавал — одно время наши койки в университетском обще-

житии стояли рядом. Верный поклонник Сталина, он по логике вещей обожествлял и Петра. Чивилихин пишет: «О металле? Пожалуйста! Общеизвестно, что это — хлеб промышленности, основа экономического развития, и Петр I в числе первых сие понял. Как одержимый он метался по рудным местам России, заряжая своей энергией русских промышленников. В 1702 году Петр передал Никите Демидову казенный Невьянский завод с землями, лесами и горой Благодать. На нем срочно было налажено производство лучших в мире боевых ружей — до ста тысяч штук в год, так что Полтавскую битву выиграли, можно сказать, уральские мастеровые. За исторически короткий срок Демидовы — без телефонов и радио, вездеходов и вертолетов — поставили на Урале двадцать металлургических заводов. Уралу принадлежали мировые рекорды по выплавке чугуна на одну печь, по экономическим показателям расхода топлива и сырья. Демидовское железо — «русский соболь» — пошло в Европу. К 1718 году — за семь лет до смерти Петра — Россия по выплавке чугуна вышла на первое место в мире, оставив позади Англию, Германию, Францию, Америку, не говоря уж о прочих. Мы выплавляли треть всего черного металла планеты! В XVIII веке сама Англия покупала у нас по нескольку миллионов пудов железа в год».

Автор, разумеется, не сообщает, что казенный Невьянский завод был передан Демидову не только «с землями, лесами и горой Благодать», а еще и с крепостными рабочими. От дореволюционных историков мы знаем: на демидовских заводах рудокопов приковывали к тачкам и фактически заживо погребали под землей. Ладно, человекоматериал — ресурс возобновляемый, бабы еще народят. Но как все-таки понять последующий упадок металлургии? «Потомки Петра,— объясняет В. Чивилихин,— десятилетиями эксплуатировали богатое наследство, но с какого-то времени перестали заботиться о его приумножении». Очень практичное объяснение! Есть одержимый хозяин — есть и успех. Ослабила власть внимание и опеку — дело развалилось. Тут не история, тут злоба дня, средоточие нынешних споров...

Весьма квалифицированный исследователь, автор «Русской фабрики» М. Туган-Барановский задолго до В. Чивилихина задавался тем же вопросом, но ответ давал прямо противоположный. Еще в конце XVIII века Россия и Англия выплавляли по 8 миллионов пудов чугуна, а через полвека англичане производили 234 миллиона пудов, наши пращуры — 16 миллионов. «От чего же зависело такое печальное положение

нашей железоделательной промышленности? — спрашивает историк и отвечает: — Во всяком случае, не от недостатка правительственной помощи и опеки. Железо было одним из наиболее необходимых продуктов для государства. Поэтому правительство не жалело средств... частные горные заводы Уральского округа получили не менее 15 млн. деньгами в ссуду от правительства. Кроме того, к этим заводам были приписаны огромные площади казенной земли и лесов, сотни тысяч крестьян — все это без малейшей платы владельцев заводов. Почему же добыча железа в России не только не возрастала, но сравнительно с населением даже падала? А именно: вследствие избытка правительственной опеки и поддержки».

Имея даровые заводы, даровые рабочие руки, создав аппарат принуждения к труду, наши горнозаводчики в отличие от английских нисколько не заботились о технических усовершенствованиях. «Весь процесс выплавки железа, начиная с рубки леса для доменных печей, перевозки материалов, добычи руды и кончая литьем железных и чугунных изделий, исполнялся рабочим под угрозой суровых наказаний, без всякой надежды на улучшение своего материального положения»,— замечает историк. «Пока рабочий на железных заводах работал из-под палки, до тех пор и производительность его труда не могла прогрессировать. Никакие льготы не могли заменить основного условия промышленного прогресса — свободы труда».

Экономический разврат зашел так далеко, что уральской металлургии уж и свобода не помогла. После реформы 1861 года регион приходит в упадок. Почитаем опять М. Туган-Барановского: «Рабочий, получавший даровой провиант и все содержание от заводской администрации, которая удерживала в повиновении многочисленное рабочее население заводов и понуждала его к труду мерами крайней строгости, совершенно отвык от свободной деятельности и первое время после освобождения совсем потерял голову. Получивши возможность бросить тяжелую заводскую работу, с которой соединялось столько ненавистных воспоминаний в прошлом, рабочие целыми массами бросали заводы и переселялись в другие губернии... Бывших заводских рабочих так тянуло бросить постылые заводы, что усадьбы, дома и огороды продавались совершенно за бесценок, а иногда и отдавались задаром». Все это очень напоминает поруху деревень на моей родине. После смерти Сталина голода там уже не было, жить бы да радоваться. Но как только колхозникам начали беспрепятственно выдавать паспорта, деревни букваль-

но обезлюдели — дома и задаром стали никому не нужны.

Вернемся к истории. Исследователь видит беду в государственной опеке хозяйства. Ну а если бы ее не было? Что, дело пошло бы обязательно лучше? На сей счет сама история поставила наглядный экономический эксперимент: на производство сукна, потребного для казенных мундиров, казна не жалела денег, а вот выработка ситца ее не интересовала. Посмотрим, какая подотрасль прогрессировала. Из указа 1740 года можно узнать, что, несмотря на инъекции капитала, строжайшие приказы и регламентации, «сукна мундирные, которые на российских фабриках делаются и на полки употребляются, весьма худы и в носке непрочны...». Указами от 25 ноября 1790 года и 20 ноября 1791 года правительство разделило суконные предприятия на две группы. В первую входили так называемые обязанные фабрики — при учреждении они получали пособие от казны, имели крепостных рабочих и должны были поставлять продукцию государству. Вторая группа — вольные фабрики, созданные на частные деньги и с вольнонаемным персоналом. Вскоре выяснилось, что обязанные фабрики не выполняют планов. Вольные действовали успешнее, но государству от того было мало проку, и вот в 1797 году им запретили свободно продавать сукно — сдавай государству. Поставщика штрафовали за каждый аршин, проданный, как мы сегодня сказали бы, без фондов и нарядов, сукно тут же конфисковывалось. В 1809 году правительство выделило два миллиона рублей на устройство новых фабрик. Бесполезно — сукна, пусть и скверного, армии не хватало. Лишь в 1816 году государство решилось устраниться от опеки над производством, и уже через шесть лет предложение сукна превысило спрос.

А что тем часом происходило с ситчиком? На выработку его казна не давала ни гроша, но зато и не лезла с директивами и ценными указаниями. Производство росло как на дрожжах. В начале XIX века в Иванове действовали хлопчатобумажные предприятия, имевшие по тысяче рабочих и более. Фабриканты наживали «упятеренный рубль на рубль». Старую Россию по сей день пренебрежительно называют ситцевой. А ведь объективно эта отрасль находилась в худших условиях, нежели сукноделие. Сырьем служил заморский хлопок, тогда как шерсть страна даже вывозила. По вольному найму на ситцевых фабриках трудились оброчные крепостные. Помимо стоимости рабочей силы фабрикант так или иначе оплачивал их оброки да сверх того сам, будучи, как правило, крепостным,

вносил своему помещику громадный оброк. Прибавочного продукта как источника расширенного воспроизводства, казалось бы, должно было оставаться заведомо меньше, чем на казенных предприятиях с «бесплатной» рабочей силой. А вот поди ж ты...

Великие реформы 1860-х годов создали наконец главное условие для индустриального развития страны — рынок рабочей силы. Благодарная экономика, словно гири с себя стряхнув, круто пошла в гору. Металлургическое производство перемещается с пришедших в упадок уральских заводов на юг страны — там оно действует на новых, чисто капиталистических основах. Если до 1887 года на юге было два завода, то в 1899 году их стало 17, с 29 действующими домнами и 12 строящимися. Эти печи были в полтора раза мощнее тогдашних английских. За тринадцать лет (1887—1899) выплавка чугуна в России увеличилась в пять раз — с 32,5 до 165,2 миллиона пудов. Абсолютная прибавка (132,7 миллиона пудов) оказалась выше, чем в любой европейской стране, кроме Германии. Наша страна обогнала по производству чугуна Францию, Бельгию и вышла на четвертое место в мире еще в канун XX века.

Поражают воображение темпы железнодорожного строительства. В 1866—1875 годах в среднем за год протяженность дорог в России увеличивалась на 1520 километров — это вдвое больше теперешних приростов. А за восемь последних лет XIX века ежегодно вводили в строй по 2740 километров магистралей (сейчас примерно столько мы строим за пятилетку).

В 1913 году по объему промышленной продукции наша страна вышла на пятое место в мире и, судя по темпам развития, имела все основания рассчитывать на новые победы в состязании держав. Понятно, темпы выглядят особенно впечатляющими потому, что отсчет шел от невысокого еще уровня. Но и абсолютные прибавки внушительны. Так, в 1911—1913 годах добыча угля увеличилась примерно на 11 миллионов тонн (в 1981—1985 годах, то есть за всю прошлую пятилетку,— на 9,6 миллиона тонн), выплавка чугуна прирастала на 518 тысяч тонн ежегодно, что вполне сопоставимо с теперешними прибавками. Отмечу, что индустрия прогрессировала за счет интенсивных факторов, характерных для товарной экономики. С 1887 по 1908 год промышленная продукция возросла в 3,7 раза, а число рабочих — менее чем вдвое. Как видите, в индустрии мы получили от старой России неплохое наследство.

Историки экономики давно заметили, что Россия всегда больше тяготела к государственному регулированию хозяйства, чем Запад. Этот феномен исследовате-

ли оценивают, однако, по-разному. Небезызвестный Ричард Пайпс в объемистой книге «Россия при старом режиме» доказывает, будто начиная с Киевской Руси в нашей стране вообще не бывало частной собственности — князья, а потом цари рассматривали расширяющееся государство как свою вотчину. Господство государевой, а в сущности государственной собственности сформировало, по Пайпсу, стереотип россиянина: люмпен в экономическом смысле, он неизбежно являлся рабом государства в политическом отношении. История России, считает Пайпс, являла собой не развитие, не поступательный процесс, а повторения, вариации одной и той же унылой схемы, наподобие того, как это происходило в сонных восточных деспотиях.

Наше разыскание касательно отношений собственности, надеюсь, убедило читателя, что отечественная история не желает укладываться в схему, нарисованную американцем. Он абсолютизировал, распространил на бесконечную череду веков, в общем-то, ограниченные периоды, когда государство действительно пыталось централизовать хозяйственное управление. В то же время анализ опровергает расхожее мнение, будто в эти периоды наблюдался расцвет производительных сил. Нет, в лучшем случае обеспечивались кратковременные прорывы на узких участках экономики, непосредственно связанных с военными нуждами. Зато когда открывался простор для инициатив снизу, наша экономика развивалась в хорошем темпе.

В отличие от промышленности сельскохозяйственное производство после реформ 1860-х годов долго еще переживало застой. Здесь негативную роль играла знаменитая русская община. Она насаждена сверху или, по крайней мере, укреплена после опричного переворота Грозного. Как уже говорилось, помещик в отличие от вотчинника не раздавал землю в аренду, а вел барскую запашку руками крепостных. Но как будет кормиться земледелец? При неэффективности подневольного труда даже скромные затраты на его содержание ополовинили бы барский доход. С другой стороны, стоит дать мужику хотя бы небольшой участок, как крестьянин станет на нем выкладываться, сачкуя на барщине. Идеальным решением стала община. Участки, выделенные для прокорма крепостных, принадлежали не семьям, а сельскому обществу, миру, всей деревне. Коллективное землепользование подрезало крылья энергичным и предприимчивым, насаждало унылое и убогое равенство. Но это и являлось целью крепостника — он был заинтересован не в удачливых конкурентах, а в дармовой рабочей силе. Ответственность за барщину

несла община в целом — кто увлекался личным хозяйством, за того приходилось работать соседям. Весьма удобной оказалась община и для государства: на нее возлагались налоги и повинности, а уж она раскладывала их на семьи. Подати за крестьянина, пропавшего безвестно, мир платил в складчину, так что мужички получше властей следили друг за другом.

Спор о судьбах общины обрел особую остроту при повороте страны к капиталистическому развитию. Оно и понятно: ведь этот консервативный институт по сути своей враждебен частной собственности, без которой не бывает капитализма. Реформа 1861 года сохранила общину — помещикам было удобно получать выкуп за землю гуртом с мира, а государство справедливо видело в общине условие сохранения самодержавия. Один из реакционных деятелей писал на рубеже веков: «Все, что есть еще на Руси святого, идеального, патриотического, героического, все невидимыми путями истекает именно из общины».

Помещики и царская бюрократия выступали за общину справа. Были у нее, однако, защитники и слева — со стороны социалистов, видевших в общине ячейку будущего коллективистского общества. Эту надежду питали не одни утописты. Ленин в 1902 году заявлял весьма решительно: «...общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всякого посягательства бюрократов» (т. 6, с. 344).

Но жизнь брала свое: немыслимо было совместить развитие промышленности с застоем сельского хозяйства. Требование времени лучше всех выразил видный государственный деятель предреволюционной России П. Столыпин. В 1902 году, будучи еще гродненским губернатором, он предупреждал: «Сохранить установившиеся, веками освященные, способы правопользования землей нельзя, так как они выразятся в конце концов экономическим крахом и полным разорением страны». Позднее, уже в качестве главы правительства, в речи перед третьей Государственной думой он так сформулировал свою аграрную программу: «...создание мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых правительство считало и считает вопросами бытия русской державы». Любопытно, что Столыпин едва ли не первым ухватил связь между формами собственности и личностными правами: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личною земельною собственно-

стью, пока он находится насильно в тисках общины — он останется рабом и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы».

При отчаянном противодействии справа и слева, отступая и лавируя, глава правительства сумел провести свою программу в жизнь. По оценке Ленина, «Столыпин правильно понял дело: без ломки старого землевладения нельзя обеспечить хозяйственное развитие России. Столыпин и помещики вступили смело на революционный путь, ломая самым беспощадным образом старые порядки, отдавая всецело на поток и разграбление помещикам и кулакам крестьянские массы» (т. 16, с. 424). Реформы, начатые Столыпиным, набирали ход. К лету 1917 года 62,5 процента крестьянской земли находилось в частной собственности и личном владении, то есть не в общинах.

Уже в канун мировой войны Россия вышла на второе место в мире по экспорту зерна. По мере хозяйственных успехов общественное мнение все более склонялось к столыпинской политике. Известный публицист той поры А. Изгоев (один из авторов знаменитого сборника «Вехи») оптимистично писал: «Теперь уже спор взвешен судьбой. Общинное право бесповоротно осуждено, и все попытки вернуть ему господствующее положение в жизни обречены на неудачу... Россию предстоит реформировать на началах личной собственности, и от энергии, знаний, умения демократических общественных деятелей зависит, чтобы это реформирование совершилось с наибольшими выгодами для крестьянских масс».

Но история рассудила иначе. Спор далеко еще не был взвешен судьбой. После Октябрьской революции взоры преобразователей, отвергших для России капиталистический путь развития, снова обращаются к общине. В годы «военного коммунизма», как мы помним, 50 миллионов гектаров конфисковано у кулаков. Эта земля не была поделена между крестьянами, а попала по преимуществу в общинное пользование. Так были сведены на нет результаты столыпинских реформ, по существу, восстановлены формы землепользования, присущие старой России.

Разумеется, не одни удобства для проведения продразверстки привлекали в общине — считалось, что в зародыше она содержит будущее коллективное социалистическое хозяйство. Это не мои домыслы. Даже на X съезде партии, где решался вопрос о новой экономической политике, Ленин настаивал на переходе мелких хозяйств «к обобществленному, коллективному, общинному труду» (т. 43, с. 26). Позднее исследователи не

раз подчеркивали преемственную связь между общиной и колхозами. К примеру, советский ученый и организатор науки С. П. Трапезников прямо утверждал: «Советская революция подготовила земельные общества для перехода в высшую форму, превратив их в опорные пункты социалистического преобразования сельского хозяйства страны».

Словом, утопические надежды мыслителей прошлого века на общину оказались не столь уж утопическими. Внезапно поумневший в эмиграции князь В. Львов (некоторое время возглавлявший Временное правительство) писал в брошюре, изданной в 1922 году: «...старое славянофильство и новая советская власть протягивают друг другу руки... Идеализируя общину, славянофилы сами не жили в общине. Если бы они были последовательными, то они пришли бы к советской власти, которая есть общинное управление государством...

Как представляли себе славянофилы государственный строй России?

В виде самоуправления, в котором преодолена всякая политическая и партийная борьба, а все соединены общей деловой работой во имя единого общего идеала. Разве это не есть цель, которую ставит перед собой советская власть?.. Так, сбросивши броню европейских узорчатых покровов, Россия встает перед миром в новой одежде своего национального бытия и общечеловеческого служения».

Ну вот видите, и князь Львов узрел те же истоки, что и маститые современные ученые. Вдобавок к тому экс-премьер прямо выводит из общинных отношений морально-политическое единство общества как антипод «узорчатой» буржуазной демократии...

История учит: посредством общины никогда не удавалось обеспечить рвение к труду и экономические успехи; равенство, социальная справедливость общинного типа неизменно оборачивались подавлением личности. Преимущества «обобществленного, коллективного, общинного труда» не доказаны и поныне, хотя испробованы, кажется, все мыслимые и немыслимые его варианты.

6

В одной исключительно важной сфере жизни наследие веков особенно плотно наложилось на послереволюционную историю и образовало монолитную стену, которую не удается пока ни прошибить, ни

преодолеть. Это — бюрократическое управление, являющее собой главное препятствие на пути перемен.

Принято считать, что Петр I перенес на русскую почву западные бюрократические образцы. Это не совсем так. Казенными предприятиями, разумеется, во всех странах управляют государственные служащие, но поскольку при Петре промышленность была по преимуществу государственной, область полномочий российского чиновничества с самого начала оказалась шире, чем на Западе. Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия (предшественницы хозяйственных министерств) напрямую диктовали номенклатуру продукции, назначали цены. Это понятно — ведь индустрия работала в основном на войну. Мелких ремесленников — и тех не оставили вне сферы централизованного управления. Указом 1722 года их объединили в цехи ради организованного использования для выпуска продукции, которая требовалась армии и флоту. Власть лезла даже в такие хозяйственные дела, где она явно не могла воздействовать на события. Указ 1715 года предписывал удвоить посевы льна, конопли, разводить эти культуры во всех губерниях страны (о кукурузе речь пока не шла). Приказчикам помещичьих имений государство через головы номинальных владельцев рассылало инструкции касательно ухода за скотом, сроков сельскохозяйственных работ, удобрения полей, использования при уборке хлеба кос вместо серпов и т. п.

Когда государство безмерно расширяет число объектов управления, бюрократический аппарат разрастается. В петровские времена насчитывалось 905 канцелярий и контор. После смерти Петра четыре его сподвижника (Меншиков, Остерман, Макаров и Волков) засвидетельствовали: «Теперь над крестьянами десять и больше командиров находится вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских — от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут». При столь сложных структурах немыслимо четко поделить сферы влияния, расчертить границы полномочий.

Зачастую одними и теми же делами ведали независимо друг от друга три разветвленных государственных аппарата: военный, гражданский и тайная полиция. В этих условиях объективно необходим верховный арбитр, чьи однозначные указания были бы равно обязательными для любого звена управления. Назовите его императором, диктатором, отцом народов или еще как-то, место его в административной структуре от того

не изменится. Даже простые вопросы приходится решать на вершине иерархической пирамиды. Этой особенностью чрезмерно централизованного управления и объясняется тот восхищавший потомков факт, что Петр самолично вникал во все тонкости жизни, писал указы по каждому поводу.

Слом старой государственной машины после Октября 1917 года не означал, что корни бюрократизма вырваны. Опасность, пожалуй, еще и усилилась, поскольку в сферу управления была опять включена вся экономика. Колоссальную работу по регулированию хозяйства, которую, пусть и с огрехами, исполняет в товарном производстве рынок, потребовалось сразу же переложить на управленческий аппарат. Ситуация осложнялась тем, что экономическая модель «военного коммунизма» исключала какую-либо самостоятельность хозяйственных ячеек. Промышленность, например, представляла собою, в сущности, одно сверхпредприятие, управляемое из центра.

Для решения насущных задач приходилось создавать бессчетное количество организаций. Известный экономист той поры Ю. Ларин обозвал тогдашнюю систему хозяйственного управления всероссийским чеквалапством — по имени Чрезвычайной комиссии по валенкам и лаптям (Чеквалап). Важно понять, что при всей анекдотичности подобных учреждений они не могли не возникнуть. Армии и трудлагерям требовалась обувь. Но представьте себе посланца центра с чрезвычайными полномочиями на сей счет. У него конкретное задание, и, чтобы выполнить его, он постарается снять людей с другого производства, которым, в свою очередь, озабочен другой распорядитель. В итоге объявится нужда в новой, уже сверхчрезвычайной комиссии... Внеэкономическое принуждение к труду требовало аппарата надсмотрщиков. Приплюсуем сюда аппараты для сбора продразверстки, для распределения жизненных благ и множество других.

В. И. Ленин первым понял опасность и объявил войну бюрократии — иначе революция утонула бы в чернилах. Великая заслуга Ильича состоит в том, что он круто повернул страну к нэпу, при котором возникли объективные условия для ограничения бюрократизма. К лету 1922 года в центральных хозяйственных органах из 35 тысяч служащих осталось 8 тысяч, в губернских совнархозах — 18 тысяч из 235 тысяч.

Но уже на излете нэпа, в 1927 году был законодательно изменен статус предприятия. По новому Положению целью предприятия стало исполнение спущенного сверху плана, а не извлечение прибыли, как опреде-

лялось Положением 1923 года. Вышестоящий орган отныне выдавал задания по строительству, назначал и увольнял администраторов, диктовал цены. С января 1932 года стала быстро формироваться управленческая вертикаль (наркомат — главк — предприятие), идеально приспособленная к приказному управлению.

С разрушением экономического механизма нэпа место интереса опять заняла директива. Откроем наугад один из сборников постановлений по хозяйственным вопросам. Вот постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома от 1 августа 1940 года «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов». Раздел VII этого документа подробнейшим образом регламентирует уборку табака:

«1. Установить, что уборка табаков должна производиться при наличии полной технической зрелости строго по ярусам, не допуская перезревания табаков, а также сбора недозрелых листьев.

2. Обеспечить своевременное и последовательное выполнение работ по уборке табака (ломка, низка, сушка, обработка), не допуская разрыва между этими работами...

4. Провести уборку урожая табаков и махорки в следующие сроки:

а) махорки — не позднее 10 сентября по всем районам, за исключением Алтайского и Красноярского краев и Новосибирской области, где уборку закончить не позднее 1 сентября». И так далее.

Инструкция подписана самим Сталиным, он и в уборке табака знал толк. Директиву надо было размножить, довести до каждого колхоза, проконтролировать исполнение каждого пункта (а все постановление — это целая брошюра), регулярно составлять отчеты... Заметьте еще, что первый пункт может противоречить четвертому: уборку приказано завершить до 10 сентября, а вдруг к тому времени табак не дозреет? Наверное, уполномоченный начнет жать на сроки, председатель же колхоза склонен будет подождать. Выходит, надобен третейский судья. Легко представить себе, сколько же служивого люда кормилось около... нет, не уборки табака, а бумаги на сей счет. Не следует видеть в этом примере неочеквалапства сталинское чудачество. Без бумаги за его подписью, без армии контролеров тогдашний колхозник навряд ли вообще вспомнил бы о табачных плантациях.

Начиная с 30-х годов административный аппарат рос быстрее, чем любая другая группа трудящихся. Десять лет назад одних плановиков и учетчиков у нас было 5,5 миллиона. Сообщая в печати эту цифру, академик

Н. Мельников с гордостью добавлял: «Ни одна страна мира не имеет таких кадров...» Сегодня, возможно, весь остальной мир столько «таких кадров» не имеет — только в 1976—1983 годах управленческий персонал возрос на три миллиона душ и перевалил за 17-миллионную отметку.

Когда хозяйственный механизм включал в себя в качестве обязательного элемента внеэкономическое принуждение к труду («подсистему страха», как выразился специалист по управлению Г. Попов), приказное управление сколько-то влияло на жизнь, хотя и тогда действовало с ужасающей неэффективностью. Сегодня же это аппарат, ведающий недостатками, но не ведающий, как их устранить.

В теории управления есть такое понятие: самодостаточная система. Когда организация берет в свои руки непомерные управленческие функции, число администраторов рано или поздно достигает некоторой критической величины и аппарат начинает работать сам на себя: верхи пишут — низы отписывают, все при деле. Реальная жизнь игнорируется, ибо она только мешает хорошо отлаженному механизму. Это нечто вроде черных дыр: есть во Вселенной сгустки материи столь чудовищной плотности, что никакие сигналы не способны вырваться оттуда наружу.

Сфера управления изготовляет ежегодно сто миллиардов листов документов, то есть примерно по листу на душу населения в день. Из них по меньшей мере 90 процентов бумаг бесполезны — их попросту никто не читает.

Сегодня этот уникальный по численности и немощи аппарат занят тем, что перелагает партийные решения о перестройке на язык циркуляров, инструкций, положений. Результат нетрудно предсказать, ибо всего более чиновники озабочены самосохранением, или, что одно и то же, сохранением административных методов управления.

Сложившаяся бюрократическая машина в перестройку не вписывается. Ее можно сломать (такое бывает при революциях снизу), можно упразднить (революция сверху), но нельзя перестроить. В любом случае нужны перемены революционного свойства. Попытки загнать научно-технический прогресс, развитие экономики под мертвящий контроль бюрократов грозят стагнацией хозяйства, упадком державы.

С бюрократами более или менее ясно. А с остальными, со всеми нами? Использованный в этой статье инструментарий анализа грубоват для того, чтобы исследовать, как устойчивые внешние обстоятельства

отразились на внутреннем мире человека, на стереотипах его поведения. А ведь это главнее главного. Не научившись заботиться о казенном (о том пусть у начальства голова болит), мы разучились заботиться о себе. Сформировался тип социального иждивенца.

Теоретически все понимают: разговор о том, что государство предоставляет народу такие-то и такие-то блага — это всего лишь риторическая фигура. У себя в кабинетах оно, родимое, не производит материальных ценностей, и не государство кормит человека, а, напротив, работник содержит государство. А на практике — дай бесплатную квартиру, дай вволю дешевого масла, дай то, дай это, а заодно убери с глаз долой соседа, который решил кормиться сам по себе и живет теперь, сукин сын, получше меня.

Социальная инертность — оборотная сторона бюрократизма. С точки зрения бюрократа индивидуальный или коллективный доход принадлежит казне, которая может отдать его владельцам полностью или частично, но может и не отдать. Надежда на добрых начальников стала нормой поведения.

Консерватизм бюрократии сомкнулся с настроениями низов, то есть нас с вами. Там — сентиментальные воспоминания о прошлом, тоска по хозяину и порядку, инстинктивное предпочтение привычного, традиционного, попытки грудью закрыть амбразуры, из коих просачиваются новации; здесь — боязнь самостоятельности, ожидание манны с небес. Там и тут — страх перед жизнью, перед суровыми реалиями экономики. В этой обстановке достаточно одной серьезной неудачи — хозяйственной, внешнеполитической, неважно какой,— чтобы морально изолировать реформаторов.

Вот где главная опасность для перестройки. Потерять время — это потерять все. Неторопливое поспешание с переменами не годится хотя бы по чисто управленческим соображениям: любой хозяйственный механизм обладает огромной инерцией, отторгает от себя чужеродные элементы, сколь бы прогрессивны они ни были. Поэтому бесполезно внедрять в сложившуюся систему новые правила одно за другим. Так можно лишь дискредитировать перестройку — вот, мол, годы потрачены на разговоры, а перемен не видно.

История не простит нам, если мы опять упустим свой шанс. Пропасть можно преодолеть одним прыжком, в два уже не получится.

Анатолий Стреляный

ПРИХОД И РАСХОД

Социализм мысли против «социализма чувства»

Наиболее распространенный взгляд на причины снижения темпов нашего развития в семидесятые — восьмидесятые годы — взгляд экономический. Он выражен в Политическом докладе Центрального Комитета XXVII съезду КПСС: «Главное в том, что мы своевременно не дали политической оценки изменению экономической ситуации, не осознали всей остроты и неотложности перевода экономики на интенсивные методы развития, активное использование в народном хозяйстве достижений научно-технического прогресса». В докладе выдвинуто требование радикальной реформы, «самой серьезной перестройки социалистического хозяйственного механизма, поставлена и обоснована задача исторической важности: как можно быстрее «перейти к экономическим методам руководства на всех уровнях народного хозяйства».

Есть и другая точка зрения на уроки семидесятых — восьмидесятых годов, в предсъездовский период она тоже обсуждалась в печати, хотя и не так подробно. Согласно этой точке зрения, слабыми были отнюдь не экономические, а политические и административные рычаги, не хватало прямого приказного действия. Эти годы, писал, например, один довольно известный экономист, показали, что «мнение, будто сто́ит побольше заплатить, подороже оценить и тогда многие проблемы экономического роста будут сами собой решены, по меньшей мере наивно». Предлагая свою особую оценку минувших пятнадцати лет, свой неодобрительный взгляд на попытки применять что-то более действенное и удобное, чем приказ, распоряжение, инструкция, он доказывал: «Манипулирование цифрами, стоимостными, валовыми показателями не обеспечивает народному хозяйству той продукции, ради которой и существует предприятие».

Чем объяснить это недоверчивое отношение к экономическим методам и к хозяйственной демократии

вообще — отношение, которое вряд ли легко исчезнет только оттого, что их недвусмысленно приветствовал XXVII съезд? Откуда взялась и почему, говоря словами Политического доклада, «получила распространение позиция, когда в любом изменении хозяйственного механизма усматривают чуть ли не отступление от принципов социализма»? Может быть, в недавнем прошлом и впрямь наблюдалось преувеличение роли рубля и принижение приказа и призыва? Нет. Во всяком случае, специалисты, настойчиво призывавшие экономические методы на смену административным, так грубо — «побольше заплатить, подороже оценить» — никогда не рассуждали. Сам их язык был и остается принципиально другой, в нем слову «заплатить» противостоит слово «заработать», они хотели, чтобы люди на предприятиях получали не заработную плату в привычном всем смысле слова, а часть коллективного заработка, валового дохода. «Подороже оценить» — тоже не из этого языка, в нем совсем другие слова, а именно: проверять, обязательно проверять цены рынком, потребителем, что-то, естественно, будет тогда дорожать, что-то дешеветь, а какие-то цены будут оставаться неизменными к удовольствию ценовиков — тут, значит, не промахнулись, угадали, уловили конъюнктуру, как, например, тогда, когда в начале восьмидесятых повышали (не убоявшись обвинений в наивности!) закупочные цены на основные продукты. Хватало в семидесятые годы и самых крутых оргвыводов. За годы девятой пятилетки в РСФСР было снято свыше половины колхозных председателей, в десятой — еще больше, известны области, где из каждых десяти руководителей хозяйств сменили восемь, но это мало что дало. В Калининской области, где особенно активно применяли такие внеэкономические методы, производство продуктов в десятой и одиннадцатой пятилетках не только не увеличилось, а даже сократилось.

Когда слушаешь людей, считающих наивным экономический взгляд на трудности семидесятых — начала восьмидесятых годов, иной раз складывается впечатление, что в основе их позиции лежит одно любопытное недоразумение. Оно связано с ростом денежных доходов населения в семидесятые годы. Увеличение количества дензнаков на руках и сберкнижках, многочисленные повышения ставок, окладов, расценок некоторые, похоже, приняли за «разгул» экономических методов и, не видя больших результатов, разочаровались в них. Ведь это же факт, что в те самые годы, когда была сведена почти на нет натуральная оплата в колхозах, философы и социологи дружно произносили «новое

слово» в своей науке: слово против материальной заинтересованности. Они не посрамляли ее, не обвиняли в низменности, нет, искусство джигитовки было куда выше, чем прежде: они говорили, что материальное стимулирование на их глазах показывает свою недейственность, малую действенность, недостаточную действенность. Вот устои, особенно семейные, вот традиции, особенно трудовые и национальные, вот настроения, особенно политические, вот чувства, особенно гражданские, вот микроклимат в коллективе — другое, дескать, дело.

В 1973 году в большой монографии под названием «Труд» доктор философских наук И. Чангли объявила, что потребность в труде уже осознана всем народом, «за исключением немногих тунеядцев», хотя первой потребностью труд, по ее словам, еще не стал. Эта точка зрения, в которой не было, кажется, ничего, кроме привычного набора громких фраз, как раз и отодвигала на задний план материальную заинтересованность, экономические рычаги. Потребность, какой бы она ни была по счету, второй или третьей, есть именно потребность, а не нужда. Планировать удовлетворение потребности человека в труде — совсем не то, что поощрять его выполнять работу, которая может быть и тяжелой и не очень приятной, но необходимой обществу. Вполне понятно, что, объясняя отрицательные явления в нашей жизни, такие, как, например, прогулы и бесхозяйственность, прежде всего тем, что сознание людей отстало от убежавшего в своем развитии бытия, И. Чангли и ее единомышленники требовали ставить в центр всей деятельности «личность — как обобщенную совокупность социальных и биосоциальных свойств, то есть личность в узком смысле этого понятия». Какая там материальная заинтересованность!..

Это, наверное, был самый большой грех наших философов за многие десятилетия — грех не просто пустословия, не перепевания и подпевания, а грех незнания жизни, так его и определил своими, по-своему, впрочем, более суровыми, словами покойный М. А. Суслов. Причем в этот грех совсем уж противоестественно впадали даже такие люди, которые жизнь должны были бы знать, кажется, лучше всех. «Путь к изобилию представлялся бесспорным: материальная заинтересованность крестьянина. Мы, руководители, стали размахивать рублем и говорить механизатору или доярке: больше сделаешь, больше получишь», — с такой самокритикой выступал, например, в журнале «Наш современник» (1981, № 1) директор совхоза «Андреев-

ский» Владимирской области В. Старостин. С искренней болью он брал на себя вину за то, что нынешние совхозные рабочие в отличие от «прежних колхозных мужиков» требуют достойной оплаты своего труда, не желая сознавать, «что хлеб, земля — это свято и к ним нужно подходить только с чистой душой, без корысти».

Разочарование в материальных стимулах, вернее, в том, что́ принимали за них, было большое, но им одним всего не объяснить. Не объяснить, пожалуй, главного: саму природу мышления, всегда готового так легко разочаровываться в столь серьезных вещах, так приспособленного к восприятию предрассудков — суждений и заключений, которым не предшествует спокойная критическая работа разума, существующих до рассудка, пред рассудком, вне опыта и вопреки опыту. В данном случае предрассудков экономических, лучше сказать — противоэкономических.

В советское время слово «предрассудки» в экономическом разговоре впервые употребил В. И. Ленин. Это было 29 октября 1921 года на Московской губернской партконференции. Речь шла о том, как хозяйствовать в мирное время, на каких началах должны строиться отношения города и деревни, заводов и фабрик между собой и с государством. «В настоящее время небольшое число предприятий уже переведено на коммерческий расчет,— говорил Ленин, выступая там, и объяснял, что́ это значит: — оплата рабочего труда производится в них по ценам вольного рынка, в расчетах перешли на золото». «Мы не должны чуждаться коммерческого расчета...— настаивал он.— Только на этой почве коммерческого расчета можно строить хозяйство. Мешают этому предрассудки и воспоминания того, что было вчера».

«Вчера» же было не что иное, как «военный коммунизм» — такие порядки, среди которых не было места **купцовским способам** ведения хозяйства, время, когда поставлять городу продукты деревня должна была бесплатно, по продразверстке, а государство, в свою очередь, раздавало эти продукты в городе тоже не под работу, а пайками, по спискам или по членским билетам потребительских коммун или союзов, о которых через шестьдесят лет напишет в романе «После бури» Сергей Залыгин,— в том числе союзов «полу- и голодных писателей и особенно художников, которые возникали, как грибы, в каждом городишке, каждый Союз со своим собственным манифестом, с заковыристой какой-то творческой программой и обязательно на обеспечении пролетарского государства, причем опять-таки по

той же привилегированной категории «А» с фунтовым хлебным пайком...».

И была такая вера в то, что постепенным увеличением пайка и числа приписанных к категории «А» можно достичь изобилия, что Восьмой съезд партии уже без всяких ссылок на войну постановил этот путь увековечить: «неуклонно продолжать замену торговли планомерным в общегосударственном масштабе распределением продуктов». Эта уверенность, что социализм, а потом и коммунизм нельзя, невозможно, не положено строить с опорой на торговую, коммерческую предприимчивость заводов, трестов, кооперативов, а надо, возможно и положено строить только посредством разверсток всего и вся, от хлеба до пуговиц среди населения и от гаечных ключей до нефти среди заводов,— эта уверенность и была главным предрассудком, который вскоре подвергся ленинской критике.

«Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам,— и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение... Это, к сожалению, факт. Я говорю: к сожалению, потому что не весьма длинный опыт привел нас к убеждению в ошибочности этого построения...» — объяснял Ленин, напряженно размышляя о том, что делать, чтобы как можно скорее не осталось ни одного ошибающегося, чтобы вчерашние кавалеристы сполна овладели купцовскими способами, чтобы они поняли, почему «на экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное».

О «военно-коммунистических» взглядах и настроениях, бытовавших **до** двадцать первого года, говорить надо со всем уважением, какого достойна всякая великая мечта, а вот **после** двадцать первого — наоборот, со всем пренебрежением, какого заслуживает всякая твердолобость. В девятнадцатом году, когда решали вести дело к отмене денег, еще нельзя было знать, что из этого, по позднейшим словам Ленина, ничего не выйдет. Ясности на сей счет не было и в теории, ей еще неоткуда было взяться. Профессор В. Новожилов отмечал: «Поскольку К. Маркс и Ф. Энгельс не разрабатывали вопросов организации социалистической экономики, они не предвидели и огромной трудности этой задачи». Они, в частности, предполага-

ли, что «при социализме закон стоимости утратит свою силу». Так думал и Ленин. Принцип демократического централизма мыслился им «вначале как право участия масс в законодательстве и администрации. Хозяйством предполагалось управлять административными методами». Только к двадцать первому году, когда накопился опыт, показавший, что без торговли не обойтись, вера в «пайковый» путь стала предрассудком. Эту перемену оценок интересно наблюдать у Ленина. Буднично-спокойная: «ошибочное построение» быстро сменяется политически резкой, уничтожающей: «коммунистическое чванство». От увещеваний и призывов: «Не дадим себя во власть «социализму чувства» или старорусскому, полубарскому, полумужицкому, патриархальному настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к торговле», мысль его соответственно обращается к другим, более действенным средствам: «Я думаю, что тресты и предприятия на хозяйственном расчете основаны именно для того, чтобы они сами отвечали, и притом всецело отвечали за безубыточность своих предприятий. Если это оказывается ими не достигнуто, то, по-моему, они должны быть привлекаемы к суду и караться в составе всех членов правления длительным лишением свободы (может быть, с применением по истечении известного срока условного освобождения), конфискацией всего имущества и т. д.».

Большой — самый большой! — вред Ленин видит теперь в деятельности людей, которые «направо и налево махают приказами и декретами», уверенные, «будто «великая, победоносная, мировая» революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному», не заметившие, как великое достоинство революции: «энтузиазм, натиск, героизм» стал превращаться в недостаток, когда на первый план выдвинулись хозяйственные задачи.

«Купцовские» идеи Ленина не всеми и не всегда понимались одинаково. В начале тридцатых годов, например, была целая дискуссия о дальнейшей судьбе нэпа, в ходе которой многие авторы выражали мнение, что время этих идей прошло, что от торговли пора возвращаться к продуктообмену, начиная тем самым последний этап новой экономической политики: если при Ленине она означала переход от «штурма» к «осаде», то теперь, мол, пора прекращать «осаду» и опять предпринимать «штурм» — «штурм» задач социалистического строительства.

Вернулись к этой теме только через двадцать лет.

Непосредственным поводом оказалось положение в сельском хозяйстве. К этому времени (начало пятидесятых годов) сельское хозяйство было отстающей отраслью, и, однако же, в чистый доход государства из него брали больше, чем возвращали ему. В нарушение основных начал воспроизводства труд в колхозах оплачивался из остатков, если в остатках что-нибудь оказывалось. В первую очередь выполнялись обязательства перед государством и формировался фонд накопления. Цены на зерно, мясо, молоко не всегда покрывали даже расходы колхозов на доставку этих продуктов к железной дороге. Это и было то, что потом назвали игнорированием товарного характера сельского хозяйства. Успешное производство немыслимо без материальной заинтересованности предприятия в хорошей выручке, а работника — в заработке. Такая заинтересованность не может возникать без полноценной купли-продажи, без товарно-денежных отношений. Эти отношения между сельским хозяйством и государством были просто упразднены. Годы хозяйствования на «продразверсточных» началах нанесли стране большой ущерб. К пятьдесят третьему году по сравнению с сороковым вдвое выросли поставки удобрений, почти в полтора раза — энерговооруженность и основные фонды, а производство продуктов не только не выросло, а даже уменьшилось. Казалось бы, промышленность, получая от сельского хозяйства почти бесплатное сырье, должна была только выигрывать, но нет, она тоже проигрывала, потому что много сырья на таких условиях получать было невозможно. От нарушения принципов взаимовыгодной торговли и материальной заинтересованности страдало все народное хозяйство, хотя в глаза больше всего бросались трудности сельского хозяйства.

Такое положение не могло продолжаться долго, исправлять его взялись уже в 1953 году, всего через семь лет после войны. По решениям сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС в несколько раз были повышены закупочные цены на основные продукты, списаны огромные долги колхозов и колхозников, снижены налоги, повышена (во многих местах — введена) оплата труда. Подчеркивалось, что тем самым восстанавливаются ленинские принципы материальной заинтересованности и хозяйственного расчета, много говорилось о порочности непосредственного, административного управления колхозами и о преимуществах экономических методов.

Твердо нового курса придерживались три года — 1954—1956. Благодаря новым закупочным ценам в

колхозах в эти годы заметно шла вверх оплата труда, и средний темп роста валовой продукции был 9,2 процента. Это составляло 4 копейки на рубль капиталовложений — вчетверо больше, чем в 1951—1953 годах, но уже в пятьдесят седьмом рост оплаты труда остановили — и сельское хозяйство отозвалось на это мгновенно, так, словно сработало некое реле. Окупаемость капитальных вложений и темп роста валовой продукции упали вдвое. Падение темпов продолжалось, и обстановка в сельском хозяйстве да и вокруг сельского хозяйства все больше напоминала времена десятилетней давности — включая, между прочим, тот же приподнятый уверенно-деловой тон разговоров о нем. Только раньше среди новшеств, которые должны были немедленно принести изобилие, у всех на устах были торфоперегнойные горшочки и устройство лесных полос с квадратно-гнездовыми посадками дуба, теперь — пропашная система земледелия. Крупнейшими событиями внутренней жизни становились зональные совещания специалистов и передовых производственников, где обсуждались достоинства и недостатки разных культур и сортов, способов и сроков сева, пород скота. В эти подробности незамедлительно входили везде и всюду, во всех организациях и учреждениях, подсчету кормовых единиц обучались домохозяйки и журналисты, о квадратно-гнездовом севе тут же создавались чуть ли не оперы...

Соответственно усиливались административные методы, особенно с шестидесятого года. В порядке внедрения нового и передового колхозам и совхозам опять диктовали, что и как делать, и опять урезали их заявки на технику, удобрения, стройматериалы. После успеха первых трех лет показалось, что уже можно пожинать плоды. В итоге в селе, в сельском хозяйстве пятидесятые годы заканчивались, а шестидесятые начинались так неудачно, что откатываться дальше, казалось, было уже некуда, и ждать приходилось только улучшения, только движения вперед. Именно тогда я услышал от одного районного плановика из тех незаметных сельских счетоводов, которые думают побольше главных бухгалтеров, такое непривычно жизнерадостное толкование слов «хуже некуда»: раз, мол, некуда хуже, значит, вот-вот должен открыться путь в обратную сторону, к лучшему.

Раскрыв утром 28 марта 1965 года газету и увидев набранные крупными буквами слова «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР», не один из читателей «Правды» испытал чувство внезапного возбуждения. Когда произносятся

такие слова, как «неотложные меры», обычно ждут чего-то резко приказного, ведь «неотложные» — почти то же самое, что «чрезвычайные», «исключительные». На этот раз все было наоборот. Вызванные обстоятельствами поистине чрезвычайными, меры эти были спокойными. Такие случаи и дают основания говорить о политике как об искусстве. Не случайно, наверное, никому не придет в голову заговорить как об искусстве о политике прямого принуждения, административных ограничений. В принуждении иногда может быть печальная необходимость, но красоты, искусства, высшей правильности быть не может.

Были списаны большие долги колхозов и совхозов, резко повышены закупочные цены на основные продукты, расширены права хозяйств в планировании, государственный план-заказ обещано было сделать неизменным на пять лет. Сельских руководителей особенно воодушевляли стабильность и умеренность (ее тоже обещали) планов — теперь можно было вести хозяйство на более или менее долгосрочной основе. Кажется, только сейчас они, взглянув на свои вчерашние обстоятельства с внезапной недоверчивой оторопью, по-настоящему осознали, как это было трудно: заводить скот, засевать поля, не зная точно, а иной раз даже приблизительно, сколько какой продукции от тебя потребуют, сколько кормов в конце концов оставят, сколько денег разрешат потратить на оплату труда, сколько — на строительство, закупку машин.

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!..» 1965 год, когда вслед за мартовским Пленумом состоялся и сентябрьский, на котором было решено осуществить крупную хозяйственную реформу в промышленности, настолько крупную, что стоял даже вопрос о постепенной замене фондированного снабжения оптовой торговлей средствами производства,— многим этот год казался как раз одной из таких минут, решалось очень многое. В последующие два-три года (прекрасные, творческие были годы!) появилась целая «товарно-денежная» литература, в которой самым тщательным образом анализировалось недавнее, а вместе с ним и далекое прошлое, вдруг ставшее волнующе близким.

Опять пробудился интерес к двадцатым годам, к тому, что подводило Ленина к новой экономической политике, как действовал при нем коммерческий расчет. Именно теперь многие начали осознавать, что частное предпринимательство и концессии — это только одна, временная, даже второстепенная сторона нэпа, а другая, главная — коммерческие начала в деятельности

государственных предприятий, такие условия, при которых казна за долги трестов не отвечает. Суть заложенных тогда Лениным основ управления социалистическим хозяйством В. Новожилов, например, видел в «согласовании личных и коллективных интересов производителей с общественными». Главным содержанием нэпа он считал «систему управления социалистической экономикой на началах демократического централизма» — систему, сочетающую «планирование с товарно-денежными отношениями, план с хозрасчетом». Такие оценки новой экономической политики не были привычными. У читателей они не могли не вызывать серьезных вопросов насчет исторической судьбы нэпа, и ученый от них не уходил. «В 30-х годах система управления нашим народным хозяйством перестроилась,— писал он.— Усилилось централизованное руководство. Централизация тогда была объективно обусловлена необходимостью быстрой индустриализации при ограниченности ресурсов (чем более ограничены ресурсы по сравнению с потребностью в них, тем важнее централизация их распределения). Но, как это обычно бывает, проводившейся централизации сопутствовали лишние «издержки». В практике планирования эти «издержки» выражались в недостаточном учете законов экономики (т. е. в волюнтаризме в планировании). В области науки издержки централизации выражались в развитии догматизма, в тенденции к ограничению функций экономической науки задачами разъяснения и пропаганды практики».

Тех, кто считал, что и в народном хозяйстве второй половины века торговые отношения должны быть таковыми не только по виду, но и по существу, называли товарниками. Тех же, кто продолжал думать, что настоящая торговля социалистических предприятий друг с другом была бы нелепостью, поскольку у всех у них один собственник в лице государства, что все дело просто в том, чтобы этот собственник разумно ими управлял, называли нетоварниками. Тогда эти определения использовались довольно широко, потом они стали встречаться реже — может быть, потому, что грани между двумя основными группами экономистов постепенно размывались, появились люди, придерживающиеся, так сказать, промежуточных позиций. Но суть разногласий не изменилась по сей день. Для наглядности и сейчас можно бы товарников окрестить «купцами», а их противников — «кавалеристами». Оба наименования тогда восходили бы прямо к Ленину: первое — к его расчетам на достоинства купцовских способов хозяйствования, второе — к его нелестным отзывам об

охотниках вечно вершить все хозяйственные, политические, культурные дела административно, методом кавалерийских налетов. Правда, и «купцы», и «кавалеристы» звучат несовременно — давно нет ни купечества, ни конницы, но, во-первых, не бывает сравнений, которые бы совсем не хромали, а, во-вторых, известная устарелость обоих наименований удачно подчеркивает исторические корни еще не закончившейся борьбы взглядов и подходов.

Коренной «кавалерийский» предрассудок, от которого разбегаются все остальные, по-прежнему касается судьбы объективных экономических законов при социализме. Пока говорят коротко, без объяснений: «объективные экономические законы», сознание «кавалериста» покорно, по школьной привычке, заглатывает эти слова и, лениво пожевав, худо-бедно переваривает. Но как только ему начинают расшифровывать их, говорить, например, что объективные экономические законы — это такие свойства и явления хозяйственной жизни, которые не зависят от людей, сколь бы сознательными, подкованными и важными мы ни были, что закон, к примеру, стоимости проявляется в цене, но не в той, которую пишут на бирке товара, а в той, по которой он ходит, если ходит, или мог бы пойти, если бы не мешала слишком большая цифра на бирке[1], что исчислить стоимость на базе издержек производства, как это делают сейчас, невозможно в принципе, и Маркс эту невозможность доказал теоретически, а наши практики ежедневно, с девяти утра до шести вечера, доказывают на деле, — он настораживается. Почти инстинктивно уверенный в своей власти над живой и неживой природой, над всеми ее законами, бравый наш «всадник» в то же время дрожит от страхов — он боится скатиться к капитализму, каковой мерещится ему в словах: торговля, прибыль, товар, товарно-денежные отношения в самоочевидной для «купца» мысли, что стоимость нельзя исчислить, но можно узнать на рынке от продавца и покупателя, поставщика и получателя товара — и только после того, как они уговорятся о цене, попросту — сторгуются.

Единственно возможным, допустимым, изначально непорочным планом нетоварник по-прежнему считает жесткую, скрепленную устрашающими печатями директиву, в которой все расписано: выпускать то-то, столь-

---

[1] Если пойти товару мешает слишком большая цифра на бирке, он остается лежать. Тогда закон стоимости проявляет себя в убытке от этого лежания.

ко-то, тогда-то, отправлять туда-то, по такой-то цене, работникам платить так-то, держать их столько-то, все нужное для выпуска указанной продукции получать там-то, тогда-то, по таким-то ценам. Этих «то-то», «так-то», «столько-то» в планах, ежегодно получаемых предприятиями,— многие тысячи, ими заполняются толстейшие тома. Один из таких томов был продемонстрирован на известном совещании по проблемам научно-технического прогресса, состоявшемся в ЦК КПСС летом 1985 года, и подвергся там резкой критике. Что касается сельского хозяйства, то оно получало, как подсчитал профессор Г. Беспахотный для «Правды», «более семисот показателей по производству, заготовкам и реализации продукции, около четырехсот, связанных с использованием капитальных вложений, более ста — по труду, зарплате, финансам».

Едва ли не активнее всех участвуя в обсуждении и, так сказать, объяснении решений шестьдесят пятого года, нетоварники, как обычно, не могли убедительно объяснить, что происходит в хозяйственной жизни, откуда берутся бесхозяйственность, дефициты и затоваривания; у них все сводилось к одному: неумелые плановики, безответственные руководители («только безответственностью можно объяснить»...), несознательные исполнители — и поэтому «кавалеристы» ничего не предлагали, никаких новых мер, кроме кадровых перемен да усиления разъяснительной работы. Ну, и еще они одергивали «купцов» и стращали ими честной народ: тянут, мол, нас не туда. Товарники, «купцы» — те, напротив, в полном соответствии с «товарным» духом Марта и Сентября, объясняли недостатки, при этом не мудря, не отрываясь от земли, приводя примеры, которые мог продолжить каждый,— насчет порядков, сводящих на нет результаты даже хорошей работы.

В те годы была жива, писала свои статьи и преподавала в Академии общественных наук при ЦК КПСС профессор М. Ф. Макарова — она еще в 1958 году заявила, что нечего и думать, будто увеличением производства и расширением ассортимента можно покончить с таким явлением, как дефицит одних — нужных — товаров и избыток других — ненужных. Наоборот, втолковывала она своим читателям и слушателям, с ростом производства и ассортимента будет меняться только состав дефицита, само же по себе явление никуда не денется и даже будет обостряться день ото дня. И так — до тех пор, пока мы будем считать, что при социализме нет противоречия между

конкретным и абстрактным трудом, что у нас всякий труд необходим по той простой причине, что он запланирован, а раз запланирован, значит, должен быть вознагражден: склад забит неходовыми сарафанами, машина разваливается, едва сойдя с конвейера, а труд, затраченный на изготовление этого тряпья и этой груды железа, все равно должен быть оплачен казной, никого нельзя оставить за это без получки. Социализм, выходит, на то и социализм, чтобы деньги за свой труд мы получали не после того, как он признан потребителем, а до, задолго до, главное, что он признан (предусмотрен) плановиком...

В академии тогда учились некоторые из тех, кто сейчас управляет целыми отраслями. Кто-кто, а они помнят, как их смущали беспощадные предсказания этой ученой-большевички, какими странными казались ее речи: с одной стороны, научность (труд абстрактный, труд конкретный...), академическая солидность, а с другой — такая простота, такая жизненность, с которой делай что хочешь, только не пытайся от нее отговориться. Действительно ведь платим **до того,** потребитель действительно ведь ноль без палочки, а коли так — есть ли противоречие между каким-то там абстрактным и каким-то конкретным трудом, нет ли противоречия — ждать высокого качества и нужного количества не приходится.

Ученики Макаровой часто вспоминают свою учительницу не только потому, что прошедшие годы показали ее правоту, а и потому, что до сих пор можно раскрыть газету и прочитать, как иной доктор экономики требует, чтобы Госплан выделял средства так-то и так-то, а еще — «под устранение дефицита», как выразился один из них, все еще не подозревающий, что вместо одного устраненного дефицита тут же появятся пять новых, не знающий, что механику этого грамотные экономисты исследовали много лет назад, сразу после «военного коммунизма». Именно тогда было показано, как анархия товарного хозяйства сменяется анархией нетоварного, только в первом случае она принимает форму всеобщего избытка, а во втором — всеобщего недостатка. Эту последнюю Л. Крицман, автор книги «Героический период великой русской революции» (1921), назвал «анархией снабжения», которая только усиливается, если производство дефицитных товаров объявляют ударным и обеспечивают его ресурсами в первую очередь: ведь на голодном пайке оказываются остальные производства, и дефицитом становятся другие вещи, которых еще вчера, вполне возможно, всем хватало.

«Искусственные разрывы в границах того или другого производства, отрыв дела снабжения от производственных органов, многочисленность опекающих инстанций — все это в последнем счете придавало производственным программам характер безответственных проектов, составленных, быть может, и с добрыми намерениями, но с хозяйственной точки зрения висящих в воздухе»,— это писал Глеб Максимилианович Кржижановский, и он же дал на редкость точное и доступное объяснение того, что́ такое административное управление хозяйством. Присмотревшись к таким планам, можно было видеть, писал он, что при составлении их «безусловно предполагается, что государственная власть является чудодейственной силой», то есть что благие пожелания плановиков, превращаемые в приказы низам, способны творить все из ничего.

Становилось ясно, что планирование, не считающееся с потребителем, одинаково во все времена. Какой бы малой и слабой или, напротив, громадной и сильной ни была армия плановиков, они не заменят собою потребителя, и сколько бы они ни бились, в конце концов окажется: то, что никому не нужно, запланировано и выпускается или не запланировано, а выпускается, а то, что всем нужно, не запланировано и не выпускается или запланировано, да не выпускается. Это только Карл Родбертус (1805—1875), как и положено вульгарному экономисту и добропорядочному пруссаку, был уверен, что «социалистическое» начальство сможет без труда заменить собою проклятый рынок, расписав, что почем должно продаваться и покупаться в подведомственном ему государстве. Очень хорошо, хохотал по сему поводу Фридрих Энгельс, но «какие у нас гарантии, что каждый продукт будет производиться в необходимом количестве, а не в большем, что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе, задыхаясь под грудами свекловичного сахара и утопая в картофельной водке, или что мы не будем испытывать недостатка в брюках, чтобы прикрыть свою наготу, среди миллионов пуговиц для брюк».

Водителей и пассажиров машин, пересекающих границу Курской области по шоссе Москва — Симферополь, уже много лет предупреждают надписью на громадном щите, что вывоз картофеля за пределы курской земли запрещен. Не всякая область обзавелась таким большим, на века построенным щитом, во многих местах стройматериалы расходуют значительно экономнее, но это не значит, что курские «кавалеристы» хуже

сахалинских; дело не в том, какие они, а в том, что именно им определено хозяйничать в сфере производства и распределения. Поэтому-то свободное движение продукции по стране и затруднено массой ограничений. Смысл этих ограничений — чтобы торговые отношения не развивались, не лишали бы служащего, занятого распределением человека, его куска хлеба.

Доктор экономических наук В. Медведев доказывал, что Ленин, требуя коммерческого расчета, заботился не только о товарообороте между городом и деревней, как принято было думать, но имел в виду и «внутренние потребности государственной промышленности». А главнейшая из этих внутренних потребностей — обеспечение материальной заинтересованности трудящихся. В книге Медведева «Закон стоимости и материальные стимулы социалистического производства» (1966) специально исследовалось взаимодействие закона стоимости и материальной заинтересованности. Автор показывал, что самые действенные и правильные материальные стимулы — это те, которые учитывают «приговоры», потребности и особенности внутреннего социалистического рынка. Распределение по труду, считал он, обязательно должно сочетаться с распределением «по стоимости», ведь закон стоимости, если не нарушать его требований, «создает заинтересованность в снижении индивидуальных затрат, в том числе и удельных затрат на заработную плату в сравнении с общественно необходимыми, а тем самым и в росте чистого дохода».

Попытки «отменить» или «обойти» объективные экономические законы вредоносно сказываются не только на производстве — портятся и нравы, падает дисциплина, экономисты, уяснившие эту связь, были намного глубже в своих оценках текущей действительности, чем люди, которые как раз в те годы входили во вкус болтовни об ослаблении семейных и прочих устоев, втайне, а когда удавалось, то и вслух мечтали о зеленой каше для взрослых, как о самом верном способе решения всех проблем.

Товарники писали, что применение плановых показателей, не основанных на сигналах рынка, уверенность руководителей экономики, что они сами с усами и могут безошибочно угадывать и предписывать общественно необходимые затраты для изготовления всего и вся, порождают такие явления, как утаивание ресурсов, искажение, подделку информации, произвол в хозяйственных делах. Впечатляла зоркость, с которой тот же профессор Новожилов определял худшее из последствий таких порядков: не диспропорции в народном

хозяйстве — «они, как правило, предупреждаются плановым руководством», а «расхождения между локальной и общей выгодой», «несогласованность личных и локальных интересов с общественными, хозрасчета с планом»,— то есть бесхозяйственность, ведомственность, местничество, очковтирательство, если речь идет о предприятиях, отраслях и местностях, пассивность, рвачество, бракодельство, иждивенчество, если — об отдельных работниках. «Эффективность согласования личных материальных интересов с общественными огромна. Отпадают дорогостоящие меры принуждения, а стимулы противодействия плану заменяются стимулами содействия плану»,— писал он, показывая, что для оздоровления нравов, «улучшения» людей требуются не призывы, не уговоры (любить труд, природу, семейный очаг, старину, правду-матку), а совершенно конкретные политико-экономические меры. Примеры были свежие: мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК КПСС с намеченной ими и частью уже осуществлявшейся программой реформ.

Социализм мысли за эти два-три прекрасных и тревожных года развился в живое дерево с крепким стройным стволом, свободными ветвями и могучей зеленой листвой, и тот, кто мужал под ним, навсегда сохранит в себе спокойный и бодрый дух, проницательность трезвого — и потому светлого! — взгляда на вещи.

Многие экономисты быстро договорились о главном — что успешным может быть производство только товарное, то есть такое, которое рассчитано на потребителя; великолепно усвоили и объясняли публике, для чего нужен коммерческий расчет: чтобы он никому не позволял заметно превышать общественно необходимые затраты труда. Дружно обсуждали конкретные вопросы хозяйствования в новых условиях, размышляли о том, что́ должно последовать за первыми неотложными мерами, какие из этих мер следует пересмотреть, уточнить, развить. А. Кассиров доказывал «целесообразность и возможность» такой хозрасчетной системы, при которой «колхозы и совхозы будут получать лишь задания по сумме чистого дохода (прибыли), отчисляемой государству». В деталях разрабатывались сугубо практические подходы к этому великому делу. В. Венжер, например, говорил о постепенном увеличении той доли продукции колхозов, которую они будут продавать государству добровольно, что «подготовит условия в перспективе к переходу от обязательной продажи к добровольному сбыту колхозами всей товарной продукции». Тон этого ученого, чья книга «Колхозный строй

на современном этапе» тогда как раз появилась на прилавках и сразу стала широко известной, был спокойно-внушительный: «...развитие внутреннего социалистического рынка, понимаемого в смысле прямых торговых связей между промышленными и сельскохозяйственными, государственными и кооперативными предприятиями, является самой насущной народнохозяйственной проблемой. Ее решать все равно придется, так лучше решать быстрее, не откладывая в долгий ящик».

Венжер сетовал, что «находящиеся под воздействием прежних (нетоварных.— *А.С.*) представлений практические работники пока еще плохо поддаются этому убеждению», и был, к сожалению, прав, но были среди них и такие люди с мест, из сельской глубинки, чьи выступления блистали зрелостью политэкономического мышления и выношенностью конкретных предложений. Терентий Мальцев, приветствуя в «Правде» решения мартовского Пленума, писал: «Твердый план продажи — это, на наш взгляд, переходная ступень к чисто экономическим, без остатка директивных мер, способам хозяйствования».

Волнующим событием в нашей умственной жизни тех лет было появление (1967) главной книги профессора В. В. Новожилова, получившего за свои экономические работы Ленинскую премию.

Книга была строго научная, адресовалась экономистам, и в то же время основные ее положения были доступны всякому человеку, имеющему нелиповый вузовский диплом и живо интересующемуся общественными проблемами. Под скромным деловым названием — «Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании» — скрывалось фундаментальное исследование по политической экономии социализма. Там, где автору по ходу изложения не требовались формулы, таблицы, специальные выкладки, текст представлял собою публицистику высокой пробы: редкая чистота, точность и сжатость, большое внутреннее напряжение. Для проблем и явлений, которым мы посвящали газетные подвалы и целые тетради мелкого шрифта в толстых журналах, ученому порой хватало нескольких строк, но какие это были строки!

«Трудно представить себе более грубую ошибку в экономических расчетах, чем смешение прихода с расходом, результата с затратами. А между тем элементы этой ошибки содержатся в наиболее распространенных способах измерения результатов живого труда... Ошибка, введенная в плановый показатель, приобретает силу закона для всех исполнителей плана,

воздействует на миллионы людей, побуждая их считать расход приходом, а понижение качества продукции — полезным результатом».

Измерение затрат и результатов,— доказывал он,— это узловая проблема экономической науки и практики, все остальные или выходят из нее, или сходятся в ней. По тому, какими методами измеряются затраты и результаты, можно судить, как идут дела в экономике, насколько грамотно ею управляют, в каком духе она воспитывает людей, какие порядки, привычки, обычаи, неписаные правила вносит в их повседневную жизнь.

«Применение неправильных методов измерения затрат и результатов ориентирует хозяйственную деятельность на излишние затраты, на погоню за мнимыми результатами, порождает противоречия между хозрасчетом и планом, между интересами предприятия и интересами народного хозяйства, затрудняет распределение по труду, препятствует демократизации управления народным хозяйством и развитию творческой инициативы масс трудящихся».

Говорить же об измерении затрат и результатов — значит говорить прежде всего о ценах, о том, как они устанавливаются и на что нацеливаются, как сделать, чтобы цены не создавали ни дефицита, ни затоваривания, чтобы они спокойно и уверенно поддерживали равновесие между спросом и предложением; причем в торговле предприятий между собою это еще важнее, чем в розничной: при полноценном хозрасчете «цены равенства спроса и предложения обеспечивают такое распределение средств производства между предприятиями, при котором эти средства наиболее эффективно используются и достигается общий минимум затрат на производство конечной продукции народного хозяйства».

Административные методы управления преобладают над экономическими тогда, когда цены, отклоняясь от общественно необходимых затрат, побуждают предприятия делать совсем не то, чего требует план-директива. Тогда-то директиву и приходится подкреплять «достаточно энергичными санкциями», хотя, «как показывает многовековой хозяйственный опыт, административные санкции — менее эффективный стимул к производству, чем экономический или моральный интерес». Насущную, исторической важности, задачу Новожилов видел в «демократизации плановой экономики». К объяснению того, что это такое и как это надо делать — как это будет неизбежно делаться! — и сводилась, собственно, его научная деятельность, в этом и был его научный и гражданский подвиг. Демократизировать плановую эко-

номику — значит добиться того, чтобы «план-директива» превратился для каждого трудового коллектива в «план-экономический императив» — то есть в «такую директиву, наилучшее выполнение которой совпадает с личными интересами всех исполнителей».

Путь к «плану-императиву» один — развитие демократического централизма. Выбора здесь нет, вернее, выбор заведомо определен самой сутью дела, тем, что речь идет о первейших жизненных интересах и потребностях миллионов: работа, оплата, снабжение. До этого есть дело каждому. Следовательно, каждый должен иметь право голоса, а с другой стороны, никому нельзя позволять перекричать в свою пользу всех. Этому требованию соответствует «двустороннее развитие демократического централизма: как в сторону демократизации, так и в сторону централизации управления экономикой», такое положение, «когда все экономические вопросы — вплоть до самых мелких — решаются кооперацией центра и места».

Это было важнейшее положение Новожилова и как ученого-экономиста, и как политического мыслителя. Это был его главный урок, его завещание товарникам. Не бросаться в крайность, противоположную «кавалерийской», — от всеохватывающего централизма к глуповосторженному безбрежному демократизму. Только сочетание двух начал, только оно!.. Да, конечно, соглашались мы, первые его читатели, но... неужели все-таки «вплоть до самых мелких»?! Значит, даже вопрос о том, сколько сторожей иметь в каком-нибудь совхозе на Камчатке, должен в идеале (!!) решаться по договоренности с Москвой? Да, учил Новожилов, именно так — не по прямому указанию Москвы, как до сих пор, а по *договоренности* с нею — раз, а во-вторых, — все дело в том, что́ это за договоренность, каково ее экономическое содержание и политическая форма. Новожилов вводит понятие, до которого «кавалеристы» не доросли до сих пор, — понятие *косвенной централизации*.

«Непосредственная (или прямая) централизация состоит в конкретном решении в плановом центре вопросов того или иного класса». Это приказ, распоряжение, инструкция. Косвенная же централизация «состоит в установлении таких нормативов для расчета затрат и результатов, при помощи которых места, руководствуясь принципом «максимум результатов — минимум затрат», сами могли бы найти варианты, наиболее соответствующие народнохозяйственному плану». То есть участие Москвы в решении вопроса о сторожах на Камчатке может и должно заключаться в том, что она

установит такие экономические нормативы, что совхозу будет невыгодно иметь сторожей (как и прочих работников) больше, чем совершенно необходимо. «Косвенная централизация,— подчеркивал профессор,— необходима как в социалистической, так и в коммунистической экономике. Она имеет то замечательное свойство, что подчиняет плану все без исключения местные решения, вплоть до решений самых мелких вопросов, ибо все хозяйственные вопросы решаются на основе сопоставлсния затрат и результатов». Только так — сочетанием «регулирующих функций товарно-денежных отношений с плановым регулированием», согласованием хозрасчета с планом можно будет «превратить в перспективе органы планирования и учста в органы общественного самоуправления».

Задавшись целью расставить все точки над «и», ни о чем не умолчать, специалисты, естественно, обратились и к вопросу: была ли нужда так долго обделять сельское хозяйство в пользу промышленности? Была ли нужда не допускать так долго товарных отношений, взаимовыгодной торговли и в самой промышленности? Что тут из чего выходило, что к чему вело: переоценка приказных методов — к свертыванию товарных отношений или свертывание товарных отношений — к переоценке приказных методов? М. Колганов в журнале «Вопросы экономики» доказывал, что коммерческим расчетом пренебрегали вынужденно: чтобы ограничить личное потребление и обеспечить «мобилизацию через бюджет все возрастающих объемов накопления, направленного преимущественно на развитие тяжелой промышленности». Правда, уже и в этой старой, многим казавшейся бесспорной точке зрения было кое-что новое. Признавалось главное: что неэквивалентный обмен и приказное управление экономикой «затрудняют материальное стимулирование производства тех или иных продуктов и повышение производительности труда». У читателя, который хорошо помнил, что производительность труда, по Ленину, есть главный пункт соревнования между капитализмом и социализмом, должен был возникнуть вопрос: каким образом то, что препятствует победе социализма в главном пункте, может быть необходимым, да еще «длительное время»?

М. Колганов представлял тех, кто считал, что все, что было действительным, то и было разумным, что административное руководство народным хозяйством соответствовало известному уровню производительных сил. Это успокаивало, укладываясь в азбучное: производственные отношения, мол, всегда отстают, это

естественно, ничего особенного не происходило, все было правильно и до мартовского Пленума, и после, и то правильно, что производственные отношения отставали, мешая росту сельского хозяйства, и то правильно, что их решили подогнать, чтобы больше не мешали росту сельского хозяйства. Член-корреспондент ВАСХНИЛ И. Моисеев хорошо показал, отвечая М. Колганову, что это «гегельянское» отношение к домартовским временам, в котором, по виду, так много патриотизма, есть, по существу, принижение политического значения принятых партией мер — принятых будто бы без борьбы, в обыкновенном рабочем порядке, чуть ли не в соответствии с неким давно составленным планом мероприятий. Нет, писал он, «длительное применение прежней системы хозяйственных отношений связано с неправильными представлениями о теории и практике социалистической экономики. С некоторым забвением разработанных Лениным принципов социалистического хозяйствования». Дело в том, что «его учение о принципах организации социалистической экономики на основе использования товарно-денежных отношений ошибочно относили только к переходному от капитализма к социализму периоду. Отсюда недооценка товарно-денежных отношений, стремление опорочить их».

Очень интересное тут слово «опорочить». Именно опорочить — поставить на них клеймо капитализма, вызвать представление о них как о чем-то низменном, пахнущем торгашеством, стяжательством, властью чистогана над людьми. В этом проявлялось комчванство, к которому прибавлялось еще и ханжество: у нас все на идейном, а не на коммерческом (фи!) расчете! В этих выступлениях чувствовалось то ли желание «поправить» новую линию, пока она еще не совсем укоренилась, то ли укоризненное смущение перед тем, как объяснял ее сам ЦК. Эти объяснения казались некоторым чересчур, что ли, откровенными — точно так, как и в пятьдесят третьем. И в самом деле. В пятьдесят третьем не говорилось, что решениями сентябрьского Пленума (резко поднять закупочные цены, уменьшить налоговое бремя, под которым хирело сельское хозяйство, и ослабить административную опеку над ним) производственные отношения подтягиваются к производительным силам, что учитывается изменившаяся обстановка, что кончилась необходимость почти бесплатно получать от колхозов и совхозов продукты, нет, такой уступки «кавалеристам-гегельянцам» сделано не было. Говорилось прямо и сурово: исправляются ошибки, пресекается отступление от ленинских принципов

материальной заинтересованности и делается это не потому, что у казны, пока она практически бесплатно получала сельскохозяйственное сырье, накопились средства, а для того, чтобы они наконец появились, стали накапливаться, чтобы, другими словами, закон стоимости перестал действовать как стихийная разрушительная сила и начал — как созидательная. То же самое в марте шестьдесят пятого: пресекается, говорилось, отступление от курса пятьдесят третьего.

Сама прямота, с какой каждый раз объяснялись принимаемые меры, свидетельствовала, что они результат серьезной борьбы. Слово «борьба», мелькающее в газетах, не такое уж неуместное, если понимать его «по жизни»: действительно ведь идет борьба, везде и всюду, в теории и на практике. Если произошло отступление от курса пятьдесят третьего (а потом, как увидим, и от курса шестьдесят пятого) — значит, были люди, были силы, которые или добивались отступления и кое в чем преуспели, или не хотели (не могли...) достаточно настойчиво и умело проводить новую линию в жизнь, отстаивать ее и — главное! — развивать. О том, что совершается крутой поворот во внутренней политике и что надо ждать не только успехов, но и напряженной борьбы — ведь старые линии не стираются, не затухают сразу, они еще долго живут во многих порядках, обычаях, привычках,— об этой инерции, о том, что она представляет собою реальную силу, серьезную угрозу, тогда говорилось отчетливо.

В истории этой борьбы любопытная страничка связана с именем экономиста (теперь члена-корреспондента Академии наук СССР) Н. Петракова. В 1973 году он выступил со статьей, которая называлась: «Мифы «рыночного социализма» и экономическая реальность» и напечатана была в журнале «Проблемы мира и социализма». Важность и определенная пряность этой публикации была в том, что экономисты-нетоварники к тому времени уже прочно закрепили за Петраковым репутацию одного из самых рьяных поборников стихийности в отечественном хозяйстве. И вот этот ученый — именно он, а не кто-либо из его обличителей, считавших себя специалистами по борьбе с идеями «рыночного социализма» и уже претендовавших за это на пожизненную ренту,— предпринял прямой критический анализ этих самых идей. Читающей публике было показано, что «кавалеристы», по существу, исповедуют те же ошибки и выдумки, что и западные либералы из числа кабинетных улучшателей социализма. И тех и других вводит в заблуждение «сходство

форм хозрасчета с практикой экономических расчетов капиталистических предприятий», как писал еще Новожилов. И те и другие не понимают разницы между рыночными категориями на Западе и носящими те же названия стоимостными показателями у нас: прибыль, рентабельность, рентные платежи, кредиты, плата за фонды. Все дело в том, писал Петраков, «кто определяет цели социально-экономического развития, во имя чего осуществляется технический прогресс». Не понимать таких вещей — удел вульгарных экономистов всех времен, независимо от того, левые они или правые, красные, белые или полосатые. Он приводил замечание Маркса, что «вульгарный экономист не может представить себе форм, развившихся в недрах капиталистического способа производства, отделенными и освобожденными от их антагонистического капиталистического характера».

Западные либералы восхваляют «рыночный выбор» и рекомендуют его нам. Наши нетоварники, естественно, ругают «рыночный выбор» и отвергают его. При этом и те и другие смыкаются в одном забавном отношении. Они забывают сущий пустяк: «рыночного выбора» в современном мире уже нет и, стало быть, все разговоры о нем, как хвалебные, так и ругательные,— пустая болтовня. Утверждать, как это нередко делают вульгарные экономисты, что наши товарники выступают за «рыночный выбор», в лучшем случае невежественно. Кто-кто, а они, товарники, знают про господство монополий, убивших прежнюю свободную конкуренцию. Концентрируя в своих руках капиталы, монополии, писал Петраков, «в известной мере решают проблему ресурсов для осуществления крупных программ научно-технического развития, требующих больших единовременных вложений, длительного периода разработок и практического внедрения». Планомерность пробивает себе дорогу даже при капитализме, когда вся система народного хозяйства в целом остается анархичной. Каким же простаком надо представлять себе и публике товарника, чтобы говорить, что он против плана в условиях общественной собственности!

В уверенности, будто настоящий социализм — это не «план и рынок», а только «план», буржуазные ученые давно смыкаются с представителями крайне левых, троцкистских группировок. Н. Петраков приводил рассуждение современного западного троцкиста Э. Манделя, что «в развитых социалистических странах, по крайней мере в некоторых отраслях, товарные отношения могут быть ликвидированы», ибо «продукты труда

в социалистическом обществе носят непосредственно общественный характер и не имеют стоимости». Читать это, впрочем, было не весело. Ведь можно было раскрыть книгу... ну, скажем, нашего доктора экономических наук М. Соколова «Цены и ценообразование на сельскохозяйственные продукты», выпущенную Московским государственным университетом, и обнаружить в ней то же самое, черным по белому: назначение цены при социализме — быть неким бухгалтерским подспорьем, оно всего-навсего «выполняет функцию учета и распределения». И сколько их тогда было — таких книг, учебников, статей, таких лекций и рассуждений по ходу принятия многих хозяйственных решений! «Идея об ограничении закона стоимости планом является все еще господствующим мнением советских экономистов,— писал и Новожилов.— Предполагается, что закон стоимости в каких-то отношениях ограничивается планом...» И вразумлял: «Одно из двух. Если закон стоимости действует в социалистической экономике, то его нельзя ограничить. Если же он не действует, то его не нужно ограничивать. План так же не может ограничить закон стоимости, как он не может ограничить закон тяготения или равенство квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов». И вновь и вновь в числе последствий попыток ограничения закона стоимости называл «отставание сельского хозяйства, нерациональное использование средств производства, ошибки в размещении производства, строительство нерентабельных предприятий».

Эти последствия давали себя знать и после шестьдесят пятого.

Административные рычаги были еще очень сильны и, что особенно тревожило товарников, в любой момент могли усилиться. Соблазнов ухватиться не за тот рычаг — не за новый, а за старый, привычный, хозяйственная жизнь предоставляла немало. В марте 1965-го, решая довести до хозяйств стабильные и сниженные пятилетние планы, рассчитывали, что эти планы будут сильно перевыполнены, ведь за сверхплановое зерно была установлена полуторная цена. И что же? Какой предстала картина заготовок в условиях, когда на колхозы-совхозы не оказывали особого давления, не требовали: к такому-то числу, если не часу, отправить на элеватор столько-то? В этих стихийных заготовках был полный беспорядок. Одно хозяйство продавало половину урожая, другое, соседнее,— четверть, третье — пятую часть. На Северном Кавказе, к примеру, процент участия колебался от тридцати процентов до семидесяти! Эта картина таила в себе большую

опасность. Некоторые решили, что экономические рычаги показали свою несостоятельность, что деньги, даже хорошие, не способны действовать на наши хозяйства так убедительно, как привычная голая команда: «Давай-давай!» В соответствии с этим выводом вскоре опять вернулись к продразверсточной практике заданий, начав менять их чуть ли не каждую неделю и тем самым все дальше отступая от линии мартовского Пленума. Раз деньги — и большие! — не побуждают хозяйство продавать много зерна, значит, это не деньги... Не те деньги — вот другой вывод, который, кажется, сам собой вытекал из вопроса: «А что на них можно купить?» Но, как это часто бывает с выводами, за которыми не надо далеко ходить, путь к нему для многих растянулся на десятилетия.

В одной из своих статей шестидесятых годов экономист и публицист Геннадий Лисичкин подробно описывал любопытную и характерную драму, которую он обнаружил, присмотревшись к хозяйственной жизни Северного Кавказа. В одном углу (равном иному европейскому государству), там, где много солнца, чернозема и сравнительный достаток влаги, колхозам было очень выгодно выращивать пшеницу и невыгодно, даже при новых, повышенных ценах на мясо и молоко, заниматься овцеводством и молочным скотоводством. В другом углу, там, где много природных пастбищ, где бедные почвы и такие крутины, на которых не каждый комбайнер решается убирать хлеб, наоборот: выгодно было заниматься животноводством и невыгодно — пшеницей, хлеб получался слишком дорогой. Так вот, в том углу, где выгодна пшеница, колхозам предписывали раздувать скотоводство и сдерживать зерновое хозяйство, отдавая кормовым культурам «пшеничную» землю, а в том углу, где выгодно скотоводство,— заставляли раздувать зерновое хозяйство, в ущерб овцам и коровам распахивать пастбища.

Это была ничья не глупость, не малограмотность, не безответственность, хотя не всякий читатель мог с этим согласиться, представив, как в одном углу колхозы и совхозы из года в год просят: разрешите больше сеять пшеницы и меньше держать овец, а в другом углу другие колхозы и совхозы просят: разрешите больше держать овец и меньше сеять пшеницы, и слышат в ответ: первые — что Родине нужна от них, пусть она им и не выгодна, баранина, вторые — что Родине нужна от них, пусть она им и не выгодна, пшеница, а выгодная баранина — то само собой. Это была ничья не глупость, а кое-что похуже — это был принцип планирования «от достигнутого уровня» в действии — самое сильное выра-

жение взгляда на сельское хозяйство как на что-то мертвое, не зависящее от природы и не связанное с нею, «это способ составления плана, когда к достигнутому в прошедшем году показателю механически плюсуется некий средний процент прироста и сумма эта утверждается как задание на следующий год». Такое планирование побуждает руководителей прибедняться перед плановыми органами, скрывать резервы, но это еще не все. «От достигнутого уровня» означает, что если по каким-либо причинам, иногда случайным, где-то вместо пшеницы один раз посеют кактусы, то эти кактусы будут сеять вечно: за тем, чтобы структура хозяйства, набор культур и видов скота, пропорции производства оставались неизменными, неподвижными, следит сам механизм такого планирования, пощады от него не жди.

Даже в Грузии, как известно, мандарины растут не во всех районах. В одном из таких районов местные власти как-то отобрали у перекупщиков 20 тонн мандаринов, доставленных откуда-то из-под Гагр, и продали государству. Так в сводке о выполнении этим районом годового плана социально-экономического развития появилась строка: «Мандарины. План (в тоннах) — 0, продано государству — 20, процент выполнения — 100». На следующий год району был спущен план — 23 тонны. Если это и легенда, то очень близка к жизни — до сих пор близка.

В 1967 году в печати разразилась короткая, но исключительно резкая дискуссия о путях развития сельского хозяйства. Ее начал Л. Ефремов, бывший в ту пору одним из руководителей Ставропольского края. До широкой публики докатился (со страниц «Сельской жизни», где выступил он со своими соавторами, и «Нового мира», где ему отвечал Г. Лисичкин) отзвук борьбы, которая уже давно шла между двумя школами, если употребить это невнятное слово. Школа, которую представлял Лисичкин, предлагала искать все входы и выходы в области производственных отношений, в том, что сейчас называют хозяйственным механизмом. Это был путь экономический. Школа, которую представлял Ефремов, выступала против этих взглядов. В производственных отношениях она не видела никаких изъянов, хозяйственный механизм ее вполне устраивал, все действительное она считала разумным и все разумное — действительным: надо, мол, не мудрить, а лучше работать. На мартовском Пленуме было заявлено о намерении «способствовать всемерному развитию товарных отношений» и «покровительствовать свободным закупкам». Отсюда сами собой напрашивались такие

меры, как укрепление рубля, контрактация, оптовая торговля, ценообразование на основе общественно необходимых затрат — все, без чего немыслимо не только всемерное, но и мало-мальски заметное развитие товарных отношений. Обсуждение этих мер Л. Ефремов называл «фетишизацией товарно-денежных отношений». Тут тоже было ясно направление его критики: свободные заготовки.

В этом пункте, как напишет через шестнадцать лет «Правда», и произошло отступление от политики Марта. О свободных заготовках опять оставалось мечтать. Как и прежде, молдавский виноград колхозы-совхозы должны были продавать только в Молдавии, где его и так полно, никаких самодеятельных отправок на Урал или Север, то же с овощами, фруктами. И все это, все эти стеснения торговли, в результате которых до половины урожая тех же овощей и фруктов шло скоту или пропадало, объяснялись тем, что государству виднее, что́ и как распределять в соответствии с «коренными», «высшими» или какими-то особыми интересами всего общества. Против цен на продукцию сельского хозяйства, повышенных по решению мартовского Пленума, бороться было сложнее, но и тут «кавалеристы» в конце концов преуспели. Повышение закупочных цен было постепенно сведено на нет повышением отпускных цен — на технику, удобрения, стройматериалы, топливо.

Товарники были за преобразования плюс капитальные вло́жения; «кавалеристы» были за капитальные вложения без каких-либо экономических преобразований, как и Ефремов, они настойчиво требовали для сельского хозяйства только того, что можно пощупать руками,— машин в первую очередь. Политэкономическому подходу противостоял административно-технический. «Кавалеристы» не выдвигали никаких идей, не предлагали никаких улучшений, перемен, они просто протягивали к государству руку: дай то, дай это, и все будет в порядке. Дано было много, очень много. В одиннадцатой пятилетке капитальные вложения в сельское хозяйство достигли фантастической суммы — 170 миллиардов рублей, а отдача от каждой сотни рублей, истраченных на технику, удобрения, стройматериалы, продолжала снижаться.

Спор «купцов» и «кавалеристов» оказался далеко не исчерпанным.

Особенно часто фигура «всадника» в семидесятые годы возникала перед нами на холмах Молдовы, именно его размашистый почерк угадывался в неуклонном,

казалось, безотчетном стремлении побыстрее свернуть начавшуюся было там межколхозную кооперацию в рамки обычных административных отношений, именно его натура и философия проявлялись в этой прямо-таки видовой неспособности принимать во внимание, что живая жизнь есть живая жизнь, опираться прежде всего на интересы и природные особенности, будь то интересы и природные особенности человека, хозяйства или местности. Нельзя было не приветствовать переход «от правления колхоза к правлению колхозов», к выборным Советам колхозов, которые собирались разрабатывать общую политику хозяйствования и в которых, по идее, решающее слово принадлежало председателям колхозов. Но между тем, что должно было быть «по идее» и на первых порах даже бывало, и тем, что происходило потом, была разница, становившаяся все более существенной. Деньги в фонд общего пользования, например, почти сразу начали изымать из колхозов по прямым распоряжениям республиканского Совета колхозов. Если деньгами колхоза распоряжается не сам колхоз, толку ждать нечего. Это означает, что Совета колхозов, в котором все решают председатели, уже нет, под его вывеской — обыкновеннейшее управленческое учреждение, все там решают один-два человека, а это значит, как известно, что ничего не решают и они, всем заправляют безвестные, незаметные, почти бесплотные служащие, технический аппарат, чьи коренные жизненные интересы никак не связаны с полем и фермой. Подлинный Совет колхозов никогда, ни при каких обстоятельствах, ни под каким видом не посягнет ни на одну колхозную копейку, потому что члены такого Совета, живые, из теплой плоти, председатели колхозов, знают: общий фонд только тогда не будет безразличен колхозу, когда он сам, совершенно добровольно, сто раз прикинув так и эдак, решит участвовать в нем своей копейкой; а общий фонд, к которому равнодушны колхозы,— это выброшенные деньги, на них ничего путного не создашь.

Чтобы не сгонять тысячу беспородных коров во дворец, обошедшийся в пять миллионов, совсем не обязательно быть семи пядей во лбу. Надо другое, все то же: чтобы хозяйственные дела решались не районным активом, у которого нет ни рубля своих денег и который поэтому не может ни проиграть, если забудет, что мясо наращивается не на бетонных конструкциях ферм, а на костях свиней, ни выиграть, если будет об этом помнить. Все решать должен имеющий деньги колхоз: чтобы специализация с концентрацией и с чем там еще была исключительно его, колхоза, коммерче-

ским, купцовским делом. Тогда колхоз, знающий, что может разориться, сто раз подумал бы, прежде чем испрашивать миллионный кредит, а банк (не районный актив, а Государственный банк Союза ССР!) — прежде чем давать. Низкая квалификация людей, ворочавших чужими — колхозными — миллионами в Молдавии,— не это была причина неудачи; причина была та, что они, более или менее ответственные служащие более или менее важных учреждений, ворочали именно чужими деньгами: нарушали, как это обычно называется, хозрасчетные принципы деятельности колхозов, не считались с их хозяйственной самостоятельностью.

И об этом со всей определенностью, на строгом языке политического документа, было сказано в постановлении Центрального Комитета КПСС (1976) о развитии специализации на базе межхозяйственной кооперации. Оно требовало «не допускать спешки, перепрыгивания через этапы и перегибов», особо предупреждало «о недопустимости гигантомании, строительства экономически необоснованных сверхкрупных предприятий по производству мяса, молока и других продуктов» и (здесь-то он и был — приговор политико-экономическому авантюризму) настаивало на «сохранении хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов, других предприятий и организаций, входящих в межведомственные и агропромышленные объединения». Только такие — самостоятельные, а значит, и заинтересованные участники складчины способны играть «роль дрожжей в квашне» индустриализации сельского хозяйства, без них самые большие капитальные вложения мало что дадут, даже если в административном управлении хозяйством воцарится полная техническая грамотность: деньги будут вкладывать не в стены, а в корма, удобрения направлять в первую очередь туда, где земля лучше всего на них откликается, и прочее. Вопрос о грамотности директивного, приказного управления хозяйственной жизнью вообще имеет столько же смысла, сколько вопрос о грамотном передвижении на руках: как бы грамотно мы ни научились ходить на руках, все же на ногах — будет лучше, удобнее, быстрее.

Разбирая подобные, сравнительно недавние, «коллизии плана и хозрасчета», снова и снова спрашиваешь себя, почему экономические способы не проникали в хозяйственную жизнь так глубоко, как можно было ожидать в середине шестидесятых годов, почему и через двадцать лет, в новой редакции Программы КПСС, подчеркивается необходимость, актуальность задачи: «полнее использовать товарно-денежные отно-

шения в соответствии с присущим им при социализме новым содержанием»?

В связи с этим нельзя не вспомнить одно из положений профессора Новожилова насчет хозрасчета. В ходе демократизации плановой экономики, предупреждал он, нельзя будет обойтись без «организации хозрасчета органов управления» — без таких порядков, при которых эти органы несли бы «реальную ответственность за свои решения». А наиболее полной реальная, то есть материальная ответственность может быть только в том случае, если результаты управленческой деятельности, как и всякой другой, будут измеряться — ведь измерение «результатов работы отдельного звена — основа хозрасчета». Другими словами, ответственные служащие министерств и любых иных управленческих учреждений должны зарабатывать себе на жизнь точно так же, как зарабатывает токарь у станка или доярка на ферме: «Вклад высших звеньев состоит в том приращении эффекта работы низших звеньев, которое обусловлено плановыми и регулирующими решениями высших звеньев. Это приращение нелегко отделить от прироста прибыли, являющегося заслугой низших звеньев. Тем не менее эта задача разрешима. Настало время приступить к ее решению».

Новожилов напоминал, какое внимание созданию заинтересованности и ответственности работников управления уделял Ленин. «...Политбюро требует безусловно перевода на премию возможно большего числа ответственных лиц за быстроту и увеличение размеров производства и торговли, как внутренней, так и внешней»,— писал Ленин в проекте Директив Политбюро ЦК РКП(б) о новой экономической политике. Новая экономическая политика не была бы новой, если бы она оставила «военно-коммунистическую» систему твердых окладов. Хозрасчет и твердые оклады — вещи несовместимые, вновь и вновь подчеркивал Новожилов. «Хозяйственный расчет предприятия может быть полным лишь тогда, когда высшие звенья производства (главные управления, министерства) несут ответственность за убытки в эффективности его (предприятия) работы. Лишь при охвате хозрасчетом всех звеньев производства по вертикали подчинения можно добиться объективного измерения результатов деятельности каждого звена».

Вот этого охвата многим и не хотелось, в этом охвате для многих и была опасность. А опасностей люди обычно стараются избегать... Служащий, который получает, пусть даже исправно отрабатывая, твердый оклад, и служащий, который зарабатывает себе на

жизнь,— это как бы две разные породы людей. Первая всегда готова и всегда способна порождать такие явления, как бюрократизм, субъективизм (почему, кстати, не говорить: волокиту, самоуправство, отсебятину?..), вторая — нет. Новожилов был прав, когда говорил о неспособности многих своих современников видеть разницу между прибылью капиталиста и прибылью социалистического предприятия, из-за чего они и боятся «купцовских» порядков; стоило бы только добавлять, что бюрократу, да и всякому служащему, которому твердость его оклада дороже всего на свете, не видеть этой разницы, упорствовать в «левацком» отрицании закона стоимости просто-напросто выгодно.

Но дело, наверное, не только в этом — не только в том, что у бюрократа в сохранении административных порядков есть свой прямой жизненный интерес,— скажет всякий, кто знает, как распространены в наших пределах нетоварные понятия и как сильны и стойки противотоварные настроения. Сто лет назад А. Н. Энгельгардт описывал, как вели себя дорогобужские крестьяне, когда их торопили с уплатой податей. «Царю нужны деньги!» — говорили им. «У царя денег много,— невозмутимо отвечали мужики.— А не хватит, велит напечатать сколь ему надо». Отношение нынешнего населения к деньгам: что такое деньги, для чего они существуют, как с ними обращаться,— тоже очень показательно. Считается, что с деньгами можно делать все. Например, не только платить их человеку за работу, но и указывать ему, на что он должен их тратить, а на что не должен, продавать ему не то, что он хочет купить, а то, что решат власти, администрация или общественность.

«Да, я понимаю, не может пока наше общество одеть всех людей модно и красиво,— пишет в газету «Комсомольская правда» двадцатилетняя Татьяна Агапова, токарь из Ростова.— Но всех и не обязательно. Надо тем предоставлять все блага, кто этого больше всего заслуживает, а именно рабочие этого заслуживают больше, чем остальные. Почему бы, например, не построить один-два магазина на территории завода только для рабочих этого завода и снабжать их в первую очередь?» Мышление в духе «военного коммунизма» выражено в этом письме с удивительной чистотой и непосредственностью. Раз человека одевают и обувают не портные и сапожники на его деньги, по его заказу, вкусу, прихоти, а общество, то есть власти, начальство, значит, нет ничего странного в той идее, что всех — не обязательно, что клиентов можно отбирать, сортировать, выстраивать в очередь, кого-то

одеть-обуть лучше и прямо сейчас, кого-то — хуже и когда-нибудь потом. Раз «все блага» будут расходиться на таких условиях, значит, слово «торговля» станет неуместным, и Татьяна Агапова не случайно употребляет другие, более точно выражающие суть дела слова: «предоставлять», «снабжать». Рабочие, безусловно, заслуживают «всех благ», сказал бы товарник токарю Агаповой, беда только в том, что подрыв авторитета денег продажей лучших вещей не любому и каждому, а по выбору — это уступка тому самому продуктообмену, с которым «ничего не вышло», «военному коммунизму», который был всем хорош, за исключением того, что мешал росту производства, плодил иждивенцев и лодырей.

Подрывать авторитет денег — значит, подрывать оплату по труду, ведь если один за свои деньги может купить то-то и то-то, а другой за такие же деньги не может, значит, это не такие же деньги, значит, оплачивается не только труд, а еще что-то. В руках любого и каждого рубль должен иметь одинаковую покупательную силу, а иначе это не рубль, не всеобщий эквивалент. Он и только он, а не положение, заслуги или знакомство, должен давать доступ к прилавку, и дело тут не просто в справедливости. Рубль, не являющийся всеобщим эквивалентом, снижает материальную заинтересованность людей в труде. Большие силы и таланты некоторых людей уходили бы не на то, чтобы больше работать и, следовательно, зарабатывать, а на то, чтобы лучше устроиться, попасть туда, где лучше со снабжением, и так постепенно в обществе падало бы уважение к труду, и наступил бы момент, когда человека стали бы ценить не по тому, как он трудится, а по тому, где ему дозволено тратить его деньги, в какой список он сумел попасть. Так, со всем уважением к самым лучшим намерениям Татьяны Агаповой, сказал бы ей грамотный экономист, но такового в газете не нашлось, и рабочему человеку ответили по всем правилам словесной джигитовки: «Претензий к торговле у всех нас много, но должны ли мы их ставить в основу нашего отношения к работе?» Ну, да, мы ведь святым духом питаемся, кто это там говорит, что за рубль, на который нечего купить, хорошей работы ждать не приходится, что все эти дефициты подрывают материальную заинтересованность — действительную, никем не выдуманную, существующую «от природы» основу социалистического и коммунистического строительства!..

Среди «кавалеристов» были люди, которые неподдельно переживали, думая, что «от рынка» может

пострадать государство. Это была их боль, их правда Чувствуя себя уполномоченными печься о народе, блюсти его высшие, коренные интересы, поддерживать устои государства, они в то же время мыслили очень конкретно, без малейшего отрыва от сей минуты с ее земной неотложной потребностью, нехваткой того-другого, пятого-десятого — рассуждали словно некий добросовестный, вечно чем-то озабоченный, ждущий подвохов и неувязок снабженец. Вдруг чего-то недополучишь для государства! А ну как окажется, что закон стоимости и основанные на нем премудрости будут, а в закромах по осени — хоть шаром покати?! Колхозы-совхозы отбились от рук, зажили своим умом, своим (рыночным!) интересом — и вот нечем кормить города... Судьба заготовок — главная кручина нашего всадника, все еще находящегося под впечатлением 1928 года с его кризисом хлебозаготовок[1]. Провала заготовок он боится так, что становится от этого смел до дерзости: слова «свободные закупки», на всю страну осуждая их смысл, тот же Л. Ефремов ставит в кавычки через год после того как в материалах мартовского Пленума они были употреблены без кавычек и в самом положительном смысле: «свободным закупкам сельскохозяйственной продукции государство будет покровительствовать». Он искренне верит, что спасает страну от разброда. Этим и объясняется его особая энергия. Не допускать перемен, ломки, движения — оставлять все по-прежнему, не рисковать. Эта политика — политика добросовестного чиновника, уверенного, что без него мы и ложку ко рту не поднесем, ведь не кто иной, как он с утра до вечера решает, кому дать то, кому это, только он знает, что значит, когда того не хватает здесь, того — там и надо где-то что-то выкраивать, там урезать, здесь добавлять — эта политика деятельной бездеятельности, топтания на месте, латания Тришкина кафтана имеет свое название, хоть оно ему и неизвестно: политика иммобильности...

Бессознательно, а нередко и сознательно он ставит по одну сторону воображаемого барьера себя, а по другую, противоположную,— колхозы-совхозы. Он — это хозяин, а колхозы-совхозы — это что-то вроде работников, за которыми нужен глаз да глаз. Если даже сейчас, когда все им расписано, они не выполняют то одно, то другое — приходится и уполномоченных посылать, и выговоры объявлять,— то что же будет, если предоставить их самим себе? Так рассуждая, он

[1] Подробно об этом см. в книге «Советское крестьянство» (М., 1970, с. 156—162).

считает зловредной демагогией противоположный, новожиловский, ход мысли: если не помогают ни выговоры, ни уполномоченные, надо перестать выговаривать и посылать уполномоченных, надо попробовать совсем другое. Считая себя и только себя «зрелым», нетоварник в то же время рассуждает по-детски: раз колхоз не дает ни пуха, ни пера, значит, он плохой. Взрослое, подлинно зрелое рассуждение: раз колхоз не дает ни пуха, ни пера, значит, он не заинтересован их давать, «кавалеристу» не приходит в голову, а когда ему пытаются это вдолбить, он считает себя оскорбленным в лучших своих чувствах. Овец им, видите ли, захотелось разводить. Овец вы и без меня разводили бы, коль это вам выгодно, а со мной вы будете делать то, что вам невыгодно!..

Статья 41 Основ гражданского законодательства предоставляет покупателю право по собственному выбору потребовать, чтобы негодный товар ему сразу же или заменили, или бесплатно отремонтировали, или вернули его стоимость. Но в действительности этому должно предшествовать не менее пяти ремонтов. Обнаружив, что появившаяся в 1973 году инструкция насчет пяти ремонтов противоречит закону, «Правда» обратила на это внимание Прокуратуры СССР. Прокуратура, рукой первого заместителя Генерального прокурора Н. Баженова, отписалась: для вмешательства, мол, нет оснований. Речь шла о деле очень большой политической и хозяйственной важности. Политической — поскольку нарушение закона затрагивало жизненные интересы миллионов, хозяйственной — поскольку до тех пор, пока потребителю, как пишет «Правда», «не будет обеспечено безусловное право на обмен дефектных товаров, надеяться на повышение их качества трудно». В том, что кто-то не сумел или не захотел этого понять, нет ничего интересного. Интересно другое. Оказывается, противоречащее закону правило было принято Министерством торговли и Комитетом стандартов не как-нибудь, а «по согласованию с рядом министерств, выпускающих телерадиоаппаратуру и сложную бытовую технику». На каковом основании Н. Баженов и решил не вмешиваться. Он не только не увидел ничего странного в том, что меры против бракоделов услужливо согласовываются с самими бракоделами, а наоборот, как раз это его и успокоило. Была проявлена особая как бы сознательность, солидарность «государственного» человека с казной, философия единого кармана, общего интереса, понимаемого бюрократически узко — вульгарно, как это обычно называется. Все, что государственное, что согласовано и утверждено,

все, что делается по плану, циркуляру, директиве, надлежит так или иначе защищать — особенно перед частными лицами, перед населением, которому никогда не угодишь...

Интересно, однако, что при всем том, что «кавалеристы» чувствуют себя поставленными радеть о благе государства, их как-то не очень волнуют потери, расточительство ресурсов — все, чем грешит приказное планирование и управление. При нашей, мол, бесхозяйственности потери неизбежны. Потери неизбежны, но это не страшно. Главное не то, сколько потеряно по ходу производства, в поле, например, или по пути с поля, а то, сколько прибрано, заготовлено для государства. О потерянном рассуждают как о чужом, свое только то, что прибрано, любой ценой удовлетворить потребность сей минуты, а завтра хоть трава не расти. Ефремовым, как можно было судить по его выступлениям, этот тип «заготовительного» человека был представлен со всей возможной полнотой. Его философия — философия разовой неотложной потребности, чрезвычайного положения, продразверстки. Довлеет дневи злоба его... Во времена разверсток о производстве не думают, некогда, главное — взять готовое, произведенное. Когда Ленин это заметил, когда стало бросаться в глаза, что разверстка, подрывая материальную заинтересованность людей, тормозит производство, он от нее отказался. Но тот «социализм чувства», о котором писал Ленин, оказался более живуч и властен, чем думалось нам. «Социализм мысли» натолкнулся к тому же на очень распространенное, нередко почти безотчетное убеждение, что надо не заинтересовывать, а погонять: зачем искать торговый подход к заводу-бракоделу, когда можно применить административный, то есть: директору велеть ликвидировать брак, а рабочих призвать?

«Кавалерист» знает только, так сказать, отрицательную заинтересованность; его пониманию доступна только принудительная связь интересов работника и предприятия, предприятия и общества. Он не подозревает, что только положительная материальная заинтересованность способна на чудеса, что она действеннее самой крайней отрицательной.

Перед войной на электростанциях страны случалось много аварий. «Чаще всего они происходили из-за ошибок персонала,— пишет «Правда».— Время было суровое. Иные работники из-за своей технической малограмотности во всякой аварии склонны были видеть вредительство. Такая оценка сбивала с толку, мешала выявить истинную причину». И вот в инспек-

цию по расследованию причин аварий пришел молодой инженер Д. Г. Жимерин. По его настоянию был сделан поворот на сто восемьдесят градусов: не карать (меньше карать...) за плохую работу, а поощрять (больше поощрять!) за хорошую. «Так, за экономию топлива при соблюдении диспетчерского графика полагалась ощутимая премия. Кроме того, за год безаварийной работы устанавливалась надбавка — 10 процентов, которая в конце второго безупречного года вырастала до 15 процентов. А если провинился — начинай с нуля». И что же? То, чего люди не могли добиться даже под угрозой обвинения во вредительстве, они сделали в условиях «четкой и ясной» системы положительной — материальной! — заинтересованности, которая заставляла их не только заботливо ухаживать за машинами, но и активно учиться. За один год число аварий по вине персонала сократилось в пять раз, а молодого инженера Жимерина вскоре назначили наркомом электростанций.

Из того, что «кавалеристы» не верят в положительную заинтересованность, вытекает их приверженность ко всякого рода отработочным порядкам. Уязвленный тем, что многие станичники в Предгорье на Кубани с большой охотой выращивают коконы шелкопряда, за которые государство хорошо платит, а взять в руки тяпку и отправиться в поле на свеклу, где заработки намного хуже, их не допросишься, один молодой «кавалерист» из очерка Гария Немченко «На фоне неба» («Новый мир», № 3, 1985) говорит: «Надо так: хочешь заняться шелкопрядом — отработай столько-то дней в поле, принеси справку». Узнаю коней ретивых... Это типичный, просто-таки плакатный «кавалерист», который не в состоянии понять, что чего-то путного можно добиться не принуждением, притеснением, ограничением, а поощрением и разрешением. Умный его собеседник отвечает ему словами американской пословицы: «Бык жиреет от взгляда хозяина». На поле, где люди будут не работать, а отрабатывать для справок, хорошо будут родить только бурьяны — вот в чем все дело.

О том, какой же трудной материей оказываются для многих самые азы, основы коммерческого расчета, можно судить по разговорам о показателях. Год за годом немало ответственных и ученых людей изобретают, конструируют эти показатели, то есть рассуждают, в чем должно отчитываться предприятие перед центральной властью, по каким результатам его деятельности лучше всего судить, хорошо или плохо оно работает. Для товарника этот вопрос давно ясен. Показате-

лей, то есть признаков успешной или неудачной деятельности завода ли, совхоза, колхоза, сберкассы или стадиона, нельзя изобрести, выдумать, сконструировать. Их надо увидеть в жизни, обнаружить, открыть, и сделать это можно через законы товарного производства, через знание этих законов и умение использовать их на пользу делу. Эти показатели, эти признаки те же самые, по которым судят и о материальном благополучии отдельного человека. Сколько он зарабатывает?— вот что нам важно знать, чтобы решить, как его дела. Говоря о ком-либо, мы не обсуждаем, сколько болванок он вытачивает, если это токарь, за смену или за месяц, мы говорим о его заработках, о доходах. Раз деньги — всеобщий эквивалент, раз товарно-денежный обмен — высшая форма обмена, то и реальным показателем деятельности завода может быть только тот, который вытекает из этой денежной природы. Валовой доход, прибыль. «Казна за долги трестов не отвечает»,— когда провозглашался этот принцип, то из него сами собою вытекали именно эти показатели, эти признаки. За что Ленин предлагал судить руководство трестов? За то, что мало выпускают каких-то шестерен или машин? За то, что шестерни или машины плохие? Нет, за убытки. Раз убытки — значит, и с шестернями что-то неладно, а что именно — это уже детали, это казну, то есть центральную власть, государство не интересует, казне подавай не шестерни или машины, а налог.

И вот этот простой вопрос умудрились запутать! Подозревают доход и прибыль, толкуют, что они не все показывают, не то показывают, не на то нацеливают предприятие, не то производят, ради чего оно существует. При этом как-то упускают из виду один «пустяк». Когда Ленин говорил, что казна за долги трестов не отвечает, из этого с необходимостью вытекало, что тресты имеют столько прав и простора для своей деятельности, чтобы ответственность за ее результаты была действительно их ответственностью, а не тех, кто ими командует. Назначать цену на изделие, предписывать объемы производства, указывать поставщиков и потребителей, то есть решать за предприятие все его жизненно важные дела и в то же время не отвечать за убытки — это была бы нелепость. Отвечает тот, кто решает. Если завод не решает вопросов, от которых прямо зависит, будет прибыль или убыток, то он не имеет никакого права на прибыль и не может нести никакой ответственности за убыток. Ленинское положение «казна за долги трестов не отвечает» — это и требование, это и гарантия достаточной хозяйственной

самостоятельности трестов, это требование и гарантия уважения законов товарного производства. Упустив это из виду, разочаровавшись в стоимостных показателях — стоимостных только по форме,— неизбежно пришли к тому, с чего человечество начинало, к натуральным показателям. Доденежный показатель, первобытный — это когда о достатке судили по тому, у кого какое стадо, табун или отара.

Товарник призывает не мешать предприятиям стремиться к их естественным целям, не мешать им бороться за то, за что не может не бороться всякий участник товарного производства,— за доход и прибыль. Раз продаешь и покупаешь, раз хозяйство ведешь не натуральное, а товарное, значит, тебе нужны деньги, доход, прибыль. А единство, гармонию интересов лучше всего обеспечивать тщательно взвешенной регулировкой цен, ссудного процента, налога, при этом ведя строгий учет потерям от такого вмешательства в естественный ход вещей, проверяя правильность каждого вмешательства рынком. Те, кто изобретает показатели, кто требует натуральных, не понимает природу денег. Для них деньги вроде бы и не бумажки, а в то же время и бумажки. Не понимают, что деньги обслуживают реальный обмен реальными ценностями, и все, что нужно, чтобы обмен был реальным и чтобы ценности были реальными,— это не мешать деньгам быть деньгами.

Так что, может быть, отчасти действительно правы те, кто замечает, пусть с улыбкой, что это народники наших дней. Народник преувеличивал роль героев, «кавалерист» — роль начальства. (Впрочем, прикидывая, что делать после того, как герои свергнут старый строй, народники тоже полагались исключительно на прямое действие, на команду, на новое начальство и, однако же, искренне обижались, когда Плеханов им говорил, что у них получится «обновленный царский деспотизм на коммунистической подкладке».) У «кавалериста» наших дней находим тот же, что и у народника сто лет назад, бессознательный субъективизм и волюнтаризм — мы такие, мы все можем, в истории нет никакой целесообразности, только желаемое, все тот же расчет на прямое действие, ту же уверенность, что кучка самых сознательных, решительных людей, единодушно пожелав, способна как угодно изменять окружающую действительность, нужное — внедрять, лишнее — искоренять, за каковым единодушным пожеланием только и остановка. Эта склонность считаться не с жизнью, а со своими мнениями о ней, мечтательность, недовольство наличным человеческим матери-

алом, который подпорчен, запятнан корыстолюбием и не готов добровольно идти в рай, решимость загонять его туда палкой и выжигать родимые пятна каленым железом — этот букет действительно заставляет вспоминать не кого иного, как социалистов-утопистов: тех же народников — у нас, тех же сенсимонистов — на Западе, тех же спартанцев, как заметил однажды Геннадий Лисичкин,— в Древней Греции.

Чиновник с циркуляром, наученный, что делать, передовыми людьми общества, то есть адвокатами, приват-доцентами и публицистами,— вот герой поздних народников, именно он должен был вести российскую толпу по их усмотрению: запрещать рост городов с их банками и крупными заводами и приказывать кустарным мастерским, где им быть, чего сколько выпускать, кому и почем продавать; он должен был иметь глаз и за мужиком,— как бы тот не стал сеять вместо пшеницы кактусы или, наоборот, вмссто кактусов пшеницу, да притом не по науке, а по-своему, и, разумеется, его чиновничьему сугубому попечению должно было подлежать просвещение, вся культура, все духовное: во что и как народу веровать, чему его учить, что давать ему читать, слушать и смотреть, какие обычаи и правила соблюдать (только старые, только проверенные), никаких, к примеру, разводов. Чиновник с циркуляром оказался и героем наших «кавалеристов», теперь, правда, наученный, что делать, ими, а не адвокатами и приват-доцентами.

Нет правды в поношениях, но, истово следуя даже этому правилу, можно, оказывается, перестараться. Если «кавалеристы» всегда знали, чтó сказать о «купцах» («апологеты стихийности») и никогда не осторожничали в выборе поносных слов, то самое крепкое, что они слышали в ответ, было «безграмотность». Постоянно сталкиваясь с деятельностью «кавалеристов», дружно, вместе со всеми от нее страдая то в очереди за пучком редиски, то в беготне за кольцом туалетной бумаги, товарники не спешили обнажать все пружины этой деятельности, показывать всю ее историческую родословную и теоретическую подноготную, поднимать учения и течения, с которыми она связана. Несколько принципиальных замечаний на сей счет находим опять же в шестидесятых годах. Показывая, как получилось, что рынок был надолго исключен из числа регуляторов народного хозяйства, наши лучшие экономисты тогда прямо связывали это с оживлением идей «левого коммунизма», против которого так настойчиво боролся в свое время Ленин. Именно тогда профессором Новожиловым, например, были процитированы — едва ли не

впервые со времен нэпа — слова Ленина о бюрократических утопиях.

Эти поразительные слова Ленин начал обрушивать, как ледяной дождь, на горячие головы лучших вождей и сынов революции тогда, когда ему стало окончательно ясно, что строить социализм в расчете на чистый энтузиазм — значит никогда его не построить, что опираться надо в первую очередь на материальный интерес, на торговый — предприятий и на личный потребительский — граждан, на естественное желание всякого человека и коллектива получать за свой труд достойное вознаграждение. А составляя хозяйственные планы, рассчитывать на худшее, на трудности и неудачи; расчет на лучшее — это и есть бюрократическая утопия.

Последний раз слово «утопия» употреблено Лениным незадолго до смерти, в статье «О кооперации», когда он увидел (это было как озарение, хотя отнюдь не на пустом месте — на дворе был нэп), что коллективная хозяйственная самодеятельность населения при Советской власти возможна, что без нее никуда, что рост кооперации тождествен росту социализма, что теперь, при общественной собственности на основные средства производства, может быть осуществлено многое из того, что было пошлым в мечтаниях великих теоретиков кооперации, устроителей фаланг... Кое-что в мечтаниях социалистов-утопистов перестало быть пошлым, то есть пустым — и это очень хорошо. А что же осталось пошлым и пребудет пошлым вовеки? Чего следует остерегаться?

Пошлым в мечтаниях социалистов-утопистов остался бюрократизм, вера в силу сто́ла, постановления, распоряжения, инструкции, в то, что декретами из «Центрального банка», где заседают непогрешимые, можно устроить рай на земле, как полагал Сен-Симон[1]. Это он предложил своим современникам и оставил потомкам проект общества, устроенного как один большой завод; это он первый мысленно собрал на этот завод все население страны для «объединенного воздействия на природу» по «общему плану», целью которого являлось, конечно же, предоставление каждому человеку «возможно больше удобств и благосостояний». Он не сомневался, что всеми бригадами, участками и цехами этого завода будут управлять лучшие, а в дирекцию («Центральный банк») войдут самые лучшие люди; что же касается директора, то это будет совер-

---

[1] Подробно об этом см. в книге А. Ципко «Идея социализма» (М., 1976, с. 181—205).

шенство, гений и святой в одном лице. Руководить они будут по науке, значит, во благо всех и каждого, а раз во благо, значит, правильно, а раз правильно, значит, незачем будет их проверять, критиковать, давать им наказы и советы, отзывать либо перемещать по воле низов; впрочем, у них будет не так уж много власти, ведь их распоряжения будут носить технический характер (как плавить сталь, сеять просо), так что управлять будут фактически не они, а «приобретенное к данному моменту знание»; все будет держаться на исключительной, высшей сознательности населения — однако воспитывать, вбивать в людей эту сознательность надо будет неустанно, придется даже выдумать новую религию и создать новую церковь, ведь «чем больше общество прогрессирует, тем больше оно нуждается в совершенствовании культа»; этому культу — культу не чего-нибудь, а труда — поэты должны будут доставлять воспитательный материал высшей пробы, главнейшим из искусств будет красноречие; само собой разумеется, что новая церковь будет объявлена непогрешимой, ее пастыри будут направлять поведение и «толкать мысли людей» так, с таким расчетом, чтобы они охотно, много и хорошо трудились, ведь других — обычных, привычных — стимулов к труду не будет; материальная заинтересованность — это от нечистого, где она, там никакого равенства имуществ, там вместо благородной взаимовыручки — холодный обмен на основе чистогана, там предпринимательство, торговля, одним словом, излюбленным у наших шестидесятников, — лихоимство.

Эта святая утопическая ненависть к лихоимству, к барышникам, коммерсантам («всякий осел может в один месяц изловчиться и обратиться в искусного торгаша»,— писал Фурье) потом и обернулась тем отношением к законам товарного хозяйства, к торговле, которое Ленин должен был назвать коммунистическим чванством, полубарским, полукрестьянским «социализмом чувства»,— назвать, кого-то смущая, кого-то восхищая таким решительным сближением низов с верхами, рабов с господами, какое бывает только в жизни.

Отсюда же, из этого красивого, но беспомощного «социализма чувства», выходило и то детское преувеличение возможностей прямого, приказного, революционного действия, которое Ленин считал едва ли не единственной подстерегающей революционеров опасностью — единственной, но смертельной, даже хуже, чем смертельной, потому что речь шла о болезни, от которой они могут погибнуть «в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела». Именно об этой болезни вспомнил в одном из своих выступлений

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев «Многим еще кажется, что если меньше советоваться, а лишь командовать, то будет проще и короче путь к намеченной цели». «Проще и короче» — это то, о чем иначе говорят: «Не будем разводить демократию». Не разводить демократию можно, но тогда нечего рассчитывать и на достаточный рост производства, на тот же технический прогресс.

И туда же, в глубину того же «социализма чувства», нельзя не бросить хотя бы мимолетного взгляда, когда думаешь, почему так просто и коротко относятся к законам товарного хозяйства «самые высокие областные и республиканские инстанции», которые, как писал в «Правде» начальник Саратовского управления торговли К. Ионов, изо дня в день заставляли его принимать на продажу «то, что негоже»,— например, шубы из искусственного меха весной, или какой силой столько десятилетий держится положение, когда «предприятие не распоряжается своей прибылью, а использует ее по строго установленным направлениям», как писал в той же «Правде» генеральный директор объединения «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Герой Социалистического Труда Н. Чикирев, объясняя, почему «нет стимула хозяйствовать вдумчиво, рачительно». В этой простоте и короткости можно, между прочим, разглядеть манеры людей, которые умственно и духовно так и не доросли до понимания, что́ такое «обобществление на деле», остановились на самом наивном понятии «единого кармана». Из их-то сладких мечтаний и стали незаметно выходить кислые инструкции наподобие той, в соответствии с которой купленный вами порченый телевизор заменяют только после того, как он пять раз побывает в ремонте.

Бюрократическая утопия — это такой проект лучшего устройства общества, осуществить который надеются бюрократическими способами. Мысли о бюрократизме не случайно самые важные из последних мыслей Ленина, для выражения их им найдены особенно точные и доходчивые слова. Что такое бюрократические способы? Это приказы, циркуляры, инструкции, указания, которые спускаются сверху вниз, от вышестоящих к нижестоящим, из конторы в контору. Это ставка не на интерес, а на послушание. Бюрократические утопии неосуществимы, но попытки осуществления возможны, они редко бывают комичны и безобидны, чаще — мучительны и расточительны.

Раз поставлена утопическая — нереальная, недостижимая, в кабинете высиженная — цель, неизбежным

будет формализм, показуха при ее выполнении, все будто оглуплено, доведено до абсурда, к делу присосутся рвачи, болтуны, карьеристы, будут под шумок устраивать свои дела и притеснять все умное, талантливое, честное,— наконец, утопическая задача обязательно будет объявлена досрочно выполненной.

Молодой учитель Линь Чжэнь из рассказа китайского писателя Ван Мэна «Новичок в орготделе» (этот рассказ обошелся автору в двадцать лет «трудового перевоспитания» в деревне), попав на работу в один из пекинских райкомов Китайской компартии, страдает, вплотную столкнувшись с кадровыми партработниками, вчерашними героями и организаторами вооруженной борьбы с японцами и гоминьданом. Он не может понять, почему на мирной работе по строительству новой жизни они оказались циниками, лжецами, демагогами, самодурами, почему «светлыми» и «наполненными сокровенным смыслом» словами они оперируют так легко, словно «перебрасывают косточки на счетах», почему они так вяло, формально, недемократично ведут «домашнее хозяйство» партии, несмотря на то что умеют великолепно объяснить, что это такое. Линь Чжэнь ответа на свой вопрос не находит, но читателю материал для ответа автор дает. Все дело в том, чем вынуждены заниматься вчерашние красные командиры и герои-подпольщики, в осуществлении какой задачи, спущенной сверху, они участвуют. Задача такая: механическим, кампанейским умножением числа членов партии, простым утолщением партийной прослойки иа заводах немедленно поднять производство. Спрашивается: может ли человек, если он не дурак, бороться за выполнение этой задачи от души? Что остается тому, кто понимает, что для немедленного увеличения выпуска мешков на мешочной фабрике в пригороде Пекина требуется увеличение не числа партбилетов, а кое-чего более существенного: например, производственных мощностей, материальной заинтересованности рабочих или поставок сырья? Вот дошлый начальник группы партийного строительства Хань Чансинь в «Отчете о росте партийных рядов на мешочной фабрике», где в первом квартале пятьдесят шестого года принято два человека, шпарит: «Товарищи Чжу и Фань, вдохновленные присвоением им высокого звания коммуниста, проявили хозяйское отношение к делу и выполнили напряженный план первого квартала соответственно на 107 и 104 процента. Широкие слои актива, сплотившись вокруг партбюро, вдохновленные примером тт. Чжу и Фаня и движимые стремлением быть принятыми в ряды партии, проявили трудовую активность и инициативу,

успешно выполнили и перевыполнили производственные задания...»

Утопическая цель всегда пошла, то есть пуста, она порождает бюрократические способы, которые сразу же начинают служить не ей, поскольку такая служба совершенно бессмысленна, а самим себе. В крайних своих проявлениях утопический социализм с его пустыми целями — это «великие скачки», «красные книжечки» и заплывы великого кормчего, это преувеличение успехов и замалчивание провалов, это зажим критики и поощрение угодливого славословия, это ежедневное переписывание истории. Бороться с парадностью, пустословием, формализмом, к чему сейчас так настойчиво призывает партия,— значит, прежде всего бороться за то, чтобы у нас везде и во всем были дельные, жизненные цели, выполнимые программы и посильные задания. На то «сладенькое коммунистическое вранье», от которого бывало «тошнехонько» Ленину, люди часто шли как раз потому, что брались — шумели, что берутся...— за невозможные или преждевременные дела.

Утопии, старые, классические, отражали тогдашние понятия о лучшей жизни — понятия очень высокие, самые высокие, они связаны с именами крупных и честных мыслителей, одухотворенных любовью к людям и надеждами на неизбежное и бесповоротное торжество добра. Утопии наших «кавалеристов», твердящих зады, повторяющих давно пройденное социалистической мыслью, не подозревающих, что все на этих задах уже не так, как было, что-то выброшено, что-то переделано, переставлено, достроено, отражают слабые, может быть, самые слабые понятия о лучшей жизни, к тому же такие, которые не раз проверялись на практике, неизменно их посрамлявшей. «Когда-то здесь (на привокзальном базарчике одного китайского города.— *А.С.*) много было всякой съедобной мелочи, местных деликатесов,— пишет тот же Ван Мэн в рассказе «Весенние голоса».— Ну, там арахис, грецкие орехи, семечки подсолнечника, сушеная хурма, хмельные финики, сладкие бобовые лепешки, батат, папоротник в кунжуте... Все было...А потом фокусник двумя перстами левой руки махнул красной тряпицей — и все пропало, а за деликатесами стали исчезать спички, электрические батарейки, мыло...»

Современные социалисты-утописты — это хмурые изобретатели вечных двигателей в общественной жизни. Они деятельны и упрямы, хотя главную причину известной распространенности утопических настроений надо, наверное, искать не в чьей-то бестолковой мечтательности, а в жизни, хозяйственной и общественной, в

бытии миллионов, которое отнюдь не забежало вперед их сознания,— в известных экономических трудностях и неудачах семидесятых годов, анализ которых начат весной 1985 года и продолжен на XXVII съезде КПСС. В ответ на эти трудности и неудачи и оживились утопические мечтания, рассуждательство в восторженно-бюрократическом духе — например, о том, что «у нас» никто и ни за что не должен получать от общества больше, чем имеет «человек из народа», и как, внедрением каких параграфов в какие циркуляры этого добиться. В ропот, закономерно поднявшийся против воров, мздоимцев и хапуг, опять вклинились голоса совсем из другой оперы, голоса людей, заставляющих публику недоумевать, с чего это вдруг — в то самое время, когда уравниловка уже, кажется, всеми признана крупнейшим злом и помехой на нашем пути — с чего это вдруг кому-то понадобилось вводить в моду не снимающиеся без посторонней помощи жилеты сенсимонистов и черную чечевичную похлебку, которая, по закону Ликурга, была обязательной, основной пищей всех граждан Спарты — те должны были хлебать ее непременно на глазах друг у друга, за общими столами, так что даже царю, просившему себе позволения в виде высшей награды за одержанную им военную победу один раз пообедать наедине с супругой, было отказано в этой роскоши.

Когда я однажды написал про одну современную утопийку, что она, возможно, сочинялась под сильнейшим детским впечатлением от «Города солнца» и других подобных книг, один читатель, экономист по специальности, прислал мне резкое возражение. Если бы наши «кавалеристы», писал он, читали «такую литературу», они бы невольно воспитались в сознании бесплодности всякого утопического — спартанского ли, сенсимонистского, народнического или троцкистского («ударность в труде и равенство в потреблении») — социализма, в их памяти тогда огненными знаками были бы запечатлены многочисленные попытки устройства общих столов, всегда и везде приводящие к одному и тому же: к упадку производительных сил, науки и культуры, хроническим дефицитам при чудовищном расточительстве, к ожесточению нравов и отуплению людей (тут он приводил слова Шиллера: «Ограничен был разум спартанца и бесчувственно было его сердце»), к юродствам, нередко кровавым, всевозможных «великих кормчих», и не стали бы предлагать нам на исходе двадцатого века сбиться в стада потребительских ассоциаций, чтобы заглядывать друг другу в тарелки.

Вместе с тем происходят все более заметные сдвиги в сторону «купцовского» образа мыслей. Уже можно прочитать, что многолетние и по самой своей природе бесплодные попытки «усовершенствования объемных, валовых показателей» только доказали, как писал в «Правде» экономист В. Тарасенко из Усть-Каменогорска, что «оценка эффективности производства проще всего возможна через прибавочный продукт». «Простота» здесь, пожалуй, не то слово, но про прибавочный продукт — по делу, эти слова в разговорах о показателях не встречались с шестидесятых годов. С того же времени не слышно было и слов «товарно-денежные отношения», прозвучавших сначала на известном совещании в ЦК КПСС по проблемам научно-технического прогресса летом 1985 года, а потом и в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду. Был дан прямой ответ на попытки «кавалеристов» настроить общество против стоимостных показателей, опорочить принцип экономической выгоды. Внедрять новое, по-хозяйски расходовать ресурсы, уважать потребителя предприятию должно быть выгодно — эта мысль проходила красной нитью и через Доклад, и через большинство выступлений делегатов. В Докладе отвечено на предубеждения и опасения «кавалеристов», на тот их гневно-риторический вопрос, которым они до сих пор неизменно встречали любые меры по расширению хозяйственной самостоятельности предприятий и местностей: что, мол, останется от планового руководства, особенно — от централизации? Централизация, как видно из Доклада, будет не ослаблена, а, наоборот, усилена, но не в мелочах, а в главном — в реализации основных целей экономической стратегии партии, определении темпов и пропорций развития народного хозяйства, его сбалансированности. При сем намного шире будут применяться методы косвенной централизации — в частности управление посредством нормативов. Это будет делаться вопреки известной «кавалерийской» позиции, «когда в любом изменении хозяйственного механизма усматривают чуть ли не отступление от принципов социализма». Доклад требует: «Здесь нас не должны останавливать устоявшиеся представления, тем более предрассудки. Если, например, необходимо и оправданно вместо каких-то директивных показателей применить экономические нормативы, то это означает не отход от принципов планового руководства, а лишь изменение его методов и приемов».

Все чаще производственники, хозяйственные руководители говорят языком лучших ученых шестидесятых годов. Азбуку товарно-денежных отношений: «че-

рез цены должен быть реализован основной принцип хозрасчета — самоокупаемость и получение прибыли, необходимой для расширенного воспроизводства и социального прогресса»,— формулирует в «Правде» (11 июля 1985) уже упоминавшийся здесь генеральный директор объединения «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Н. Чикирев. Он при этом недвусмысленно требует, чтобы «автором» цен был рынок, чтобы они устанавливались «в процессе взаимоотношений между поставщиком и потребителем», которые придерживались бы основного рыночного принципа взаимной выгоды. Подчеркивая принципиальное значение разговора о товарно-денежных отношениях, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госагропрома СССР В. С. Мураховский, выступая на XXVII съезде КПСС, сказал: «Отрицание важности их активного воздействия на повышение заинтересованности людей и эффективности производства ослабляло хозрасчет. Социалистический рынок должен играть важную роль в увеличении объемов и повышении качества продукции. Бояться этого нечего».

Рынок — это, если вспомнить слова Новожилова, цена равновесия спроса и предложения, то, о чем говорил на XXVII съезде КПСС первый секретарь Волгоградского обкома КПСС В. И. Калашников, предлагая решительно навести порядок в ценообразовании: «Экономически обоснованные розничные цены позволят сократить разрыв между спросом и предложением, отменить талоны и другие формы распределения». Когда начинает действовать цена равновесия, тогда начинают исчезать дефициты, тогда всего хватает любому и каждому, у кого, разумеется, есть деньги. В таких условиях потребитель становится исключительно внимательным к качеству товаров, а производитель, хочет он того или не хочет, должен учитывать его требования.

Само собой понятно, что в виду имеется не тот «свободный рынок», которого давно нет даже в капиталистическом мире, и не тот выдуманный «свободный рынок», который хотели бы видеть у нас западные противники социализма и который рисуют иные из наших вульгарных экономистов, запугивая «стихией» всех и вся. Речь идет о рынке в условиях общественной собственности, планового хозяйства, того полного хозрасчета, о котором говорится в новой редакции Программы партии, рынке, основу которого составляли бы полноценные деловые отношения предприятий, равноправное и ответственное партнерство,

договоры предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей, учитываемые в народнохозяйственных планах.

Поле битвы — умы людей. «Кавалерист» с «купцом» могут сражаться в сознании одного и того же человека, одного и того же ведомства, и усиление накала этой борьбы — тоже примета последнего времени. Комсомольский работник из Липецка рассказывает в «Комсомольской правде» о том, как в ателье «Трикотаж», идя навстречу юным покупателям, наладили выпуск модных расписных маек. «Об идейности рисунков» говорить не приходилось и... «прикрыли мы эту лавочку», сообщает молодой человек. Будь это лет тридцать назад, можно было, насмехаясь над ним, добавить, что сообщает он об этом подвиге, пришпоривая коня. Но в том-то и дело, в том и примета нынешнего времени, что сейчас не пришпоривает он коня, а натягивает поводья и задумывается. О чем же? В голову ему приходит потрясающая мысль: «Но рынок-то не прикроешь!» Это огромный шаг в его развитии, это уже слова почти образованного человека; если учесть, что он молодой и деятельный (прикрыть государственную «лавочку» — не шутка, напор, видимо, требовался еще тот!), то этот его сдвиг в сторону «купцов» важнее, чем сдвиг иного теоретика.

Этот человек скоро не только сможет или будет вынужден, но и захочет усвоить уроки длительной борьбы социализма мысли и «социализма чувства», полем которой были как умы людей, так и хозяйственная жизнь. Привыкший думать, что в самом понятии «рынок» есть что-то крамольное, не наше, он однажды взглянет на дело проще, прямее и обнаружит, что рынок — это граждане покупатели, население, все мы, советские люди, со своими вкусами, потребностями и возможностями, с предприятиями, где мы стоим у станков, и конторами, где сидим за столами, и бояться рынка, его приговоров и подсказок, подозревать его в нечистых намерениях — это значит проклинать, бояться, подозревать самих себя, нас с вами, советских людей, граждан покупателей. Он поймет, что дать слово рынку — значит укрепить власть потребителя, расширить его права, чтобы он больше участвовал в управлении общественным хозяйством и как собственник кошелька, известной суммы денег, тратить которые он волен по своему усмотрению, поощряя своим вниманием изготовителя одних вещей и наказывая своим пренебрежением изготовителя других, и как работник предприятия, которое тоже входит в число потребителей и наделено теми же правами, что и отдельный

покупатель. Проверка рынком — это проверка человеком.

Этот, уже начинающий задумываться и потому переходящий с галопа на шаг «кавалерист» поймет, наконец, что социалистические «лавочки» — это именно социалистические «лавочки», собственность народная и обращаться с нею без должного уважения, «по-кавалерийски» ею командовать не только неправомерно, но и вредно, чревато упадком производства, бесхозяйственностью и порчей нравов, что товарно-денежные, коммерческие отношения — это язык, на котором капиталистические предприятия говорят по-своему, по-капиталистически, а социалистические могут и должны говорить по-своему, по-социалистически, в интересах всех и каждого.

Юрий Черниченко

ДВЕ ТАЙНЫ

Одну из премьер нашего фильма «Скакал казак...» краснодарцы устроили в Пашковской: и близко ехать, и население селянское, Репин запорожцев с них писал. Все привычно: клуб как клуб, народ как народ, но одно меня стукнуло: рельсы! Именно трамвайные рельсы были главной забавой моего детства. Положить арбузную корку и ждать на корточках, когда ее располовинит трамвайное колесо. Пришла зима, в трамваях стали возить мешки с живыми лягушками, с водяными орехами. За Карасуном жгли камыш страшные существа — беспризорники. Год тек 1933-й.

Стойте, здесь был майдан с церковью? Ну, был. А Карасун, старица Кубани, вон там сзади? Сзади. Люди добрые, да клуб же на месте нашего дома! Квартиру у казачки снимали, мать боялась бросать меня одного, чтоб не украли (было, было на Кубани людоедство), сюда к нам приходила какая-то пухлая бабушка и все говорила матери: «Помоете посуду — не выливайте, я попью». Я просил от нее сказок, но старуха не помнила и все вздыхала о своих детках, они поумирали. Лет старухе было, видать, не больше, чем моей матери. Мы были богатые: отец работал агрономом Пашковской МТС, для меня под ситом лежал особый корж из веничного сорго, я обламывал и это черное ел. Отец посылал ящички дедушке Максиму «на север», в густой сад, потом дедушки не стало, но говорить об этом было нельзя... В ту зиму в Темиргоевской заворг райкома Овечкин раздал станичникам часть реквизированной у них же пшеницы — и до самой молотьбы ждал для себя «вышки».

Кино — про наш хлебный импорт. Такое ли, сякое, а впервые показали и танкеры километровые, волокущие через океан по сотне тысяч тонн зерна, и порты, и моряков-хлебовозов, и дискуссии сельские — почем, дескать, там продают и вообще отчего это мы нахлебничаем? Критики хватало всякой, но один гордец особенно оскорблялся: зачем унижать наш народ каля-

каньем об импорте, ведь суммарно вывозим больше! Такой патриот...

Но в Пашковской нас понесли не за импорт — за сокрытие голода коллективизации! Людей полегло как на фронте (тетки считали потери своих станиц), Каганович проехал — как Мамай прошел, а и сейчас ни гугу, словно не люди — собаки какие посдыхали. Когда вы (имелись в виду пишущие) всю правду говорить начнете, не по шматочку?

Старая Пашковка соединяла хлебный импорт СССР с голодом 1933 года.

Две тайны идут за мною всю жизнь. Тайна смерти деда и тайна хлебного закупа.

Дед умер плохо. И не сослали, и не кулачили, а вот... В плодороднейшей середине черноземов — между Белгородом и Харьковом, где голодной смерти не знавали от татар! Умер, смертью поправ триумф коллективизации. Отец через девять лет погиб в Крыму законно, дед в 1933 году ушел незаконно. Подкулачно. Контрреволюционно.

Лучше меня напишет двоюродная сестра Людмила:

«Дедушку Максима Васильевича помню хорошо, у него была большая белая пышная борода до самого пояса, выглядел молодцевато, носил толстовку из небеленого полотна, в карманах постоянно торчали черенки и нож садовый, кривой такой, для прививок. Сорта в саду были самые лучшие, мичуринские — антоновки лимонная и полуторафунтовая, груши — бере зимняя Мичурина, сливы — знаменитые ренклоды, крупные, с куриное яйцо. Жил дедушка в отчем доме с младшим сыном Федором, у дома стол стоял, сколоченный из нестроганых досок, а вокруг лавки для сидения. Рядом росла яблоня, где было привито несколько сортов, и груша, ее груши падали прямо в миски с борщом, обдавая всех брызгами. Дедушка занимался и пасекой, было у них десять — пятнадцать семей.

Умер дедушка в 33-м трагически, голодной смертью. Мы в то время жили в Донбассе, в Сталино, в тот год к нам приехало 15 человек родственников. Знаешь, страшно вспомнить то время: опухшие, голодные... Отец спросил у теток, почему старика не привезли. Тетя Варя сказала — очень плохой, не доехал бы... «Но вы-то доехали — и он бы доехал». Стали по возможности собирать и отправлять посылки. Но дедушка был слаб ходить на почту и поручал получать посылки невестке Степаниде, она получала и кормила свою семью, все остались живы, а дедушки не стало».

Дальше сестра пишет, что сад дедова хутора площадью в десятину загодя был поделен между пятью женатыми сыновьями, дочери не в счет, а перед

войной, «если ты помнишь, вышло решение о ликвидации хуторов и о сселении их в колхозы, мы и передали сад колхозу». Дом деда разнесло снарядом в войну. Антоновки спалили. Отец похоронен у моря почетно и законно, могилы молодцеватого деда нет.

Алесь Адамович, неутомимый в мобилизациях, уже не одному «деревенщику» страстно наказывает: вот вам диктофон, валяйте прямо в родную деревню, усаживайте стариков — уходят свидетели, тают строки необходимой, важнейшей страницы в книге народной судьбы...

Слава гласности, на основе опубликованных Госкомстатом столбцов я теперь могу не намеками, а вслух и прямо говорить про малую ложь, будто оно все было перелито-нерасплескано: взято у единоличника и влито в победный сосуд индустриализации, где и преобразилось в Магнитку и Уралмашзавод. Это ложь, утверждает ныне Госкомстат. За годы коллективизации (1929—1933) уничтожено, пало, забито в крупнейшей среди аграрных стран:

17,7 миллиона лошадей,

более 25 миллионов голов крупного рогатого скота,

в том числе 10 миллионов коров (поголовье молочных коров США сейчас близко именно к десяти миллионам),

более 10 миллионов свиней

и 71 миллион овец и коз.

Это такая война, настолько планетарная по размерам катастрофа, такой удар по производительным силам страны, что народная поэтика страха — Мамай и прочее — бледна и наивна. «Сельское хозяйство всегда отставало и будет отставать от промышленности»,— вывел Сталин закон в 1928 году и четверть века осуществлял его соблюдение. Даже по сравнению с летальным уровнем 1918—1919 годов, когда страна — после огня германской войны — повсеместно полыхала полымем гражданской и пульс экономики где-то и не прощупывался, производство мяса в 1934 году было в два раза ниже! Ниже голодного 1919-го упало к тридцать четвертому году и производство молока, яиц — представляете, сколько детских смертей? Может, дед Максим — нарочно?

Но число «1933» в истории монополизировано Гитлером. Что ж, новенький нацизм, играя в Мюнхене мышцами, не мог не радоваться подготовке к войне, потому что не могли в Берлине не знать о хозяйственной катастрофе на шестой части земли. Конечно, конец Тухачевского — удача фюрерской разведки. А что страна стала скотомогильником — абверу печаль? Что судь-

бу моего деда разделили миллионы? Что детки той междворки так и не выросли?

Я же должен благодарить те прозорливые усилия перед войной — войной, которая и выиграна, оказывается, лишь потому, что выжившие хлеборобы оказались все в колхозах, а шляхи Украины и проселки Кубани, прибрав умерших в лебеде, жить стали лучше, жить веселее, и производство мяса — молока — яиц к 1938 году стало подбираться к уровню осмеянного тринадцатого года. Какого мужества, скольких смертей от «мессершмиттов» стоил угон от немецких армий в тыл 2,4 миллиона крупного рогатого, двухсот тысяч свиней, 0,8 миллиона лошадей, 5 миллионов овец — то ж все были стратегические воюющие ценности. Только Мамай-то уже прошел, уже в двадцать и тридцать раз больше позарыто за огородами — если оставалось кому зарывать.

Клаасы каждому народу свои. Но пепел их не стучит одним мертвым.

Сегодня трясу-штудирую красный — юбилейный — том «Народное хозяйство СССР за 70 лет» и не нахожу, поверьте, даже следка населенческой, людской трагедии начала тридцатых. А это значит, что дед Максим и детки опухшей побирушки поныне не реабилитированы! Уже и магаданским легче, а умершие с голоду на русских черноземах, не знавшие и пародии суда, все еще пропадают без вести.

И то я, конечно, помню, что повальный голод возник в наиболее производящих, питавших экспорт регионах — на Кубани и в Таврии, в Поволжье и на Дону, про Левобережную Украину напоминать нечего. Всплески, конечно, были, но возвращения СССР в ряд прочных и стабильных продавцов хорошего хлеба после ухода деда — имя же ему легион — больше не было.

Я пока про малую ложь: перелито оно или вылито... А ложь большая, самая, может, большая ложь за жизнь моих ровесников выглядит для нас, всех с «полтинником», так привычно, так заученно, что глаз ее уже и не различает. Вся эта ложь, произнесенная миллиарды раз, укладывается в уравнение:

ленинская кооперация=сталинская коллективизация.

Всего делов. Просто, как «Сталин — это Ленин сегодня». Раз ты воспринял это равенство, то можно принимать за должное высылку целых станиц, сплошняком, с большевиками и подкулачниками, тысяч по двадцать народу в каждой, русского народу, казачества — без того дикого даже оправдания, что перед тобой калмык или чеченец (не-ет, крымские татары и карачаевцы ехали уже наезженным русским путем),

можно вполне одобрить и горячо поддержать обращение штыков против своего безоружного народа на тринадцатом году гражданского мира (не дивизии ли внутренних войск защищали от голодных сельских орд Харьков, Донбасс?). Можно будет сажать за карман колосков, можно всю жизнь, весь быт крестьян, когда-то честнейшего люда, пронизать воровством, можно будет кулачить тракторы, бить коров... Ты только освой уравнение и повтори на семинаре — и деда просто не станет.

Ложное уравнение породило вторую тайну, с которой я хожу четверть века. Четверть XX века, такую значительную в судьбе людского рода.

В фильме своем я признавался пашковцам с экрана, что помню, мол, страшную осень 1963-го. Зашел, дескать, к знакомому зерновику Павлу Петровичу, а тот уронил голову на руки, не поднимает глаз: «Сегодня самый тяжкий день моей жнзни. Мы у Канады купили хлеб». Говорил о бешеном темпе роста ввоза, о горе кадровых зерновиков, но скрытая министерская печаль как-то не тревожила кубанцев. Ну, покупают, «с горы виднише». Монополия внешней торговли, так сказать.

Что взять с пашковских, завзятые аграрии, сами, казалось, морфлотовцы, сыпавшие зерно в отмытые от нефти танки,— и те носили в себе какую-то дозу сомнения: а черт его еще знает, есть тот импорт или нет. Не пишется, так, может, и вправду, клевещут?

Поступив в сельскую газетчину как раз в год смерти Сталина, в год то есть сентябрьского Пленума ЦК КПСС и начала всегда дальнейшего подъема сельского хозяйства, я — через целину, Сибирь, Поволжье — постепенно вошел в сообщество самых неосведомленных в своем деле крестьян.

Дело крестьянина — путем заботы о своей семье хорошо кормить свой народ. Чтоб, кроме посвященных и заинтересованных, никто об этом и не думал! Ну, у нас-то думали все и всегда, а с 1963 года этот прокорм все в большей степени осуществляется некой третьей рукой, вырастающей откуда-то сзади, из области державных, тайн. Насколько ей вообще можно доверять — рядовой агроном-председатель, могу присягнуть, не знает и не думал. Наши оратории и кантаты «Будь хозяином» от действия ирреальной, хоть перекрестись, руки звучат фантастически фальшиво: какой, к дьяволу, хозяин, если на тебя как полноценного кормильца уже махнули и в лицо одно, а за спиной знай возят! Внук Вася маленьким рассказывал мне так: «Баба Яга летает НЕ НА ЧИСТОЙ «силе». Вот именно не на чистой силе летала та рука, потому что в противном

случае даже в застойный период о природе ее деятельности было бы рассказано вслух.

Мой интерес цеховой, корпоративный. Если наш брат не в народность играет и не перед начальством егозит, а всерьез разбирает роль и значение процента паров, самоуправное размножение комбайна и долю клейковины в сухом зерне, если «деревенщики» по крохотке, по миллиончику тонн стараются вытянуть тот ли, иной регион к перекладине пристойных сборов, если и пишущему-снимающему срок на Продовольственную программу есть последний кредит людского доверия, а не договор Насреддина, падишаха и осла, то как же смею я не знать во всех деталях и частностях замещение нашего прокорма чужим, как допускаю неосведомленность в причинах временного (как и все на земле) российского хлебного импорта! Доколь же пробиваться слухами-намеками да кислотными цитатами из Щедрина, дерзавшего фантазировать из Пруссии: «Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!»

Лично меня спасала дорожная жизнь. Раз ночью ехал в одном купе с доктором наук Евгением Сергеевичем. В 1963 году он волею судеб возглавлял советское торгпредство в Вашингтоне, и именно к нему прилетел тогдашний замминистра внешней торговли — закупать зерно. Целина выгорела, пыльные бури, без спешного импорта — карточки! Легко сказать — закупать, ведь эмбарго, после Карибского кризиса торговать с «красными» официальный Вашингтон запретил. Однако конгресс заинтересован, начались слушания, позвали экспертов, пошел на толковище и Евгений Сергеевич. Вопрос так: если это единовременная акция — не продавать, если постоянный торговый канал — пусть покупают! Консультанты, экономисты в один голос: не беспокойтесь, заклинило надолго. Целина — пыльный котел, старая пашня зарастает, разумно шлагбаум вверх — и сплавлять переходящие запасы фермеров. А законность, эмбарго? Президент Джон Кеннеди позвонил брату Бобу, верховному толкователю актов,— через полчаса в конгрессе был листок, что именно к СССР данное «нельзя» ну никак не относится...

Правомерность взгляда, что наши заокеанские заготовки — навсегда, проверялась в американском агробизнесе и мной самим. Наследник друга нашего села Росуэла Гарста, дружелюбный и философичный банкир Джон Кристалл, знающий наши степи, как графства своего штата, зажиточного штата Айова, на вопрос белорусского председателя Старовойтова, долго ли еще мы будем покупать у Америки хлеб, ответил азартно и громко:

— Форэ́ве! Всегда!

И, поняв реакцию, поторопился объяснить: русским выгоднее приобретать то, что у самих плохо получается, и тратить время-средства на что-то иное, в чем они сильны, а уж у Юнайтед Стейтс кукуруза и соя давно и дешево получаются — это знает весь божий свет.

Мы же золотые дождички американскому Среднему Западу выдавали за силу строя (вточь по Рязанову: «мы гордимся общественным строем!»), каковой (строй) не останавливается и перед поддержкой все еще отстающих колхозов-совхозов, принимая плату за вспомогательный хлеб на себя. Совсем как царь Борис у Пушкина: «...я отворил им житницы...» А что нефтерубли за отвор житниц принадлежат народу в лице и колхозов, и совхозов, и Советов народных депутатов — никогда, видимо, в голову не приходило.

То выплескивалось, будто нам на Дальний Восток ближе везти, потому — через океан и дома.

То алхимия пускалась в ход, переделка веществ: если перевести, дескать, хлопок и вывозимые удобрения в зерновые культуры, то вроде окажется, что мы отгружаем за кордон зерна больше, чем оттуда везем.

А больше эксплуатировалось трогательное средневековое невежество «самой читающей в мире» публики касательно не «черных дыр», не театра кабуки, не приемов Джуны — сельскохозяйственной азбуки. «Да это ж мы фуражное зерно ввозим. Чтоб скот кормить».— «Ах, ско-о-от? Так это не для питания, нет? Ой, как вы меня обрадовали! Какого ж лешего нас пугают? Вы слышали — это ж импорт для животных, а с населением давно все в порядке. Частично покупаем кукурузу, ее есть нельзя, а в целом — очень деловой и современный мужик говорил! — в целом теперь порядок...»

Святая простота всегда для чего-то полезна. Вот ближний пример ее утилизации. Год 1988-й, двадцать пятый год импорта, популярная газета агитаторов и пропагандистов «Аргументы и факты», днем с огнем не найдешь, номер пятый. Спрашивает М. Федоров из Ленинграда: «Знаю, что мы покупаем зерно в капиталистических странах... На какие нужды идет это зерно?» Отвечает Л. Ващуков, начальник Управления статистики агропромышленного комплекса Госкомстата СССР: «Производство зерна в стране в целом обеспечивает и удовлетворяет полностью потребности населения в хлебе и хлебобулочных изделиях, на это идет около 40 миллионов тонн, или в среднем по 133—134 килограмма на душу населения в год.

Для животноводства в целях получения большого количества мяса, молока, яиц зерна не хватает, и государство вынуждено его покупать, действительно затрачивая валюту. Надо признать, что это крайне невыгодно...»

Насилу, страдалец, выговорил. Но сказал ведь? И мы за это покаянное «невыгодно» объясним весь казус причиной недогляда. Казус же состоит в том, что именно Госкомстат, именно управление аграрной его статистики месяца за три до этого ответа впервые в нашей истории в массовом издании «Народное хозяйство СССР за 70 лет» открыли цифры продовольственного ввоза с расшифровкой по культурам, что и позволяет отделить овец от козлищ — разогнать по разным амбарам фураж и продовольственное зерно.

Но до этого маленький техминимум: вдруг комунибудь да он нужен. Основное зерно развитого государства и есть фуражное, оно не частность, не малость, а именно главный расход, и поля работают по преимуществу как раз на фермы, а не на квартиры, это давнее и повсеместное завоевание цивилизации, как, скажем, электросвет и кухонный газ. Нам сказали, что людям хватает на еду 40 миллионов тонн. А вот животноводству, как обозначил в книге объяснявший про импорт, идет у нас ныне в год 150 миллионов тонн с лишком. В США этот перепад — между съедобным и «фермским» — еще выше, раз в десять, и вообще: чем питание данного народа лучше, разнообразней, калорийней, тем доля фуражного зерна в полевых занятиях страны выше. Потому-то и производится на душу населения в Штатах 116 кило мяса, а не 64, как у нас (так пишет тот же самый объяснитель), что фуража там выращивают больше, и никто его за что-то второразрядное, низкосортное не выдает.

Далее. Лошади едят овес и сено, люди же — пшеницу и рожь. Люди овса едят мало, только как геркулес, а скотине пшеница вообще не нужна. Животным она не полезна, и кормить скот ею невыгодно. Поэтому сельские хозяева производят съестное, продовольственное зерно людям на еду — и на продажу, если есть покупатель и нужда в деньгах, а животным запасают серые, фуражные хлеба: ячмень, овес, кукурузу и прочее.

В нашей стране пшеницы и ржи выращивают не 40 миллионов, а гораздо, намного, в два с половиной раза больше. Миллионов сто десять было в 1976—1980 годах, около ста десяти миллионов тонн остается и ныне. Из 210 миллионов тонн общего сбора больше половины, значит, составляют продовольственные виды

зерна. Ну, сорок миллионов, сказано, съедаем, а остальные семьдесят куда? Нет, не продаем, в том-то и дело, что почти не вывозим (ну разве что миллион тонн с небольшим), а в массе стравливаем скоту. Правильно, это очень невыгодно. Верно, сельские хозяева так не делают. Но делают-то не сельские и тем более не хозяева. Это сеет-веет чиновничий аппарат. Он назначает, чего и сколько сеять, он и импортирует потом секретно от колхоза и всех 12 миллионов колхозников...

Уже этого ликбеза довольно, чтоб понять, чего наговорил объяснявший и где он, мягко скажем, шутил. Отлучаться не стану ни в какую контору, за цифрами идти не надо. Вполне хватит опубликованного, доступного неленивым и любопытным.

Он шутил, утверждая, будто покупается для животноводства. В закупках недавнего, 1986 года подавляющую часть (15,7 миллиона тонн из 26,8 миллиона привезенных) составила пшеница. И в предыдущем, 1985-м, почти половину (21,4 миллиона тонн из 44,2 миллиона закупа) занимала та же самая пшеница. И чуть подальше взглянуть — в 1980 году больше половины импорта (14,7 из 27,8, все в миллионах тонн) тянула продовольственная пшеница. В тех странах, откуда везут, пшеница вообще-то хорошая, она малоурожайна в сравнении с кукурузой, дает с га раза в три меньше, зато там гонятся за белком, хлеб из муки высокий, всхожий, хотя и не такой вкусный, как привычный наш. Одним словом, платится за продовольственное, людское зерно, чтоб оно улучшало качество доморощенных заготовок и позволяло в помольных смесях приближаться к хлебным стандартам. Зачем завозить то (по названию) зерно, какое уже и дома можно намолачивать с лихвой? Куда же смотришь ты, Госплан Союзович?

Тут скорей всего психология. Закупки на Миссисипи вершит тот, кто в 30-х реквизировал зерно в Пашковской, а в 80-е годы выбивает фураж в Белоруссии. Во всяком случае — по генотипу тот. Пашеница! Народ кормить! Мне тут какую-то сою подсовывают, да не на простака напали... Так, аксакал из Ферганы твердо знает, что́ надо везти из магазинов Москвы: узконосые глубокие калоши! На «саламандре» его не проведешь...

Он шалит, толкователь, когда внушает, что в целом и полностью с зерном решено, а прикупать приходится какую-то ерунду. Довесок. Сопоставим объем закупа внутри страны с тем довеском, какой брался из-за океана до возможности нам рассуждать об этом, то есть в спокойное время глухой канцелярской тайны.

Средние внутренние закупки 1981—1985 годов—66,6 миллиона тонн. Внешний закуп 1985 года—44,2 миллиона. Это зерна, не считая круп, макарон и т. д. ... Но в тот же год импортированы производные из зерна: мясо (857 тысяч тонн) и сливочное масло (276 тысяч тонн); приобретено также 4,3 миллиона тонн сахара, у которого тоже есть прямой зерновой эквивалент, и громадное количество—813 тысяч тонн!—растительного масла. Туши мороженого мяса—только половина живого веса, а на кило привеса, как ни крути, шесть килограммов зерна уйдет. Значит, в виде мясных закупок мы привезли более 10 миллионов тонн зерна. Схожий пересчет с коровьим маслом (умножать надо минимум на пятнадцать) даст четыре миллиона. Если, греша перед экономикой, принимать белый сахар за ровню (по весу) зерну, а постное масло, продукт в изготовлении норовистый, учесть только как кило за пять, то выйдет еще 8 миллионов и общий счет завезенного выразится в зерновом исчислении именно в 66 миллионов тонн. Столько же было закуплено дома!

Значит, каждый второй кусок—съедаем ли его с бутербродным маслом, ломаем ли в хлеву кабанчику—привезен из-за рубежа. Значит, за спиной «не на чистой силе» не одна рука действует, а тоже две.

Но вернемся назад: как объясняют импорт?

В семидесятые годы мировые цены на нефть подскочили страшенно, чуть ли не в 20 раз, и было бы грешно не уловить конъюнктуру. Новый океан «черного золота» позволил колоссально, вчетверо за четверть века, увеличить добычу—мы даже Штаты обошли почти на двести миллионов тонн. Так не резон ли от многого взять немножко и развязать продовольственные узлы? Правда, Северная Америка нефть у нас не покупает, танкеры через Атлантику топают порожними... Классические порты русского «отпуска» (экспорта) Новороссийск, Одессу, Ригу и др. удалось спешно переделать на приемку, морские галереи пронесли трубы пневматической выгрузки в глубь моря до самых рейдов, и сперва не очень ловко было видеть плакаты «Хлеб—бедствующей России», сами морячки отчасти конфузились промыслом, но с годами дело выросло в двадцать и более раз, все обтесалось, дорога в Новый Орлеан и вверх по Миссисипи с глубиной всего 19 метров, малой для крупных советских судов, стала привычной, нахоженной, лозунги насмешников исчезли: в три дня тебя загрузили и—гуд лак, Раша!

Теперь маркетинг все поменял, поймите. Что было хорошо для времени наркома Красина, то неприемлемо ныне. Мы основали дело всерьез и надолго. Наш

министр за достижения во внешней торговле получил две золотые звезды. Отстаиваем интересы, гуд лак.

Рассуждать в приступе объективности, что платится своим из одного кармана, а за кордоном — из другого, что Госагропром только производит, а Минзаг только покупает. Минторг ввозит только туши мяса и масло, Внешторг же (до последних недель — особое министерство) опрично ведет негоции хлебом поверх их голов,— значит, язычески надеяться на аппарат и снова лезть к нему с косметическим ремонтом. Ну, сольют рубли, валютные и бумажные, в один котел — и ведомство станет вести себя иначе? Уже тоскливо и слушать...

Такие аргументы... А сам я считаю эпохи по рыбам. Нототения. Потом — хек. Ныне — минтай. Всесоюзный минтай в банках. Как только повсеместно хватает? Дважды за мирное время страна вводила карточное нормирование еды: в пору ухода деда и с семидесятых годов. Свою коллекцию талонов я начал со свердловской говядины, 1 кг к 60-летию Октября. На холмах Грузии талоны печатают цветными — закавказский вкус. Внук так и вытянулся выше меня в сознании, что саратовская родня должна ездить в Москву за харчем... Нет, чужим не наешься.

По вере дедов, к которой в год великого перелома причастили и безмысленного меня, сравнительно скоро я должен встретиться с дедом, садовником Максимом Васильевичем, крестьянином чрезвычайной квалификации, и отчет неотвратим, а утаение не поможет, как не помогает оно и на земле.

Первым же вопросом будут тракторы и прочее железное, что и было для него колхозной реальностью, ради чего крупный колхоз и делался владыкой, а хуторам было велено сгинуть. Должен буду сказать, что трактор сбесился, множится и дорожает сам собой. Семьдесят лет надо работать заводам США, чтобы наделать столько комбайнов, сколько у нас сейчас стоят поломанными! Уже в 16 раз выпускаем комбайнов больше, чем в Америке, но хлеб покупаем все-таки у них. Это не жуткая сказка, это посчитал главный журнал ЦК «Коммунист». Вместо подъема качества круто подняли цены. Теперь «Дон» стоит одинаково с заграничным Е-516, но тот служит долго, а «Дон»... Вообще неизвестно, сколько он служит, реальностью он не стал, но что платить за него придется чуть ли не сорок тысяч — факт. Тракторов мы производим в 6,4 раза больше, чем в Штатах, но теперь ведомство «железных коней» строит крупнейший тракторный гигант в Елабуге, вообще сооружает всякого на 20 миллиардов рублей — и скоро, наверно, и по тягачам добьем-

ся комбайнового превышения. Околицы сделаны тракторомогильниками: «Время» демонстрирует побоища. Если сократить этот поток только на треть — можно сберечь одного каменного угля 5 миллионов тонн, хватит протопиться всему селу юга, а то теперь топливо строго нормируют, и народ в хатах мерзнет. Но одолеть людям пока не удается.

Новости дед всегда получал с рынка. Рынок в абсолютном смысле и есть поставщик новостей — товарных, ценностных, технологических. Появление нового сорта груш — в принципе тоже «хай текнолоджи», только не микропроцессоры выбросили, а живое. Без рынка — запертость на хуторе: ни сортов, ни сбыта, ни умений. «Царство крестьянской ограниченности»...

Вселенский оползень калек машин и прикуп хлеба за кордоном и соединять не нужно — одно колечко. Странна будет только таинственность импорта. Вроде от кого бы скрывать — от Айовы — Канзаса — Дакоты? Чтоб не измывались? Так они же продают, все считают до грошика, на биржевых табло урожай в СССР (прогнозируемый) всегда идет в Чикаго заключающей строкой, лично видал. И «третий мир» от них знает — значит, тайна от Белгорода и Пашковской. Продразверстка есть? Слово это дед узнал до Октябрьской революции и до февральской тоже, его ввел царский уполминзаг Риттих, принудительные заготовки по уездам и селениям вызвали отказ везти хлеб в города, и «хвосты» стали запалами к взрыву. Февраль смел самодержавие вместе с разверсткой. Ну так есть сегодня продразверстка? А раз есть — как не быть «хвостам»?

Качественного и вдосталь хлеба колхоз не поставляет не потому, что не умеет вырастить (в Кургане вон уже сколько «канадцев»), а потому, что нет интереса. Ибо продразверстку, то есть отбор хлеба не за деньги, а за талоны на всяческий минтай протащили и в компьютерный век. Следовательно, импорт. Для деда, говоря марксистски, тут необходимость рядилась бы под случайность. Случайность, что нашли именно нефть, что вздорожала именно она, а не, как у чеховского смешного персонажа, какая-то белая глина, найденная англичанами. Случайность и то и это, но что принудительной выкачкой зерна и нежеланием карточек на хлеб придется от своих 150 миллионов черноземных га идти на планетный торг — это необходимость.

На рынок ходили за нас — и что мы знаем о нем? Ну, что то превышение по нефти над США, за которое могли бы в ножки кланяться внуки, страна как раз и продает: 130 миллионов тонн сырою и 57 миллионов —

нефтепродуктами. Свои дизели месяцами стоят — баки сухие, уже подчас скважин не хватает на обязательства, а везем. Такие эмираты... Ну, знаем еще, что вывозим из США на 1146 миллионов, а продаем им на 313. У Канады покупаем на 624 миллиона, а продаем ей миллионов на 10. В 62 раза меньше!

Но и этот-то обсчет примитивен, как и торг печенежский! И весь наш пишущий корпус — с докторами-новобранцами вкупе — в делах мирового маркетинга выглядит простеньким скифом в античном эсхиловом театре. Любой счетовод вологодской кружевной кооперации 20-х годов, любой очкарь в толстовке в смысле мировых цен, реальной выгоды, собственной ответственности перед нанявшими его, перед женой Горького М. Ф. Андреевой, руководившей из Европы сбытом кустарного промысла, за пояс бы заткнул и тысячи красивых ребят из МГИМО, и пишущего популярного академика. Рынок, по Ленину,— жесткий учитель. В одной из предсмертных работ, резко возражая Бухарину, Владимир Ильич говорил о смешанных обществах, применяя столь крепкие выражения, что национальной гордости вроде и не выдержать. «Система смешанных обществ есть единственная система, которая в состоянии действительно улучшить плохой аппарат НКВТ, ибо при этой системе работают рядом и заграничный и русский купец. Если мы не сумеем даже при таких условиях подучиться и научиться и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ дураков».

Рынок — это постоянная Олимпиада, где с белым равны черный, желтый, хоть лазоревый, только демонстрируют здесь не дыхалку, а изделия, и норовят вывозить сегодняшний ум и труд, а не части своего жилого дома, пусть и подвальные, недряные части. Рынок школит и мучит, задает критерии, крайне ценит «качество имени», слезам не верит, лозунгам — тем более, на рынке (рынке, а не базаре!), если обманешь, так уж не продашь. И на том рынке, как говорил в ЦДЛ знакомец Н. Н. Смелякова, скромный миллионер-японец, «покупатель — король, а в СССР — продавец король». Гость ЦДЛ выговаривал по-японски: «корорь». На нефть этикетки не прилепишь, и в мировой галактике товаров отечественную фабричную марку легче всего встретить на «Столичной», и то ведь такой товар — не звезда, максимум — туманность.

Перестройка приняла крупномасштабные (для нас, на сегодня) меры к модернизации внешнеторговых связей. Двадцать два отраслевых министерства, 77 объединений получили прямой выход на мировой рынок.

Сокращен импорт зерна на 17 миллионов тонн. Но из осмысления ли наркотической пагубы заходить все дальше и дальше или только из-за крутого — с 34 до 18 единиц — падения мировых цен на нефть и оскудения недр, значит, нефтерубля — пока понять трудно.

Колхозов среди допущенных пока еще... Стоп, есть же «Адажи»! Продает финнам лес, для австрийцев льет спорттовары из пластика, валюты получает исполу, но достаточно, чтоб выйти в союзные лидеры. Прибалтийская раскованность, самоуважение. Но в хлебном отношении «Адажи» — колхоз невесомый. Кулундинского преда пока и силком не вытолкнешь на классово чуждый гулкий торговый майдан. Это сибиряк Залыгин помнит валютные акции кооператоров-маслоделов, а наш районный передовик и родился уже в «царстве крестьянской ограниченности». С производственной гимнастикой под команду начальницы цеха на Олимпиаду не попадешь.

А и не надо!

Нужно пока одно: создать конкурента Штатам в их торговле зерном с Советским Союзом.

Не в лице Западной, скажем, Европы, та и сама продает нам свое избыточное зерно через Гавр, Антверпен и славный город Лондон. Не в лице ЕЭС, а в лице кооперированного колхоза. Колхозинторга, Зерноимпекса — или назовите этот орган иначе. Хоть горшком назовите, но откройте до́ма доступ к тем объемам золота, какие уходят в танкерах. Простой принцип аукциона: кто больше? Американский урожай вообще оч-чень дорог, наш из-за состава трат дешевле... Кто больше настоящего хлеба отдаст за настоящие деньги? Их можно и не держать в руках, тем более что инвалютный рубль неосязаем, как квант, как хозрасчет, как дух святой, но все, что за тем инвалютным рублем стоит, все 40 канадских дубленок дояркам («на первый раз, товарищи, только дояркам!»), все три комбайна Е-516, способные решить наконец вопрос с уборочной техникой, все моющиеся обои Финляндии плюс метлахская плитка ФРГ — все, представляющее в вакуумно-бестоварной глубинной степи магнит, даже непонятный для мира перепроизводства и экспортных заторов, способно вынуть золотой хлеб как из-под земли. «...Явления товарного голода далеко еще не ликвидированы и, пожалуй, не скоро будут у нас ликвидированы»,— дальнозорко сказал товарищ Сталин 60 лет назад. Только без минтая, без «встречных» приманок вроде чебоксарского трактора, какой от заводских ворот дешевле гнать во Вторчермет. Хватит минтая до́ма и долларов туда — пусть таможня задержит нако-

нец увоз червонного золота. Не сережку у нашей туристки, а и слитки наконец-то приметит...

Тут он и хряснет кулаком по столу, мой памятливый читатель! Да, в сущности, уже и хряснул. А я еще собирался сказать про Хлебсоюз, Маслоцентр, Союзкартофель и Всекообанк с Московским народным банком в Лондоне, быстрые плоды ленинского плана кооперации. И про контрактацию, нацеленность зонрегионов на такое-то зерно. И про приазовского друга-приятеля Илью Рыбкина, который двадцать лет назад наградил меня мудростью, что «материальный интерес — то интерес к материалам», и чаем с сахаром поили бы ту пшеницу, если б японскую технику за нее и германские стиральные машины. Не успел вспомнить про полтавские Новосанжары, что у Ворсклы на берегах айовскую сою освоили и готовы бы поставлять ее стране СССР — только, поймите правильно, не из-под палки, вообще про нацеленность на экспорт, на восстановление российско-советского традиционного хлебного вывоза, каковой в 100 раз пока реальнее, чем поставка ростовских комбайнов в Кёльн и литовских видеосистем в Нагасаки,— а уже кулак по столу: читатель негодует. Дает отлуп и за идейный сбой, и за продразверстку.

Газетный вариант такого «отлупа» уже широко известен: см. статью Нины Андреевой в «Советской России».

А вот журнальная исповедь руководящего пенсионера:

«С большим огорчением воспринимаю, когда одни из них (писателей.— *Ю. Ч.*) смакуют, аж облизываются, уже вторично на нашей памяти, трагические события 37—38-го годов, другие бессовестно уже, наверно, 50 лет пасутся на теме «председатель колхоза «умник» не сдает хлеб сверх плана, а «дурак» секретарь райкома партии требует сдавать...» («Октябрь», № 1, 1988). Где про «других» — это ж явно карикатура на «деревенщиков». Только, позвольте, ни на каких «дураков» — «умных» мы, бессовестные, стороны не делим! Дело в твоем месте на лестнице. Третье уже, как минимум, председательское поколение на моем веку сменилось, и жизнь дала сотни примеров перехода из «умников» в «дураки». Вчерашний «зажимщик хлеба» (по терминологии Павлика Морозова) с выходом в чины начинает ту же волынку, от которой сам о стенку головой бился, которая гноила и портила в нем мастера, делала хитрованом, жуликом, лжецом, плутом, комбинатором столько хозяйственных лет. Дело, повторим, не в числе извилин, а в производственных отношениях, и наш

разоблачитель — за отношения «начальник — подчиненный», при них начальник умнее уже по открытости ему государственных задач, подчиненный будет же умен и отчасти государственен, когда станет слушаться, исполнять и не прекословить. Вон как у Островского-драматурга тема эта выражена, тоже пенсионная письменность важной персоны:

«Подчиненный же сытый и довольный получает несвойственные его положению осанистость и самоуважение, тогда как, для успешного и стройного течения дел подчиненный должен быть робок и постоянно трепетен».

Тут бы надо про трудность нескорого пути, сопротивление и риск, про овраги — через них же не прыгнешь, про трудное накопление реализма для постройки успешного порядка вещей, а я...

Первонаказ в той дедовой вере — «в поте лица твоего будешь есть хлеб». Мол, кормись своим. Не нахлебничай — даже у бога. А так охота в формуле для Адама укрупнить ЛИЦО!.. Не медальный профиль, не плакатный анфас, не пьяное мурло — открытое, правдивое и чистое человеческое лицо, впрямь нужное для осанистости и самоуважения.

Обрети лицо — будешь есть хлеб.

Николай Шмелев

НОВЫЕ ТРЕВОГИ

Перестройка всколыхнула общественную жизнь страны, разбудила ее творческие силы, вселила в людей надежды на реальный выход из тупиковой ситуации, в которой мы оказались за годы застоя. Пусть медленно, но утверждается убеждение, что альтернативы перестройке нет. Ширится число ее активных сторонников и участников. Множество людей, озабоченных будущим страны, будущим нации, сознательно идут в своей повседневной жизни на риск, принимают удары на себя, но не отступают, добиваясь в меру своих сил и возможностей продвижения вперед в том великом деле, начало которому было положено XXVII съездом КПСС.

Но чем очевиднее становится, что глубокая перестройка нашей общественной жизни — это отнюдь не конъюнктурный, тактический маневр, что это всерьез, тем более растет тревога за ее судьбу. Тревога распространяется сегодня не только среди наиболее активной части нашего населения. Наблюдается определенное недоверие и среди широких масс, опасающихся, с одной стороны, того, что попытки оздоровления политической и социально-экономической жизни страны обернутся в конце концов блефом, а с другой — возможных социальных последствий перестройки.

Особую тревогу порождает ряд негативных явлений, обострившихся именно в последнее время.

Во-первых, нельзя не видеть, что растет скрытое, а нередко и открытое сопротивление перестройке в районах и областях со стороны многих местных партийных, советских и хозяйственных органов. Все более очевидным становится также стремление некоторых центральных министерств, поддерживая перестройку на словах, выхолостить ее содержание на практике, парализовать чисто ведомственными мерами принципиальную линию ЦК КПСС на полный хозрасчет, на самостоятельность, самоокупаемость и самофинансирование предприятий.

Думается, трудно более выразительно охарактеризовать суть того, что тормозит сегодня перестройку, чем

это сделал недавно известный в стране колхозный председатель М. Вагин: «Кто-то, сильный и властный, опасается нашей самостоятельности, поскольку тогда мы сами становимся сильными и властными в пределах своей хозяйственной территории. Необходимо ли это обществу, государству? Да, позарез необходимо. Следовательно, не общество и не государство ведут с нами борьбу за власть. Тогда кто же? Посмотрите, где вязнут, обесцениваются решения, принятые на съезде партии и последующих пленумах ЦК, там и обнаружится ответ — кто же?» («Советская Россия», 29.9.1987).

Показательна в этом смысле открытая, решительная (можно даже сказать «мужественная») борьба, которую вопреки недвусмысленным установкам ЦК КПСС ведут некоторые обкомы и райкомы против «архангельского мужика», не считая нужным даже хоть как-то скрывать свое враждебное отношение к нему ни от печати, ни от населения. Упорно сохраняются также волевые ограничения на продажу колхозной продукции на рынках, ограничиваются подсобные промыслы и сельская промышленность, по-прежнему пресекается инициатива в приусадебных хозяйствах, сознательно и преднамеренно сдерживается развитие индивидуально-кооперативной деятельности. «Москва нам не указ»,— подобные настроения на периферии распространены сейчас достаточно широко, тем более что на поверхности нередко не видно признаков того, что Москва в состоянии дать им действенный отпор.

В стране не прошло незамеченным и то, что одна из центральных идей июньского Пленума ЦК КПСС — о необходимости считать утратившими силу все ведомственные инструкции, противоречащие содержанию Закона о государственном предприятии,— не получила ни юридического закрепления, ни тем более практической реализации. Госзаказы уже сплошь и рядом превышают прежние плановые задания. Некоторые министерства под шум речей о перестройке установили на достаточно длительное время нормативы отчислений от прибылей предприятий в свою пользу на уровне 80—90 и более процентов. Реальные возможности промышленных и сельскохозяйственных предприятий распоряжаться своими деньгами, то есть своими фондами, и сегодня парализованы действующими ведомственными инструкциями. На деле не существует пока для предприятий и каких бы то ни было возможностей выбиться из тисков фондируемого снабжения, наладить сбыт хотя бы части своей продукции не по разнарядке свыше, а самим через рынок. Даже планируемых сверху показателей и то стало больше, а не меньше. Не

случайно, что почти 80 процентов опрошенных в середине 1987 года руководителей предприятий считают, что, по существу, прав у них сегодня не больше или даже меньше, чем было в 1984 году.

Невольно напрашивается мысль, что в стране может сложиться или уже складывается своего рода молчаливый заговор против перестройки, в котором интересы определенной части руководства на местах и ряда центральных ведомств все более сближаются. Особо тревожит то, что позиция некоторых центральных органов печати если не в открытую, то методом умолчания фактически поддерживает это сопротивление. Как отметил недавно известный наш публицист И. Васильев, «в обществе складывается весьма тревожная ситуация — колоссальная управленческая пирамида... атакуемая с нарастающим напором пробуждающимися к активной деятельности массами, переходит от первоначального замешательства к контрнаступлению» («Советская Россия», 4.10.1987).

Во-вторых, пока ускорение получилось во многом за счет роста производства ненужной продукции. Характерен, например, вывод, к которому пришел автор статьи «Советская экономика на переломе», опубликованной в журнале «Коммунист» (1987, № 12): в двенадцатой пятилетке «по многим видам продукции рост запланирован выше реальных потребностей». Действительно, рост без разбора, рост производства всего и вся, рост ради роста — разве это то, что нам сегодня нужно?

В то же время заметно ухудшилось положение многих промышленных предприятий, попавших в тиски между двумя взаимоисключающими требованиями: с одной стороны, гнать, не считаясь ни с чем, вал (вернее, товарную продукцию), с другой — подстраиваться под госприемку и, соответственно, обеспечивать непривычный пока для них уровень качества выпускаемой продукции. Это породило дурную цепь взаимосрываемых поставок: предприятия не могут получить в необходимых объемах комплектующие изделия от своих поставщиков и в свою очередь не могут выполнить и свои обязательства по поставкам перед потребителями собственной продукции. Результаты работы предприятий, перешедших на самофинансирование с начала 1987 года, оказались не лучше, а кое-где и хуже, чем у прочих. Заводы залихорадило, увеличились простои, снизились заработки, в печати опять послышались голоса (причем не только руководителей, но и рабочих) о необходимости возврата к «твердой руке». В то же время вновь стали расти непроданные запасы

никому не нужной продукции, но теперь уже не только некоторых товаров народного потребления, но и средств производства (например, трактора и комбайны).

В-третьих, широко распространилось мнение (может быть, связанное с возросшими ожиданиями людей), что положение на рынках продовольствия и товаров широкого потребления в последнее время не только не улучшилось, но даже ухудшилось. Очереди в магазинах и пустота на прилавках сохраняются по-прежнему: производство продовольствия из государственных ресурсов выросло незначительно, качество отечественного ширпотреба не изменилось, импорт (включая даже такие товары первой необходимости, как чай и кофе) заметно снизился.

Декларированное право реализовать на рынке всю сверхплановую и до 30 процентов плановой продукции, предоставленное совхозам и колхозам почти два года назад, не привело на деле ни к каким результатам. Республиканские и областные агропромы продолжают расписывать всю продукцию хозяйства вплоть до последнего огурца, так что продавать на рынке им фактически нечего. Некоторые сугубо административные начинания вроде ярмарок с колес, будучи сплошь и рядом в убыток сельскохозяйственным производителям, идут лишь из-под палки и могут скоро исчезнуть сами собой (конечно, они дали определенный эффект, но этот эффект был достигнут не на экономической основе, и потому он не может не быть временным). Головотяпская, а возможно, и злонамеренная борьба против приусадебных участков, продажи продукции в других, «чужих» районах привела во множестве мест лишь к оскудению и без того небогатых колхозных рынков: на краснодарском рынке, например, в прошлом году из 1200 мест пустовало 500. Запуганный местными властями и тяжелейшими трудностями организации (бумажная волокита, поборы, враждебность милиции, невозможность нормального снабжения), индивидуально-кооперативный сектор в мелком производстве и сфере услуг не смеет пока поднять голову, и ждать от него какой-то серьезной отдачи в скором времени вряд ли было бы реалистично.

В-четвертых, среди населения усиливаются различного рода опасения, связанные с дискуссией в печати относительно некоторых намеченных экономических мер, прямо затрагивающих социальную сферу.

Вполне понятны, например, опасения, что центральный вопрос перестройки — реформа цен и как следствие ее возможное повышение их на целый ряд продовольственных товаров и коммунальные услуги — будет ре-

шен со значительным ущербом для массового потребнтеля, что государственные органы не удержатся от траднцнонного для ннх соблазна решить эту проблему за счет ннтересов населения, что они, наконец, просто в силу торопливостн не успеют подготовить н провестн реформу цен так, чтобы обеспечить соответствующую компенсацню мало- н среднеоплачиваемым слоям трудящнхся, пенснонерам, студентам, лицам, живущнм на различные пособня, н т. д. Усиленно циркулируются слухн о возможной денежной реформе н, соответственно, о конфнскацин определенной части вкладов в сберкассах. Людей пугает также перспектнва закрытня предприятий, которые не выдержат полного хозрасчета н новых требованнй к качеству, более жесткой (уже не административной, а экономнческой) днсцнплины на предприятиях, необходнмость переквалифнкации или перемещения в другие районы, возможные потерн в заработках. Успех перестройкн сулит пока мало хорошего многнм из тех 18 миллионов больших н малых работников управления, которые сейчас имеются в стране. Соцнальное н нмущественное положенне какой-то части нз ннх может быть основательно подорвано наметнвшнмся курсом на сокращенне как центрального, так н местного аппарата. А это ведь тоже нашн людн, и нх тоже можно н нужно понять.

В-пятых, в последнее время прнвлекают особое, повышенное внимание наши успехи н неудачн в борьбе с подлнннным национальным бедствнем страны — пьянством.

Несмотря на то что достигнуты определенные результаты в этой борьбе (в частности, сниженне производственного травматизма н «пьяной» преступности), нельзя не видеть, что мы здесь пока еще только в начале пути. Первый этап этой борьбы прошел в целом успешно. Но вызывает тревогу то, что пьянство в массе своей начнная, по-виднмому, прнспосабливаться к новым условиям н принимает сегодня новые, нередко еще более безобразные формы — такие, как потребление химическнх препаратов, моющих средств, токсикомания н т. п.

Одновременно становится все более очевидно, что государство шаг за шагом втягивается в самогонную войну с населением. Эту изнурительную войну оно вряд ли выиграет: простота кустарного пронзводства, выгода от него н масштабы потребностей в спиртном делают в конечном счете безнадежнымн любые мыслимые противодействующне усилия органов МВД. К каждому деревенскому дому, а теперь и к каждой городской квартире не прнставишь же милнцнонера. Судя по

мировому опыту, мы сегодня уже на пороге массового промышленного производства подпольного спиртного (как в Америке 20-х годов), а это значит, что мы, возможно, и на пороге серьезной вспышки организованной преступности, ибо сегодняшняя прибыль на самогоне оправдывает — даже чисто статистически — любую степень риска.

Административные меры борьбы с пьянством, по-видимому, уже дали все или почти все, что они могли дать. Борьба с ним вступает в новый этап, и важно не проглядеть эту перемену. Борьбу сегодня необходимо перенести прежде всего в экономическую и социальную плоскости. Многие сейчас испытывают разочарование в низкой результативности принимаемых мер. Спрашивается: а чего же мы ожидали? Неужели мы действительно верили в скорый результат? Спаивание населения продолжалось шестьдесят лет, и реально ли надеяться, что сложившуюся психологию и образ жизни целого народа можно поломать за год-два?

По моим оценкам, если на рубеже 80-х годов две трети дохода от спиртного получало государство и одну треть — самогонщики, то сегодня (при сохранении общего душевого уровня потребления спирта) мы добились лишь того, что поменяли эту пропорцию на прямо противоположную. Но, отдав доход от спиртного самогонщику, государство за два последних года пришло к резкому усилению несбалансированности бюджета, дефицит которого сегодня покрывается таким в высшей степени опасным, нездоровым средством, как печатный станок.

Следует подчеркнуть, что с точки зрения чисто финансовой техники таких нелепостей — чтобы отдать фактически добровольно законные государственные доходы самогонщику! — в истории начиная с шумеров насчитывалось немного. Для Америки, в частности, сухой закон был, как известно, тоже нравственным экспериментом, закончившимся, однако, полной неудачей. Но он при этом затрагивал преимущественно доходы частных компаний, производивших спиртное. Акцизные сборы от спиртного в американском федеральном бюджете того времени играли относительно второстепенную роль.

Общественный климат в нашей стране за последние два года изменился. Изменился в принципе. Но многие у нас пока еще не понимают, что никакой реальной альтернативы перестройке нет, что в экономическом смысле мы пока еще не отошли от края пропасти.

Печать в основном занята пропагандой успехов, во многом мнимых, и это сглаживает, стирает остроту стоящих перед страной задач. Ни в народе, ни в руководящих слоях далеко не все еще осознали серьезность положения. Чувство успокоенности, равнодушие, уверенность в том, что все как-нибудь образуется само собой, порождают у многих вопрос: а зачем вообще мы это все затеяли? Немало людей еще не поняли, что иначе мы окажемся на обочине истории, превратимся в слаборазвитую страну, что иначе нашу революцию в конце концов задушат.

Обнадеживает, однако, то, что пока еще кредит нового курса в народе в целом весьма высок, особенно в среде интеллигенции. Но учитывая, что политика перестройки началась уже более двух лет назад, естественно, задаешься вопросом: на сколько хватит этого кредита? По-видимому, речь может идти о годе-двух, после чего вполне можно ожидать поворота в настроениях масс — разочарования, апатии, растущего недоверия к намеченному курсу.

Нужен успех, видимый успех — успех не когда-то, а уже в ближайшее время. Этот успех мог бы быть достигнут уже в прошлом году, если бы сознательное (или бессознательное — что не легче) сопротивление перестройке, особенно на селе, не парализовало подобную возможность. Не исключено, что, если нам не удастся добиться в ближайшие год-два чего-либо существенного, ощутимого всеми, судьба перестройки может оказаться под угрозой.

Специфика текущего момента требует, мне кажется, ряда решительных шагов внутри страны, которые в своей совокупности могли бы дать положительный эффект и укрепить веру населения в оправданность и благотворность курса на перестройку.

Думается, что прежде всего необходимо несколькими крупными акциями поломать складывающееся сегодня в народе убеждение, что места́ сильнее Москвы и что некоторые центральные министерства сильнее ЦК КПСС.

Сломать усиливающееся кое-где сопротивление новой политике в деревне — нелегкая задача. Только одними административными мерами здесь не обойтись. Среди многих экономистов сегодня зреет убеждение, что без отмены обязательных плановых поставок продукции колхозов и совхозов и замены их налогом проблема такого сопротивления неразрешима. Возможно, следует наконец пойти на принятие подобного решения. Куда эта продукция денется из страны? И куда она в массе своей пойдет помимо государственных

хранилищ н холодильников? Даже (очень теоретически) если колхозы н совхозы вдруг бросятся с ией на свободный рыиок, ие потребуется и месяца, чтобы они убедились в его очень узкой поглотительной способности. Но такое решеиие означало бы действительную самостоятельиость для них н в то же время реальный крах всего того, что продолжает сейчас опутывать наше сельское хозяйство по рукам и иогам.

Кризисиое состояние иашего сельского хозяйства очевидно для всех. Причииы этого состояния не в капиталовложениях. Их за последние полтора десятилетия было иаправлеио в деревию более чем достаточио. Но они фактнчески не дали ничего. Кризис иашей деревни — расплата за пять с лишним десятилетий насилия над здравым смыслом, над всем, что побуждает человека к иормальному, добросовестному труду. И сегодня уже мало кто, наверное, сомневается, что основиая причина ныиешиего бедствеииого положения нашего сельского хозяйства, его оцепеиения — в той безраздельиой власти, которую административная прослойка приобрела за эти десятилетия иад всем, чем живет деревня.

Райкомы, райисполкомы, РАПО заняты сегодня преимущественио ие своим делом. На практике все это иниструменты принудительиого труда, средство, позволяющее административиым путем хоть как-то компеисировать отсутствие в деревие нормальных, здоровых экоиомических отношений, ие подавляющих, а стимулирующих человеческий фактор, человеческую активность. По логике вещей, по логике «хозрасчетиого социализма», райкомы должиы быть лишеиы хозяйственных функций (и как можио скорее), райисполкомы возвращены к тем функциям, которые присущи всяким нормальным органам местного самоуправлеиия, а РАПО должны быть превращеиы в разнообразиые и полностью хозрасчетные производствеииые, закупочные и снабжеические объедииеиия. Сердцевиной всех аграриых отношеиий должеи виовь (как в 20-х годах) стать налог.

Существуют, одиако, опасеиия, что при подобном повороте событий иас ждет трудный переходный период, чреватый падением сельскохозяйствеиного производства. Нередко высказывается мысль, что в этом случае люди в деревие вообще перестанут работать, что все развалится, все разбегутся и страиа вообще окажется без хлеба и без мяса. Дескать, пусть уж лучше все остается, как оно есть: хоть и иеэффективио, и через пень-колоду, и все время на граии срыва, но нынешняя система все-таки обеспечивает какой-то минимум про-

довольствия. Ну, а дальше? А дальше тоже, наверное, все как-нибудь устроится само собой.

Понять подобные настроения можно, но оправдать нельзя. В основе их — представление о нашем человеке как о каком-то ленивом рабе, которого только кнутом и можно заставить хоть что-то делать. Невольно возникает вопрос: да так ли оно на самом деле? Так ли уж мы все (и наша деревня в частности) выродились, что любые попытки вернуть людей к нормальному, полнокровному труду обречены на неудачу?

Действительно: а разбегутся ли? А бросят ли все?

Думаю, что нет. Люди есть люди, и сколько бы их ни утюжили сверху, нет такой силы, чтобы вытравить из них главное, что составляет суть человека,— его способность и желание к труду. Конечно, мы в этом деле достигли больших «успехов», но не следует быть излишне самонадеянными: этого до конца даже нам не удалось. И если вернутся нормальные, здоровые условия жизни, даже и в полуразрушенной деревне нашей, уверен, найдутся силы, которые позволят ей возродиться. Человек не может быть врагом самому себе, это обстоятельства сделали его таким. Не разбежится деревня! Даже и в начале, в переходный период, пока не начнет давать полную отдачу новая система стимулов, будет действовать естественная сила инерции, которая так много значит в жизни. Люди привыкли каждый день выходить на работу, что-то делать, за что-то отвечать, иметь какие-то обязанности, и неверно думать, что свобода, устранение административной палки из их жизни мгновенно превратят их в поголовных лодырей и пьяниц.

Думается, что неизбежными чисто экономическими условиями нормализации обстановки в деревне и перехода к продналогу являются, во-первых, выравнивание закупочных цен, особенно на мясо и картофель, поскольку чуть ли не для половины хозяйств эта продукция сейчас убыточна и производят ее лишь из-под палки, лишь под нажимом сверху, а во-вторых, признание того факта, что колхозы и совхозы в их нынешнем виде жизнеспособны далеко не везде. В Нечерноземье, в частности, они, по-видимому, в ряде мест обречены, и чем скорее земля здесь будет передана в долгосрочную семейную аренду (то есть фермерам) при одновременном развитии снабженческой, сбытовой, кредитной и прочих форм кооперации — тем лучше.

Я отнюдь не ставлю тем самым под сомнение уже успевшие доказать кое-где свою эффективность новые формы организации сельскохозяйственного труда — агрокомбинаты, агрофирмы, бригадный подряд в креп-

ких колхозах и совхозах. Но страна велика, и что подходит в одном месте — не подходит в другом. Жизнь, по-моему, уже достаточно научила нас, что в таких делах постановка вопроса в плоскости «или — или» оказывается самой неплодотворной. Нам нужно и то, и другое, и пятое, и десятое.

Система продналога должна иметь и несомненно будет иметь свои собственные рычаги, чтобы не допустить даже на первых порах заметного падения производства в деревне. Вот они.

1. Налог надо платить, а следовательно, его надо заработать. Это уже гарантирует, скажем, 30—40 процентов производства.

2. За машины, удобрения, сортовые семена, химикаты, ремонт, строительные работы и материалы своим государственным хозрасчетным партнерам тоже надо платить. И на это тоже надо заработать.

3. Какой-никакой, но заработок в общественном хозяйстве тоже сейчас обеспечивается (и в большинстве хозяйств не такой уж маленький). Отказаться от него и целиком положиться на свое подворье даже в условиях полной свободы — на это мало кто сейчас пойдет. Кроме того, пока само наличие подворья обеспечивается участием в общественном труде.

4. Государство может дополнительно стимулировать продажу продукции колхозов, совхозов и индивидуальных хозяйств государственным заготовительным организациям через встречную продажу всего, что сейчас дефицитно, но так нужно сельским жителям (товары широкого потребления, продукция производственного назначения). Пройдет, несомненно, еще длительное время, прежде чем дефицит из нашей экономики исчезнет и мы наладим полностью свободный рынок. Так что этот рычаг обеспечения государственных потребностей еще долгое время будет давать эффект.

5. У семейного подряда и долгосрочной семейной аренды, судя по первым результатам, имеются реальные возможности перекрыть любое теоретически мыслимое падение общественного производства, если административный контроль над сельским хозяйством будет ликвидирован. Если я не ошибаюсь, «архангельский мужик» со своей семьей давал 8—9 процентов всей животноводческой продукции большого совхоза, где только в конторе сидит свыше 30 человек. Следовательно, 10—12 таких «архангельских мужиков» — и совхоз в его нынешнем виде со всей его конторой можно было бы закрывать.

Однако если подобное радикальное решение проблемы сопротивления местных органов кажется прежде-

временным, все равно необходимо уже сегодня принять все другие возможные меры против административного произвола в деревне. Наверное, не вредно было бы несколько раз публично, жестко наказать тех местных руководителей, кто продолжает душить семейный подряд, аренду земли, приусадебные участки, сельские промыслы, продажу индивидуальной и колхозной продукции на местных или на отдаленных рынках. Аналогичные меры в показательном порядке следовало бы применить и к тем, кто всеми способами продолжает препятствовать индивидуально-кооперативной деятельности. Народ должен знать, что в той борьбе, которая развернулась сейчас, сила на стороне Москвы, а не у местных удельных князьков.

Нельзя дальше безразлично смотреть и на то, как некоторые центральные министерства своими ведомственными инструкциями топят реформу. До решения принципиального вопроса о целесообразном числе министерств, их штатах и пределах их компетенции следовало бы, наверное,— опять-таки решительно, публично — показать антигосударственный характер практики тех из них, кто установил предприятиям норматив отчислений в свою пользу на уровне 90 процентов и кто беспардонно вмешивается в право предприятий распоряжаться своими фондами. Не нужно недооценивать и политического значения такого вмешательства со стороны высшего руководства, даже если оно будет сведено всего только к нескольким случаям. И трудящиеся, и аппарат самих министерств должны знать, что и здесь сила не у «ведомственного болота», а у перестройки, у центральных руководящих органов.

Как, например, не понять крик души, вырвавшийся недавно у директора одного из наших станкостроительных заводов: «Необходима чрезвычайная комиссия по контролю за экономической перестройкой» («Советская Россия», 14.11.1987). ВЧК для перестройки? Не слишком ли круто? Может быть, и круто. Может быть, есть и другие, более мягкие способы решения проблемы. Но что-то же надо делать! Ведь так все опять — в который раз — уйдет в песок.

Примерно 60 процентов промышленной продукции страны с 1 января нынешнего года должны, по идее, производиться на основе полного хозрасчета, на основе нового Закона о государственном предприятии. Закон этот, конечно, хороший, правильный закон. Но что уже сегодня на практике осталось от него? И не подорвет ли то немногое, что осталось, саму веру и руководителей промышленных предприятий и трудовых коллективов в перестройку, в реальный хозрасчет? Хорошими

бумагами и хорошими словами мы все сыты по горло. Сегодия зиачат лишь одио — дела.

Коиечио, пока еще ие проведеиа реформа цеи, было бы, иапример, иереальио рассчитывать иа введеиие во всей промышлеиности едииого налога иа прибыль, то есть едииого иорматива отчислеиий от прибылей предприятий в бюджет и в пользу мииистерств. Но разве это осиоваиие для того, чтобы отнимать у предприятий, как это делается сейчас в отраслях легкой и пищевой промышлениости, более 90 процеитов прибылей? Какое политическое, экономическое, иаконец просто человеческое право имеют иа это соответствующие министерства? Опять мы отиимаем у тех, кто хорошо работает, для того, чтобы держать на плаву тех, у кого все валится из рук? Бюджет? Но легкая и пищевая промышлеииость и так обеспечивает через иалог с оборота осиовиую часть его доходов. А о какой самостоятельиости, иинциативе, о каком стимулироваиии предприимчивости, качества, технического прогресса, иаконец, о какой борьбе за потребителя может идти речь, если работай хорошо, работай плохо — все одно?

Эта беспардоиность, эта логика экоиомического иасилия все еще во многом определяют жизнь даже тех предприятий, которые вроде бы достигли уже подлиииого экоиомического могущества и могут обойтись в своей производствеииой и коммерческой деятельиости вообще без всяких министерств. Выясняется, например, что даже КамАЗу устаиовлеиы (и обжаловаиию ие подлежат!) иормативы отчислений от прибылей 4,1 процента в пользу госбюджета и 46,26 процеита в пользу мииистерства. У мииистерства, видите ли, оправдание: оио вернет все эти средства КамАЗу в виде министерских же ассигнований иа капиталовложения. Спрашивается: а зачем? Зачем вся эта переброска одних и тех же деиег туда-сюда, из кармаиа в кармаи? Чтобы и министерство тоже было бы, что иазывается, при деле?

Имеется и еще одии аргумент: завод построеи иа средства министерства, теперь его производствеииые фонды передаиы в распоряжеиие коллектива, коллектив должен так или ииаче вериуть (то есть выкупить) их тому, у кого взял. Но коллектив будет платить по 6 процеитов в год за эти средства в виде «платы за фонды». По всем экономическим критерям это и есть иормальный процесс выкупаиия, и ои ие дает никаких осиоваиий для того, чтобы даже ие государство, не бюджет, а какой-то посредническнй аппарат претендовал иа львиную долю доходов предприятия.

Слишком многое сегодня в перестройке зависит не только от экоиомических факторов, но и от психологии

тех, от кого она исходит, и тех, к кому она обращена. И без решительности, без жесткой борьбы нам не одолеть бюрократизма, который М. С. Горбачев недавно справедливо назвал «злейшим, опаснейшим врагом революционной перестройки».

Далее. Сегодняшнее состояние нашей экономики показывает, что нельзя одновременно и ускоряться и перестраиваться, что повышение темпов роста по всем отраслям и перестройка всего хозяйственного механизма страны противоречат друг другу. Что бы где ни говорилось, но главное пока для предприятий план, то есть вал. Либо вал подомнет под себя новый механизм, либо наоборот. Но если не принять необходимые меры, скорее всего это будет вал.

Мы все еще нередко смотрим на реальную экономику как на какую-то сумму наших соображений о ней, наших пожеланий и претензий, а не как на органическое сцепление экономических законов и необходимостей, которым, хочешь не хочешь, а нужно следовать. Эту мысль можно выразить и проще: нельзя шагать шире своих штанов, как бы этого ни хотелось.

Конфликт между переходом на полный хозрасчет, стремлением повысить качество и технический уровень продукции, избавиться от ненужного производства и, с другой стороны, требованием в обязательном директивном порядке наращивать темпы роста любой товарной продукции (то есть вала) без серьезных издержек неразрешим. Придется жертвовать либо тем, либо другим, и чем скорее, чем открытее мы это признаем, тем лучше. План двенадцатой пятилетки был сверстан в иных условиях и для иных условий. Тогда еще никто не думал, что дело перестройки повернется так всерьез.

В некоторых отраслях (за исключением новейших и ряда отраслей Агропрома) необходимо, видимо, отказаться от установленных пятилетним планом заданий по росту товарной продукции. Сейчас нам не до вала. Страна обновляет весь свой хозяйственный механизм, а делать это в надрывных условиях, задыхаясь от напряжения (к тому же ненужного), нельзя — нельзя не по чьей-либо злой воле, а по объективным условиям. Снижение темпов будет временным и отнюдь не по всем отраслям, но оно неотвратимо, коль скоро речь идет о действительно глубоких преобразованиях. Народу этот конфликт, эту необходимость смены приоритетов можно объяснить, и он со своим здравым смыслом это, несомненно, поймет. Сегодня больше всего нужны не темпы, нужен насыщенный товарами рынок и видимое всем повышение технического уровня и каче-

ства нашей продукции. Это и будет успехом нового хозяйственного механизма, успехом перестройки.

Необходимо в ближайшее время предпринять экстраординарные усилия для насыщения внутреннего рынка продовольствием и товарами широкого потребления. Существенных сдвигов в работе легкой, пищевой и бытовой промышленности за год-два, по-видимому, не достичь. Индивидуально-кооперативный сектор в городе тоже только-только начинает подавать признаки жизни.

Сегодня в решении проблемы насыщения рынка видятся лишь две серьезные возможности с надеждой на быструю отдачу.

Это, во-первых, полный простор товарным, рыночным отношениям на селе, снятие всех — именно всех — административных пут и ограничений в сельском хозяйстве, переход от обязательных натуральных поставок колхозов и совхозов к твердому денежному налогу, повсеместный переход на бригадный, звенный и особенно долгосрочный семейный подряды, широкая передача земли в долгосрочную семейную аренду там, где это оправдано. Следует, однако, считаться с тем, что деревня вряд ли так сразу поверит в серьезность подобного поворота событий. Однако и тех, кто поверит, будет, вероятно, достаточно, чтобы достичь важнейшей на сегодня цели — хотя бы каких-то реальных признаков улучшения положения на рынке. Серьезность же и долговременность такого курса может быть, наверное, вновь специально подтверждена решениями предстоящей партконференции, в повестке дня которой этот вопрос может найти свое место как часть общей программы дальнейшей демократизации.

Важно, однако, всем нам осознать, насколько же мы отвыкли от всего экономически нормального, здорового и привыкли ко всему экономически ненормальному, нездоровому. Самый свежий пример — уборка урожая прошлой, на редкость ненастной осенью. Вопреки всем неоднократно провозглашавшимся добрым намерениям урожай опять спасал дармовой (конечно, для села, но отнюдь не для государства) труд мобилизованных, как на войну, горожан — студентов, рабочих, инженеров, врачей. И только под конец сентября и местные власти, и газеты вдруг прозрели: оказывается, если позволить убирать урожай самим сельским жителям (да и вообще охочим людям) из шестого или даже из десятого мешка — может быть, и никакого принудительного труда горожан не надо? Не надо даже при такой несусветно низкой, ниже феодальной, ставке оплаты, а что же тогда говорить, если бы это было из

третьего, а еще лучше — из второго мешка (что было бы, между прочим, вполне естественно по любым нормальным экономическим, а не кабинетным критериям). Нет, пусть лучше пропадает 60—70 процентов урожая того же картофеля — так нам привычнее!

Воистину мы сейчас напоминаем тяжелобольного человека, который после долгого лежания в постели с превеликим трудом делает первый шаг и, к своему ужасу, обнаруживает, что он за это время почти разучился ходить. И так сегодня в нашем сельском хозяйстве, к сожалению, во всем. С самых высоких трибун мы все еще слышим утверждения, что помимо экономических есть еще и другие методы управления сельским хозяйством. Позволительно спросить: а какие? Кнут, приказ, организаторская суетня? Было! Все уже было. Были даже и лагеря. И результаты того, что было, мы и расхлебываем теперь.

Во-вторых, необходимо изыскать возможности для существенного роста импорта товаров широкого потребления. Сегодня, когда этот импорт резко сократился и продолжает сокращаться, подобное предложение может показаться многим нелепейшим, оторванным от жизни. Но если взглянуть на вещи непредвзято и отказаться от некоторых наших почти уже религиозных догм, вопрос может предстать в совершенно ином свете. Думается, такие возможности у нас в реальности есть.

Пока еще долг нам со стороны некоторых социалистических стран не высох окончательно, можно, несомненно, как-то побудить их к определенному увеличению поставок необходимой нам продукции ширпотреба. Аналогичных, пусть скромных, результатов можно добиться и в отношении устойчивого положительного нашего сальдо в торговле с некоторыми развивающимися странами и их долгов нам. Но самое главное — следует, по-видимому, пойти на экстраординарные валютные расходы по импорту из капиталистических государств.

Средства для подобного импорта могут быть получены разными путями: увеличением продажи золота в течение ряда лет, использованием наших валютных резервов, привлечением иностранного кредита. Для покрытия, например, водочного дефицита в нашем бюджете нужен импорт товаров ширпотреба при нынешней их бюджетной рентабельности порядка 1,5—2 миллиарда долларов в год. С точки зрения нынешних целей партии такие экстраординарные расходы в течение трех-пяти лет (пока не начнет давать отдачу новая хозяйственная система) были бы, несомненно, оправданны. Могущество нашей страны в будущем (как

и могущество других индустриальных стран) зависит не от золота, оно зависит от нашей способности справиться с проблемами современного научно-технического прогресса. Расходы на подобный импорт могут быть также существенно увеличены за счет привлечения иностранного (краткосрочного и среднесрочного) кредита. Платежная репутация наша на мировых финансовых рынках весьма солидная, и уровень нынешней задолженности страны (несмотря на ее рост в последние два года) по любым международным критериям минимален.

Насыщение продовольственного рынка и расширение импорта ширпотреба могли бы существенно помочь в решении и другой нашей неотложной проблемы — проблемы пьянства. Зависимость здесь простая и понятная каждому из нас: полные прилавки в продовольственных и промтоварных магазинах, доступность и высокое качество разнообразных товаров заметно увеличили бы возможности для населения тратить деньги не на спи тное, а на что-то другое, полезное человеку.

Административные меры дали положительный эффект лишь в двух аспектах проблемы — пьянства на рабочем месте и порядка на улицах. В других же ее важнейших аспектах — что купить вместо водки, куда себя деть в свободное время и чем себя занять — они оказались бессильными. Но, не решив этих базовых проблем, мы никогда не сможем покончить с пьянством. Причем речь идет даже не о старших поколениях, а о молодых, о будущем здоровье нации. И уповать здесь только на административные меры (при всей их важности) было бы по меньшей мере наивно.

Как найти выход из сложившегося положения? Мнения по этому вопросу высказываются сегодня самые противоречивые. Нет единства мнений и в редакции «Нового мира», и среди авторов журнала. Но мне лично (и некоторым другим экономистам) выход видится, возможно, в следующем.

Необходимо признать, что новой ценой на водку, многочасовыми унизительными очередями за ней в магазинах и действиями милиции мы самогонщика не задушим никогда. Все это уже не раз было и у нас в стране и за рубежом, но желаемого эффекта нигде не дало. Положительных результатов можно, думается, ожидать от другого, от заметного снижения цены на водку, устранения ее дефицита в магазинах и массового распространения хорошо оборудованных пивных и кафе. Пить от этого, думаю, больше не будут. И прошлый опыт наш действительно убеждает в том, что причины пьянства заключаются не в цене на водку, а в другом — во всей социально-экономической и духовной

обстановке в стране. В 50-х годах, например, цена на спиртное была значительно ниже, чем сегодня, и оно продавалось везде, а пили в расчете на душу населения в 2,5—3 раза меньше, чем сейчас. Снизив цену на спиртное и обеспечив достаточное его количество по государственным каналам, мы достигнем по крайней мере одного — задушим самогонщика, прикроем всякого рода тайные притоны, прекратим травлю людей химикатами. Существуют и другие очевидные возможности в этой борьбе: если бы мы, например, сумели обеспечить одиноких стариков и старух необходимыми им услугами (вроде вспашки огорода) за деньги, а не за водку или, как сегодня, за самогонку, это дало бы гораздо больший реальный эффект, чем все действия всей милиции, вместе взятой. Нелепой, не поддающейся никаким рациональным объяснениям является также и массовая вырубка виноградников — пока не поздно, ее необходимо остановить. Ведь это вековые накопления нации, плод тяжкого труда многих поколений — какая же бредовая голова решилась на такое?

Борьба с пьянством, видимо, надолго останется одной из центральных наших задач. Но это медленная, упорная борьба, связанная прежде всего с товарным насыщением рынка, повышением общей культуры населения, в том числе культуры досуга, созданием в стране социальных условий, которые не подавляли бы, а, наоборот, поощряли бы все творческие силы и интересы человека. Решусь высказать предположение, что главная причина усиления пьянства в 60—80-е годы в том, что люди устали от лжи, от бестолковости, и еще оттого, что не к чему было с очевидной пользой для себя и других приложить свои руки и свою голову. Это своего рода ухмылка Мефистофеля нам в спину.

Именно здесь, в изменении всей социальной и духовной обстановки, в которой протекает наша жизнь, лежат основные надежды на то, что борьба с пьянством когда-нибудь увенчается успехом. И необходимо осознать, что госбюджет, его дефицит в этой борьбе ни при чем.

Один из самых серьезных вопросов нашего сегодняшнего экономического положения — где взять деньги на перестройку? Традиционных бюджетных средств, даже если мы решимся ликвидировать сегодняшние дыры в бюджете (а ликвидировать их необходимо), при всех условиях, видимо, недостаточно. Нужны новые, нетрадиционные источники финансирования.

Возможности реального снижения военных расходов — самостоятельный вопрос. Здесь же хотелось бы привлечь внимание к двум другим, пока еще слабо

используемым, но потенциально значительным источникам финансирования.

У нас крайне неразвитый внутренний кредитный рынок. Имеющиеся в стране сбережения используются на производительные цели совершенно недостаточно. Около 260 миллиардов рублей, хранимых в сберкассах,— это очень много в сравнении с существующей товарной массой. Они давят на рынок и обостряют проблему товарного голода в стране. Их необходимо на долгий срок (без угрозы изъятия под влиянием перепада в настроениях их владельцев) втянуть в дело, в финансирование инвестиционных потребностей страны. Но это можно сделать только в том случае, если будет обеспечена явная, ощутимая выгода для владельцев этих средств. Не следует к тому же забывать, что немалые денежные средства населения хранятся не в сберкассах, а в чулке.

Если мы разрешим предприятиям выпускать и продавать, а людям покупать их акции и облигации по высокой ставке дохода, то промышленные объединения, колхозы, совхозы смогут мобилизовать в дополнение к своим собственным ресурсам десятки миллиардов рублей. Многие потенциальные кредиторы охотно пустят свои средства в оборот под высокий (7—10 процентов) доход. В политэкономическом смысле этот доход принципиально ничем не будет отличаться от того, который сейчас получает любой вкладчик в сберкассу.

Кроме того, государство может сегодня расширить прямые займы у населения, повысив процентную ставку по облигациям государственных займов. Пока мы расширяем государственное заимствование и, соответственно, государственный долг в нездоровом, скрытом порядке. Почему не пойти на это в открытую? Государственный долг — нормальное экономическое явление. И если он добровольный, если люди будут охотно давать свои средства взаймы государству на долгий срок, нам нечего бояться его.

Почти во всех странах мира, в том числе и социалистических, нормальный (то есть основанный на коммерческих началах и, разумеется, возвратный) кредит давно уже превратился в мощнейшую двигательную силу экономики. Мы же здесь находимся пока в состоянии младенчества. Почему, например, предприятия не могут сейчас предоставить друг другу свои свободные средства в кредит? Почему кооператоры не могут организовать свой банк? Почему государство, уплачивая столь низкий процент по вкладам населения в сберкассы, скорее поощряет людей тратить доходы, а

не сберегать их? Вряд ли сегодня кто-нибудь может дать на эти вопросы разумный ответ.

Другой источник финансирования — внешнее долгосрочное заимствование. Наш чистый долг на начало 1987 года, по западным оценкам, находился на уровне, чуть превышающем 20 миллиардов долларов. По размерам внешней задолженности на душу населения мы значительно уступаем всем европейским социалистическим странам. Да и вообще наше положение в мире, учитывая все виды и все географические направления задолженности, это пока еще положение не должника, а кредитора.

В мировой практике рост внешней задолженности, до тех пор пока он не выходит за определенные пределы, расценивается как абсолютно нормальное явление. Более того, такой рост задолженности для многих стран характерен, как правило, именно в те исторические периоды, когда осуществляется глубокая структурная перестройка их экономики.

По-видимому, мы могли бы занять на мировых кредитных рынках в ближайшие годы несколько десятков миллиардов долларов и при этом остаться платежеспособными, то есть не перейти опасной черты. Разумеется, взятые взаймы на долгий срок деньги должны быть в основной своей массе пущены на закупку передового импортного оборудования для организации экспортного производства в машиностроении и других перспективных отраслях, с тем чтобы через пять-семь лет мы начали бы их продукцией погашать полученные кредиты. Нельзя повторять ошибку 70-х годов, когда даже долгосрочные зарубежные кредиты были в значительной своей части фактически проедены. Эти долгосрочные кредиты могли бы быть также (при должных усилиях с нашей стороны) в будущем превращены в акции и облигации совместных предприятий. Это уже становится широкой международной практикой, и нам нет никакого резона оставаться от нее в стороне.

Пока наши намерения в области совместных предприятий не стали реальностью. А подобные предприятия могли бы принести скорую отдачу в смысле насыщения рынка, особенно в Агропроме. Но для этого надо решиться, по мнению западных бизнесменов, на отказ от принципа собственности 51:49, от неприемлемо высокой ставки налога, от недопущения западных партнеров к руководству совместными предприятиями и, наконец, надо решиться не только на экспортную, но и преимущественно на внутреннюю ориентацию подобных предприятий. Попробуйте на минуту представить

себя на месте, скажем, американского бизнесмена: если в США у него с прибыли взимают налог в 34 процента, где-нибудь в Юго-Восточной Азии — в 20—25 процентов, а мы намерены взимать с него 44 процента, то какой ему резон вкладывать деньги у нас? Ради перспектив на нашем рынке? Но мы же сами говорим ему, что продукция такого предприятия должна идти не на наш внутренний, а на внешний рынок. А на внешнем, он знает, и без нас конкурентов полно.

Думается, что положительные тенденции в международной обстановке последних лет делают реалистичными надежды на успех нашей более активной кредитной политики. Конечно, нужна решимость, но если такая решимость будет проявлена, она, судя по всему, будет встречена международными финансовыми кругами с пониманием.

И наконец последнее. Сейчас было бы, вероятно, весьма своевременно дать самые авторитетные разъяснения по поводу страхов и беспокойства, которые распространяются среди населения в связи с наиболее острыми социальными аспектами перестройки. Страна полна разного рода слухов. Эти слухи воспринимаются тем более болезненно, что память о прошлом опыте отнюдь не укрепляет доверия населения ко многим государственным мероприятиям. Да и нынешнее положение не содействует этому, имея в виду отсутствие пока реально ощутимых сдвигов в повседневной жизни.

Некоторая неясность намерений государства в связи с провозглашенной реформой цен, общие заверения относительно того, что она не приведет к снижению жизненного уровня народа, пока убеждают далеко не всех и в силу своей неопределенности скорее разжигают опасения, чем успокаивают их. Прежде всего население еще до конца не понимает, зачем вообще нужна реформа цен и какие цели она преследует. А целей у нее, по моему мнению, может быть две, и они во многом взаимоисключающи.

Либо это создание наконец системы объективных экономических ориентиров в нашем народном хозяйстве, позволяющих нам достоверно знать, что в действительности почем и во что нам обходится, и потому принимать объективные, а не произвольные (по принципу: у кого глотка громче) решения. Из-за нынешней деформированной структуры цен мы живем, по существу, в «королевстве кривых зеркал»: большое у нас кажется маленьким, маленькое — большим, прямое — косым, косое — прямым. Нынешняя закупочная цена на мясо, например, такова, что, отвернись райком, и не

менее половины наших совхозов и колхозов пустили бы свое стадо под нож, потому что ничего, кроме убытков, оно им не приносит. При нынешних ценах нам вопреки всякой экономической логике выгоднее бурить новые нефтяные и газовые скважины, а не развивать энергосберегающую технику и технологию. Из-за того, что цена земли у нас нигде никогда не учитывалась, мы целые десятилетия жили в убеждении, что самая дешевая электроэнергия получается на гидростанциях, и оказались, вероятно, чуть не единственными такими «умными» в мире, кто создал целые каскады равнинных ГЭС, погубив при этом многие миллионы гектаров плодороднейших земель. Да и сегодня отчасти только благодаря «чудесам» нашего ценообразования целое министерство — Минводхоз — с годовым бюджетом в 10 с лишним миллиардов рублей может на виду у всех делать преимущественно вредную, никому не нужную работу. Почти 2 миллиона работников этого министерства, конечно, не виноваты в том, что обстоятельства вынуждают их заниматься тем, чем не надо заниматься. Но разве всем нам, стране, от этого легче?

Перечень подобных нелепостей может быть бесконечным. И как раз для того, чтобы таких вещей впредь больше не было, нам и нужна радикальная реформа цен.

Либо целью ценовой реформы будут только перераспределительные задачи, стремление ограничить потребление некоторых видов продукции и, наоборот, стимулировать потребление других, расчет на то, чтобы улучшить состояние бюджета, понизив его расходную часть и повысив доходную,— тогда это уже совершенно иной разговор. И именно этого-то многие сейчас у нас и боятся.

Всем нам необходимо понять, что чисто технически реформа цен (даже самая глубокая) вполне может быть проведена без малейшего ущерба для населения. Дотации на продовольственные услуги, на транспорт, на коммунальное хозяйство и прочее в следующем году вырастут до 90 миллиардов, что равно 20 процентам расходов госбюджета. Обращаюсь к читателю: скажите, какая нам всем разница — получать эти средства в скрытой форме, через искусственно заниженные цены, или получать их прямо, что называется, в свой карман? Ответ я знаю заранее: так-то оно так, но... Не обманут ли? Сумеют ли устоять перед соблазном поправить кое-какие государственные дела за наш счет? Опасения эти, учитывая наше прошлое, увы, понятны. И нынешняя дискуссия о ценах должна дать наконец на них ясный и недвусмысленный ответ.

Конечно, рано или поздно без отмены госдотации нам не обойтись. Но думается, высшие инстанции страны могли бы уже сегодня связать себя недвусмысленным обязательством, что в любом случае устранение госдотаций в ценах на продовольствие и коммунальные услуги будет полностью компенсировано основной массе населения через соответствующие надбавки к зарплате и пенсиям, понижение цен на промышленные потребительские товары, надбавочные коэффициенты к вкладам в сберкассы.

Мне могут возразить: что ж ты ломишься в открытую дверь, такие гарантии даны и июньским Пленумом, и в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС в Мурманске.

Однако разноголосица в этом вопросе сегодня прямо-таки поразительная. Председатель Госкомцен В. Павлов говорит только в общей форме, что в ходе реформы цен необходимо «сохранить жизненный уровень трудящихся, не допустить его ухудшения», хотя, наверное, давно уже пора говорить о том, как это сделать («Коммунист», 1987, № 13). Его заместитель А. Комин говорит только о доплатах к заработкам и пенсиям и не считает возможным ни существенное снижение цен на промышленные потребительские товары, ни компенсацию во вкладах в сберкассы («Известия», 18.11.1987). Замминистра финансов С. Борисов говорит лишь о некоторой компенсации путем снижения цен на промышленный ширпотреб («Аргументы и факты», 1987, № 46). Что ж тогда удивляться, что беспокойство людей в связи с этой жизненно важной для любого и каждого проблемой не снижается, а растет?

Нужны авторитетные гарантии и против опасений по поводу того, что намечаемая финансовая реформа будет проведена против интересов населения. Эта реформа не должна преследовать чисто фискальные цели, то есть не может и не должна быть проведена в ущерб интересам масс. Необходимо удержаться от искушения изъять в пользу государства какую-то часть денежных средств населения, тем более что на деле такая возможная конфискация даст очень немного и лишь на очень короткий срок. По некоторым оценкам (покойного академика А. И. Анчишкина), из 260 миллиардов рублей вкладов населения в сберкассы «воровские деньги» составляют лишь 20—30 миллиардов. Остальное — действительно трудовые сбережения: на квартиру, на машину, на черный день. Конфискация существенной их части может лишь привести к непоправимо тяжелым последствиям для всего дела перестройки. Да

и чисто технически как отделить «воровские деньги» от трудовых?

Реформа финансовой системы не должна быть нацелена на сиюминутную бюджетную выгоду. Ее задача — подлинное, долгосрочное оздоровление наших финансов, максимальная мобилизация имеющихся в стране нормальных источников финансирования (то есть сбережений населения и предприятий) на цели их производительного использования.

Действующая финансовая система по самой сути своей базируется во многом на инфляционных методах финансирования. Сплошь и рядом и доходы государства и его расходы — это фикция, воздух, иллюзия денег, не имеющая под собой никакого материального обеспечения. Наиболее очевидное проявление подобного положения — взимание с предприятий налогов в бюджет до того, как будет продана их продукция, и вне зависимости от того, будет ли она продана вообще. Подобную же роль играет и кредитование промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в значительной своей части превратившееся в безвозвратное финансирование (то есть накачку пустых денег в экономику). Только долги сельскохозяйственных предприятий приближаются к 140 миллиардам рублей. Одно из тяжелейших последствий такого дутого финансирования — количество начатых строек в стране, оно почти в три раза превышает то, которое мы в состоянии материально обеспечить.

Доходная часть бюджета должна в будущем формироваться на иных, более здоровых принципах. Наибольшее значение здесь, мне кажется, имеют, во-первых, максимально возможное ограничение действия печатного станка (во всех его проявлениях), во-вторых, постепенный переход в процессе реформы ценообразования от налога с оборота как основного способа обеспечения доходов бюджета к налоговым отчислениям от доходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в-третьих, прекращение практики взимания налога с оборота от еще не проданной продукции. Думается, опасна для целей перестройки и столь глубоко укоренившаяся — вплоть до сегодняшнего дня — практика изъятия из многих отраслей, особенно легкой промышленности, свыше 90 процентов их прибылей в бюджет. Так мы эти отрасли не подымем никогда.

В расходной части бюджета (если не говорить о возможностях сокращения военных расходов) необходимо, как представляется, во-первых, перенести центр тяжести инвестиционного финансирования на предприятия и объединения, то есть за счет их собственных

доходов, и, во-вторых, постепенно прекратить все или почти все виды дотирования и все формы фактической бюджетной поддержки безвозвратного кредитования. И не следует, наверное, спешить со списанием долгов промышленных предприятий, колхозов и совхозов: конечно, значительная часть этих средств, по-видимому, пропала безвозвратно, но, возможно, общее оживление хозяйственной деятельности в ходе реформы позволит со временем вернуть хоть какую-то их часть.

Имело бы смысл при подготовке реформы заново обдумать и некоторые наши уже привычные бюджетные расходы. Сейчас нередко получается, что волевые, сильные ведомства выбивают для себя ассигнования, сами, по существу, устанавливая их целесообразность и объем, причем бывает — с потолка. А дальше уже единственная задача таких ведомств — во что бы то ни стало потратить эти средства, не важно зачем и на что. Так обстоит дело, например, с тем же Минводхозом, которое тратит сегодня ненамного меньше, чем все наше здравоохранение, и это при том, что самые его «ударные» проекты — поворот рек — были признаны вредными для страны. Вот так вот: дело вредное, а деньги тем не менее наши! А, скажем, никому не нужный новый тракторный завод в Елабуге, который тоже будет стоить миллиарды? А все эти «престижные», но разорительные новые ГЭС?

Необходимо также приступить к последовательному развитию нашей кредитной сферы, к широкой мобилизации лежащих пока втуне сбережений населения и предприятий. Думается, что наибольшей отдачи здесь можно ожидать, во-первых, от свободной продажи акций и облигаций промышленных объединений и сельскохозяйственных предприятий населению и другим предприятиям, во-вторых, от широкого развития взаимного коммерческого кредита предприятий, организации кооперативных, отраслевых, региональных депозитных и инвестиционных банков, в-третьих, от развития разнообразных форм страхования для населения и предприятий, но не на нынешних, а на более привлекательных условиях, в-четвертых, от расширения практики эмиссии и продажи государственных ценных бумаг, прежде всего государственных займов, под более внушительный процент.

Неотъемлемой составной частью ценовой и финансовой реформ должна стать, несомненно, валютная реформа. В качестве ближайших (и вполне реалистичных) целей здесь могут быть две: во-первых, установление реального и, что особенно важно, единого курса рубля (сейчас этих курсов фактически около 10 ты-

сяч — это же сумасшедший дом!). На практике это будет означать его девальвацию и соответственно рост притягательности экспорта для наших предприятий и снижение их нажима на импорт. Другая цель — так называемая финансовая обратимость рубля (то есть свободная обратимость его на уровне центральных банков) в качестве первого шага к его полной конвертируемости.

Это позволит напрямую связать наши внутренние и внешние цены, внедрить не мнимый, а реальный хозрасчет во внешнюю торговлю, перейти от двустороннего к многостороннему сотрудничеству в рамках СЭВ, открыть для стран СЭВ советский рынок, обеспечить возможности конверсии долгов (то есть маневры различными видами наших долгов и долгов нам), наконец, устранит основное препятствие организации совместных предприятий в нашей стране. Обеспечением этих мер, помимо активного нашего платежного баланса по некоторым географическим направлениям, частично могут стать некоторые наши товарные резервы, частично наши золотовалютные резервы, частично международный кредит. Имея в виду эти задачи, не следовало бы, наверное, исключать и возможность вступления со временем нашей страны в Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Как видим, в таком понимании ценовая, финансовая и валютные реформы ни в одном из своих аспектов не угрожают интересам населения. Наоборот, укрепляя рубль, укрепляя государственные финансы, они содействуют созданию условий, при которых честный, добросовестный труд, инициатива, бережливость будут оправдывать себя не только в теории, на словах, но и в реальной жизни, имея в виду интересы и государства, и предприятий, и каждого труженика.

Несомненно было бы также весьма полезно самым решительным образом заверить население в том, что такие возможные последствия полного хозрасчета, как высвобождение излишней рабочей силы, сокращение госаппарата, закрытие безнадежных предприятий, переквалификация и территориальные перемещения трудовых ресурсов, будут в полную меру подстрахованы и смягчены достаточно длительными государственными пособиями для тех, кого это коснется. Речь не идет о сокращении рабочих мест в стране, об угрозе безработицы. Думаю, что сокращение рабочих мест для нас по меньшей мере не проблема этого века, а скорее всего и первых десятилетий следующего столетия. Проблема для нас сейчас на самом деле прямо противоположная: как высвободить имеющиеся, но скрытые излишки

рабочей силы (по некоторым оценкам — до 25 процентов), чтобы загрузить огромные простаивающие производственные мощности, создать мало-мальски развитую сферу услуг (которая находится у нас сегодня пока еще в рудиментарном состоянии), снизить ненормально высокую долю занятости женщин на производстве, причем сплошь и рядом неженским трудом, и т. д. К сожалению, не все это у нас сейчас понимают, а понимать необходимо.

Становится все более и более очевидным, что нам нужна продуманная государственная политика занятости, нацеленная на длительную перспективу. Как обеспечить занятость работников, высвобождаемых из аппарата? Как лучше организовать процесс переквалификации рабочей силы, покидающей устаревающие отрасли, но неспособной без переподготовки работать в новых, прогрессивных отраслях? Какие отрасли и на какой технической базе развивать в густонаселенных и какие, наоборот, в малонаселенных районах? По каким направлениям расширять сферу услуг? Такие проблемы не могут и не должны решаться постфактум, лишь по следам событий. Да и первые сообщения о намечаемых в этой области мерах настораживают. Решено, например, что высвобождаемым работникам на период трудоустройства в течение двух месяцев будет сохраняться среднемесячная зарплата. Учитывая обычные теперь для развитых стран сроки и размеры пособий ищущим работу, не слишком ли легкомысленно мы с самого начала относимся к этому сложнейшему социальному вопросу, где до сих пор, по крайней мере, мы были впереди, а не позади всех?

Необходимо именно сверху успокоить людей: ничего в ходе перестройки у них не отнимут, никто из честных, добросовестных тружеников не пострадает, никому из слабых, престарелых, обездоленных не будет нанесен ущерб. Но самое авторитетное средство против всех подобных опасений — признаки хоть какого-то реального улучшения на рынке. В этом смысле было бы, возможно, целесообразно несколько повременить с реформой цен и финансов, приступив к ней лишь после того, как у населения появится уверенность, что положение улучшается.

Наверное, делу перестройки пошло бы на пользу также и то, если бы руководство страны более решительно провозгласило свою политику недвусмысленной поддержки индивидуально-кооперативной деятельности как в городе, так и на селе. От запретительного принципа мы сегодня едва-едва перешли только к осторожно разрешительному, но не поощрительному.

Местным органам власти ныне вменяется в обязанность сделать все возможное, чтобы добиться здесь перелома. Но... но слишком долго государство всей своей мощью утюжило любые проявления активности в этой области, чтобы люди так быстро поверили, что в скором времени здесь все опять не вернется на круги своя. Одних (к тому же половинчатых) законов для возрождения такой веры мало. Нужны самые авторитетные гарантии надежности этих законов и реальные практические меры по их претворению в жизнь.

Между тем вся наша реальная действительность пока еще враждебна индивидуально-кооперативной деятельности. И эта враждебность в последнее время отчасти даже усиливается. Мелких производителей и кооператоров продолжают, например, обвинять в склонности к махинациям, высоким ценам и непомерно высоким заработкам. Интересно знать: а что же мы ждали, если с самого начала поставили их в неравноправное, несправедливое положение прежде всего по сравнению с их конкурентами — государственными предприятиями? Если кооперативное кафе обязано покупать для себя все только на рынке и только по рыночным ценам, если государство отказывает кооперации в нормальном снабжении, то удивительно ли, что некоторые из кооператоров пытаются обойти эту несправедливость всякими левыми путями? И каких же цен мы в этом случае от них можем ждать? И какой может быть серьезный расчет на оживление этой сферы, если мы хотим, чтобы они зарабатывали мало, а работали много? А теперь еще государство намерено установить на их доходы прогрессивный налог от 65 до 90 процентов, делающий бессмысленными любые усилия по расширению и модернизации производства, если в результате их доход кооператора превысит 700 рублей в месяц. Зачем же обманывать самих себя? Кто будет работать с полной отдачей сил в этих условиях? Дураков в стране давно уже нет, и, думаю, бесполезно их искать. Тогда уж давайте всем вообще запретим зарабатывать больше этого потолка.

Так что же мы в действительности хотим? Расцвета этого сектора или же хотим вновь задушить его? Не заработки кооператоров надо в первую голову считать, а что и сколько они дают государству, то есть всем нам.

Нынешний наступательный, революционный подход к перестройке кроме плюсов имеет и свои минусы. Подобный напор у многих порождает нереалистичные

надежды на чуть ли не мгновенные изменения, преуменьшает трудности переделки нашей экономической системы, складывавшейся шесть десятилетий и обладающей невероятной силой инерции. Может быть, для судеб перестройки было бы полезнее сегодня сосредоточить внимание нашей печати и нашей общественности на ее трудностях, ее издержках, без которых невозможно достичь поставленных целей. Иллюзии и надежды на слишком быстрый результат опасны. Наверное, было бы лучше, если бы все у нас полностью отдавали себе отчет в том насколько трудное дело мы затеяли, насколько этот процесс объективно медленный и сложный.

Нельзя не видеть также, что сугубо экономические преобразования — это лишь часть и, возможно, даже не самая главная, всей проблемы перестройки. Как уже не раз подчеркивалось с высоких трибун, экономические реформы 50-х и 60-х годов захлебнулись потому, что неподвижной оставалась политическая структура общества. Сегодня мы в полную меру осознаем жизненную необходимость демократизации, гласности, развития общественной инициативы. Но не меньшее значение, мне кажется, имеет и чисто нравственная атмосфера в стране. Это неисчерпаемая тема. Здесь же мне хотелось бы подчеркнуть лишь два момента.

Во-первых, мы должны, мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно,— безнравственно и, наоборот, что эффективно — то нравственно. Экономически неэффективная обстановка всеобщего дефицита является, по моему глубокому убеждению, основной причиной воровства, взяточничества, махрового бюрократизма, всякого рода потаенных, аморальных льгот, человеческой озлобленности. Экономически неэффективный затратный механизм планирования породил бездумное расхищение наших национальных ресурсов, безнравственное отношение к нашим природным богатствам, а отсутствие платы за землю и воду привело к таким диким последствиям, как деградация целых районов страны (например, Аральского региона). Экономически неэффективное сдерживание трудовой активности и предприимчивости населения, уравниловка на производстве, длительная борьба против всех форм индивидуального и кооперативного труда — это, уверен, главная причина обострения таких социальных проблем, как безделье и пьянство, угрожающих нашему национальному будущему.

Во-вторых, я убежден, что самый главный нравственный порок «административной экономики» — это

слепая, жгучая зависть к успеху соседа, ставшая (причем чуть ли не на всех уровнях) сильнейшим тормозом идей и практики перестройки. И пока мы эту зависть хотя бы не приглушим, успех перестройки всегда будет оставаться под сомнением.

В стране действительно сложилась революционная ситуация. «Верхи» не могут больше управлять, а «низы» больше не хотят жить по-старому. Но революция — значит, революция. Мы уже вступили на этот путь. Решения июньского Пленума ЦК КПСС по своим потенциальным последствиям имеют истинно революционное значение для судеб страны. Однако революция сверху отнюдь не легче революции снизу. Успех ее, как и всякой революции, зависит прежде всего от стойкости, решительности революционных сил, их способности сломать сопротивление отживших свое общественных настроений и структур.

СОДЕРЖАНИЕ

Е84 Если по совести: Сборник статей. / Сост. В. Канунниковой.— М.: Худож. лит., 1988.— 398 с.
ISBN 5-280-00872-9

В предлагаемый сборник включены статьи советских писателей, появившиеся в последнее время на страницах периодической печати. Они посвящены насущным проблемам перестройки в стране и вызвали большой интерес читателей.

Е 4702010201-405 / 028(01)-88 без объявл.

ББК 84Р7



Редактор *Т. Шурыгина*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректор *З. Тихонова*

ИБ № 5626

Подписано в печать 15.06.88. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,21. Уч.-изд. л. 23,3. Доп. тираж 100 000 экз. Изд. № III-3312. Заказ № 237. Цена 1 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

